П.Ф. ЯКУБОВИЧ

В мире отверженных

П. Ф. ЯКУБОВИЧ

В мире отверженных

ЗАПИСКИ
БЫВШЕГО КАТОРЖНИКА

ТОМ I

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1964 Ленинград

Подготовка текста и примечания
И. ЯКУБОВИЧ

Вступительная статья
Б. ДВИНЯНИНОВА

Оформление художника
С. БАРАБОШИНА

П. ЯКУБОВИЧ И ЕГО КНИГА О КАТОРГЕ

«Мельшии стоит особияком, это большой, иеоцеиеиный писатель, умиый, сильный писатель», — так характеризовал А. П. Чехов Петра Филипповича Якубовича (Л. Мельшииа) — своего совремеииика, известиого деятеля революциоииого иародинческого движеиия, видиого поэта-борца, автора замечательиой киигй «В мире отверженных».

Воздействие творчества Якубовича иа передовых читателей-совремеииков было зиачительио. Большевистская «Звезда» писала, что в годы реакции и первой русской революции произведения Якубовича «будили ото сиа, подиимали падавших духом, призывали к девятому валу... его борьба ие прошла иапрасио: его идеалы иашли сочувствеииый отклик в сердцах иарода, а его поступки вдохиовили не одиого героя иа борьбу, иа подвиг...» *

Старейший деятель революциоииого движеиия Е. Д. Стасова в статье «Как мы получали и распространяли иелегальиую литературу» вспомииает, что оии «читали и разбирали» с учеииками запрещеииые произведеиия Мельшииа (Якубовича). **

Жизиь Якубовича — яркий пример героического служения иароду. П. Ф. Якубович родился 22 октября (3 ноября) 1860 года в сельце Исаеве Новгородской губерини, в разорившейся мелкопоместиой дворяиской семье. В истории освободительиого движеиия в России известеи одии из предков Петра Филипповича декабрист Алексаидр Иваиович Якубович, умерший в сибирской ссылке. В память о ием писатель впоследствии, в революциоииом подполье, избрал себе коиспиративиое имя «Алексаидр Иваиович».

---

* «Звезда», 1911, № 15, 25 марта; 1912, № 19, 18 марта.

** «Из истории иелегальиых библиотек революциоииых оргаиизаций в царской России». Сбориик материалов, М., 1955, стр. 16.

Юношу рано захватили революционные идеи. Якубович признавался В. Г. Короленко, что «тип убеждений» революционера наметился у него «еще в *младших* классах гимназии».* В 1878 году, окончив Новгородскую гимназию, Якубович поступает в Петербургский университет. Будучи студентом, он принимает активное участие в сходках и манифестациях, политических выступлениях передовой молодежи и попадает «на замечание» университетского начальства. Ранние поэтические опыты Якубовича были одобрены Салтыковым-Щедриным и печатались в «Отечественных записках» и радикальных журналах «Дело» и «Слово». На боевую лирику молодого поэта обратил внимание А. И. Желябов.

Летом 1882 года, после окончания университета, Якубович вступает в тайную организацию «Народная воля». Писательница В. И. Дмитриева, участница революционных кружков тех лет, так рисует портрет Якубовича: «Он не жил, он горел... В моей памяти ярко запечатлелся Якубович, каким он был в ту пору. Бледный, с горящими глазами, в вечном движении, он с головой погрузился в работу, писал, печатал, агитировал, и так до самого того дня, когда в цепях, с обритой головой пошел в Сибирь, откуда только годы спустя донесся до нас его голос, рассказавший нам о «Мире отверженных».**

После ареста одного из руководителей «Народной воли» Г. А. Лопатина и разгрома народовольческих организаций Якубович фактически остается во главе петербургского революционного подполья. Писателю удалось организовать в г. Дерпте, на квартире студента Переляева, тайную типографию, в которой был напечатан десятый номер «Народной воли». «Пытаясь воскресить погибшее дело», Якубович стремится сохранить единство революционных сил народовольцев; в то же время он пишет и о «расширении революционной пропаганды среди рабочих».

В ноябре 1884 года после двух лет активной революционной деятельности Якубович был арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В 1887 году его приговорили к смертной казни, замененной восемнадцатью годами каторги. В кандалах его отправили в Карийскую каторжную тюрьму, а затем (в сентябре 1890 года) перевели в Акатуй, где политические содержались вместе с уголовными. «Проклятый Акатуй! И благо тому, кто убежит его когтей, высасывающих лучшую кровь из сердца, сушащих мозг и обессиливающих душу»,*** — писал Якубович украинскому ссыль-

* Письмо от 29 октября 1896 (Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

** В. И. Дмитриева. Так было (Путь моей жизни). М.—Л., 1930, стр. 205, 216—217.

*** «Русское богатство», 1912, № 5, стр. 45.

ному поэту П. А. Грабовскому. После каторги Якубович в 1895 году был сослан в Курган под надзор полиции.

Тяжелые испытания не сломили боевого духа писателя. М. Горький говорил об этом: «Бросают в Сибирь и каторгу просто людей, а из Сибири, из каторги выходят Достоевские, Короленко, Мельшины — десятки и сотни красиво выкованных душ!» *

Связав свою судьбу с революционным народничеством, Якубович остался верен идеалам революционеров 70-х годов до конца жизни. «Я родился в 1860-м и по духу всецело принадлежу к поколению конца 70-х, начала 80-х годов», — писал он М. Горькому в январе 1900 года. ** Вот почему, вернувшись из ссылки в Петербург, Якубович публично заявил, что предпочитает «отказаться от чести стоять под одним знаменем с современным «народничеством» и носить эту затасканную, а отчасти загаженную кличку». *** Вырванный в молодости из рядов народнического освободительного движения и лишенный на каторге возможности участвовать в новых исканиях революционной мысли, Якубович по возвращении из ссылки не нашел дороги к марксизму. Но, как отметил в «Звезде» Н. С. Ольминский, социал-демократы ценили и уважали Якубовича, относя его к последним «могиканам русского народничества». Якубович приветствовал первую русскую революцию и принял в ней участие. Однако в самом начале ее, в январе 1905 года, он был вновь арестован и заключен в тюрьму, откуда вернулся тяжелобольным.

Скончался Якубович 17 (30) марта 1911 года в Петербурге.

В историю русской литературы Якубович вошел прежде всего как поэт революционного подполья. Его стихи, полные гражданского пафоса, боевых призывов, глубокой искренности, продолжали в 80—90-х годах традиции некрасовской музы «мести и печали». Написанные «кровью сердечной», они звучали то гневно-обличительно, то задушевно-лирически. В поэзии Якубовича лирически взволнованно запечатлен светлый и самоотверженный характер, душевный склад поколения героев «Народной воли». «Певцом борьбы и гнева» назвал в «Звезде» Якубовича Демьян Бедный, талант которого открыл и поддержал поэт-народоволец.

---

* М. Горький. Собрание сочинений, т. 29, М., Гослитиздат, 1955, стр. 190.

** М. Горький. Материалы и исследования, II. М., Изд. Акад. Наук СССР, 1936, стр. 370. Здесь опубликовано шесть писем Якубовича к М. Горькому.

*** Л. Мельшин (П. Ф. Гриневич), Очерки русской поэзии. СПб., 1904, стр. 380.

Литературная судьба Якубовича сложилась трагически. Более двадцати лет (с 1884 до 1905 года) его имя, как имя «государственного преступника», не могло появиться в печати; поэтому он прибегал к многочисленным псевдонимам; сейчас их учтено двадцать пять. Как поэт Якубович был известен под буквами П. Я., как критик — П. Гриневич, как прозаик — Л. Мельшин. Последний псевдоним воспринимался многими как подлинная фамилия писателя.

С произведениями Якубовича жестоко расправлялось самодержавие: его книги и стихотворения арестовывались, уничтожались, подвергались судебному преследованию. В Центральном историческом архиве в Ленинграде хранится восемнадцать цензурных дел — с 1878 года, когда поэту было восемнадцать лет, и по 1915 год, когда Якубовича уже не было в живых.

«В мире отверженных» — лучшее прозаическое произведение писателя — книга необычной судьбы: она написана на каторге. Задумана она была на Каре как «очень большая вещь», посвященная жизни не только уголовных, но и политических узников. Первый том был написан в Акатуе, летом 1893 года, в редкие свободные часы, карандашом на листах махорочной бумаги. Рукопись решено было отправить конспиративно по почте в Петербург, однако посылка застряла в иркутской таможне. Через год до Якубовича дошел слух о гибели рукописи. Поборов отчаяние, Якубович написал книгу вновь, и теперь ее доставила в Петербург, как недавно стало известно, врач Анна Николаевна Бек (1870—1954).

В одном из писем А. Н. Бек сообщала известному писателю-краеведу Е. Д. Петряеву 15 ноября 1953 года: «Мельшина... я лично не знала, но мне выпало на долю везти в Петербург его рукопись «Из мира отверженных», написанную им в бытность в Акатуевской тюрьме. Оттуда вышел, отбыв срок каторги, доктор Фрейфельд, живший на поселении в Горном Зерентуе. У него сохранилась связь с тюрьмой... Узяав через Фрейфельда, что я собираюсь ехать в Петербург, Мельшин прислал мне свою рукопись, упакованную в громоздкий деревянный футляр, и письмо к его брату Василию Якубовичу — профессору по детским болезням. Этот футляр при поездке через Сибирь на лошадях я берегла как зеницу ока и благополучно доставила его брату Мельшина. Это было в 1894 году».

«В мире отверженных» печатались в народническом журнале «Русское богатство» — в семнадцати номерах, начиная с сентября 1895 года по июль 1898 года. Журнальный текст, по словам автора, «был порядком изувечен и укорочен» цензурой.

А. П. Чехов едва ли не первый заметил талант Якубовича и в знак уважения послал ему в ссылку свою книгу «Остров Сахалин» с надписью: «Петру Филипповичу Якубовичу от его почитателя,

искреннего друга его симпатичиой книги. Аитон Чехов (21/XI 1896)». *
Занитересовала книга н М. Горького, который, еще не зная в то время настоящей фамнлии автора, отправил в 1900 году в редакцию журнала на нмя Мельшииа «дружеское... товарнщеское письмо». Связывая нсключнтельный успех книгн «В мнре отверженных» с общественным подъемом второй половнны 90-х годов, большевистская «Звезда» назвала его двухтомиую кингу «захватывающей», а ее автора — «непримнримого Мельшина» — «светлым маяком», освещающим «мрак немой».

* * *

Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографнческой, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкнй и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемикн, как «В мире отверженных». В лнтературном отношении она была почти единодушио призиана выдающнмся художественным произведеннем, достойным стоять рядом с «Записками нз мертвого дома» Достоевского. Сам Якубовнч, скромно оценнвая свой труд, прнзнавал, что его замысел сложился под влияннем замечательного творения Достоевского.

Из современной автору лнтературы «В мнре отверженных» больше всего сопоставлялнсь с рассказамн М. Горького о «босяках». Якубовнч заметнл в письме к М. Горькому от 29 января 1900 года: «Мне кажется, что герои наши мвого родственны между собой, разница только — в отношении к ним авторов или, вернее сказать, в душевном строе авторов».

Книга вызвала острые споры, далеко выходящне за пределы литературных вопросов. Ее обсуждали юрнсты, пснхиатры, врачи. Книга стала фактом общественного значения.

Реакционеры из «Московских ведомостей» и «Русского вестника», ссылаясь на очерки Мельшина, пыталнсь оправдать репрессивную политнку царнзма против каторжан, в том чнсле н политических, средством укрощення которых могут быть лнщь «цепи и палка». Реакционеров поддержала офнцнальная юридическая наука, увндев в героях Мельшина закоренелых «преступииков от рождения». **

Либерально-народннческая крнтика, выискивавшая черты бытовых устоев «русской общнны» и в тюремном быте, была разочарована. В кинге Якубовича она ие обнаружнла изображения «общии-

* «Бюллетени рукопнсного отдела Пушкинского дома», № 8. М. — Л., 1959, стр. 152.

** П. И. Ковалевскнй. Пснхология преступника по-русской литературе о каторге. СПб., 1900, стр. 111.

ных идеалов» и потому упрекала автора в том, что своими очерками он «провинился против истинного народничества». *

Якубович выступил против критики, извратившей гуманный смысл книги. Он утверждал, что уголовная каторга — это еще не народ, а «подонки народного моря». «Народ русский — не то же самое, что сборище убийц, маньяков, воров, насильников и развратников, — отвечал Якубович своим оппонентам. — Пускай все эти люди из того же народа... пусть еще многие найдут в себе силы вновь возродиться и опять войти в великое народное море... И, однако, преступная душа все-таки не душа народа русского! Всеми силами слова я протестую против такого отождествления». Демократизм взглядов и суровая правда жизни предохранили автора от «переслащенного» либерального «народолюбия».

Главную задачу своей книги писатель видел в пробуждении истинно гуманного отношения к «отверженным», в стремлении найти пути к их возрождению. Оценивая содержание «В мире отверженных», большевистская «Звезда» отметила, что «Мельшин повел нас в самую глубину того мира, отверженного и несчастного, о котором болело сердце. И в темном мире с невыразимой яркостью блистала душевная чистота непримирившихся», среди которых главную роль играли сосланные на каторгу революционеры.

Сопоставление идейно-художественного содержания «В мире отверженных» с «Записками из мертвого дома» Достоевского позволяет выявить не только преемственность книги Якубовича, но и своеобразие ее замысла. «Записки» Достоевского создавались в эпоху падения крепостного права и художественно ярко запечатлели трагический и зловещий образ «мертвого дома» российской самодержавно-крепостнической действительности. Очерки Якубовича правдиво воспроизвели картину русской каторги в эпоху интенсивного капиталистического развития страны.

Большинство каторжников принадлежало уже к пореформенному поколению, когда шла «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России». ** Ломались человеческие судьбы, разрушались семьи, росло число преступлений, каторжные тюрьмы были переполнены. Крестьянство протестовало против буржуазно-помещичьего грабежа, и этот протест, принимая порой дикие формы, приводил нередко к преступлению. Едва ли не самым характерным для пореформенной деревни являются преступления Шемелина, Мусяла и Дашкина, описанные Якубовичем. Шемелин — русский мужик из

* «Русская мысль», 1897, № 12, стр. 556; письмо Якубовича к Горькому от 14 февраля 1900 года.

** В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т 16, стр. 301.

самой глухой местности, «выросший как пень в лесу... набожный, трудолюбивый, запуганный, богатый терпением и выносливостью», был обижен старшим братом, который «оттягал у него клочок земли». Спор из-за межи длился семь лет. Окончился он убийством «захватчика» и осуждением Шемелина на двадцать лет каторги.

Основной контингент уголовной каторги 90-х годов был уже иным, чем во времена Достоевского. Если у Достоевского большинство заключенных попало в каторжный острог за стихийный протест против крепостнической тирании и ужасов солдатчины, то, по наблюдениям Якубовича, подавляющая масса «отверженных» состояла из бывших крестьян, давно потерявших связь с землей и превратившихся в бродяг, бездомного люда, лишившегося работы, разорившихся мещан. Каторжники были метко окрещены сибирским словом «шпанка» (стадо овец). М. Горький указывал на «серьезное разноречие» в отношении мира «уголовных» у Достоевского и Якубовича: «Первый изображает «преступников» людьми преимущественно грамотными и талантливыми, второй же — через 50 лет — видит их в большинстве без или малограмотными и «вырожденцами», дегенератами».* Об изменении социального состава каторги в 90-е годы говорит Чехов в своей знаменитой книге «Остров Сахалин».

Касаясь вопроса о причинах преступности, Якубович решительно отвергает буржуазно-идеалистическую теорию Ломброзо о врожденной преступности. «По моему глубокому убеждению, — указывает Якубович, — *не столько* природа создает преступников, сколько сами современные общества, условия наших социальных, правовых, экономических, религиозных и кастовых отношений...» «Ненормальность социальных отношений» он считает главной причиной преступности. Поэтому Якубович в отличие от Достоевского делает акцент не на психологических, а на социальных мотивах преступления. Нищета, бесправие, безнадзорное детство, безработица, жажда легкой жизни и обогащения лежат в основе большинства совершенных преступлений, описанных в книге. Из-за денег Ефимов убил в лесу двух торговцев. По той же причине Сокольцев убил хозяина, скупщика золота. Луньков «за короб» убил старика. Он же сознался, что его развратили деньги, извозчичья биржа: «Господ возишь по вокзалам, гостиницам, трактирам, видишь, как люди веселятся, хорошо пьют, едят, много денег имеют».

Характерно, что вопрос о причинах, толкнувших на преступление, занимал не только автора, но и самих каторжников, и «все они

* М. Горький. Собрание сочинений, т. 28, М., Гослитиздат, 1954, стр. 162.

одинаково скорбели о том, что не сумели и не могли жить честно», и — что самое важное — «от этих дум веяло всегда несомненной, глубокой искренностью».

* * *

«В мире отверженных» — книга о царской каторге. Фактическая, документальная, автобиографическая основа ее бесспорна. Но Якубович не был «бытописателем ада» и тем более его фотографом, как В. М. Дорошевич — автор сенсационных, но поверхностных очерков, собранных им в объемистую книгу «Сахалин». Якубович тщательно отбирал материал своих наблюдений в каторжной тюрьме, творчески переосмысляя реальные судьбы героев своего повествования. Так, например, юноша-узбек, послуживший писателю прототипом для создания образа каторжника Маразгали, в действительности, по окончании срока каторжных работ, вышел на поселение. Но для того, чтобы подчеркнуть драматизм его судьбы, писатель в «художественных целях» приводит своего героя к смерти в тюрьме (глава «Ферганский орленок»). Подобных примеров художественного переосмысления авторских наблюдений в книге немало.

Писатель в очерковой форме «записок бывшего каторжника» творчески обобщил большой и разнообразный материал своих тюремных впечатлений, сведя воедино повествование о множестве человеческих судеб, характеров, взаимоотношений (в книге свыше двухсот пятидесяти зарисовок людей каторги). Книга Якубовича в жанровом отношении близка к своеобразному художественно-публицистическому роману, напоминая и в этом «Записки из мертвого дома» Достоевского.

Перед читателем постепенно развертывается панорама «русского ада», как называл Чехов сибирскую каторгу и ссылку. Мы видим, как перед отправкой в Сибирь «шельмуются» люди — им бреют головы, заковывают в кандалы, потом их гонят по бесчисленным этапам. Подробно описываются дорожные тюрьмы, дикие нравы «кобылки», прибытие в рудник, первые впечатления и, наконец, тюремные будни с пожирающей скукой и годы изнуряющей работы с истязаниями, карцерами, столкновениями, побегами, трагедиями, смертями — и так до выхода на поселение тех, кто выжил.

Для композиции книги характерна хронологическая последовательность изложения событий, обилие массовых сцен, отсутствие центрального «героя», введение новелл-эпизодов (роман Штейнгарта, «Ферганский орленок», «Кобылка в пути» и др.). Так складывается обобщенный образ каторжного Шелая, в котором томятся представители почти всех национальностей царской России. Мы встречаем в каторжном Шелае, кроме русских, украинцев (Годунов, Залата, Егоза), поляков (Ниянияcс, Пендраль), евреев (Шустер, Борухович),

лезгин (Шах-Ламас), узбеков (Маразгали), татар (Зулькариаев), киргизов (братья Стамбеки, Салманов), молдаван (Абабий, Стрижевский), мордвинов (Буланов), азербайджанцев (Айдар Якубайка), цыган. По широте изображения картины каторги конца XIX века «В мире отверженных» были бесспорно второй книгой после «Записок из мертвого дома» Достоевского, осудившей убедительно и страстно царскую каторгу в целом.

Глубокая гуманистическая мысль о человеке, изуродованном каторгой, роднит «Мир отверженных» не только с «Мертвым домом», но и с «Воскресением» Л. Толстого и «Островом Сахалином» Чехова. Характерно, что, работая над каторжными сценами «Воскресения», Л. Толстой проявил особый интерес к книге Якубовича. Как и в «Воскресении» Л. Толстого, большую роль в книге Якубовича играет прием социальных контрастов, а также отступления, как прямое выражение морально-этических и политических позиций автора. Лирические тревожные раздумья чередуются в книге с философскими рассуждениями о судьбах народа, интеллигенции, родины. Именно в отступлениях вырисовывается образ автора как активно действующего лица, истинного друга и защитника «несчастных». Якубович, как и Чехов, полностью отказался от зарисовки сенсационных уголовных случаев, таинственных «героев» нашумевших процессов, авантюрных историй, характерных, например, для книги В. Дорошевича о Сахалине, и все внимание сосредоточил на анализе типических судеб «отверженных», попавших в тиски мучительной каторги. Для авторской манеры характерно сочетание публицистической мысли с художественным обобщением.

В книге Якубовича, так же как и в «Острове Сахалине» Чехова, нередки экскурсы в прошлое. Так, в рассказах и легендах старика сторожа встает перед читателем страшный мир дореформенной каторги. Но рассказы о прошлом важны автору не сами по себе. В них Якубович подчеркивает зловещую, трагическую преемственность жестоких нравов каторжного ада, сохранившего почти в неприкосновенности отвратительные традиции времен крепостнического душегубства.

Мысль автора выходит за пределы каторжной тюрьмы. Он размышляет о богатых возможностях сибирского края, о замечательных чертах народа, сохранившего в суровых, неблагоприятных условиях лучшие свойства национального характера. У сибирского народа, который «не знал крепостного права», Якубович отмечает отсутствие раболепия перед властями, практичность и трезвость взгляда: «Ум его (сибиряка) менее засорен отжившими традициями и предрассудками, более способен к развитию новых идей и понятий, отличается большей независимостью и свободолюбием».

* * *

Вся система изобразительных средств книги раскрывает основной социальный конфликт: борьбу двух враждебных миров: мира «отверженных» с миром властей («духов») всех рангов, начиная от штабс-капитана Лучезарова до генерала из Петербурга.

Прием социальной типизации и антитезы является определяющим принципом построения и группировки образов, картин природы и описаний обстановки каторжной жизни. Ожиревший «господин начальник» Лучезаров; толстопузый, с красным опухшим лицом заведующий рудником Монахов — и оборванная голодная «шпанка»; губернатор «с ласковым взглядом и убивающей кроткостью в голосе» — и чахоточные каторжники (Богодаров и Звонаренко); барская обстановка в доме начальника — и зловонные параши в камерах, напоминающих свинарники; ликующая природа Забайкалья — и обледенелые норы рудников, и т. д.

Обобщающим образом власти в книге является «господин начальник» каторжной тюрьмы, штабс-капитан Лучезаров, прозванный «Шестиглазым». По глубине типизации и остроте сатирической характеристики Лучезаров — большое художественное достижение автора. Перед нами встает законченный тип палача-джентльмена, нарисованный еще Достоевским в «Записках из мертвого дома», а позже названный Чеховым в «Острове Сахалине» помесью Держиморды и Яго.

Лучезаров угрожает арестантам не только плетями, как в прошлом «варвар» Разгильдеев. «Нет, я буду бить вас по более чувствительным местам, — говорит он заключенным, — кроме сурового содержания в карцере, на хлебе и воде, в кандалах и наручниках, даже на цепи, если понадобится, я буду лишать винновных скидок и отдавать под суд», то есть увеличивать срок каторги. За внушительной внешностью сановника («за самого фельдмаршала сойти мог»), выхоленного человека, пристрастного к острым духам и лайковым перчаткам, кроется заурядный карьерист и циник, презирающий все истинно человеческое. В тюремных «правилах» Лучезарова — розги, плети, суд, наручники, кандалы, темный карцер, телесное наказание «так и пестрели в глазах, так и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу». Личность Лучезарова как-то давила и пригнетала к земле, и «каждый чувствовал себя в его присутствии, как собака при виде поднятого над ней кнута».

Как ни слабо было развито у большинства арестантов чувство человеческого достоинства, но и эти жалкие остатки вытравлялись в Шелае, на каждом шагу попиралась их личность. «Ты — каторжный! Ты — раб и больше ничего! Ни божеских, ни человеческих прав

у тебя нет, вон как у тех быков, что возят мне воду!» — кричал Лучезаров на заключенных. В тюрьме решительно все было направлено к тому, чтобы превратить людей в автоматы, действующие по команде и «согласно инструкции».

Якубович показывает, как на каторге «постоянный кошмар злых бесчеловечных порядков, обычаев, привычек», не исправляет, а окончательно портит человека (история Огурцова и Миши Пеито). В эпизоде избиения казаком Васькой больного арестанта Якубович подчеркнул, что даже добрый по натуре человек совершает здесь зверские поступки потому только, что их безнаказанно «принято совершать».

Терроризирующий режим каторги приводит Лучезарова и его «образцовую» тюрьму к полному краху. Но Якубович понимает, что убрать одного жестокосердного начальника — это еще не значит хоть сколько-нибудь оздоровить атмосферу каторжного застенка. Уходят Лучезаровы, но остаются их подручные Пальчиковы, Безыменные, Ломовы — те же «бесчеловечные дубины». В конце книги возникает образ новой каторги — Сахалина, которого «страшились, как смертной казни». Это был «живой гроб, из которого нет возврата назад».

* * *

В каторжном Шелае автор обобщил материал карийских и акатуйских наблюдений, свидетельствовавших о глубоком антагонизме между заключенными и «начальством». Каторжники, подчеркивал Якубович, — «все без исключения отличались страшной ненавистью к «железным носам», дворянам, купцам, чиновникам». При посещении каторги губернатором «все недовольство, какое накоплялось в ней годами... все это моментально вспыхнуло, как порох от поднесенной к нему горящей спички, и приняло форму страстного, неудержимого протеста». В стихийном протесте каторжников (особенно Семенова) побудительным мотивом является «непримиримая ненависть ко всем существующим традициям и порядкам, начиная с экономических и кончая религиозно-нравственными».

Но если прошлая жизнь «на воле» научила заключенных ненавидеть барина и чиновника, то она не научила их бороться с ними. Еще менее научить этому могла тюрьма. Отсюда — неспособность к борьбе, характерная для большинства обитателей каторжного Шелая. Естественное чувство протеста у заключенных приобретает порой характер диких, анархических порывов. Якубович отмечает, что каторжниками «проповедовались такие разрушительные теории, какие не снились ни одному анархисту в мире».

В арестантской массе Якубович отмечает суеверие, но за редкими исключениями он не заметил в ней следов религиозного умиления. Характерно, что в книге нет описаний ни одного религиозного праздника (Достоевский посвящает этому вопросу целую главу). Молитва, читаемая по утрам, походила скорее на богохулeние. В рассказах заключенных «с обычною бранью против закона, веры, бога» автор отмечает особенную злобу и ожесточение против попов. В духовенстве каторга видела защитников власти. Очень характерна сцена посещения камеры немцем-миссионером. Розданные им Евангелия немедленно пошли на курево и другие «еще более низменные потребности».

В книге Якубовича воинствующий гуманистический пафос писателя-демократа противостоит ханжеской религиозно-филантропической морали, проповедуемой «верхами» для «заблудших». Перед писателем стояла трудная задача: найти в испорченном, озлобленном и одичавшем существе искры человеческого достоинства. Не впадая в идеализацию, писатель подводит к выводу, что даже в самой закоренелой душе преступника можно пробудить человеческое, обнаружить скрытую, искаженную невыносимыми условиями трудовую основу народного характера.

Якубовичу удалось убедительно показать (и в этом он видел главную задачу своей книги), «как обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно, глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что стоит преградой на пути к человеческому счастью».

В книге Якубовича немало мест, перекликающихся с заключительными словами из «Записок из мертвого дома» Достоевского: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости: сколько великих сил погибло здесь даром». Аналогичный мотив пронизывает и «записки» Якубовича: «Эта злочастная каторга, утопающая во тьме, в крови и грязи, она сама не знает, сколько здоровых, светлых зерен таится в ее сердце».

В рассуждениях безнадежно «отпетого» Мишки Шустера о необходимости жить честным трудом автор уловил пробуждение совести и «глубокую искренность». В угрюмом Петре Семенове, осужденном на каторгу за бесконечные грабежи и побеги он нашел задушевность, чувство чести и товарищества, умение сдерживать «дикую натуру». Семенов умел не только работать с огоньком, но и толково объяснить Ивану Николаевичу, как надо бурить, потому что «без учителя не учатся». Во время работы Семенов преображался и

казался титаном, от мощиых ударов которого содрогалась гора. Лицо его порой озарялось улыбкой и «пленяло чнсто детскнм простодушнем». В иеповоротливом Ногайцеве во время работы «чуялся тот же богатырь сказочиых времен». В его страшиом преступлеини автор отмечает отсутствне циннзма и «сознательиой развращенности». «Дай мне волю, — говорнт Ногайцев, — я опять иастоящнм человеком стану». В арестаитскнх стихах вечно заспаииого увальня Владнмнрова («Медвежье Ушко») автор неожнданио уловил «довольно сложный процесс мысли н чувства, в сущностн очень блнзкнй и родственный тому, — пншет ои, — который сам я пережнвал н чувствовал». В Чирке, этом предмете вечных насмешек н шутовства, автор разглядел прнродный ум н добродушие. Чувство прекрасиого прнсуще «Оснновому боталу» — взбалмошному Егору Ракнтнну, плясуиу н песеннику, который мечтает иа воле выучнть «расчудесиую книгу» — «Братья-разбойники» Пушкииа. Даже в парашнике Яшке Тарбагаие — этой тюремной «траве без названья», найдена «искра»: в его голове «постояиио броднла мечта о воле».

Вера автора в светлые стороны человеческой натуры простых людей сказалась в создаини нм трогательных женскнх образов, от которых веет глубокнм драматнзмом (Авдотья Фнногеновиа, Аина Аркадьевиа, Настя Буреикова, Пелагея Концова, Юзефа, Енталэ, Таня, Елена). Эту особениость отметнла н крнтика, подчеркиув «удивительиую чистоту и целомудреииость отношеиий поэта к женщние — другу, к женщиие — матерн н сестре». Глубоко волнуют психологически тонко напнсаниые Якубовичем образы детей (Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, Рухеию Боруховнчн, Кася Мусяла, Кеша Ракитнн).

Якубовнч верит в перерождение «преступной душн» и считает, что для этого иужиы ие «авторнтет кулака», ие проповеди миссиоиеров, а кореииое изменение социальиых условнй. Чтобы бороться с преступиостью, прежде всего необходнмо дать «народу работу н кусок хлеба» — таков вывод автора.

В связи с проблемой перевоспитаиия «отверженных» в кинге остро поставлен вопрос о ролн каторжиого труда. Отношение к подиевольному труду, который был методом наказаиия, мучнтельства н калечения людей, было проникнуто у каторжинков нескрываемой иенавистью. На каждом шагу онн ловко воднли за иос надсмотрщиков, умели «тяиуть волынку», хотя н зиали, как иадо работать, еслн эта работа сверх каторжного «урока» хоть мниимальио оплачнвалась горным ведомством.

Якубович подметил, что безвозмездный каторжный труд, который заключеиные воспрнннмали как «даровую работу на баринадовую», особенно развращает н ожесточает арестантов. Вместе с тем жажда свободного труда «на воле» пробуждает стихийное стремление

отверженных к совместным действиям (помощь товарищам в побеге, выступление против Лучезарова).

* * *

«В мире отверженных» — не только книга об уголовной каторге, но и волнующий рассказ о политических ссыльных. С любовью и художественным тактом написаны образы политических — Ивана Николаевича, Башурова, Штейнгарта. Их деятельность пробуждала стихийные стремления заключенных отстоять хотя бы немногие права, которые цинично и безнаказанно попирались администрацией каторги. Политическим удалось своими силами организовать медицинскую помощь, обучение неграмотных; в столкновениях с «начальством» они выступали подлинными защитниками обездоленных.

Образ Ивана Николаевича, от имени которого ведется рассказ, занимает в книге наиболее значительное место. С первых же страниц читатель понимал, что Иван Николаевич — «политический», а не осужденный за убийство из ревности, о чем упоминалось в предисловии, рассчитанном на цензуру. Якубович убедительно просил в отдельном издании «обойтись совсем без отводящего глаза предисловия à la Достоевский». * Автор подчеркивает прежде всего политические симпатии и стремления Ивана Николаевича. С большим волнением он рассказывает о трагической участи революционного поэта М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышевского, о могилах польских повстанцев 1863 года. Во время работы в шахте в его воображении возникают образы декабристов, томившихся до него «в каторжных норах». Он с любовью цитирует стихи Тараса Шевченко, сравнивает себя с Кротом из поэмы Некрасова «Несчастные» и т. д. Все эти места вычеркивались или смягчались цензурой.

Наконец, весь нравственный облик Ивана Николаевича, его просветительская деятельность среди уголовных говорили о том, что это человек «совсем особого рода», «без кривизны» — «политический».

Среди уголовных типов Иван Николаевич социально и духовно одинок, хотя, в отличие от Достоевского, отношения с каторжниками с самого начала у него установились в основном дружеские. Преследуя цель полного разобщения политических, устранения возможности взаимной поддержки, царское правительство распределяло их среди уголовных, рассылая народовольцев, в отличие от декабристов, не в одну, а разные каторжные тюрьмы. Однако и здесь, без панибратства и заигрывания, Иван Николаевич нашел путь к сердцам

* Письмо А. И. Иванчину-Писареву от 25 февраля 1896 года (Институт русской литературы Академии наук СССР).

каторжиых. «Миколанчу» оии поведали свон думы и ие ошиблись. Любовь автора к «отверженим», «не была только красивым порывом, но была любовью деятельной, любовью, ие знавшей прегрвд, не боявшейся жертв» — писвла большевистская «Звезда».

Иван Николаевич — ие автопортрет Якубовича, хотя многие черты его нравственииого облика, несомиенно, близки автору (товарищество, гуманизм, умеине понять внутренний мир отверженных, тонкое чувство прекрасного). Одиако писвтель стремился создать типичный обрвз передового современника, человека революционной народнической складки, который и в жестокнх условиях каторжной тюрьмы, среди одичалых и озлобленных уголовников не сломнлся н не растерял качеств «народиого заступника». Подчас в вврторском повествоваиии писатель как бы подменяет рассказчнка. Это связывает литературного героя кннги — «современникв» с живой и коикретной личностью поэта-народовольца, заставляет чнтвтеля угадывать его задушевные мыслн, чувства и настроения.

Некоторые черты своей личиой биогрвфии и факты нз жизни блнзких ему людей Якубович использовал, работая над образами другнх «политических». Так, в нсповеди Штейнгарта отразнлись некоторые факты личных отношений писателя со своей невестой Р. Ф. Франк. Эпнзод приезда Танн (в ней улавливаются черты сестры писателя — М. Ф. Якубовнч) напоминает встречу Якубовнча с Р. Ф. Фраик в Гориом Зерентуе.

Нельзя соглвситься с высказвнным в критнке мнением (М. Янко, Д. Якубович), будто в образе Иваиа Николаевичв ие отразились черты политнческого борца н революционного поэта. Это необоснованиый упрек. На каторге герой Якубовича ие отказался от активной революционной борьбы, ио изменнл ее формы. В остроге для него были закрыты все пути для открытой политической пропагаиды, так как иеграмотные арестаиты путвли слово «ндеал» со словом «дьявол», в «ученик» со словом «учитель». Поэтому его Иван Николвевич изменяет твктнку борьбы, выдвигая на первый план проблемы просвещения, связывая моральные вопросы с звдачами освободительного движения.

Сама темв кврторги, выдвигая вопрос о социальной прнроде «преступления и наказания», подсказывала постаиовку этнческих проблем, но философское и художественное решение их в кннге отличалось от концепций Л. Толстого и Достоевского. В решении этих проблем у Якубовича не было намека на возрождающую силу релнгии или внезапиое духовное «воскресение» героев (Раскольннков, Нехлюдов). Мировоззренне Якубовнча формировалось под воздействием гуманнстических идей революцнонных просветителей. В 1898 году в полемнке с декадентвмн он утверждал, что с юных лет он

«*воспитался* на Белинском и его художественных идеях».* По мнению Якубовича, русская литература «не знает ничего более сильного и энергичного», чем знаменитое «Письмо Белинского к Гоголю», «которое, будучи вместе с тем и письмом к русскому обществу, сыграло такую крупную роль в истории его самосознания...» **

Очень высоко ценил Якубович этическую программу великих революционных просветителей 1860-х годов — Чернышевского, Добролюбова и Некрасова. Писатель глубоко и органично впитал гуманистические традиции передовой русской литературы, самоотверженно защищавшей честь и достоинство человека.

Воинствующий демократический пафос нравственных идей Белинского и «шестидесятников» ощущается в произведении Якубовича и когда он с возмущением говорит о кошмаре «злых бесчеловечных порядков», и когда гневно выступает против телесных наказаний и защищает нравственное достоинство «отверженных», которые жаждут «мыслить и чувствовать по-человечески», и когда страстно разоблачает реакционные утверждения «верхов», будто народу «грамота даже вредна». В излагаемых на страницах книги взглядах писателя-народовольца на прогресс и просвещение народных масс оживают передовые традиции революционно-демократической мысли XIX века.

Книга Якубовича, продолжая демократические традиции русской литературы, многими своими положениями перекликается с идеями Белинского, с нравственными идеалами поэзии Пушкина и Некрасова. Писатель ставит в ней вопрос о демократическом нравственном идеале свободного человека, о моральном долге интеллигенции перед угнетенным народом, о неизбежной переоценке нравственных норм в борьбе за свободу и человеческое достоинство.

Писатель подчеркивает, что века рабства и гнета оставили свои тяжелые следы в духовном облике человека каторги и явились сильной помехой для возрождения «отверженных» к трудовой жизни. Тем не менее мораль уголовного каторжника, несмотря на всю свою уродливость, была открыто враждебна морали Лучезаровых и оказывалась порой более человечной. Как волновалась, например, тюрьма, узнав о приказе разорить сотни гнезд ласточек с птенчиками под крышей тюрьмы, потому что от них «сор на фундаментах». Арестанты признают, что они варвары, но «до такого варварства не доходили». Арестанты «тоже люди, хоть и убитые богом», — говорит Сокольцев. «Ссыльный — тоже человек», — подтверждает Годунов. «Я разве не человек?» — спрашивает еврей Борухович, и т. д. Под-

* «Русское богатство», 1898, № 8, стр. 112.
** Там же, стр. 107.

линная человечность «отверженных» сказалась также в отсутствии у них чувства национальной розни и антисемитизма. «Русская каторга абсолютно чужда всякой религиозной, а тем более расовой непримиримости. Вот народ... который знает лишь две породы людей — угнетателей и угнетенных», — таков вывод автора.

Идея обучать «отверженных», приобщить их к художественному слову возникает у Ивана Николаевича в первые же дни знакомства с заключенными, так как в каторжной тюрьме во многих камерах царила «поголовная безграмотность». В условиях каторги литература была едва ли не единственным средством борьбы с нравственным одичанием. Гуманная и свободолюбивая поэзия Пушкина и Лермонтова, мир образов Гоголя и Шекспира непосредственно воздействовали на впечатлительных, хотя и темных, безграмотных слушателей, приобщали их к нормальной духовной жизни общества, нравственно облагораживали их.

Слушая «с пожирающим интересом» чтение «Дубровского», «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» Пушкина, «Мертвых душ» Гоголя, «Отелло» и «Короля Лира» Шекспира, большинство каторжников «отдавалось настроению автора и получало те же впечатления, какие получают все нормальные читатели и слушатели». Знаменательно, что и в самой среде «учеников» Ивана Николаевича, безграмотных и темных каторжников, автор уловил искры подлинной поэтической одаренности. В книге широко отразилось устное народное творчество как одно из средств познания народной судьбы и характера. Якубович использовал различные жанры фольклора (песни, легенды, сказки, пословицы и поговорки, прозвища, меткие выражения). Приводя несколько народных песен, автор тонко передал манеру исполнения, особенности голоса и поведения исполнителей (Ракитин, Маразгали), воздействие их на слушателей. Тем самым Якубович раскрыл через песню душевные переживания каторжников, их талантливость, поэтическую восприимчивость, углубил их психологическую и национальную характеристику. Той же цели служило и использование автором лексических и фразеологических особенностей народного языка, интонационного склада народной речи. Языковое богатство книги без намека на стилизацию воспринимается как отражение многообразных народных характеров и быта.

Признавая необходимость просветительской деятельности, направленной на распространение передовых идей, Якубович понимал, что одного просвещения для преодоления ужаса каторги недостаточно. Он рассматривал свою «школу» на каторге лишь как одно из средств для пробуждения сознания, главное же, по мнению писателя — это изменение общественного строя, обрекающего народ на нищету и бесправие.

Однако в книге Якубовича отразились и некоторые утопические стороны народнического мировоззрения. Рассуждая о средствах изменения общества, Иван Николаевич развивал перед каторжниками мысль «о силе и власти просвещения». В его просветительской утопии ощущается влияние народнической теории «естественного прогресса». В своей книге писатель еще не мог поставить вопрос о роли пролетариата в революционно-освободительной борьбе. Но не эти слабые стороны идейно-художественного содержания «В мире отверженных» определяли пафос прогрессивной книги. Сблизившись с миром народных страданий на каторге и в ссылке, Якубович полнее ощутил историческую силу пробуждающихся народных масс. В образе богатыря Семенова, исступленно дробящего гранитные глыбы, Иван Николаевич увидел олицетворение проснувшихся народных сил и остро почувствовал свое «дворянское худосочие». Ему думалось в эти минуты: «Вот правдивый образ народа и интеллигенции! Как он могуч и как вместе с тем и слеп, этот несчастный труженик — народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция».

Иван Николаевич видит, как в каторжной массе накопились огромные силы, которые бурлили, бессильно ища выхода. Их пробуждению препятствовали не только условия тюремной изоляции, но и противоречивость нравственных понятий «отверженных». Анархическое бунтарство в среде заключенных уживалось нередко с равнодушием, пассивностью и даже рабским смирением. Отдельные попытки открытого протеста кончались неудачей: татарин Байдулов, выступивший против Разгильдеева, был «затоптан ногами», лезгин Шах-Ламас, бросившийся с ножом на Лучезарова, затравлен в карцере. В самой безысходной противоречивости настроений каторжной тюрьмы, в мучительных раздумьях автора над судьбами «отверженных» современный автору передовой читатель видел необходимость коренных социальных перемен, которые могли уничтожить не только варварски жестокий институт царской каторги, но и породивший его эксплуататорский буржуазно-дворянский общественный строй.

«В мире отверженных» — книга большого дыхания. Советский читатель с интересом прочтет ее и по достоинству оценит это выдающееся произведение революционера-народовольца, который, по словам большевистской «Звезды», «отдал себя целиком на служение Родине для счастья грядущего человечества».

Б. Двинянинов

В мире отверженных

В преддверии[1]

Бледные тени! Ужасные тени!
Злоба, безумье, любовь...
Едем мы, братец, в крови по колени! —
«Полно — тут пыль, а не кровь...»

Н. Некрасов[2]

Много лет довелось мне прожить в мире отверженных, и прожить не в качестве постороннего наблюдателя, а непосредственно участвуя во всех мелочах их жизни, лежа рядом на тех же нарах, питаясь той же омерзительной баландой, работая ту же работу, деля отчасти и умственные и нравственные интересы. Часто поэтому подмывало меня и до сих пор не покидает желание передать свои впечатления бумаге, поведать о них свету.

Правда, страшно браться за задачу, которая однажды была уже блистательно выполнена великим художником. Несмотря на то, что цели, которые я ставлю себе, очень скромны и я совершенно чужд претензии на художественность письма, мною все-таки овладевает невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о существовании «Записок из Мертвого Дома»: таково очарование гения...

Я долго колебался... И только мысль о том, что столько изменений произошло в этом мрачном мире со времен Достоевского, что его эпоха отделена от нас уже несколькими десятками лет, так многообразно отразившимися на всех сторонах и явлениях русской жизни,

а между тем не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли в каторгу, — одна только эта мысль побудила меня взяться наконец за перо и оттолкнуть все сомнения. Исполню свою задачу так, как позволят мои силы, не становясь на ходули и добиваясь одной награды — признания искренности.

Для начала попытаюсь изобразить путь в Сибирь по этапам, составляющий как бы преддверие мира отверженных. Насколько мне известно, никто еще достодолжным образом не описал в нашей литературе всех красот и прелестей этого невольного вояжа — к счастию, с проведением сибирской железной дороги[3] отходящего уже в область истории. Но, с другой стороны, спешу оговориться: читатель не найдет в этой части моих очерков непосредственного изображения арестантского мира. Будучи «политическим преступником», я ехал в каторгу с сравнительным комфортом — пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу и пр. Одним словом, я был в то время еще дилетантом-каторжником, только что начавшим знакомиться с новым своим положением; наблюдения мои неизбежно должны были отличаться поэтому некоторой поверхностностью и подчас прямой неверностью. Тем не менее я надеюсь, что и здесь могу сказать кое-что любопытное и неизвестное большой публике.

I

Начало своей каторжной жизни, как это ни странно, я помню очень смутно. Многое рисуется мне будто во сне, и за некоторые факты я не поручусь даже — точно ли они были в действительности или же только пригрезились мне. Это произошло оттого, конечно, что я был и физически и нравственно болен, хотя никому из врачей, свидетельствовавших меня, не приходило этого в голову. Я очень долго сидел под следствием, в тяжелом одиночном заключении, без книг, на одной казенной пище, в угнетенном душевном состоянии.[4] Особенно тяжелы были последние недели заключения, когда из далекой провинциальной глуши притащилась в столицу моя старая мать (какая-то добрая душа «обрушила

утес на ее грудь», сообщила ей обо всем). Она вся поседела и согнулась от горя, хотя за какие-нибудь три года перед тем я видел ее вполне бодрой, черноволосой еще женщиной — никто не давал ей на вид больше сорока лет. На свиданиях со мною она старалась казаться по-прежнему веселой и бодрой: наивная душа, она думала ободрить меня этим! Но я не мог не видеть ее опухших от слез и покрасневших глаз, не мог не улавливать по временам глубокой-глубокой грусти в ее ласкающем взгляде, не мог не догадываться, что она неустанно хлопочет, обивает пороги, кланяется, молит, плачет...

Ах, проклятые, проклятые дни!.. Сколько высосали вы крови из сердца, сколько влили в него яда, сколько отняли лучших сил... Мимо, мимо! Не хочу вспоминать... Одно скажу: страшно было последнее свидание с матерью. В тюремных снах я часто испытывал кошмары, но ни один из них никогда не мог сравниться с болью и ужасом нашего прощания!..

Расстались мы часа в три дня, а в шесть, как объявил мне смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню как сейчас, что́ я тогда испытывал. Кандалов я до тех пор не видел, как не видел и бритых голов; из книжных описаний тоже мог составить лишь слабое понятие, по той простой причине, что не имел надобности и охоты вникать в них. Все это я представлял себе совсем иначе и, нужно сознаться, гораздо хуже. Мне почему-то казалось, например, что, когда закуют в кандалы, уже нельзя будет свободно двигаться, и потому я спешил насладиться последними минутами свободы, торопливо расхаживая по своей маленькой клетке, позволявшей делать всего три шага в один конец. И вот наступила роковая минута; меня повели в баню — и там ошельмовали: обрили гладко-нагладко ровно половину головы (правую половину в продольном направлении) и заковали крепко-накрепко в десятифунтовые кандалы с железными кольцами, так тесно обнимавшими щиколотку ноги, что с трудом проходило между ними и телом нижнее белье. Через несколько дней у меня распухли ноги, так что принуждены были перековать меня в более просторные и легкие оковы. Впоследствии я убедился, что в Сибири, особенно Восточной, начальство в этом отношении снисходительнее: и на кандалы и на бритье там склонны глядеть как на устарелую и ни

к чему не нужную формальность. Партии сплошь и рядом идут раскованные, держа кандалы в мешках вместе с прочими казенными вещами; головы бреются тоже без особенного педантизма, а в каторжных тюрьмах часто и вовсе не бреются. Не то в России и в Западной Сибири. Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не мешали бежать и скрыться кандалы или бритая голова: обнаженный череп легко прикроет парик или даже просто шапка; любые кандалы можно разбить в пять минут, хорошенько ударив по кольцу дверью или поленом и разбив заклепки; иногда достаточно бывает и простого сплющения кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла через него. Серьезно мешают побегу только тюремные стены и конвой.

Кандалы и бритье головы, несомненно, имеют в виду одну только цель — надругание над достоинством человека, лишенного прав.[5] Не в столь отдаленную старину на лицах и плечах колодников выжигались каленым железом особые клейма, и до сих пор еще можно встретить в Сибири, в каторжных богадельнях и на поселении дряхлых стариков, имеющих эти ужасные печати. Но современное просвещение запрещает уже подобного рода варварство, находя его одной из разновидностей средневековой пытки; оставлены только кандалы и бритье голов... И нужно ли доказывать, что и это лишь своего рода уцелевший пережиток? Можно ли не жалеть, когда время от времени замечается на этот счет поворот в сторону реакции, издаются циркуляры о строгом и неукоснительном выполнении закона, и арестантам начинают снова по-настоящему брить головы и надевать на ноги оковы? Припоминая свой личный опыт, я могу, впрочем, сказать, что с этими последними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, нежели с бритьем: кандалы в значительной степени опоэтизированы преданием и народной песней, они являются в глазах арестантов своего рода почетом, а не поруганием... Совсем иное чувство испытываешь, глядя на приготовления солдата-цирюльника к своему отвратительному делу. Бритье головы, кроме нравственной муки, причиняет еще обыкновенно и чисто физическую боль: неумелые руки и тупые бритвы режут до крови кожу на голове, расцарапывают на ней мелкие прыщики, делают ссадины на естественных неровностях черепа... Кровь,

смешанная с обильно струящимся по голове грязным мылом, совершающий свою операцию равнодушный и безмолвный палач, гримасы и вскрикивания оперируемой им жертвы — все это превращает в подлинную пытку те минуты, когда приходится ждать своей очереди, чтобы быть так же ошельмованным и так же изувеченным. Не говорю уже о необходимости морозить потом голый череп во время ужасных сибирских холодов и схватывать, неизвестно чего ради, простуду, кашель и насморк.

Кандалы не раз уже были подробно описаны в русской литературе. На каждую ногу надевают по большому железному кольцу, настолько свободному, чтоб между ним и телом могло проходить белье, и настолько тесному, чтоб его нельзя было снять с ноги, и кузнецы наглухо заклепывают их. От этих колец идут две цепи, состоящие из маленьких колечек; они сходятся в одном более значительном кольце, к которому прикрепляется ремень, заменяющий арестантам пояс. Таким образом, самые цепи висят и при движении хлопают по ногам и ударяются друг о дружку — «бряцают», «лязгают». Кольца, надетые на ноги, вертятся и причиняют боль, для устранения которой служат кожаные «подкандальники» и «поджильники». В Восточной Сибири, где начальство не так педантично, как в России, и арестанты носят кандалы только для формы, кольца надеваются прямо на сапоги, и тогда никаких подкандальников и поджильников не нужно. Я давно уже не ношу кандалов и описать теперь достаточно ясно, пожалуй, не мог бы, как умудряются арестанты надевать на ноги белье и штаны в том случае, если кандалы не снимаются; однако хорошо помню, что как только явилась необходимость в этом, я отлично сообразил все без чужой помощи. Нужда научит калачи есть...

Еще хорошо запомнился мне день отъезда, или, лучше сказать, одна мучительная сцена, сопровождавшая этот отъезд. В этот день мать не пустили ко мне на свидание (прощание, как я рассказывал уже, происходило накануне, в день заковки). Рано утром меня посадили в закрытую карету и помчали на станцию железной дороги. И вот тут увидел я нечто необычайное, что положительно растерзало мне сердце. Подле самого окна быстро мчавшейся кареты я увидел дорогое лицо,

искаженное мукой нечеловеческих усилий казаться веселым; я подумал сначала, что брежу, галлюцинирую... Заглядываю в окно — и что же вижу? Моя мать — бедная, больная старуха — с раскрасневшимся лицом и выбившимися из-под шляпки жидкими прядями белых как снег волос бежит рядом с каретой; бежит, не слыша под собой ног и, видимо, не ощущая усталости, что-то говорит и делает рукой воздушные поцелуи... Бедняга! Она опоздала к тому моменту, когда меня сажали в карету, потому что с раннего утра бегала хлопотать о свидании (накануне ничего не могла добиться), и вот теперь ей хотелось искупить свой проступок («опоздала!») и еще раз проститься с бесконечно любимым сыном. Я махал ей в окно рукой (махал и сердитый охранитель мой), знаками умоляя остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще бежала она, пока наконец телесная немощь не одержала верх, и карета не умчалась навсегда! Тогда и я, помню, откинулся на спинку кареты и горько заплакал. Больше я не видел матери, да и никогда в жизни не увижу, потому что давно уже спит она вечным сном на одном из сырых кладбищ бездушного города. Но, уже находясь в Сибири, я получил от нее письмо, одно место которого неизгладимыми чертами врезалось в моей памяти и теперь еще жжет сердце горячей всякого огня, больней всяких слез.

«После нашего свидания у окна кареты, — писала она, — я взяла извозчика и поспешила на железную дорогу. Но я приехала туда, конечно, позже тебя, как ни погоняла злосчастного ваньку, и потому не могла увидеть тебя, когда ты выходил из кареты. На платформу меня не пустили, как я ни просила, как ни молила жандармов. Пробраться туда тайком также не удалось — за мной приказали следить. Что было делать? Я прибегла к новой хитрости. Сделав вид, что примирилась с судьбой и приняла решение уйти совсем, я, выйдя из вокзала, вместо того чтобы отправиться домой, прошла некоторое расстояние медленными шагами и потом, быстро изменив направление, побежала в поле, по рельсам, рассчитывая, что поезд будет проходить мимо меня и я, быть может, еще раз увижу милое личико... Действительно, мне удалось обмануть бдительность аргусов; но, должно быть, я очень уже далеко зашла в поле, и поезд промчался мимо с ужасающей быстротой, так что

ни одного лица я не могла различить. Но я утешилась мыслью, что хоть ты, быть может, видел меня... Я стала на возвышение, на камушек, и усиленно махала платком, пока проносилось черное чудовище».

Увы! я никого и ничего не видел... Я не смотрел в это время в окно, мне никуда не хотелось глядеть, даже в собственную душу, где было так пустынно, так темно... [6]

Дальше все рисуется мне в каком-то смутном и беспорядочном виде не имеющих между собой связи обрывков. К счастью — как я сказал уже — везли меня в особых условиях от уголовной партии, и на этапах вплоть до Иркутска я помещался в отдельной от нее камере, с политическими товарищами. Если бы не это, не знаю, как бы вынес я все трудности дороги в том болезненном состоянии, в котором в то время находился. На барже у нас была особая комнатка в каюте и особое крошечное отделение на палубе (конечно, тоже с решеткой), где можно было дышать свежим воздухом. От общей арестантской палубы оно отделялось простым парусинным брезентом. Помню, я очень любил сидеть на палубе, особенно ночью, и по целым часам вглядывался в темные берега Волги и Камы, бежавшие мимо. Помню, что эти уходившие назад берега казались мне собственным моим прошлым, невозвратными годами молодости, и часто, вглядываясь в темную даль, стоявшую позади, я вздрагивал при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передние же берега, закрытые брезентом, выдвигались только маленькими частицами, соразмерно с движением баржи вперед; эти берега отождествлялись в моем больном воображении с будущим, таким же, как они, неизвестным. Днем я лежал обыкновенно в каюте, забившись где-нибудь в углу, и на палубу выходил очень редко. Вот почему у меня не осталось ясных воспоминаний о роскоши и прелести волжских и камских ландшафтов, которыми так восхищаются все вольные и невольные туристы. Я любовался ими только ночью, при фантастическом освещении звезд или луны.

Среди моих спутников-интеллигентов, шедших в административную ссылку, я был один, осужденный в каторжные работы; вот почему я сравнительно мало ими интересовался, хорошо понимая, что нахожусь в их среде лишь как временный гость; гораздо больше занимал меня тот мир, что скрывался там, за брезентом, и вскоре

должен был стать родным мне... Хорошо помню, что долгое время я страшно идеализировал уголовных арестантов с их артельными нравами и обычаями. Они все рисовались моему воображению какими-то Стеньками Разиными, людьми беззаветной удали и какого-то веселого отчаяния... Среди маленькой кучки интеллигентов кандальный звон раздавался как-то жидко и прозаично; но там, за парусинным брезентом, где двигались сотни ног, звон этот имел в себе что-то музыкальное, властное, чарующее... Целые века слышала этот звон матушка Волга; в нем была передающаяся из рода в род поэзия, стихийная, безыскусственная... Там страдают без гнева, без жалобы и надежды, страдают, зная, что так и нужно, что иначе и невозможно: «Не взяла моя — значит, меня бей; а коли я опять сорвусь, так уж вы не прогневайтесь!..»

Особенно такие чувства вызывали во мне эти неведомые арестантские массы, когда по вечерам собирался их могучий хор и далеко по Волге разносились, под музыку цепей, дикие напевы, где слышалась то бесконечная грусть, то вдруг опять бесшабашная отвага и удаль.

Полно, брат мо́лодец,
Ты ведь не девица,
Пей, пей — тоска пройдет!

Первая моя попытка ближе подойти к этому поэтическому миру едва не стоила мне однако — чего бы вы думали, читатели? — глаза!.. Однажды под вечер, выйдя на палубу, я подошел к самому брезенту и прислушивался к несвязному шуму и говору, доносившимся из большого отделения. Вдруг я заметил в одном месте парусины небольшое прорванное отверстие, к которому и поспешил припасть глазом, чтобы ознакомиться с неведомым мне миром. Но не успел я хорошенько рассмотреть море бритых голов и всевозможных фигур современных Стенек Разиных, как чья-то грубая рука ткнула пальцем в мое импровизированное оконце, и я только очень быстрым прыжком в сторону успел спасти любознательную часть своего тела. Больше я уже не осмеливался подходить к отверстию; это было первое мое разочарование в этих людях, среди которых предстояло мне столько лет жить, первое свидетельство того, какой кромешный ад тьмы и ненужной злости, бессмыс-

ленной жестокости представляет этот таинственный мир, как он чужд мне и как много я должен буду выстрадать, живя с ним одной жизнью...

В Тюмени я впервые увидел лицом к лицу огромную партию арестантов на перекличках, происходивших во дворе тюрьмы. Боже! Каких только лиц тут не было — от самых симпатичных и мыслящих до самых отталкивающих и звероподобных; каких не было национальностей, каких имен! В особенности характерны были имена бродяг, составлявших почти половину всей партии. Иван Пострадавший, Петр Потерпевший, Семен Много горя видел, Хвостом на гору, Махнидралов, А я за ним, Непомнящий тридцати двух лет, и так далее, и так далее в том же роде. Любимыми также фамилиями были: Алмазов, Бриллиантов, Львов, Орлов, Соколов, Бурин, Ветров, Скобелев, Гурко и тому подобные громкие и гордые имена.

Но, собственно, только с Томска я начинаю помнить дорогу и все ее впечатления довольно живо и отчетливо. Однако спешу еще раз напомнить читателю, что ехал я хоть и вместе с партией, но жил отдельной от нее жизнью. Я имел свою подводу, отдельное «дворянское» помещение, пользовался сравнительным спокойствием и комфортом. В довершение всего конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью. Повторяю, что в это время я был лишь дилетантом-каторжником и если при всем том дорога была для меня сплошным кошмаром, то я боюсь даже и подумать о том, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении. [7]

II

Прежде всего — что такое этапный путь?

Представьте себе по всей линии бесконечного сибирского пути, который тянется от Томска до Сретенска (средоточия Нерчинской каторги), то есть на пространстве трех тысяч верст, разбросанные в двадцати — сорока верстах друг от друга огромные, мрачные здания с решетчатыми окнами, большею частью ветхие, осунувшиеся, веющие холодом, одиноко стоящие где-нибудь в поле или на краю села, в стороне от большой дороги.

Это и есть так называемые этапы — дорожные тюрьмы, в которых отдыхают и ночуют утомленные партии. Точнее выражаясь, из двух таких тюрем одна, поменьше, зовется полуэтапом и только другая, побольше и почище, — этапом; при последнем находятся казармы для местной команды солдат, конвоирующих арестантов, и квартира для офицера, неограниченного хозяина на пространстве двух и даже четырех подобных тюрем. На полуэтапах партия только ночует, утром следующего дня снова трогаясь в путь; придя на этап, она проводит следующий день в отдыхе, называемом поэтому «дневкою». Таким образом, каждый третий день проходит в бездействии, и этим движение партии, и без того небыстрое, страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство от Томска до Красноярска (500 верст) проходится в месяц времени, от Красноярска же до Иркутска (1000 верст) в два месяца!.. Но уничтожить дневки и вообще двигаться быстрее при тех же условиях — тоже немыслимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощенные долгим тюремным заключением и обремененные цепями, в своей тяжелой обуви и ветром подбитых полушубках, все, кроме положительно больных и увечных, идут пешком, и проходить в день больше тридцати верст круглым счетом, без отдыха через два дня в третий, были бы положительно не в состоянии.

Не могу не сказать тут же несколько слов об арестантской одежде. Сибирская администрация, ближе знакомая с климатическими и другими местными условиями, глядит сквозь пальцы на присутствие у арестантов в дороге собственных вещей. Я не говорю уже о том, что, помимо практических соображений, и простая справедливость требует менее строгого и формалистически-жесткого отношения к арестантам, находящимся в пути, только что начавшим свое многострадальное каторжное поприще и окруженным всевозможными неудобствами и лишениями; другое дело — после прибытия на место назначения, где жизнь имеет прочные устои, идет по раз установленной колее. В России чиновники не руководствуются, к сожалению, ни отвлеченными, ни практическими соображениями и неукоснительно следуют букве инструкций. В Москве у меня отобрали *все свое* и отправили в дорогу в одном казенном одеянии, отняв даже иголку и нитки, и мне пришлось страшно зябнуть,

простужаться и вынести много не нужных ни для кого лишений и страданий. Казенные вещи не приспособлены ни к переменам погоды и климата, ни к особенностям отдельных индивидов; все подведено под один ранжир — и рост, и здоровье, и привычки, — тело, как и душа. Так называемые, например, наушники казенной шапки оказались пришитыми таким образом, что лежали у меня на спине, точно я был заяц, а не человек; ноги мои, завернутые в жиденькие холщовые онучки, тонули, как в бездонных бочках, в броднях-левиафанах,[8] и я не мог в них ходить по-человечески; напротив, узкие брюки с трудом натягивались на ноги и немилосердно поролись по всем швам, треща при малейшем неосторожном движении...

Обыкновенно на партию в четыреста человек, имеющую при себе столько же пудов багажу и изрядное количество стариков и больных, дается тридцать — сорок подвод, половина которых идет под багаж («бутор») и отправляется в путь рано утром, еще до выступления партии. Остается около пятнадцати подвод для больных и слабых. Ямщики пускают на каждую подводу четырех и только после большой перебранки пять человек. Большинство мест занимается такими больными, право которых на сиденье никто не смеет оспаривать, и только очень немного вакансий остается для слабосильных, не могущих пройти пешком всю 25—40-верстную дорогу. Эти места берутся буквально с бою, и часто видишь, как бежит сзади телеги какая-нибудь беспомощная, жалкая личность, тщетно умоляющая «дать посидеть» ей, а на телеге возвышается между тем нахальная фигура здоровенного детины, сильного кулаком, горлом и именем бродяги. Нужно прибавить к этому, что распоряжение свободными местами на подводах составляет одну из статей дохода артельного старосты.

Бродяги вообще являются сущим наказанием каждой партии. Это люди по преимуществу испорченные, не имеющие за душой, что называется, ni foi, ni loi,* но они цепко держатся один за другого и составляют в партии настоящее государство в государстве. Бродяга, по их мнению, высший титул для арестанта, он означает человека, для которого дороже всего на свете воля,

* Ни чести, ни совести *(франц.)*.

который ловок, умеет увернуться от всякой кары. В плутовских глазах бродяги так и написано, что какой, мол, он непомнящий! Он не раз, мол, бывал уже «за морем», то есть за Байкалом, в каторге, да вот не захотел покориться — ушел!.. Впрочем, он и громко утверждает то же самое, в глаза самому начальству.

— Который раз идешь, борода? — спрашивает какой-нибудь офицер с добродушно-фамильярной усмешкой.

— Пятый раз, ваше благородие, — отвечает борода, становясь в солдатскую позу, — два раза за море ходил, два раза в Иркутскую, да вот теперь в Енисейскую.

— Смотри, мошенник, в шестой раз пойдешь — уличу!

— Рад стараться, ваше благородие, — отшучивается мошенник, — авось, к тому времю и вы повышение в чине получите — в Якутскую переведетесь.

Партия хохочет, офицер в смущении отходит в сторону.

— Что вы с такими бестиями поделаете? — обращается он в сторону интеллигентов.

Каторжная часть партии, особенно в Западной Сибири, где бродяги составляют большинство, находится обыкновенно в загоне; их меньше, они бесправнее, запуганнее, на них как бы по преимуществу лежит печать отвержения, даже с арестантской точки зрения: не сумел, мол, выкрутиться! А то и еще хуже: за сухари продал себя!.. Уважением пользуются только «вечные» да те, про которых наверно знают, что они уже не в первый раз идут и опять сумеют «сорваться». Но вообще каторжная часть партии по преимуществу зовется презрительным именем «кобылки» (сибирское название саранчи) и «шпанки» (стадо овец). Положительно отказываешься порой верить тому, что рассказывают о проделках бродяг в тюрьмах и по дороге, а между тем не верить нельзя — это неприкрашенные факты. Бродяги — царьки в арестантском мире, они вертят артелью как хотят, потому что действуют дружно. Они занимают все хлебные, доходные места: они — старосты и подстаросты, повара, хлебопеки, больничные служители, майданщики, они все и везде. В качестве старост они недодают кормовых, продают места на подводах; в качестве поваров крадут мясо из общего котла и раздают его своей

шайке, а несчастиую кобылку кормят помоями, которые не всякая свинья станет есть; больничные служители-бродяги морят голодом своих пациентов, обворовывают и часто прямо отправляют на тот свет, если это оказывается выгодным. Узнав, что у кого-ибудь из кобылки есть деньги, зашитые в «ошкуре» (в поясе), они подкарауливают его в уединенном месте, хватают среди белого дня за горло и грабят. Делают еще более нахальные вещи. На виду у сотни арестаитов какой-нибудь «Иван», одетый в красную рубаху и побрякивающий двумя-тремя серебрушками в бездониом кармане шаровар, присосеживается к чужой жеие, начинает обнимать и целовать ее на глазах у мужа и, если тот протестует, с помощью товарищей избивает его до полусмерти, а жену берет себе уже по праву победителя. Хорошо организованная «бродяжня́» помещается всегда на нарах. Староста-бродяга, по обычаю впускаемый в этап раньше всех, еще до окончания поверки, занимает для своих товарищей лучшие места, а каторжная кобылка ютится большею частью под нарами, на голом полу, в грязи, темноте и холоде. Впрочем, в последнее время бродягам, слышно, сломили рога. Больше всего подкосил их Сахалин, поглотивший в свои недра тысячи беспаспортного люда; сыграли роль и вообще более строгие узаконения относительно бродяжества. Прежде бродяг судили на поселеие, где бы их ни арестовывали, но с 1878 года на поселение судят только арестованных в российских губерниях, а всех остальиых — в каторгу.* Из каторги же сотни и тысячи пересылаются на Сахалин. Ряды бродяг сильно стали редеть — особенно бродяг старых, закалеиных в боях, строго следивших за неуклонным соблюдением старииных арестантских закоиов. К этому нужно прибавить, что тюремные условия изменились: иачальство иачало вмешиваться в артельные порядки арестантов, в их интимную, внутреннюю жизнь, став при этом решительно иа сторону каторжан; во многих тюрьмах бродягам прямо запрещено занимать какие бы то ни было артельные должности. Стала и каторжная кобылка поднимать голову. В томской пересыльной тюрьме, где собирается иногда до трех

* Вот почему мечта всякого беглого каторжника — арестоваться не ближе как в Шадрииске (Пермской губ.). *(Прим. автора.)*

тысяч арестантов, несколько раз происходили страшные избиения бродяг. В одной такой бойне (в середине 80-х годов) их было убито и изувечено, говорят, до пятидесяти человек. Новый дух, проникающий в тюремный мир, производит общее разложение и падение старинных арестантских обычаев и нравов. Много исчезает симпатичных, но еще более безобразных сторон. Сухарника (сменщика), изменившего своему договору, прежде обязательно «пришивали», если не в одной, так в другой тюрьме; убивали также того, кто «засыпал» (уличил) товарищей по делу, всех «язычников» (доносчиков). В той же томской тюрьме в прежние годы чуть не каждую ночь случались убийства, и из тюремного колодца нередко вытаскивали трупы пропавших перед тем без вести арестантов. По всему тюремному миру, начиная от Киева вплоть до Владивостока, ходили, бывало, «записки», указывавшие на преступление какого-нибудь арестанта против обычного права и настаивавшие на его «прикрытии». Существовал даже арестантский закон — казнить смертью «язычника» по получении на его счет *семи* подобных записок...

Теперь бродяги начинают вести себя смирнее и, когда видят неустойку в словесной стычке с каторжными, только скрежещут зубами и говорят, отходя прочь: «Не те времена... Новый род!»

Возвращаюсь к своему описанию этапного пути.

У нас, политических, как я сказал выше, было свое отдельное помещение, хотя нередко очень горькой ценой доставалось оно. Этапы построены не все по одному плану, и каждый раз, подъезжая к месту отдыха, мы принуждены были волноваться и гадать о том, что ждет нас в сегодняшнем месте покоя. Если нам давали отдельную каморку, хорошо натопленную и с особым коридором, мы говорили, что попали сегодня в рай. Но очень редко встречалось соединение того и другого достоинства. Иногда нам давали помещение с отдельным ходом, но зато в таком холоду, что зубы не попадали один на другой; в другой раз давали теплую камеру, но без отдельного коридора, и тут же, за нашим порогом, гремела и ревела стоголовая шпанка, слышалась отборная ругань, раздавался адский концерт осипших от натуги голосов и бьющих по нервам цепей. В нашу дверь то и дело заглядывали враждебные лица, бритые голо-

вы; если кому-нибудь из нас приходилось выйти на открытый воздух, нужно было проходить через несколько камер, где помещались арестанты, валяясь и под нарами и прямо на грязном полу, на дороге, нужно было шагать через их мешки, через их ноги. А у нас были женщины, молодые девушки... Даже и то обстоятельство, что последним приходилось ночевать в одной камере со своими же товарищами-мужчинами, доставляло им немало страданий и мучений всякого рода. Нужно было менять белье, хотелось хорошенько умыться (что было просто необходимо при нескольких месяцах пути по грязным, отвратительным этапам) — и не находилось укромного уголка, куда можно было бы скрыться от посторонних глаз. Общие старания товарищей импровизировать разные ширмы и занавески могли, конечно, лишь в малой степени скрасить и облегчить тяжесть этого положения. Здесь я подхожу к одному пункту моих воспоминаний, который и теперь еще леденит мне душу. Я говорю о ретирадных местах, об их ужасающей грязи — и пусть бы только грязи! Главное — о невыразимо бесстыдных условиях, всей своей тяжестью падающих прежде всего, разумеется, на женщин. Местное начальство, повидимому, глядит на всех уголовных каторжных женщин как на потерянных и потому не заботится о них больше, чем о мужчинах. Насколько справедлива такая точка зрения, не знаю. Лично я — это правда — не встречал ни одной каторжанки из уголовных, которая не была бы на содержании у одного какого-нибудь ивана или у всех арестантов единовременно. Но вопрос в том, не доводят ли женщину до такого падения самые условия тюремной и дорожной жизни? Неужели же все женщины, попавшие в каторгу, уже и раньше были потеряны? Наконец, оставляя в стороне каторжанок, вспомним, сколько идет в каторгу добровольных жен, сестер, матерей, дочерей, о предварительной развращенности которых вряд ли кто станет говорить. И все они должны жить в тех же омерзительных условиях... Мне скажут, что семейные партии идут отдельно от холостых. Но это одна отговорка. Именно семейные-то партии и представляют сплошной организованный разврат. Из кого они состоят? Из нескольких десятков «холостых» женщин и нескольких же десятков семейств, то есть мужей, жен, подростков и детей. Все это спит вповалку в одной

камере. За дверью камеры, в коридоре, стоит большой чан, знаменитая сибирская параша, около которой толпятся мужчины и женщины, без всякого стеснения совершая естественные надобности. Ко всему этому надо прибавить развращенных и развращающих солдат, которые даже после поверки, когда арестанты должны быть заперты в своем помещении, тайком от начальства десятками вламываются в камеру, где происходит в течение всей ночи невообразимая оргия. Крики, визг, хохот, беззастенчивый торг, поцелуи, циничные шутки — все на виду, все открыто... И так идет изо дня в день, из этапа в этап, иногда в продолжение целого года и больше — и при этих-то условиях смеют бросать камнем презрения в девушку или женщину, не сохранивших своего целомудрия!..

Особенно солдаты конвойных команд вносят в арестантскую среду страшный разврат; они же сеют и всевозможную физическую заразу. Сибирский солдат, идущий «конвоировать» холостых женщин, смотрит на эту обязанность как на веселый пикник с рядом занимательных интрижек. Никакой дисциплины, никакой заботы! Сидит себе на подводе, бросив ружье и обнимаясь с каторжными прелестницами, орет во все горло песни, срамословит и знать ничего больше не хочет! Ночи проводит в попойках и разврате, а потом, с угаром в голове и пустотой в кармане, возвращается в казарму, на свой этап, до нового такого же путешествия... Вот его жизнь. Можно себе представить, какой образцовый семьянин должен выйти из такого воина по окончании срока службы в конвойной команде. Впрочем, не лучше бывали в мое время и некоторые из этапных офицеров: по крайней мере не раз слыхал я о случаях покупки ими невинных девушек у родителей-арестантов и о других не менее достохвальных деяниях.

В мое время политическим женщинам, как пользующимся отдельным помещением, дозволялось идти, по желанию, и при холостой уголовной партии, но в последние годы (вероятно, по соображениям нравственного характера!) вышло, говорят, предписание отправлять их исключительно с семейными. Могу сказать одно, что в холостых мужских партиях нет и тени того безобразия, того откровенного цинизма и распущенности, какие пришлось наблюдать мне в партиях семейных... Ничего

ужаснее не могу себе представить, как положение образованной женщины среди подобных условий. Нечистые руки разврата не прикоснутся, разумеется, к ней самой, но уже одна необходимость все видеть и слышать делает ее поистине мученицей! А еще, быть может, тяжелее крест любящего мужчины, жениха или брата, который зорко следит за бушующей вокруг заразой, употребляет все усилия смягчить удушливость окружающей атмосферы, создать более или менее человеческие условия жизни, и часто видит и чувствует, что беспомощен, бессилен что-либо сделать! У меня не было в этом круге никого родного и милого, ни одной близкой мне женщины, и тем не менее я испытал все эти чувства, пережил все эти мучения...

Настает вечер. Солдаты делают поверку и приказывают внести в камеру парашу. Мы протестуем, говорим, что у нас женщины. После долгих переговоров с ними и с офицером старший решается наконец не запирать камеры, а парашу поместить в коридоре. На одном из этапов, помню, вышла целая история из-за того, что офицер, согласившись на помещение параши в коридоре, хотел тем не менее поставить около нее часового... Трудно сказать, чего здесь было больше — наивности или злостности! Подобные вопросы возникают на этапах ночью, но и днем немногим лучше. На несколько сот человек, среди которых есть образованные женщины и всевозможного рода больные, существует одно только ретирадное место, содержимое большею частью в невообразимой грязи и мерзости... Но довольно об этом. Остальное можно дополнить воображением. Несколько слов прибавлю лишь относительно арестантских ругательств. Нигде не слыхал я такой гнусной, такой отвратительной, звероподобной брани, какую впервые услыхал в Сибири среди арестантов, солдат и свободных жителей — ямщиков. Неизвестно, кто из них у кого позаимствовался; правдоподобнее, быть может, думать, что такой изысканный, художественный в своем роде язык мог создаться только в тюрьме. Повторяю: ни от одного мужика в России ничего подобного не слыхал я... Там также процветает отборная трехэтажная ругань; над всей русской землей, по выражению сатирика, стоном стоит: «мать! мать!» Но только в тюрьме, только в Сибири ругань эта доходит до виртуозности своего рода,

до самых тонких оттенков и самой реальной пластики. В России несчастная «мать» вся целиком служит объектом изливаемых на нее помоев ругателя; в Сибири она разбирается по косточкам, по мелочам, и каждая маленькая часть в отдельности шельмуется и подвергается надругательству: печенка, глаз, сердце, кровь, ребра, душа, жизнь — все является предметом дикой злобы и самой бессердечной ненависти! Этого мало: истинные художники брани идут дальше и приплетают к «матери», совершенно уже без всякого смысла, слова вроде «закона», «веры» и самого «бога» — ругательства, которые при всем своем бессмыслии звучат не менее гнусно и омерзительно.

В первое время я положительно содрогался, слушая эти ужасные богохуления; мне было в буквальном смысле слова больно, как от ударов ножа или плети. В настоящее время я отношусь к ним, конечно, равнодушнее, но и теперь не могу еще без ужаса вспомнить, что все это, решительно все должны были выслушивать и молодые девушки, образованные, с тонким вкусом, с нервной организацией, с чуткой и нежной душой...

И неужели найдется кто-нибудь, кто не поймет меня, посмеется над моими словами? [9]

III

Большинство арестантов, при которых нет особых бумаг и предписаний, задерживается в центральных этапных пунктах (в Томске, Красноярске, Иркутске) иногда на полгода, на год и даже на более продолжительное время, пока не запишут их в партию. Путешествие до места назначения нередко продолжается, таким образом, от одного года до трех лет. Семейным и мастеровым, конечно, это выгодно, потому что дорожная жизнь несравненно вольготнее каторжной: такие цепляются за каждый случай, дающий возможность продлить дорогу, и часто, являясь на место назначения, уже имеют право на выход в вольную команду, так что и не сидят почти в каторжных тюрьмах. Другое дело — одинокие и не знающие никакого прибыльного мастерства: тем надоедает дорога, и они сами молят начальство поскорее записать их в партию. Но всего мучительнее этот путь

для так называемых «обратников», то есть окончивших свои сроки каторги и идущих на поселение. Они движутся еще медленнее: там, где партия, идущая вперед, отдыхает всего один день, обратная сидит порой целую неделю.

Так как самые ранние партии выбираются из России не раньше половины мая, то путешествие по сибирским этапам выпадает для большинства на осенние и зимние месяцы, когда ко всем прочим страданиям и лишениям присоединяются еще грязь, холод, дожди, вьюги, морозы. Попробую описать типичный дорожный день.

С раннего утра (на дворе едва еще брезжит свет) кобылка уже поднимается на ноги; гром, звон и перебранка раздаются за нашей стеной. Арестанты ложатся рано, но поднимаются еще раньше; некоторые, выспавшись днем, и совсем не спят, напролет всю ночь играя в карты. Спросите их: почему они так спешат на следующий этап? Они и сами не знают. Они и сами говорят про себя: «Кобылка всегда торопится, как будто там отец с матерью ждут нас».

Нередко у нас выходили по этому поводу неприятности. Офицеры и конвой относились к нам большей частью вежливо и даже предупредительно: мы имели свои подводы и с частью конвоя могли отправляться в путь долго спустя после ухода главной партии. Мы догоняли ее, потом обгоняли и первыми являлись на следующий этап. Но иногда случалось, что офицер, имевший какое-нибудь столкновение с предшествовавшей нам партией политических, требовал, чтобы мы ни на шаг не отставали от остальных арестантов — одновременно выступали в поход и одновременно же являлись на этап. Если мы, не узнав накануне о характере офицера, долго сидели вечером, болтали, читали — тогда поутру выходили неприятные сцены. Шпанка уже выстроилась и готова тронуться в путь, а мы только встаем еще, торопимся умыться, одеться, собрать вещи... Шпанка бушует, ругается, жалуется, что из-за «паршивых дворянишек» ей приходится мерзнуть... И добро бы еще предстоял большой и трудный станок, когда желательно прийти на место до сумерек. Нет, часто никаких подобных резонов не приводится: будь станок всего 16—20 верст, кобылка все равно торопится!..

Но вот все сборы кончены. Кобылка помчалась сломя голову. Только звон стоит по дороге, сани с больными и слабыми едва успевают следовать. Есть настоящие виртуозы ходьбы, особенно из бродяг, которые по принципу всегда идут пешком, если бы даже и была возможность присесть. Такие всегда впереди партии: впереди легче и «способнее» идти.

Бегут — едва дух переводят, так что привыкшие к ходьбе солдаты — и те еле поспевают. Прибежали на место совсем рано.

Вот остановились в некотором отдалении от этапа или полуэтапа, выстроились в две шеренги в ожидании поверки. Около тюрьмы ставятся часовые. Фельдфебель пересчитывает арестантов, и тотчас же после того с диким криком «ура» они летят в растворенные ворота занимать места на нарах. Происходит страшная свалка и давка. Более слабые падают и топчутся бегущей толпой, получая иногда серьезные увечья; более дюжие и проворные, усердно работая локтями и даже кулаками, протискиваются вперед и растягиваются во весь рост поперек нар, стараясь занять своим телом как можно больше места и успевая еще кинуть вперед себя халат, кушак или шапку. Таким образом случается, что один подобный ловкач займет несколько сажен места; раз брошена на нары хоть маленькая веревочка, место это считается неприкосновенным. Тут прекращается всякая борьба — таково обычное право. Непривычный и слабонервный человек не мог бы, я думаю, испытать большего ужаса, как, стоя где-нибудь в углу коридора, в стороне от дверей, ведущих в общие камеры, слышать постепенно приближающийся гул неистовых голосов, рева, брани и драки, бешеный звон кандалов, топот несущихся ног: точно громадная орда варваров идет на приступ, идет растерзать вас, разорвать в клочки, все разгромить и уничтожить! Все ближе и ближе... Вот ворвалась наконец в коридоры эта ужасная лавина: дикие лица, искаженные страстью и последним напряжением сил, сверкающие белки глаз, сжатые кулаки, оглушительное бряцанье цепей, яростная ругань — все это, кажется, мчится прямо на вас. Зажмурьте глаза в страхе... Но вот бешеный поток толпы повернул направо, в дверь камеры, и слился в один глухой рев, в котором ничего нельзя разобрать. За первой волной несется вторая, третья, и

наконец почти уже шагом плетутся, с проклятиями и бранью, самые отсталые, отчаявшиеся захватить место наверху и принужденные лезть под нары... Мы тоже плетемся в отведенное нам помещение, озабоченные, полные мрачных предчувствий...

Входим в камеру; тускло светят решетчатые окна, неприютно глядят высоко построенные нары, на которые и залезть-то трудно: под потолком теплее, меньше дров выходит на топку печей. Брр! как холодно... От дыхания пар так и валит столбом по камере. Бросаемся к стоящей в углу чугунке — не топлена; даже и дров нет. Разыскиваем сторожа (так называемого каморщика), обязанность которого топить печи к приходу партии.

Мрачный, антипатичный старик.

— Не ждали сегодня партии, — оправдывается он. Врет, конечно.

Кто отводит душу перекорами с ним; более благоразумные, не долго думая, отправляются сейчас же за дровами. Шуб между тем никто не снимает; все стараются согреться ходьбою по камере и топаньем ног по одному месту. Наконец принесены дрова, толстые, суковатые, сырые... Надо их наколоть. Топор уже занят* арестантами, тоже колющими дрова; надо погодить. Но вот и спасительный топор явился, вот и дрова наколоты, положены в печку, зажжены... О, проклятие! Новое, горчайшее испытание: железная печка страшно дымит... Дым наполняет всю камеру, невыносимо ест глаза, не дает глядеть, не дает ни о чем думать, ни о чем заботиться... Пытка эта тянется час, два и три, пока наконец сырые дрова разгорятся, дым исчезнет, станет тепло

---

* Не потому, конечно, что уголовные арестанты «подкупили» кого следует, как высказал предположение один из моих критиков, а просто потому, что они практичнее, проворнее и их больше. Вообще нужно заметить, что под влиянием устаревших данных сочинения г. Максимова «Сибирь и каторга»[10] в публике существует совершенно ложное мнение о богатстве уголовных арестантских партий. Не знаю, получают ли они в настоящее время те огромные денежные подаяния, какими наделяла их когда-то прежде Москва и вообще Россия (быть может, эти деньги в России же и растрачиваются, переходя очень скоро в руки начальства или отдельных лиц из своей же братьи, майданщиков и картежных шулеров); но факт тот, что в пределах Сибири большинство арестантов является уже буквально нищими. В Западной Сибири подаяния еще делаются, и даже довольно щедрые, но почти исключительно съестными припасами. *(Прим. автора.)*

и свободно дышать. Поспевает и какое-нибудь неприхотливое варево, суп или кашица, чай. Кормовых выдается на человека почти по всей Сибири 10 копеек в сутки, привилегированным 15 копеек. В Западной Сибири, где все так дешево, где коврига пшеничного хлеба стоит 5 копеек, кринка молока 3 копейки, денег этих за глаза довольно, и арестанты прямо благоденствуют. Многие из них и на воле лучше не питались. Но с переездом в пределы Енисейской и особенно Иркутской губернии провизия все становится дороже и дороже: фунт мяса стоит 10 копеек, фунт черного хлеба 3—4 копейки, и я помню один этап, где можно было достать хлеб только по 6 копеек фунт. А иному нужно до четырех фунтов одного хлеба, чтобы насытиться!.. В партиях начинается буквальный голод, тем более что отчаяние еще сильнее развивает картежную игру. Появляются почти совсем голые «жиганы», и приходится быть беспомощным свидетелем ужасной расплаты за промот казенных вещей...

Говорят, что это был исключительный, голодный год, когда все было так дорого, а вообще кормовых денег хватает за глаза, особенно когда арестанты соединяются группами человека в три-четыре, питаясь сообща. Но, во-первых, не каждый может подыскать себе группу, а главное, такое неравномерное распределение кормовых, без соображения с местными ценами на продукты, * решительно никогда не гарантирует арестантов от рыночных случайностей. Администрация, мне кажется, легко могла бы при желании своевременно видоизменять в каждой данной местности количество кормовых, сообразно с ценою съестных припасов. К сожалению, в настоящее время незаметно с ее стороны никакой подобной заботливости. Если и происходит иногда изменение количества кормовых, то благодаря канцелярской волоките до того несвоевременно, точно делается это для смеха: в голодный год денег выдается меньше, в урожайный — больше... Но еще было бы лучше, если бы вместо выдачи на руки денег на каждом этапе ожидала партию горячая баланда и казенный хлеб. Устроить это было бы нетрудно. Поваров-арестантов можно бы от-

* Например, в некоторых местностях Забайкалья, где цены не выше иркутских, выдавалось по 20 копеек кормовых. *(Прим. автора.)*

правлять вперед; хлеб закупать заранее у тех же торговок по строго определенной казенной цене. Худшая половина арестантов, состоящая из игроков и кулаков-майданщиков, конечно, была бы страшно огорчена такою реформой, но зато и не было бы голодных, сократились бы случаи промота казенных вещей и других безобразий; кто знает — быть может, уменьшился бы и самый контингент арестантов, из которых многих привлекают теперь в тюрьму майданы, картежная игра и иные прелести. Но само собой разумеется, что предлагаемая мной реформа была бы возможна при изменении к лучшему и нравов самих чиновников, имеющих власть над арестантами...

К сожалению, эти нравы оставляют еще желать очень и очень многого. Так, начальник одного этапа имел похвальную привычку не отапливать заблаговременно камер, а когда являлась партия, не давать ей дров под предлогом наступившей уже на дворе темноты, якобы из боязни пожара... Нам рассказывали, что у этого господина было несколько случаев замерзания больных арестантов; я удивляюсь одному — как оставались у него живыми и здоровые... Нашу партию поместили в огромном сыром погребе, нетопленном по крайней мере в течение десяти дней (во время жестокого мороза). Старший, которого мы позвали для объяснения, только хихикал и отделывался шуточками.

— Ведь это ни на что не похоже, — убеждали его мои спутники, — доложите офицеру. Хорошо, что у нас вот теплой одежи много, а как же прочие арестанты ночевать будут в таком холоду?

— Эхе-хе! — посмеивался старший. — Вы их не знаете еще... У них такие секретцы есть...

— Какие секретцы?

— Да знаете, у каждого из них котелочек там, щепочки в запасце, угольки...

Стоило ли продолжать спор с этим неисправимым оптимистом? Да он и сам поторопился, впрочем, уйти. В камеру втащили парашу, дверь быстро захлопнулась, ключ загремел в тяжелом замке, и мы очутились одни. Арестанты остались целы потому только, что не спали всю ночь, пили чай и бегали по камере, играя в чехарду и занимаясь другими полезными упражнениями... Мне припомнилось при этом утешение веселого фельдфебеля:

«У них такие секретцы есть». Да, живуч и тягуч русский человек, ко многому приспособиться умеет, многими житейскими «секретцами» обладает!

Начальник описываемого этапа слыл, между прочим, просвещенным человеком и даже либералом; он приходил иногда в камеру политических, запросто беседовал с ними и высказывал самые передовые, порой даже смелые взгляды...

Этапы в большинстве случаев очень ветхи и стары; некоторые из них строились еще в 30-х годах нынешнего столетия, и хотя ремонтные деньги, надо думать, отпускаются в известные сроки, но серьезных перестроек и поправок почему-то не приходится замечать. Можно подумать, что здания эти существуют скорее для крыс, нежели для людей, — такое в них множество этих отвратительных животных, бегающих во время ночи по телам арестантов, поднимающих шумные драки и противным писком своим не дающих спокойно заснуть. Помню, как однажды огромная крыса до крови укусила палец спавшему рядом со мной человеку...

Встречаются, между прочим, погорелые этапы, вместо которых в течение десяти и более лет «не успели» еще выстроить новых. В таких местах партии или проходят два станка в один день, или останавливаются в частном помещении, в обыкновенной крестьянской избе, к окнам которой приделаны железные решетки и в которой нет даже нар — ничего, кроме неизбежной параши. Вся партия спит вповалку на голом полу. Не мудрено, что в подобных условиях, при плохом и недостаточном питании, при непрерывной ходьбе и в страшные сибирские морозы, при жизни в грязи и холоде, организм арестантов, и без того уже истощенный годами предварительного заключения в тюрьме, часто не выдерживает и легко поддается всевозможным тифам, горячкам и другим эпидемическим болезням. Целыми десятками остаются они в больницах и десятками же отправляются отдыхать на близлежащие сопки, где даже убогий крест не отметит места их вечного упокоения... Но и в больницу попасть не так-то легко. Больницы имеются только в больших городах и селах, и я живо помню несколько случаев, когда к этапу, имевшему лазарет, привозились уже одни остывшие трупы... А сколько настрадается несчастный больной, прежде чем умрет! Бросят его, как

полено, на подводу, прикроют халатом и везут от этапа до нового этапа. Привезут — и в этапе тоже бросят где-нибудь на полу, в грязи и стуже. Если нет у него родственника или близкого товарища, то никто не позаботится ни напоить, ни накормить, ни спросить, что болит и что нужно. До того ли тут? Каждый заботится о себе, боится, как бы самому не оплошать и не пасть жертвой в этой ужасной битве за жизнь, за сегодняшний день. Огрубело у каждого сердце, окаменело... Я видал ужасные сцены, как, например, арестанты, спотыкаясь о подобных больных, в ответ на их стон принимались угощать их самыми забористыми ругательствами и пожеланиями скорей отправиться на тот свет — и никто не думал вступиться за несчастных!.. Варварские нравы, читатель, не правда ли? И мы, интеллигенты, помню, возмущались ими. Но были ли мы сами лучше и добрее арестантов? Почему мы не брали этих больных к себе, в свое более просторное помещение, не ухаживали за ними, не делились с ними последним? Почему? Да потому, что и у нас своя рубашка была ближе к телу, потому, что и нам жилось не легче уголовной партии.

В год моего путешествия свирепствовала на этапах странная болезнь, похожая не то на тиф, не то на нервную горячку и унесшая в могилу множество народа. Болезнь эта, начинавшаяся с сильной головной боли, особенно косила образованных людей, как менее сильных и привычных к этапным лишениям, и на моих глазах умерло несколько юношей, любимых и уважаемых всеми товарищами.

В холодный осенний день, когда снег лежал уже на земле, но реки еще не стали, мы переплывали на маленьком баркасе, едва не потонувшем под тяжестью повозок, солдат и арестантов, через реку Бирюсу, [11] находящуюся невдалеке от селения того же имени с этапом посредине. Мы закоченели от холода, ощущали сильный голод и с нетерпением ждали отдыха в теплом и уютном помещении (назавтра предстояла дневка). Кто-то из солдат обрадовал нас известием, что этап большой, чистый и что в нем найдется отдельная камера не только для нашей группы, но и для наших женщин. Последнее было особенно всем приятно. Этап оказался действительно просторным и новым сравнительно зданием, совсем непохожим на те крысиные норы, какие

представляют из себя большинство сибирских тюрем. Мы вбежали в отведенный нам коридор, радостные, улыбающиеся, с оживлением и шумом. Унтер-офицер местной команды, встретивший нас, тоже улыбался при виде общей радости и предложил на выбор целых три камеры.

— Эта вот лучше всех будет, — сказал он, отворяя одну из дверей, — отсюда три дня только назад уехал Л.

— Как три дня назад? — удивились мои спутники. — Ведь он был в прошлой партии, которая прошла две недели назад.

— Так-то так: да он выпросил позволение остаться при больном С., похоронил его, потом еще прожил здесь два дня и уехал с конвойным догонять свою партию.

— Похоронил С.?! С. умер?..

Все как громом были поражены этой вестью... С. был молодой польский поэт, прелестные переводы которого из Надсона и оригинальные стихи нравились даже мне, плохо понимавшему по-польски, и которого за месяц перед тем все мы видели здоровым, сильным, полным бодрости и энергии. Этапное здание сразу потемнело в наших глазах, стало унылым, холодным, неприветным; и когда, шатаясь и бледнея, вошли мы в одну из камер и увидали враждебно высившиеся в вечерних сумерках пустые нары, на нас пахнуло вдруг холодом смерти. Здесь он страдал, здесь умер, почти одинокий, беспомощный, вдали от друзей и родины!.. Правда, любезный унтер, видимо уже каявшийся в том, что сболтнул о смерти С., уверял, будто он умер не в этой, а в соседней камере, куда мы отказались поэтому идти, но утешение было небольшое. В стене нашего помещения была огромная щель в эту страшную камеру, и, помню, я с мучительным любопытством заглядывал в нее, всматриваясь в сумрачную пустоту, где, чудилось мне, бродил дух поэта. И завывавший по временам в трубе ветер казался мне его стонами...

Но еще больней, чем эта весть о совершившемся уже факте, была обострившаяся благодаря ему тревога за товарищей и знакомых, оставшихся позади или бывших впереди нас. Что-то с ними? Не унесла ли беспощадная смерть еще кого-нибудь близкого, дорогого? И смерть, точно, не щадила в тот год самых нежных привязанностей, поражая друзей, невест, братьев...

Настроение было, разумеется, совсем отравлено, и дневка вконец испорчена. Малейшее недомогание кого-нибудь казалось уже предвестником грозной болезни; и в самом деле, на другой же день серьезно захворал один из конвойных солдат, очень симпатичный малый, с которым внезапно сделался сильный жар с бредом; несмотря на все старания наших доморощенных врачей поднять больного на ноги, его пришлось оставить в Бирюсе. Выздоровел он или умер, мы так и не узнали.

Среди моих спутников не было ни одного человека, основательно изучившего медицину, и тем не менее больные арестанты, конвойные солдаты и даже местные жители толпами валили к нам на этап, ни днем, ни ночью не давая покоя. Слава об их уменье лечить гремела по всему пути. И каких только болезней, какого горя не перевидали мы! Какой заразы не приносилось в наше помещение! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики. Приносились грудные младенцы с распухшими шеями, посиневшими личиками и закатившимися глазками; показывались страшные болячки, гноящиеся раны, один вид которых приводил в ужас и прогонял самый жадный голод... И при отсутствии лекарств и достаточных знаний как больно было видеть все эти устремленные на нас глаза, полные мольбы и наивной веры, и чувствовать свое бессилие что-нибудь сделать, оказать какую-нибудь помощь!

IV

В Иркутской тюрьме, где мне пришлось расстаться с административными политическими ссыльными, я захворал и задержался на несколько месяцев. [12]

В дальнейшем пути, пользуясь, как и прежде, значительными привилегиями сравнительно с прочими арестантами, я благодаря отвычке от одиночества нередко им тяготился и испытывал жестокую скуку. Может быть, благодаря именно этому я обратил внимание на красоту и величие забайкальской природы. Особенно поразил меня только что вскрывшийся Байкал, через который мы переезжали на одном из первых пароходов. Как сейчас вижу это грозно-зеленое, клокочущее и скачущее чудовище. В отдалении, за разъяренными валами,

виднеются огромные желтые скалы, и грезится, что они так близко — рукой подать, а между тем до них двадцать — тридцать верст!

Оставшись один, с заботами об одном лишь себе, я как-то невольно стал делать больше наблюдений и над окружавшим меня миром арестантов, тогда как прежде сплошь и рядом не замечал происходившего вокруг. Прежде отдельные лица как-то стушевывались в моем представлении; я видел перед собой только огромные массы, имевшие в моих глазах одно лицо, один характер и волю. Теперь из этой громады начали выделяться отдельные человечки и останавливать на себе мое любопытство. Нужно, впрочем, сказать, что той сплошной идеализации, какою некогда окружал я арестантов, во мне давно и следа не было: я хорошо знал, что к их рассказам о себе нужно относиться скептически, что они всегда привирают и т. п.

Опишу для образчика некоторые запомнившиеся мне фигуры.

Прежде всего помню одного странного субъекта из греков с пронзительными черными глазами, страшно худого, со множеством штыковых и огнестрельных ран на теле, полученных во время побегов. Он был очень угрюм и несловоохотлив, однако почему-то любил захаживать ко мне, особенно в те минуты, когда никого другого из арестантов у меня не было. Долгое время я думал, что он хочет попросить денег; но денег он ни разу не просил. Однажды я задал ему вопрос, за что идет он в каторгу. Он объяснил мне с самой циничной (хотя и просто выраженной) откровенностью, что в последний раз вырезал с товарищем одну семью. Мне даже жутко стало...

— За что же это? — не удержался я.

— Известно, за деньги, — усмехнулся спокойно мой собеседник.

— Да, но зачем же было резать?.. И притом всех, даже детей?

— Всю породу. В другой раз мы две семьи вырезали.

Я невольно содрогнулся и недоумевал, зачем он так говорит.

— А бог? — спросил я. — Разве не боитесь?

— Какой бог? — спросил грек в свою очередь, понизив несколько голос и будто с некоторой грустью. —

Где только мы ни бывали. В таких глухих местах, куда и ворон костей не заносит и зверь не заходит. Нигде не видели ни бога, ни дьявола!

— А были ль вы в одиночном заключении? — спросил я еще и, получив отрицательный ответ, пробовал нарисовать собеседнику картину внутренних мучений, овладевающих многими из знаменитых даже разбойников и доводящих их порой до сумасшествия и самоубийства. Он послушал меня минуты две и, ничего не сказав в ответ, вышел под каким-то предлогом.

Вскоре после того я и совсем потерял его из виду: должно быть, он остался где-нибудь в больнице.

Захаживал также ко мне щеголеватый молодчик из лакеев в неизбежном пестреньком галстучке и с утонченными, по его пониманию, манерами. Этот мелко плавал и все вспоминал, какие прекрасные «покупки» делывал он в Петербурге во время публичных казней на Семеновской площади: «покупать» на его языке значило залезать без разрешения в чужой карман. В конце концов я заметил, что он и у меня кое-что «покупал» во время своих визитов...

Зато не могу без улыбки вспомнить милейшего Тюпкина, беглого солдатика, пропадавшего два года без вести, наконец добровольно заявившегося к начальству и шедшего теперь в Читу на суд. Это был добродушнейший парень лет двадцати шести, плохо развитой физически, безусый, понурый и всегда меланхоличный. Он ухаживал за мной, варил мне обед и чай и жил в моем «дворянском» помещении. В долгие зимние вечера мы много болтали, и я узнал всю его подноготную. Он был страстный игрок и, когда я давал ему немного денег, сейчас же скрывался и всю ночь напролет играл в штос. Поутру кто-нибудь из арестантов сообщал мне, что мой Тюпкин спустил все до последней копейки.

— Не стоит такой скотине благодеяние оказывать, — философствовал при этом доноситель. — Как будто другой кто не мог бы вам самоварчик поставить или другое там что сделать? Еще благодарность бы чувствовал... А он что? Как он был *духом* (арестантское название солдат), так духом и останется до гробовой доски!

Между тем Тюпкин появлялся мрачный, как сама ночь, и в камере моей начиналась усиленная деятельность: выколачивалась пыль из моих вещей, переклады-

вались с места на место, без всякой видимой нужды, мешки и ящики; по камере раздавался неумолкаемый топот сапог, аккомпанируемый глубокими-глубокими вздохами.

— Что, Тюпкин, нездоровы вы, что ли?

Молчание.

— Или, может быть, потеряли что? Может, проигрались?

— Не-е! — и вслед за этим ответом мой Тюпкин моментально исчезал, сконфуженный.

Вечером он опять остается в моей камере. Мы насытились вкусным кулешом, напились чаю; нам так приятно греться перед весело потрескивающими в догорающей печке угольями. Мой Тюпкин совсем разнежился. Ему хочется говорить, без конца говорить, без конца жаловаться на свою судьбу.

— Ах, горегорький я, горегорький! И зачем только мать на свет меня породила!

— А чем же вы особенно несчастнее других, Тюпкин? Другие идут в каторгу, а вас — самое большое — переведут в штрафованный разряд. Ну, накажут...

Тюпкин прислушивается к моим утешениям и молчит.

— Не так ли? — говорю я. — Ведь вы же добровольно заявились к начальству, вас не поймали? Это, конечно, примут во внимание. Вам дадут снисхождение.

Вместо ответа он вдруг начинает яростно таскать себя за волосы.

— Ох, горегорький я, горегорький!..

— Да вы, может быть, скрываете? Вы, может, бежали после какого-нибудь преступления?

Но тут Тюпкин начинает божиться и клясться, что заявился добровольно, а бежал со службы просто так, с тоски...

— С какой же тоски?

— Да с пьянства, с карт.

— Где же вы пропадали эти два года?

Он подробно рассказывает мне, как жил в Бичурской волости у семейских (раскольников), работал простую мужицкую работу, с одной вдовой жил душа в душу, как муж с женой, девочку от нее имел.

— Хорошо было жить! И-их, хорошо!..

— Так зачем же вы заявились? И жили бы так, пока было можно.

— Нельзя было.

— Да почему же нельзя?

— Так.

С большими усилиями, однако, удается мне добиться, что и тут причиной были вино и карты. Проигрался в пух и прах, тоска взяла: пошел и заявился.

— А жену известили?

— Зачем извещать!

Я засыпаю в эту ночь с уверенностью, что все-таки успел утешить бедного малого, успокоить насчет предстоящей ему судьбы. Но на следующий вечер, если опять нет денег и картежной игры и мы снова греемся и болтаем около печки, мой Тюпкин начинает прежнюю песню:

— Ох, бедный я, злосчастный! И на что только мать на свет меня породила?

Я наконец не выдерживаю и начинаю его ругать за бабью трусливость и плаксивость. Он защищается, и тут мне удается наконец выудить от моего Санчо-Пансо, что он, в сущности, и раньше побега был уже штрафованным.

— За что же?

— Денщиком был... Пьян напился, часы разбил офицеру, да еще нагрубил.

— Вот оно что! Ну, все-таки хныкать нечего. Не в каторгу же осудят вас.

— Да не миновать каторги, чует мое сердечушко, ох, чует!.. Кабы всё-то знали вы да ведали... Ох, злосчастная я сиротинушка!

— Что же все-то? Уж рассказывайте, коли начали. Что еще натворили? Уж не были ль вы в дисциплинарном батальоне? — спрашиваю я полушутя, полусерьезно.

Молчание. Тяжелый вздох. Я начинаю наконец догадываться.

— Так, значит, правда? Были?

— Ох, горегорький я! Непокрытая моя головушка!

— За что же? Что тогда вы сделали?

— Арестанта выпустил.

— За деньги?

— Пьяны оба напились... В баню его водил... Ну... Ступай, говорю, Иван, на все четыре стороны. А сам лег и заснул. Он и ушел.

— Сколько же вы пробыли в дисциплинарном?

— Три года. Нет, уж быть мне в каторге, быть! Чует моя душа... А то и еще хуже: убью кого-нибудь, ей-богу убью. Кровь всю они выпили из меня, кровопивцы!

— Сами во всем виноваты, Тюпкин, нечего людей винить. Возьмите себя в руки, перестаньте в карты играть, пьянствовать — вот и станете опять человеком.

Но Тюпкин уже ни слова не отвечает мне и угрюмо укладывается спать. Утром он просит у меня деньжонок и, если я даю, ближайшую ночь опять пропадает в общей арестантской палате.

Приближаясь к Чите, он заметно все больше и больше волновался и омрачался; порой мне казалось даже, что он замышляет бежать (конвой, знавший, что он добровольно заявился, не очень зорко следил за ним); но Тюпкин был тряпка-человек в полном смысле слова, и отваги на побег никогда бы у него не достало. Так и дошел он до Читы цел и невредим. Со мной он расстался довольно холодно, даже не простившись настоящим образом. Не те думы занимали его в эти минуты...

В большинстве случаев трудно узнать арестанта доподлинно во время дорожной жизни, где нет прочно установившихся условий, нет ничего постоянного, все быстро меняется и жизнь походит не то на какой-то вечный побег от невидимого врага, не то на бесконечно длящийся безобразный праздник. Тем труднее это для «барина», едущего на отдельной подводе и живущего в отдельном дворянском помещении. Даже и перед «своими» арестант не открывает в этих изменчивых и кошмарных условиях всего своего внутреннего мира; тем сдержанней будет он перед «барином», идущим хоть и в каторгу, но в привилегированном положении. Нужна очень тонкая наблюдательность, умение разбираться в мелких оттенках впечатлений и в самых ничтожных фактах, чтобы различить в арестантских рассказах правду от лжи, напускной и показной характер от истинного.

Вот почему я не стану представлять читателю большого числа портретов и характеристик за этот дорожный период своей жизни в мире отверженных. Для этого у меня будет еще достаточно времени и поводов. От-

мечу лишь несколько главных течений в характерах и физиономиях арестантов, насколько они выяснились мне *в ту пору*. К первому разряду относятся «тихонькие», большей частью старички, играющие роль неповинных жертв и выказывающие даже ненависть к своему же брату кобылке. В большинстве случаев это одни из самых антипатичных. Резонерство, черствое себялюбие, кулачество, лицемерное ханжество — вот главные черты этих людей. Черты эти нередко уживаются с неподкупной честностью (в казенном смысле этого слова), но от честности этой веет всегда каким-то бездушием, и сердечные ваши симпатии никогда не тяготеют к этим благочестивым резонерам-старцам. Другой тип — тоже пожилые уже, а иногда и совсем старые арестанты, не скрывающие того, что они мошенники и разбойники, но держащие себя с некоторым гонором и благородством: «То, мол, по вольной жизни я вор и разбойник, а в тюрьме, промеж своих, я честный человек, арестант старинной закалки». Эти тоже не прочь порезонировать, посетовать на падение старинных арестантских нравов и обычаев, побранить «новый род». Третьи, которых большинство, составляют душу и сердце шпанки: это — игроки, жиганы, сухарники, палачи, готовые превратиться в жертвы, и жертвы, могущие завтра же стать палачами; люди, которые как будто нарочно созданы природой для жизни в каторге и особенно в «путе следования». Вряд ли даже понимают они, что можно жить иной, лучшей жизнью, чем этот ад кромешный. Они находятся в вечном угаре и хмелю без вина, в вечной ажитации и заботе, хотя бы предмет заботы не стоил и выеденного яйца: им нужно главным образом само волнение. Это самый страстный и живой элемент каторги. Спросите: для чего день и ночь играет вот этот молодой светло-русый парень с испитым, бледным лицом и лихорадочно горящими серыми глазами, почти не умеющий играть и вечно получающий розги за промот казенных вещей, вечно голодающий и к тому же служащий предметом общих насмешек? Вглядитесь в его постоянно озабоченное лицо, в его словно тоскующие глаза — и вы получите ответ. Без карт или водки, а может быть... даже и без розог... без чего-нибудь пряного, возбуждающего жизнь будет не в жизнь этому раз свихнувшемуся с пути человеку! Из таких-то прожигателей жизни

и выходят так называемые «сухарники» и «вечные тюремные жители».

Сухарником зовется малосрочный каторжанин или лишенец, соглашающийся за пустое вознаграждение, за несколько рублей, за красную рубаху (или, как в насмешку говорят арестанты, за сухари) поменяться именем и участью с долгосрочным или даже «вечником».

Не могу не упомянуть, между прочим, об особом виде сменки, значения которого я долго не мог уразуметь, но который имеет тем не менее глубокий и чрезвычайно остроумный смысл. Меняются именами *бессрочный с бессрочным* же. Какому-нибудь Белоносову удается уйти вместо Долгошеина, на которого он очень мало походит лицом и приметами, а Долгошеин остается, положим, в больнице или до следующей партии. Само собой разумеется, что «ошибка» с течением времени обнаруживается и там и здесь. В одном месте начальство набрасывается на Белоносова, в другом на Долгошеина.

— А! Ты сухарник?

— Никак нет-с, — отвечают Белоносов и Долгошеин и, несмотря на явную нелепость своих слов, упорно продолжают утверждать, что они именно те самые личности, которые показаны в статейных списках, что осуждены на бессрочную каторгу. Конечно, случись это в одной и той же тюрьме, начальство тотчас же сумело бы разобраться в путанице; но предполагается, что сменщики успели уже разделиться приличным расстоянием и напасть на настоящий след не так-то легко. Местные начальства торжествуют: пойманы сухарники, продавшие себя за красную рубаху... Белоносова и Долгошеина судят (опять-таки предполагается, в различных пунктах) и, как сменщиков, приговаривают на три года каторги каждого, с телесным наказанием. А им того только и нужно было... Se non e vero, e ben trovato,* скажет, пожалуй, читатель; но пусть он вспомнит, что в старые и даже сравнительно еще недавние годы в тюремном мире делались дела и почище. С появлением реформ, конечно, становятся все труднее и труднее подобные проделки.

Майданщиками зовутся арестанты-откупщики, которым артель продает монополию торговли в течение из-

* Если это и неправда, то все же хорошо придумано (*итал.*).

вестного срока сахаром, чаем, табаком и прочей мелочью, а самое главное — содержание игорного, а иногда и еще более темного притона. Я был, например, свидетелем, как один майданщик вез с собою публичную женщину в качестве вольно следовавшей за ним невесты. Она ехала, конечно, отдельно от холостой партии, в которой шел «жених», следом за ним, но на тех этапах, где старшего удавалось подкупить или обмануть, разжалобив сказкой о предстоящей в скором времени любящей парочке разлуке, «невеста» впускалась на ночь в этап к своему мнимому жениху, и тогда можно представить себе, что там происходило.

Надо, впрочем, сказать, что майданы снимаются в редких только случаях прижимистыми кулаками, которые, обогатившись, зажили бы трезвым и благоразумным порядком (таким-то арестанты и не продали бы, пожалуй, майдана); обыкновенно это все те же игроки и жиганы, нуждающиеся в «поправке» единственно для того, чтобы в несколько дней спустить все нажитое на водку и карты.

V

В августе месяце я вступил в район Нерчинской каторги. Какая-то новая атмосфера давала себя чувствовать; порядки становились строже, обращение начальства и конвоя грубее, настроение самих арестантов удрученнее. Толковали о предстоящих в Нерчинске, Сретенске и Усть-Каре обысках. Говорили, что отберут все до последней нитки. Придумывались средства, куда запрятать лишнюю имеющуюся на руках копейку. Солдаты запугивали рассказами, как у одного старичка нашли запрятанными в сухаре сто рублей и как офицер, конфисковав эти деньги, роздал их конвою. Я, по своей тогдашней наивности, долго не понимал, зачем, несмотря на такие страхи, спутники мои все-таки намерены были прятать свои деньги. Почему бы, спрашивал я, не отдать еще до обыска начальству? Все равно ведь будут в сохранности, записаны в книгу, занумерованы и пр. Арестанты в ответ только почесывались или говорили что-нибудь вздорное, чему и сами, очевидно, плохо верили, вроде того, что начальство очень часто зажиливает деньги. Только в каторге, в тюрьме, понял

я настоящим образом, почему арестант никогда не променяет нелегальные деньги на легальные. Он глядит на них как на последнюю тень, своего рода символ, утраченной свободы. Помимо игры в карты и покупки водки, большинство каторжных из чисто платонических соображений не отдает начальству всех своих денег: хоть две копейки, да постарается затаить... «Пускай пропадут лучше, да знаю, что они — мои были». И так говорят и делают нередко самые добронравные и благонамеренные старички, в руки никогда не берущие карт! У одного из таких старичков отняли при обыске пустой грязный кисет и хотели бросить в печку. Тогда он с плачем объявил, что там есть три рубля.

— Где же? — удивился офицер, еще раз обшаривая кисет и выворачивая наизнанку. Оказалось, что бумажка была очень искусно, почти виртуозно завита в тонкую веревочку, служившую для завязывания кисета.

Подвигаясь вперед тем черепашьим шагом, каким обыкновенно ползут арестантские партии, мы достигли наконец того пункта Забайкальской дороги, откуда каторжных конвоируют не солдаты, а казаки. В последние годы, когда явились перспективы возможных осложнений на востоке, слышно — и казаков «подтянули»; но в то время, о котором идет речь, эта часть сибирского войска (а тем более конвойные команды) была лишена почти всякой воинской дисциплины, что сказывалось, разумеется, и в большей грубости нравов. Никогда не забуду одной тяжелой сцены, свидетелем которой, да отчасти и участником, мне довелось быть после приемки партии казаками. Нам дали очень мало подвод, а больных и слабых мы имели изрядное количество. В довершение несчастья конвой тоже расселся, по обыкновению, на подводах. Некоторым из больных арестантов пришлось идти поэтому пешком, и один из них с первых же шагов начал отставать и падать. Не в силах сносить такой «беспорядок», самый молодой из казаков сорвался внезапно с телеги, подбежал к упавшему арестанту и стал бить его прикладом по чему попало. Партия остановилась.

— За что ты лупишь его, Васька? — спросил своего подчиненного старший, ковыряя в носу и самым безмятежным видом сидя на возу с поклажей.

— Да чего ж он нейдет, как все? — завопил благим

матом Васька, рядовой казак без всяких нашивок, совсем еще мальчишка, без признаков растительности на довольно смазливом личике:

— Иван Егорович, — обратился он жалобно к уряднику, — надо хлопотать о подводах. Потому я ведь, ейбогу, прикончу его дорогой, коли он так идти будет!..

И, как бы в подтверждение своих слов, казак так принялся потчевать прикладом несчастного больного, что тот, поднявшись было на ноги, опять со стоном повалился на землю. Не довольствуясь этим, Васька стал еще топтать свою жертву ногами. Партия загалдела, запротестовала... Этого было достаточно, чтобы и сам старший, жирный, апатичный ко всему казачина, в первый момент стоявший даже, по-видимому, на стороне больного, внезапно встрепенулся и тоже накинулся на арестантов.

— Это что! Бунт?! — заревел он, бросаясь с ружьем и кулаками на тех, которые стояли впереди и казались ему зачинщиками. Тут пришлось наблюсти интересное явление. Те из арестантов, что представлялись мне наиболее отважными и решительными, сразу замолчали и попрятались за спины товарищей. Особенно поразил меня некто Левшин, старый бродяга-резонер, мужчина атлетического сложения, с поседевшей уже бородой и свирепыми серыми глазами, в которых читалась закаленная воля и дерзкая отвага. Вскоре после того он показал себя и действительно таким, совершив крайне смелый побег среди бела дня, на глазах у караульных, которым он засыпал глаза табаком... Но это случилось после, уже в каторге, а теперь он стоял, повесив голову, и упорно молчал.

— Что же вы молчите, Левшин? — шепнул я ему. — Так нельзя этого оставить. Мы недалеко еще отошли от места, там начальство. Надо вернуться, пожаловаться... Не беда, если и прикладов несколько влетит.

— Бросьте, барин, — зашептал мне, в свою очередь, старик, робко озираясь, — ничего не поделаешь... Самому себе надо жаловаться.

— Как это самому себе?

— Так. Запомнить, значит, надо. По вольной жизни, коли придется... А тут их сила!

Может быть, и правильно рассуждал Левшин, но тогда, помню, мне не понравились его речи, и я как-то

сразу охладел к своему недавнему еще фавориту. Но чуть ли не больше поразил меня поляк Мацкевич, более известный среди кобылки под именем Кожевникова. Это был отчаянный враль и пустозвон, к рассказам которого о его прошлом, об этих бесчисленных похождениях чисто романтического характера невозможно было относиться серьезно. Не знаю, точно ли знал он в старину лучшую жизнь, но теперь, совершенно обрусевший и ошпаневший за двадцать лет хождения по Сибири и каторге, он был ярким представителем кобылки — сегодня жиганом, завтра майданщиком, сегодня артельным старостой, завтра кандидатом в сухарники. Арестанты недолюбливали Мацкевича, считая его пустым «боталом», а такие, как Левшин, даже и «язычником». Однако в описываемой стычке с казаками он обнаружил внезапно такую сторону характера, какой, признаюсь, я совсем не ожидал от него. Один из всей толпы он имел мужество подойти к уряднику и громко заявить ему, что «так, мол, не годится». В ответ на это заявление урядник размахнулся и со всего плеча ударил Мацкевича по лицу, так что у того брызнула кровь из носу... Мацкевич, однако, и тут не испугался.

— Что ж, — сказал он философически, обтирая полой халата окровавленное лицо, — бейте, ваша воля... А только так все-таки не годится — больного сапогами топтать.

Но урядник бить больше не стал; порыв энергии успел у него пройти и смениться вялым равнодушием ко всему на свете. «Казачишки» еще покричали, побегали, погрозили... Погрозили и мне прикладом, когда я тоже разинул было рот и стал «чирикать», но бить не решились... И наконец мы тронулись в путь, посадив все-таки больного на подводу. И, странное дело, эти же самые казаки, только что показавшие себя в таком зверском, возмутительном виде, потом, в дальнейшем пути, оказались добродушнейшими и милейшими малыми! Через каких-нибудь два часа времени они успели сойтись и почти сдружиться со всей партией; начались общие песни, разговоры, шуточки... А тот самый Васька, который топтал ногами больного арестанта и грозился его прикончить, очень мило со мной беседовал, обо многом расспрашивая, интересуясь разными научными открытиями, тем, как люди хорошо и умно в других странах

живут, и искренно негодуя на многие из существующих у нас порядков. Когда же я напомнил ему о недавней сцене с больным и об его несправедливости, он сконфуженно лохматил себе волосы и говорил:

— Горячий я человек!..

Шпанка же и подавно обо всем забыла, как будто ничего не случилось такого, что не было бы в порядке вещей. Сам Мацкевич-Кожевников весело заговаривал со старшим и, по крайней мере наружно, нимало не злобствовал. [13]

Заканчивая свои воспоминания о дороге, скажу прямо, что если бы был у меня какой-нибудь заклятый враг и я непременно должен бы был осудить его на величайшую, по моему мнению, кару, то я избрал бы путешествие в течение трех-четырех лет по этапам. Осудить на больший срок у меня, право, не хватило бы духу... Да! для интеллигентного человека нельзя придумать высшего на земле наказания... Описывая невзгоды и кошмары этапного пути, я забыл подчеркнуть одно еще обстоятельство, которое, быть может, и составляет главный его ужас и пытку: это — необходимость покидать место, на котором вы только что расположились, обогрелись и намеревались отдохнуть; необходимость куда-то и зачем-то тащиться по грязи и холоду для того только, чтобы вскоре опять свить столь же недолговечное гнездо и опять разрушить его своими же руками. Ничего прочного, постоянного, отрадного в этом бессмысленном, черепашьем передвигании с места на место... И, как над вечным жидом, [14] слышится над вами каждую минуту властный голос, которому нельзя противиться: «Иди! Иди!» Все это в душе человека с мирными наклонностями способно создавать ужасное, близкое к отчаянию настроение...

Вот наконец и последний этап оставили мы за собою. Впереди настоящая, подлинная каторга, тот неведомый мир, который поглощает в себя тысячи людей, тысячи душ, редко возвращая их свету живыми...

Но когда оглянулся я на последний этап, на это неуклюжее строение, одиноко торчавшее в открытом поле, длинное, сырое, угрюмое, безучастно видевшее столько поколений людей, изувеченных, безумных людей, столько напрасных мук, слез и смертей, — я невольно содрогнулся.

Шелаевский рудник [15]

— Здравствуй, забытый рудник! —
Там, где вчера привиденья бродили,
Нетопыри боязливые жили,
Горя и злобы не слышался крик, —
Вновь замигала свеча трудовая.
Снова гранитное сердце горы
Гложут, как черви, стальные буры,
Молот сурово звучит, не смолкая,
Лязгают звенья тяжелых цепей...
Кто здесь томился в минувшие годы?
Вы ли, святые страдальцы свободы,
Темные ль жертвы нужды и страстей?
Крест был один — и, собрат по мученьям,
Вас я одною семьей признаю:
Братский привет одинаково шлю
Вашим бездомным замученным теням!
Нет, не бесследно в могиле живой
Вы, надрываясь, мозолили руки:
Вас уже нет, но живут ваши муки,
Тайно витают вокруг надо мной...
— Бедные призраки, скорбные тени,
Вам я великую клятву даю —
Вылить в заветную песню мою
Все ваши слезы, и вздохи, и пени.

П. Я. [16]

I. ВСТРЕЧА

В Нерчинском каторжном районе сосредоточивается около десяти рудников, где арестанты отбывают сроки своего наказания. Несколько тюрем помещается на Каре — там моют золото. Кара издавна пользуется среди арестантов славою наиболее тяжких работ: имя «варвара» Разгильдеева до сих пор гремит по всему Забайкалью, и хотя в последнее время карийские каторжные

тюрьмы превратились в простые места высидочного заключения, где не только не моют золота, но и вообще никаких работ не производят, однако и теперь еще имя «карийца» окружено значительным ореолом. Начинают, впрочем, прорываться и иронические нотки в отношениях к тем, кто побывал на Каре.

— Он много, братцы, горя видал! Он на Каре был! — говорят про кого-нибудь и разражаются гомерическим хохотом. *

В Алгачинском, Зерентуйском, Кадаинском, Покровском, Мальцевском и Акатуйском рудниках достают серебряную руду; в Кутомаре плавят добытую руду и выделяют из нее серебро. Последняя работа самая тяжелая и нездоровая. Некоторые из перечисленных рудников близки к истощению и требуют очень мало рабочих рук. В других, напротив, почти каждый год открываются новые рудоносные жилы; туда направляется наибольшее количество арестантов и там строятся огромные тюрьмы, могущие вмещать по тысяче человек. Назначение арестанта в тот или другой пункт зависит всецело от случая. Меня назначили на Шелай, в новенькую, только что отстроенную тюрьму, где могло поместиться не больше ста пятидесяти человек. Рудник, к которому она принадлежала, долгое время заброшенный, теперь только что возобновляли. Доходов от него в течение многих и многих лет нельзя было ожидать, так как требовались огромные предварительные работы для осушения старых шахт и выработок; устраивая эту маленькую тюрьму, начальство имело в виду главным образом произвести опыт образцовой каторжной тюрьмы, наподобие заграничных. В последние годы, слышно, во всей Нерчинской каторге заведены те же порядки, какие были при мне в Шелаевской или, как говорили в просторечии, в Шелайской тюрьме; но в то время, когда их только что заводили, они являлись для арестантов страшилищем, как что-то новое, никому еще не ведомое.

— Куда назначены? На Шелай? — спросил меня в Сретенске седенький старичок слесарь, шедший на поселение.

---

* В июне 1893 года уничтожена на Каре последняя тюрьма; в Карийском районе нет больше ни одного арестанта. Золотые прииски отданы в частные руки. *(Прим. автора.)*

— Ну, молитесь богу! Там для вас могила!

— А что такое? Разве вы слышали что?

— Я там был этим летом на постройке.

Около слесаря собрался кружок таких же несчастливцев, как я, назначенных на Шелай.

— Ограда каменная, высокая, — рассказывал слесарь, — двойной караул, снутри и снаружи, камеры всегда будут на замке, день и ночь. Выпускать только на работу будут, на поверку да на прогулку, и все солдатским строем: шагом марш!.. Шиpинками, значит. Обедать, спать, работать — на все звонок. Смотритель назначен из военных, штабс-капитан Лучезаров. Ну, словом, поддаржись, братцы!.. Карт али там водочки-матушки — и в помине не будет!

— Полно врать, старый хрен! Чтобы наш брат, арестант, не примудрился к самому сатане в пекло водку и карты пронести? Быка с рогами протащу! — остановил его высокий молодцеватый арестант с длинными, ухарски закрученными усами и надменным взглядом. Слесарь, с своей стороны, презрительно оглядел его с головы до ног.

— Увидишь! — сказал он и, отвернувшись, направился прочь. — Вот одно что хорошо, ребята, — не утерпев, остановился он и заговорил снова, — парашек у вас не будет. Это точно. При каждой камере особая дверь в ретирадное место.

Утешение это мало, однако, подействовало на меня и моих товарищей по несчастью. У каждого невольно ныло сердце в ожидании безвестного будущего.

В прекрасный сентябрьский день, к полудню, прибыли мы на речку Шелай, на берегу которой стояла новешенькая тюрьма с белой как снег каменной стеною вокруг и целым рядом теснившихся поблизости строений для служащих и казарм для казаков. Тюрьма находилась в трех верстах от деревни, в глубокой и мрачной котловине, со всех сторон огражденной начавшими голеть сопками, поросшими березой и лиственницей. Несмотря на яркий солнечный день и живописный (говоря беспристрастно) ландшафт, последний произвел на партию удручающее впечатление.

— Вот так Шелай, дьявол его валяй! — слышалось повсюду. — Ишь, братцы, в щель какую нас загоняют, ровно мышей!

— А вон и кот тут как тут, на помине легок, — сострил кто-то, увидав статную фигуру с тростью в руке, стоявшую у ворот тюрьмы. Я разглядел офицерскую форму и догадался, что это и был штабс-капитан Лучезаров.[17] Длинные рыжие усы на бритом красном лице были уставлены прямо на нас и не предвещали ничего доброго.

— Смир-р-но!! Шапки до-л-лой!! — крикнул бог весть откуда взявшийся надзиратель. Команда эта была так неожиданна, что непривычная к ней утомленная шпанка растерялась и далеко не скоро и не единодушно сняла шапки.

— Эт-то что?! — загремел штабс-капитан, стуча тростью о землю. — Не слушаться команды?

— Виноваты, ваше благородие, — проговорил кто-то из арестантов, — по неопытности, ей-богу по неопытности.

— Заморилась, вишь ты, кобылка, — подтвердил другой.

— Молчать!!

Все стихло. Ни один кандалы не звякнули, ни один вздох не раздался. Все держали в руках шапки. Даже конвой стоял, как-то особенно прямо вытянувшись.

— Шапки надеть! — сказал начальник смягченным голосом.

— На-кройсь! — скомандовал надзиратель. Все, точно осовелые, поспешно накрылись.

— Вот что! — заговорил Лучезаров, подступая к нам ближе и все также тяжело опираясь на свою костяную трость с медным набалдашником. Голос его звучал теперь тихо, как бы утомленно, но на пространстве ста сажен слышен был бы полет мухи — так было тихо кругом. — Вот что! Слушайте внимательно. Вы вступаете в ворота тюрьмы, в которой до вас ни одного арестанта не было, тюрьмы, в которой действуют особые правила. Да, особые правила! (Голос начал повышаться.) Многие из вас, быть может, не в первый уже раз попадают в каторгу, не в первую тюрьму входят. Они вспомнят, пожалуй, пословицу, что новая метла всегда чище метет, но не надолго ее хватает: только первые, мол, дни будет здесь строго, а потом все пойдет тем же порядком, как и везде, явятся и карты с водкой, и майданы, и иваны и даже сухарники. Выбросьте из головы эти глупости. Я буду непопустительно строг и никогда не

устану исполнять данные мне свыше инструкции. Буду справедлив, но строг. Больше строг, чем справедлив! Помните, ни на минуту не забывайте того, что вы каторжные, лишенные всех прав, в том числе и права на доверие. Знайте, что одному надзирателю я поверю скорее, чем семистам арестантам. За праздность, леность, грубость, ослушание, за малейший проступок буду карать. Скажу вам прямо: я не большой поклонник плетей и розог, так как хорошо знаю, что для таких артистов, как вы, они нипочем. Нет, я буду бить вас по более чувствительным местам. Кроме сурового содержания в карцере, на хлебе и воде, в кандалах и наручнях, даже на цепи, если понадобится, я буду лишать виновных скидок и отдавать под суд. Не думайте также о побегах. Из Шелайской тюрьмы не убежите! Я буду зорко следить и за малейшую попытку к побегу наказывать без пощады. Вот, я все вам сказал, что нужно для первого знакомства. Готовьтесь к приемке. Долой с себя все вещи, долой и кандалы — я знаю, что они все равно снимаются. Не нужно мне комедий. Раздевайтесь, погода теплая, простудиться нельзя.

Вся партия, дрожа с головы до ног («такого холоду нагнал», — говорили после), безмолвно начала раздеваться, в том числе и я. Поодиночке, совершенно голых, надзиратели вводили арестантов в дежурную комнату у тюремных ворот, тщательно ощупывали, заглядывая по всем подозрительным закоулкам тела, отбирали собственные вещи, оставляя только табак и трубки, вручали все новое, что полагалось из казенных вещей: две пары рубах и портов, бродни, онучи, куртку, штаны, халат, рукавицы и шапку, а потом сдавали каждого на руки двум цирюльникам, которые тут же подбривали правую половину головы. Проделав всю эту процедуру, арестантов, еще надевавших по дороге штаны или куртку, так же поодиночке впускали во двор тюрьмы, где велено было построиться в две шеренги. Когда все наконец построились, ворота торжественно распахнулись, и в них опять появился штабс-капитан с бумагой в руках и с целой свитой надзирателей по бокам. Опять послышалась команда: «Смирно! Шапки долой!»

— Здорово, братцы! — снисходительно проговорил Лучезаров, торжественно-замедленными шагами подходя к строю арестантов.

— Здр-равия желаем, господин начальник! — гаркнули во всю глотку братцы.

— Шапки надеть, — сказал начальник.

— На-кройсь!! — прокричал надзиратель и кинулся затем пересчитывать арестантов. Число оказалось то самое, какое было нужно. Лучезаров после этого обратился к нам с новой речью, на этот раз носившей шутливо-добродушный отеческий характер.

— Мы давно вас поджидали и все приготовили для дорогих гостей. Теперь сходите в баню и почище вымойтесь. Чтоб ни одной вши я ни на ком не видал, чтоб не видал и ни одного голодного! Да, у меня все будете сыты. Арестантская артель признается законом, поэтому и я ее признаю. Выберите же себе общего старосту, четырех парашников, двух поваров и двух хлебопеков: Что же касается камерных старост и больничных служителей, то я сам их назначу. Три дня даю вам для отдыха, а затем милости просим на работу. Да вот что еще. В тюрьме девять камер, и каждый из вас должен жить в той, в которую назначен. Слушайте, я прочту список.

И он прочел список, по которому в каждую камеру было назначено около двадцати человек. Я попал в № 4, и сожителями моими были все люди, знакомые мне лишь по фамилиям.

— Надзиратели, командуйте теперь на молитву.

— Смирно! На молитву — шапки долой!

Пропели три обычных молитвы: «Царю небесный», «Отче наш» и «Спаси, господи, люди твоя».

— На-кройсь!

— Командуйте расходиться по камерам.

Два надзирателя стали по обеим сторонам строя, третий в центре и все трое закричали почти одновременно:

— Первый, второй и третий номер, на-пра-во! — Четвертый, пятый, шестой номер, на-пра-во! — Седьмой, восьмой и девятый номер, налево! — Первый, второй и третий номер, в левые двери шагом ма-арш! — Четвертый, пятый и шестой номера, в средние двери шагом марш! — Седьмой, восьмой и девятый, в правые двери шагом марш!

В головах арестантов образовалась невообразимая каша: кто поворотился направо, кто налево, кто никуда

не поворотился и стоял на месте, тараща глаза, а кто и просто бегом побежал к первым попавшимся дверям, как это принято на этапах. Увидав первых бегущих, и вся шпанка поддалась заразительному примеру: все бросились очертя голову куда попало...

Преследуемая криками надзирателей, кобылка неслась как угорелая, и скоро на дворе никого не осталось, кроме начальника. Надзиратели скрылись в погоне за беглецами. Однако через пять только минут удалось снова собрать всех и выгнать на двор.

— Я делаю прежде всего выговор надзирателям, — громко заговорил Лучезаров, — следовало сообразить, что список, распределяющий арестантов по камерам, только что был им прочитан, когда они стояли уже в строю, и потому нелепо было, командуя — расходиться, упоминать номера.

Надзиратели стояли переконфуженные.

— Теперь постройте арестантов отдельными взводами, по номерам. Каждый из них должен помнить, кто куда назначен.

Надзиратели кинулись исполнять приказание, причем опять не обошлось без путаницы: чуть не половина арестантов, особенно из татар, оказалось, не знала своих номеров. Надзиратели совали их наобум, куда попало, лишь бы проявить перед начальником свою расторопность.

— Заморились, ваше благородие, дайте спокой... В баньку надыть сходить, — не вытерпев, громко произнес один толстенький арестант с седоватой бородкой.

— Кто говорит?! — заорал громовым голосом штабс-капитан. — Отведите его в карцер на трое суток, на хлеб и на воду!

Два надзирателя немедленно повели злосчастного выскочку в карцер.

— Если не будете точь-в-точь исполнять команду, до полночи проморю здесь. Не получите и бани.

После такой угрозы все уже обошлось благополучно, команда была выполнена пунктуально.

— Ну и шестиглазый. Истинно шестиглазый! — бормотали арестанты, расходясь по камерам и сообщая друг другу свои впечатления. — Самый, что ни есть, поразительный глаз. Прямо наскрозь нашего брата ви-

дит! — Все остались, впрочем, очень довольны тем, что попало и надзирателям.

— Этот никому, брат, спуску не даст: молодец!

С этих пор за Лучезаровым так и укоренилось среди арестантов прозвище Шестиглазого. *

II. ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

Наконец-то я спокойно лежу на голых нарах после дня, полного стольких треволнений. Из сожителей моих кто еще разговаривает, покуривая трубку, а кто и храпит уже; сходили в баньку, попарились, потом напились казенных чайных помоев с хлебушком — и довольны. О завтрашнем дне стараются не думать. Этим-то свойством и держится темный человек, особенно арестант. Не обладай он счастливой способностью не заглядывать в будущее — жизнь стала бы невмоготу. Впрочем, видно, что холоду нагнал Шестиглазый большого: разговаривают полушепотом, ходят, в случае надобности, на носках. Да и надзиратели изо всех сил стараются поддержать этот страх: ежеминутно бегают, стуча ключами, по коридору, заглядывают в дверные форточки. В одной из камер попытались было запеть («Надо быть, молодые ребята!»); мы слышали, как тотчас же кинулось туда несколько пар ног, как раздались грозные оклики — и мгновенно все стихло.

— Ну и Шелай! — сокрушенно вздыхает мой сосед Чирок, арестант лет под сорок, с испитым бледным лицом, но могучего сложения и крепкого еще здоровья. Он сидит на нарах, по-турецки сложив ноги, посасывает папироску и поминутно сплевывает на пол.

— Тут издохнешь, в этой тюрьме, при такой строгости, — поддерживает его красавец бондарь Малахов, брюнет с великолепной курчавой бородой и маленькими синими глазками. Я вглядываюсь в Малахова: это тоже атлет, в плечах, пожалуй, пошире самого Чирка. Поступь у него уверенная и правильная; движения исполнены достоинства.

---

* Автору напоминали о подобном же прозвище тюремного смотрителя в «Записках» Достоевского, но ему кажется, что эта мелкая подробность доказывает только живучесть преданий, нравов и даже острот описываемой среды, и потому он сохраняет ее, не опасаясь упреков в подражании великому художнику.[18] *(Прим. автора.)*

— Хм! — фыркает он. — Подстилки — и те отобрали, на голых нарах изволь спать.

— Завтра обещали казенные тюфяки выдать.

Малахов сам слышал это, но он раздражен и никакими обещаниями удовлетворяться не склонен.

— Хм! — продолжает он. — Образцовая тюрьма... Да где ж справедливость? Почему одного в Алгачи посылают, в Покровское или в Александровский централ, где он каторгу шутя отбудет во сне да в еде, а другого в образцовую тюрьму законопатят, где всячески будут стязать его, мучить?

— Это не Шелайский, а прямо шальной рудник! — сентенциозно заявляет кузнец Водянин, больше известный под прозвищем Железного Кота. Это маленький невзрачный человек, не первой уже молодости, но бойкий и острый на язык. В хорошем расположении духа он постоянно говорит созвучиями и рифмами.

— У меня иголку отобрали, — заявляет Чирок жалобным голосом.

Для Малахова это то же, что масло на огонь. Он еще пуще начинает сердится.

— Как же, братец, не отобрать? Еще зарезаться можешь... Начальство заботится о нашем брате... Эхма! А все, знаешь, кто виноват?

— Кто?

— Дохтура! Они самые. Все под предлогом, будто здоровье арестантов чистоты и порядка требует. А сами норовят, как бы больше сюда зацапать, в мошну, да как бы из нашего брата получше кровь высосать! *

---

* По поводу враждебного, почти ненавистного отношения арестантов к врачам, о котором не раз упоминается в настоящих очерках, считаю нелишним оговориться, что известная доля этого наблюдения, быть может, должна быть приписана и чисто местным, случайным причинам, вроде личного характера врачебного персонала в некоторых тюрьмах описываемого времени. Мне самому, например, прекрасно известно, какой теплой и единодушной любовью пользовался в 80-х годах старший врач красноярского тюремного замка, покойный ныне Мажаров. «Отец родной», «заступник» — иначе его и не звали. Даже наиболее озлобленные из арестантов с удивительною нежностью рассказывали многочисленные анекдоты, ходившие по тюремному миру, об этом необыкновенно добром и мягком человеке, по-видимому глубоко понимавшем и любившем несчастных питомцев каторги, несмотря на то, что был он уже не молод, в больших чинах и, конечно, немало видел на своем веку всяких художеств кобылки... Но за всем тем мне думается, что неприязнь к ме-

— Верно! — поддерживает бондаря Железный Кот. — Эти дохтура хуже нам, чем мошкара. Та тебя просто заест, а эти снимут и крест!

Чирок тоже находит нужным ополчиться против докторов и идет дальше.

— Будь я теперь на воле, — говорит он таинственно, — да попадись мне в тайге али где на степу дохтур, я бы из него жилы вымотал.

С нар поднимается еще одна фигура, лица которой в вечернем полумраке я не могу различить. Она поминутно кашляет и хватается рукой за грудь.

— Нет, я бы, — сипит она, — я бы знал, что с ним сделать! Я бы его раздел донага, посадил в муравейник, привязал бы к дереву и оставил так.

— А я бы, — восклицает новая личность, Яшка Перванов, — я бы чинов и звания его решил!

Замечание это вызывает всеобщую веселость и одобрение. Один только я не понял в то время соли этого циничного предложения... Вообще в этот вечер я впервые находился в такой тесной близости с арестантами. До сих пор я жил на этапах в отдельном помещении, в одиночестве или в обществе подобных мне интеллигентов; но теперь, совершенно отрезанный от всякого иного, высшего мира и сам подвергнутый полной нивелировке с этими отверженцами человеческого общества, теперь я поневоле должен был стать в другие отношения с ними, сделаться для них братом, товарищем.

С первых дней каторги я готовился к этому; однако, до сих пор благоприятные обстоятельства отдаляли решительную минуту, и сам я, понятно, не шел навстречу печальной необходимости. Сегодня, впервые испив горькую чашу настоящего каторжника, впервые почувствовав себя приниженным и заушенным, я с большим, чем прежде, любопытством приглядывался к своим собратьям по несчастью. Раньше я тоже приглядывался, но скорее как турист, барин, посторонний наблюдатель; теперь я искал в душе этих людей, лежавших бок о бок со мною, почти прикасаясь ко мне телами, того же

дицине и ее представителям, по-видимому, вообще коренится в нашем темном народе — достаточно вспомнить о недавних холерных бунтах. В виденных мною тюрьмах бывали, конечно, и хорошие врачи, фельдшера, а принципиально их все-таки ругали и не любили. *(Прим. автора.)*

настроения и тех же ощущений, какие находил в себе. Разделенное горе ведь легче переносится, чем переживаемое в одиночку... Вот почему из своего уголка я с жадностью прислушивался к их разговорам и с жадностью ловил каждое слово, которое находило бы отклик в моем сердце. Мысль, что я не один, что подле меня живут и движутся так же мыслящие, чувствующие и страдающие существа, так же близко принимающие к сердцу обиды, и те же самые обиды, какие и я, — надежда встретить здесь таких людей согревала и утешала меня.

Разговор продолжался. Малахов вспоминал жизнь в Покровском руднике.

— Вот жизнь так жизнь! На воле иной так не живет! Никаких этих строгостев и инструкций не было и в помине, а кому от того хуже было? Кто когда оскорбил смотрителя или надзирателя? Сама кобылка блюла за порядком, потому — понимали. И когда приезжала какая ревизия или там кто, все находилось на своем месте: карты, водку, ножи, деньги так припрятывали, что, случалось, и сам хозяин потом не отыщет. Ей-богу! Просто как братья родные жили с надзирателями. Они с нами тут же и чай пили и водочку и штос, случалось, закладывали. Вот, ей-богу, не вру! Смотритель был Шолсеин * по фамилии, мы его чухной все звали. Надо быть, из немцев, хотя по-русски хорошо говорил; присюсюкивал только малость — язык ровно недоклепан был. Чухна — тот, бывало, ни во что не вязался, даже и в казарму к нам редко, бывало, заглядывал. А если и придет когда на поверку, так смех один. Этих разных команд или там строев в помине не было. Зайдет в камеру. «Ну ты, дитю (всех «дитю» называл)!.. Лежи, лежи, дитю, я не слепой ведь, и так вижу. А ты там под нарами, дитю, ты ножкой только подрыгай, чтоб я видел, живой ли ты... Ну что? Все? Лишних тоже нет? За ночь никто не ожеребился?» Кобылка: «Ха-ха-ха!» — и он тоже смеется, заливается... Вот это я понимаю! Это значит — человечецкое отношение! Ну, случалось, конечно, и всыпет иному, не без того. Так за дело ведь, а не так, чтобы что! Не за шапку, что не вовремя снял аль надел. Раз пришел, помню, с обыском. «Ну что, дети, ножи есть? Мне покажите только — не отберу. Лишь бы

* Сольштейн. (*Прим. автора.*)

не скрывали, да не очень чтоб большие былн». Мы все, у кого были, показалн. У меня чуть не в поларшнна длнной был — н то отговорнлся: я, мол, ваше благородне, мастеровой-бондарь, мне нельзя с маленькнм обойтнсь. «Только не порежься, говорнт, днтю.. Что ж, нн у кого больше нет? Староста, нет больше в камере ножей?» Васька Косой подлетает: «Нет, говорит, ваше благородие». — «Ручаешься?» — «Ручаюсь». — «Собственной кожей ручаешься?» — «Вполне, говорит». Чухна привстал, протянул руку к полочке (ровно будто знал!), пошарил — н цоп! Достает ножнк чуть лн еще не моего больше... «Это, говорнт, как же, днтю? Разложнте-ка его, каналью, всыпьте ему, мерзавцу, пятьдесят горячнх, чтоб вперед не ручался!» Разложнлн мы тут же Косого н всыпалн... Я сам ему хорошнх штук пять влепил! Потому — за дело собачьему сыну!

— Вестнмо, — подтвердилн слушатели, — не ручайся в другой раз... Не мог он разве сказать: «Как, мол, могу я, ваше благороднe, за всю камеру заручнться? Ищнте, мол, самн...» Ничего б ему тогда н не было!

Все решнли после этого еднногласно, что жнзнь в других руднnках не жизнь, а рай, просто умнрать не надо (впоследствнн я слыхал, однако, от этнх же самых людей и другого рода отзывы). Опять прннялнсь ругать Шелайскую образцовую тюрьму.

— Да что *он* возьмет, что *он* возьмет с нас? — завопнл вдруг, точно кому возражая, смиренный обыкновенно Чирок. — Лень мне, что лн, шапку-то лншннй раз снять алн повернуться, куда он велнт? Полнняю я, что ли, с этого? Да я готов ему весь день в пояс кланяться — отвяжнсь только, сатана!.. Как я был арестант, так нм н останусь. И ннчего он с меня не возьмет!

— Что за шум? Чего горланнте? — раздался вдруг оклик надзирателя у дверного оконца. — Не слышалн разве — барабан зорю пробнл? В девять часов по ннструкцнн полагается спать ложнться.

Чнрок нспуганно нырнул под свой халат. Вся камера более илн менее поспешно последовала его примеру. Один Малахов остался сндеть на нарах н на внд равнодушно выколачивал золу нз своей трубки.

— Ты, большая голова, чего сндншь? Сказано — ложиться! — крнкнул на него надзнратель.

— А если сна нет, кто укажет мне ложиться? — спросил он деланно спокойным голосом, в котором слышалось, однако, волнение.

— Не разговаривать, ложиться!

— Говорю, сна нет. Ежели бы я шумел — тогда другое дело, а что я не сплю, так на это бог, а не инструкция.

— А! ты говорить мастер? Ну ладно, завтра потолкуем. — И надзиратель отошел прочь.

Все затихло в камере. Кое-кто пытался выразить Малахову сочувствие, ворча из-под халата, но сам Малахов хранил злобное молчание. Он посидел еще минут пять, все продолжая выколачивать золу из трубки, в которой давно уже ничего не было, и тоже наконец лег, тяжело вздыхая. Вскоре после того надзиратель опять подошел к двери, но, увидав, что все идет теперь согласно инструкции, что арестанты лежат, а камера, слабо озаренная керосиновой лампой, погружена в мертвое безмолвие, удалился.

Скоро я услышал, что все захрапели, не исключая и красавца бондаря. Но мне долго еще не спалось. Я думал... думал о том, куда попал и что меня ждет впереди; но больше всего мучила меня мысль об одиночестве среди этой массы людей, об исключительности моего положения. Уже одного сегодняшнего вечера и только что слышанных разговоров было достаточно, чтобы понять, какая громадная разница существовала во взглядах на жизнь и на человеческое достоинство между ними и мною, образованным человеком. Невольно приходил в голову вопрос: где легче жилось бы и чувствовалось мне — в Покровском, под отеческой ферулой столь прославляемого ими «чухны Шолсеина», который приглашал бы меня «подрыгать ножкой» и осведомлялся бы о том, «не ожеребился ли» я за ночь, или же здесь, во власти Шестиглазого, у которого все идет «согласно инструкции», формалистически-строго и бездушно-машинально?.. Смогу ли я, кроме того, понять и полюбить своих сожителей? Может ли кто из них посочувствовать мне? Какие в конце концов отношения у нас установятся? Мне представлялось ясным как божий день, что если я и не приобрету их ненависти, то все-таки буду жить и чувствовать себя бесконечно одиноким, что буду нести сравнительно с ними двойную, тысячекратную каторгу...

Сон не шел. Душа болела и протестовала против чего-то. Против чего? Я и сам не отдавал себе в этом отчета. И в первый раз после многих лет уста невольно шептали молитву: «Боже, милостивый боже! Дай мне силу и мужество без страха глядеть в лицо ожидающей меня доли; дай силу все вынести и дождаться вожделенного дня свободы!»

III. ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЗНАКОМСТВА ПЕРВОГО ДНЯ

«Что за странный шум? Что за крики? Уж не потоп ли, не пожар ли?» — думаю я во сне, но пробудиться нет сил; глаза не в состоянии разомкнуться — так слиплись. Но вот кто-то с сердцем сдергивает с меня халат, и я вскакиваю: передо мной усатое лицо надзирателя.

— Вставай на поверку! Чего нежишься, ровно дворянин какой!

— Да он дворянин и есть, — хихикает кто-то из арестантов.

— Может, и был, а теперь все каторжные. Вишь, разоспались, черти! Звонка не слыхали, свистка не слыхали. Правила висят на стене, надо прочитать было. Дворяне есть, а грамотных нет, что ли? По свистку обязаны немедленно вставать, умываться и оболокаться, а как только отворят дверь, выходить на двор и строиться. Ну, вылазьте!

Заспанная шпанка торопилась умыться. Все толпились в отхожем месте, где с помощью одного лишь глотка воды каждый ухитрялся умыть себе и лицо и руки над парашей. Это происходило вовсе не ради экономии воды и не потому, что опоздали и торопились: нет, таков обычай арестантов — вкуса к размываниям у них нет. Вместо полотенец утирались той же рубахой, которая была на теле. Вот наконец натянули на себя халаты, нахлобучили шапки и, выйдя на двор, построились в две шеренги. На дворе почти совсем темно еще — шестой час в начале. Время близится к октябрю, и в утреннем воздухе чувствуется изрядная свежесть; к тому же у всех бритые головы. Я невольно думаю о том, что утренняя поверка на дворе скверная вещь... Проходят верных десять минут, пока с помощью криков и угроз надзирателям удается выволочь наконец из камер

всех арестаитов. Тогда только иачали нас пересчитывать. Но в арифметике дежуриый надзиратель был, видимо, слаб, потому что два раза понадобилось ему обойти ряды, чтобы смекнуть, сколько он иасчитал. К насчитанному числу, с помощью других надзирателей, в течеиие добрых пяти минут прикладывал ои кухоииую прислугу и арестантов, положеиных в больиицу. Вышел спор. Решили, что одиого все-таки не хватает. Еще раз пересчитали иас. Вышло столько же, сколько и прежде. Тогда двое надзирателей бросились как угорелые в камеры, и вот иесколько мииут спустя, с браиью и подталкиваииями в шею, пригнали оттуда какого-то заспаниого и ковылявшего с иоги иа иогу старичоику. Скомандовали иа молитву, пропели что следует. Думали, что затем уже немедлеино позволят разойтись, ио одии из иадзирателей объявил громогласио следующее:

— За спор с надзирателем начальиик приказал посадить Парамоиа Малахова в карец на одии сутки и объявить арестантам, чтобы оии ие ииаче обращались к иадзирателям, как со словами «господии иадзиратель».

Малахова повели тотчас же в карцер.

— Направо и иалево! Шагом марш!

Мы вериулись в камеры и там сейчас же опять были заперты иа замок. Одних только камериых старост выпустили в кухию за чаем. Прииесли ведро такого же жидкого, как вчера, кирпичиого чаю и стали пить. Так как свои чашки имелись не у всех, а казенных еще ие выдали, то по иескольку человек пили из одной, а кто и просто ложкой хлебал из ведра. Прииесли и хлеба. На каждого приходился паек в $2^1/_2$ фуита (в рабочие дии 3 фуита); нашлись такие едоки, что сразу же и прикоичили свои порции. Я сам так был голодеи, что съел с чаем добрую половину пайка. Начали опять ругать Шелайскую тюрьму.

— Ну и тюрьма! Счастлив тот человек, кому срок иевелик. Тут замрешь.

— В каицере сгиоять.

— Да и без каицеря пропадешь. Ты как жил на Покровском-то? Там у тебя завсегда табачок был, и молочка и мясца прикупывал. А здесь ты иа какие же купила купишь?

Я решился полюбопытствовать, откуда же в Покровском брались у арестаитов деиьги.

Высокий, богатырского сложения старик с рыжевато-седыми бакенбардами, Гончаров по фамилии, видимо, был обрадован тем, что я нарушил молчание, которое упорно до тех пор хранил, и оживленно начал объяснять мне:

— Вот видите ли, в чем дело, — начал он...

Но тут я должен сделать прежде небольшое примечание. Почти все арестанты, с которыми мне приходилось сталкиваться в дороге, за исключением самых разве мужиковатых и простодушных, обращались со мною на вы. С прибытием в Шелайскую тюрьму я имел в виду начать совершенно новую жизнь, вполне слиться с арестантской средой, потонуть в ней; но эти мечты с первых же дней как-то сами собою разбились. Несмотря на то, что из пришедших со мной в тюрьму не было почти никого, кто сопутствовал бы мне в дороге до Сретенска, и что в самое последнее время я никакими видимыми привилегиями не пользовался, я как был, так и остался в глазах всех «барином». Сначала я недоумевал, стараясь объяснить себе это странное и неприятное для меня явление пословицею «слухом земля полнится», но вскоре понял, что главная причина лежала все-таки во мне самом. Во-первых, сам я каждому арестанту говорил «вы», как бы низко ни стоял он в глазах самих его товарищей. У многих арестантов, особенно из городских, тоже есть подобная замашка: первые пять минут или даже весь первый день знакомства *выкать* своему соседу; но ни один из них долго не выдерживает этого искуса, и через некоторое время вчерашние изысканно вежливые джентльмены уже с усердием поминают родителей друг друга... Вот почему всегда как-то смешно слышать выканье между арестантами. Иначе было со мной. Сам того не замечая, я постоянно говорил «вы» даже и тем из них, которые мне тыкали.

Ни одного бранного слова также никто не слыхал от меня; я был всегда предупредителен и услужлив: одним словом, я вел себя в каторге точь-в-точь так же, как вел бы себя и на паркете гостиной. Наконец, все видели, что я «ученый», что у меня есть книжки, что я «все знаю» и ко мне можно обратиться за советом в самом сложном юридическом вопросе. Конечно, не меньшую роль играли в отношениях ко мне шпанки и деньги...

Ходил даже преувеличенный слух о количестве получаемых мною из дому сумм; каждый видел, что у меня всегда есть и табак и все, что можно купить в тюрьме, и что никому ни в чем я никогда не отказываю — напротив, нередко даже сам предлагаю одолжаться. В Шелайской тюрьме, где материальные обстоятельства арестантов были особенно стесненные, одолжения эти поневоле должны были принять самые широкие размеры. В результате всего этого получилось то, чего я первоначально не желал: случайно кто-то узнал мое отчество, и вот скоро вся тюрьма не иначе меня звала, как Николаичем или даже Иваном Николаичем; встречаясь в узком коридоре, передо мной сторонились; со мной чрезвычайно вежливо раскланивались; на работах старались поставить меня на самое легкое место или же прямо помогали мне, и отказаться от этой помощи значило бы иногда нанести тяжкое оскорбление. Наконец, камерный староста (пока я не заметил этого и не запретил) выделял мне лучшую порцию мяса... Впрочем, я тут же должен оговориться, что для большинства тюрьмы (в общем, относившейся ко мне как один человек), этот корыстный элемент имел, так сказать, идеальное только значение, так как само собой разумеется, что прямую выгоду могли получать от меня лишь очень немногие, жившие главным образом в одной со мной камере, а между тем обратные услуги и помощь я получал решительно ото всех. Однако я слишком далеко забежал вперед. Вернемся к начатому объяснению Гончарова.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил словоохотливый старик, — там, на Покровском, дают старательские.

— Это что же такое?

— Работа рудничная за плату так зовется — сверх, значит, казенных урко́в. На казенной работе, безо всякой, то есть, корысти, только чтобы розог аль карцера не заслужить, сами скажите — зачем стану я изо всех жил тянуться? Да наплевать мне на их работу! Я лучше так просижу на отвале * али нарочно даже испорчу то, что другой уже сделал и сдал нарядчику. Сробил мало-мало что нужно, и сижу, трубку курю. Вот по-

* Отвалом зовется место, куда сваливаются глыбы вывезенного из штольни или шахты камня. *(Прим. автора.)*

смотрели бы вы, как пудовку там собирали. Пудовкой бадейка такая махонькая зовется — три пуда пятнадцать фунтов каменьев в нее входит. Набери в нее серебряной руды из старых отвалов — вот и урок. Времени на это немало надо. Ну и пускаешься на обман. На низ-то пудовки наложишь простого свинцового блеску, чтоб только значило, будто серебро, а сверху и с боков настоящей руды натрусишь. Живой это рукой насбираешь и несешь сдавать. Нарядчик видит, что сверху руда, и доволен. Ведет тебя в амбар, где руду ссыпают в кучу. Только ссыпать-то не зря тоже надо, а с толком. А то другой, знаешь, бултых все с маху — нарядчик и приметит, что внизу блеск один. «Стой, мерзавец, что делаешь!» Приходится тогда выкручиваться: сам, мол, обманулся, плохо еще различать научился руду от блеска. Ну, а меня, к примеру, старого подлеца и мошенника, не надо учить, как сделать! Мы не этаких оболтусов крутить умели... Я в пудовку-то не то что блеску — простого камчедалу* напихаю, снизу только, да по бокам и сверху немного настоящей руды натрушу. И таким манером высыплю, что у него, помни, только в глазах засверкает! Будет, как дурак, рот разиня стоять... А то еще проще сделаешь. Лень мне, знаешь, по отвалу на коленках ползать, штаны рвать да по зернышку, как курица, клевать. Вот и заберусь я рано-рано утром в забой, где только выпалка была и дыму еще не продохнешь. Там руды, разумеется, пропасть самой настоящей. Ну, без огня, конечно, бродишь, а то словят — в шею накостыляют!.. Наберешь там в пять минут сколько душе твоей угодно, а иной раз и в запас еще где-нибудь в старых выработках припрячешь. Раз, впрочем, поймал-таки меня Измаилка-нарядчик. Слышу, бежит с фонарем, кричит не своим голосом: «Ты что тут, мерзавец, делаешь?» Только я и тут маху не дал, не на такого, брат, напал! Накинул рубаху на голову и бросился ему навстречу как оглашенный! Фонарь у него задул и самого с ног сшиб... Еле выбрался оттуда старик из тьмы кромешной; об каменья, сердешный, лоб разбил... Приходит в светличку, кряхтит, охает, оглядывает нас. А я уж там стою как

* Так выговаривают арестанты слово «колчедан»; «кварц» на их языке «шква́рец», а то и прямо — «скворе́ц». *(Прим. автора.)*

ни в чем не бывало среди прочих арестантов, ровно бы делом занят — дощечку какую-то стругаю... «Это кто же из вас, чертей, говорит, фонарь у меня задул? Хоть бы так убежал, варвар, а то вишь как зашиб и перепугал насмерть. Не иначе как ты это, Петрушка Семенов, али ты, старый черт?» Это на меня то есть указывает... Мы с Петькой божимся, открещиваемся, а сами смеемся про себя. Так и отделались. Чудной парень этот Измаилка. Не вредный он для нашего брата.

Вот с буреньем тоже чистый смех был. Казенного урку десять верхов выдолбить полагается, а в мягкой породе и всех двенадцать. А на деле мы выбуривали три-четыре, много — семь верхов. Потому охоты ни у кого нет даром робить.

— А разве не взыскивали?

— Да как же со всех взыщешь? Ну конечно, если заметит нарядчик, что ты уж форменный лодырь, тогда посылает к смотрителю с запиской. Вот присылает раз Измаилка Сеньку Беспалого к чухне. Тот читает записку. «Ты что же, говорит, дитю, плохо работаешь? Нарядчик жалуется, что всего два вершка выбурил, а нужно десять». — «Никак невозможно, ваше благородие, — отвечает Сенька, — кобылка просто руки все покалечила об этот забой. Как сталь жесткая порода!» — «Ну ладно, говорит, дитю, я погляжу. Пошлю завтра на это место самых здоровых во всем руднике ребят». И точно, посылает Гришку Хохла с Ванькой Жиганом. Те возьми да и отхватай по полтора вершка — нарочно, вестимо. «Ну, — говорит чухна, — коли уж эти не могли больше выбурить — значит, камень железо чистое. Я вас, говорит, дети, не выдам». Берет бумагу и пишет горному уставщику, что для этого, мол, забоя не станет больше давать людей, так как в нем народ шибко изнуряется... И помни: ведь так этот забой и закрыли!.. Вот видит горное ведомство, что на казенных урках далеко не уедешь, а серебряная руда покровская между тем первый сорт: втапоры ей одной, почитай, все дело держалось. Ну, и учредили старательские. Определили нам жалованье: столько-то рублей за кубическую сажень выработки. И, боже ты мой! Откуда тогда что взялось! И люди, и сила, и охота бурить. Сделаешь сначала казенный урок (сполна десять верхов), а потом, не переводя духу, отбухаешь еще два-

дцать старательских! И помни зато: у каждого и табачок был, и молочко, и водочка... И в карты хватало поиграть. Ничего не имел тот разве, кто работать не хотел. Малахов, например, тот весь день спал, зато и жил голодом.

— Почему голодом жил? А казенная пища?

— Казенное мясо он за табак продавал. Да и какая ж еда казенная баланда!

— Но почему же он не работал? Ведь он, кажется, здоровый человек.

— Медведя повалит... Да просто не хотел... Лень-то, пословица говорит, прежде нас родилась.

— Зачем! Зачем пустяки говорить! — закричал вдруг безмолвно слушавший до тех пор Чирок. — Вот не люблю этого. Парамон — справедливый человек. Он не любит попреков этих да самохвальств, которые при дележке идут: тот больше, тот меньше сробил... У нас, знаете, все ведь иванцы, да хамства... А Парамон этого не любит! Он — справедливый человек. Покаместь работал-то он, так супротив его никого не было. Он по тридцати верхов там выбуривал, где на казенном урке Гришка Хохол с Ванькой Жиганом по полтора отмочили. Справедливый человек Парамон — вот и бросил.

— Затвердил одно, как сорока: справедливый да справедливый! А чего ты сам-то понимаешь в этом деле? Ты ведь и не буривал, почесть, никогда! Ты всю свою каторгу в причиндалах отжил — то прачкой, то банщиком, то больничным служителем.

— Да ни дна тебе, ни покрышки! Бесстыжие шары твои! Нашел чем попрекать: причиндалом я, вишь, был... А были ль у тебя, как у меня, руки так надсажены? Ты сам сейчас сказывал, как ты работал-то, а у меня эвон вся кожа с пальцев послазила, паршивые ваши рубашки стирамши! В шары только наплевать тебе стоит, глот енисейский!

— Чего лаешься, чего ты лаешься, пермяк, соленые уши? Ишь хайло-то разинул! Что ты видел в своей Перме? Что ты знаешь, что понимаешь?

— Ты много знаешь, много горя видел, челдон желторотый!..

— Ну, я-то не желторотый, положим: пятьдесят третий год на свете живу, видал кое-что и знаю. А вот что ты-то знаешь, так то я забывать уже стал!

Я поиял, что теперь интересиые для меия темы на время исчерпаиы, что будет тяиуться бесконечиая перебраика, и ушел на свое место, в угол камеры. Впоследствии я узиал, одиако, что такие перебраики редко коичаются в арестаитской среде потасовками; мне кажется, даже реже, чем в культуриой среде... Нельзя сказать, чтоб это объяснялось отсутствием у арестантов самолюбия. О! я видал страшные вспышки самолюбия, когда дело касалось отиошений с таким человеком, которого оии считали в чем-иибудь выше себя... Тогда оказывалось у иих такое тоикое чутье к обиде, какое не всегда сыщешь и у интеллигентиых людей. Другое дело между собою, со своим братом. У меия волосы становились порой дыбом от ужасных ругательств, которыми оии осыпали друг друга: ие было такого грубого слова, такого обидиого словесиого оборота, которым оии ие старались бы уязвить противиика; ие только ему самому, ио и матери, и отцу, и землякам его доставалось. Мне думалось, что после такого крупного разговора соперникам ничего больше не остается, как разойтись кровиыми, непримиримыми врагами... И что же? Через какой-иибудь деиь, а иногда и час, я видел их опять мирио и дружелюбио беседующими. Переход в неговореиие, так часто имеющий место в образованиой среде, для иих совершеиио иепоиятиая и иевозможиая вещь. Самая страшиая перебраика для иих, в сущиости, ие что иное, как пустое словопреиие, своего рода артистический туриир. Бывают, коиечно, как везде и во всем, свои исключеиия; ио, повторяю, за иесколько лет моего пребываиия в Шелайском рудиике ие больше двух-трех раз пришлось мне иаблюдать потасовки и мордобои, причииой которых были словесиые оскорблеиия.* Зато редки между арестаитами явлеиия и другого сорта, случаи тесной и иежной дружбы. Каждый глядит иа каждого не как иа товарища по беде, а скорее как волк иа волка, враг на врага... Самое слово «товарищ» — к месту сказать, одно из самых любимых арестантских слов — выражает, в сущиости, очеиь иемиогое: товарищами зовутся люди, пьющие и едящие

* Есть два только бранных слова в арестантском словаре, нередко бывающне причнной драк н даже убнйств в тюрьмах: одно из ннх (сука) обозиачает шпноиа, другое, неудобио произиосимое — мужчину, который берет на себя роль женщнны. (*Прим. автора.*)

вместе, из одной посуды. Но такие экономические связи происходят большею частью случайно. Слово «друг» еще меньше осмысливается.

Ссора Чирка и Гончарова была между тем прервана появлением надзирателя, объявившего, что старостой в нашей камере назначается старичок Гандорин, который и вчера уже исполнял временно эту должность. Затем надзиратель предложил камере высказаться, кого желает она выбрать общеартельным старостой, прачками, парашниками, хлебопеками. Началось галденье. Назывались все мало знакомые мне фамилии. Из нашего номера предложили Кузьму Чирка в прачки, а Яшку Перванова (он же Тарбаган) — в парашники.

— Тебе, Яша, уж не впервой этим делом займоваться, этот спирт по твоему носу... Да и ты тоже, Чирок, к бабьему положению привычен. Знай себе наволоки постирывай!

— Вот, дурак, какое слово сказал! За него б тебе плюх надавать надо.

— Ну-ну! — прикрикнул надзиратель. — В старосты кого хотите?

Все переглянулись между собой и помолчали немного. Гончаров первый указал на меня.

— Вот они у нас грамотные, да и люди совсем особого рода. Кривизны уж никакой не будет...

— Николаича, Николаича в старосты! — загалдел весь номер. Но я замахал, что называется, и руками и ногами.

— Увольте, господа! Мне неудобно...

Пытались уговаривать меня, но я наотрез отказался.* К великому моему удивлению, и в большинстве

---

* Один из критиков настоящей книги[19] нашел, что в этом мнимом отказе и заключалась наиболее крупная ошибка Ивана Николаевича. Не будь этой ошибки и не будь выбран в старосты Юхорев, не было бы, по его мнению, и тех неприятностей, какие описаны автором во втором томе. Но мнение это показывает только, что почтенный критик не вник в сущность положения и не уяснил себе мотивов отказа Ивана Николаевича, отнюдь не бывших капризом или желанием покоя: Ивану Николаевичу *нравственно невозможно* было взять на себя права и обязанности старосты уголовной тюрьмы — звания, неизбежно сопряженного со всякого рода столкновениями с начальством, унижениями, компромиссами и пр. Не говоря уже о том, что начальство и не утвердило бы, конечно, подобного избрания... Но даже случись невозможное — будь Иван Николаевич вы-

других номеров в первую голову называли меня; а я так наивно предполагал, что большинство не знает и о самом моем существовании!

Надзиратель везде объявлял, что я уж отказался, и потому, погалдев и поспорив некоторое время, сошлись на некоем Колпакове, молодом развязном парне из червонных валетов. Колпакова, впрочем, Лучезаров не утвердил, и тогда в старосты выбран был другой арестант, некто Юхорев.

Между тем старик Гандорин принес из кухни небольшой бак с «крошонкой», то есть с мелко нарезанным мясом, полагавшимся на двадцать человек нашей камеры. На каждого арестанта в нерабочий день отпускалось 32 золотника сырого мяса, а в рабочий 48 золотников. За час или за полтора до раздачи обеда повар в присутствии общего старосты и дневального вынимал мясо из котла, освобождал его от костей и разрезал на столе большими ножами на мелкие кусочки. Затем староста раскладывал эту «крошонку» в десять бачков по числу камер (кухня считалась за камеру) и живущего в них народа. Раскладка производилась голыми руками, не всегда, конечно, чистыми... Камерные старосты уносили бачки в свои номера, и там происходила вторичная раскладка.

С невольным омерзением смотрел я, как плюгавый старикашка Гандорин, не помыв даже рук, размещал на грязном столе (который он обтер, впрочем, своей шапкой) двадцать мясных кучек. С рук его текло сало; кроме того, и из носа у него текла подозрительная жидкость, которую он принужден был ежеминутно вытирать тою же сальною рукою. От этого вскоре и нос его и губы получили глянцевитый вид. Старичок отличался, видимо, большой добросовестностью: ему все казалось, что одна кучка больше, другая меньше, чем следует, и он долго возился, перекладывая из одной кучки в другую по ниточке мяса. Меня чуть не вырвало при виде этой отталкивающей операции. Я лег на нары и отвер-

---

бран и утвержден, что бы из этого могло выйти? Только то, что недоразумения между ним и кобылкой начались бы значительно раньше и ему все равно пришлось бы очень скоро отказаться от неподходящей к его положению должности. Автору казалось раньше, что все это понятно само собою, но теперь он счел нелишним высказаться яснее. *(Прим. автора.)*

нулся к стене. Но дележка была уже окончена; арестанты бросились разбирать свои порции. Голод, как говорится, не тетка, и, прождав некоторое время, я тоже подошел взять свою долю. Меня удивила ее скромная величина: счетом было ровно пять кусочков мяса, каждый с наперсток величиною, и из этого числа половина состояла из неудобных для жевания сухожилий. Я полюбопытствовал спросить, столько ли дается мяса в других рудниках.

— По закону везде одно и то же полагается, — отвечал словоохотливый Гончаров, — только... это уж от нашего брата зависит, чтоб все, что полагается, до рта доходило. Это еще хорошая вот порция: раз, два, три, четыре... Что же! шесть кусочков у меня. Это еще слава богу! В нерабочий день можно быть сытым. А в других тюрьмах, где нашей кобылке полная воля дана, повернете ли, такой порции в светлый Христов день не получишь!

— Почему же так? Коли там ваша воля — значит, начальство там уж не обманет вас.

Все засмеялись над моей наивностью. Гончаров тоже хихикнул и помолчал немного.

— Как вы судите по-робячьи! — сказал он наконец. — Да наш брат кобылка хуже начальства. Начальство-то у меня не украдет, потому я сам мошенник. А свой украдет. А не он у меня украдет, так я у него! На то мы и мошенники...

— Кто же мясо крадет?

— Кто!.. Да разве там мало причиндалов, на кухне-то? Староста, повара, дневальные, костогрызы...

— Это что за костогрызы?

— Которые кости грызут: жиганы, которые проигрались, и есть нечего. Порцию-то свою иной за месяц вперед спустит. Ну, и толчется в кухне, когда мясо крошат. Иваны тоже у старосты и у поваров покупают.

— А как же я слышал, будто у арестантов строго преследуется воровство в тюрьме, у своего брата?

— Это точно. Самым последним человеком тот считается у нас, кто у своих же ворует — табак там али сахар. И помни: ежели поймают вора в тюрьме, до смерти заколотят! Я сам всю жизнь вором был, чего таиться? Первой степени подлец и разбойник был; ну, а в тюрьме... Тут я честный человек и морду тому

поколочу, сукиному сыну, кто скажет, что я вот хоть с эстолько украл когда у своего брата арестанта!

— А разве не такое же воровство: красть у артели мясо?

— Нет, это разные вещи! У нас это воровством не считается.

— Какое же это воровство? — подтвердил Чирок с видом глубокого убеждения. — Тут с общего согласу. В старосты на поправку идут... А то из-за чего же и стараться? Артель с тем и выбирает. Никакого тут воровства нету.

— Вестимо, нету, — хором проговорила вся камера. Один Гончаров, как показалось мне, хитро посмеивался, куря свою трубку. Меня заинтересовала эта странная арестантская логика.

— Да ведь сами ж вы жалуетесь, — сказал я, — что казенный обед в других тюрьмах настоящие помои? Ведь этак нельзя жить целые годы: замрешь!

— Там не замрешь! — отвечал мой собеседник. — Там у каждого есть деньги. Там я к казенной-то баланде за грех считал и притронуться. И баланду и кашу в Покровском у нас целыми ушатами надзирательским свиньям относили.

— Хорошо, если есть старательские, — не унимался я, — но не во всех ведь рудниках они есть, да и работать там могут только самые сильные.

— Да разве только старательские одни! Вы нашего брата еще не знаете, вы как дите малое: все-то вам разжуй да в рот положь...

— И то еще скажет: ложь! — срифмовал Железный Кот.

— У нас много доходных статей, и каждый может найти свою точку. Кто в карты выиграет, кто на стреме постоит, надзирателя покараулит — за это тоже свою долю получит; кто водкой торгует, кто из семейных пирожками, молоком, кто карты у себя держит. Да боже ты мой! Мало ли сколько изворотов найдет смекалистая башка! Прачка — тот полотенце мне выстирает, я ему заплатить сколько-нибудь должен, потому это не казенная работа. Другой болезнь какую измыслит себе, в больницу ляжет: молоко али мясо продаст за несколько дней — вот на табачишко и есть. А проигрался в пух и прах — казенную вещь можно спустить. Ну, ко-

нечно, шкурой иногда платиться приходится: так ведь это нашему брату то же, что в баньке попариться... Ха-ха-ха! Еще в пользу идет — кровь разгоняет... Таким вот манером и живут. Есть, положим, в тюрьме двести целковых — они так и идут из рук в руки колесом, не залеживаются долго у одного. Все на них и кормятся.

Эта любопытная финансовая теория была прервана звонком на обед, полагавшимся в одиннадцать часов утра, новым грохотом замка и появлением Гандорина с огромным баком щей в руках, знаменитой арестантской баланды. Мне она показалась чистейшими помоями: немного крупы в грязной воде, немного капусты, несколько неочищенных картофелин, множество тараканов и ни капли навару. Да и откуда мог взяться навар, если арестанты вынимали мясо из котла, едва дав ему свариться, так как в противном случае оно стало бы расползаться, и никакая дележка на порции была бы невозможна. Однако сожители мои единогласно похвалили шелайскую баланду и опростали до дна весь бак. Обстоятельство это сильно заставило меня усомниться в их рассказах о райском житье в других тюрьмах. Гончаров словно угадал мои мысли и, ложась на нары, опять заговорил:

— Хороша-то она хороша, только ежели на ней одной сидеть, так долго не протянешь. А придется, видно, сидеть. Вот в этой тюрьме, и мы скажем, большой был бы грех у артели воровать. Потому последние крохи... Ниоткуда больше не достанешь.

— Вестимо, ниоткуда! — уныло подтвердил Чирок и добавил, подходя ко мне: — Позвольте табачку на папироску.

За ним безмолвно потянулись к моему кисету Тарбаган и другие. Совершив это священнодействие, все полегли на нары и, казалось, погрузились в созерцание предстоящего горького будущего. Все замолчало, и скоро в камере послышался дружный храп. Это настал послеобеденный отдых. В пять часов раздался звонок на ужин. Принесли размазню из гречневой крупы, жидкую, как суп, и невыразимо отвратительную на вкус; долгое время, пока не выработалась привычка, мне слышался в ней запах псины... Вскоре же после ужина подали вечерний чай. В шесть часов камеры отперли

для вечерней поверки. По коридору раздался оглушительный свисток, за которым последовал взволнованный крик надзирателя:

— Вылазь на поверку! Скорее стройся на дворе, сам начальник будет!

Напуганные всем предшествовавшим, арестанты впопыхах надевали халаты и сломя голову, толкая один другого, бежали во двор, где и строились в два ряда, камера отдельно от камеры. Дежурный надзиратель в белых перчатках бегал вдоль строя и, озабоченно поглядывая на ворота, делал нам предварительный счет. Наконец ударил звонок. Старший дежурный, стоявший за воротами, крикнул сквозь решетку: «Идет!» Все всколыхнулись, как море, откашлялись, высморкались — и стихли, замерли точно вкопанные. Сквозь решетчатые ворота видно было, как стоявшие праздно казаки испуганно побежали с улицы в караулку... И вот под ворота вступила крупная фигура Шестиглазого, в накинутой на плечи шинели и с тростью в руке, окруженная свитой надзирателей. Видно и слышно было, как старший надзиратель поспешно подбежал к нему и, сделав под козырек, произнес рапорт: «Господин начальник, при Шелаевском руднике все обстоит благополучно; в тюрьме находится...» Дальше нельзя было расслышать. Замок загремел, ворота распахнулись.

— Смир-р-но!! Шапки дол-ло-ой!! — скомандовал стоявший перед строем дежурный таким зычным голосом, что затрепетало бы и не робкое сердце.

Бритые головы моментально обнажились.

— Шапки надеть!

— На-кр-ройсь!! — Шапки очутились на головах. Дежурный быстрыми шагами подлетел к медленно подплывавшему Лучезарову и, сделав под козырек, отрапортовал скороговоркой:

— Господин начальник! В Шелаевской тюрьме все обстоит благополучно, в строю находится сто семьдесят человек, в лазарете восемь, арестованных два.

— Здравствуйте! — благодушно приветствовал его начальник, опуская руку, которую во время доклада тоже держал у козырька.

— Здравия желаем, ваше благородие! — гаркнули было кое-кто из арестантов, не поняв, что это приветствие относилось не к ним.

— Здравия желаю, господин начальник! — отвечал подобострастно надзиратель и быстро отскочил в сторону.

— Здорово, братцы! — возвышая голос и ближе подходя к строю, произнес Лучезаров.

— Здр-рав-вия желаем, господин начальник! — грянули, словно воспрянувшие от тяжелого сна, братцы; эхо далеко пронеслось за стены тюрьмы и долетело до самых сопок.

— Командуйте на молитву!

— На молитву! Шапки до-лой!

Арестантский хор, ставший по заранее сделанному распоряжению в середине строя, пропел довольно стройно и громогласно обычные молитвы.

— На-кройсь!

Шапки опять опустились на головы. Минуты две Шестиглазый стоял, безмолвно оглядывая арестантов, которые были ни живы ни мертвы.

— Вот что! — начал он повелительным голосом. — Сегодня, с моего дозволения, вы выбрали общего старосту, поваров и других артельных служителей. Пускай же они знают (да и вы все знайте!), что я не потерплю в моей тюрьме воровства. За каждый случай замеченного мошенничества в кухне, в больнице или на другой артельной должности я буду отдавать виновных под суд. Не говорю уже о том, что воровать у своих товарищей, даже с вашей арестантской точки зрения, позор и стыд. Знайте сверх того, что, кроме отпускаемых на котел казенных продуктов, я ничего пропускать в тюрьму не буду. Чай, сахар и табак можете выписывать на свои деньги только один раз в неделю и не больше как в назначенных мною размерах на одного человека. Никаких майданов я не допущу. Частных улучшений пищи также не дозволю. Не дозволю, чтоб одни ели лучше или хуже других! Другие тюрьмы мне не указ. Шелаевская тюрьма — образцовая каторжная тюрьма, и я хочу, чтоб она не на бумаге только была каторжной. Каторжный режим, по моему глубокому убеждению, должен быть также и пищевым режимом. Впрочем, если кто хочет, может отдавать свои деньги на улучшение пищи для всей тюрьмы. Надзиратели, разводите арестантов по камерам!

— Первые три номера, направо! — Средние три номера, пол-оборота направо! — Последние три номера, налево!

— Шагом ма-арш!

Арестанты церемониальной поступью и в строгом порядке разошлись по своим местам, потихоньку толкуя между собой о «прижиме насчет пишши», который посулил им Шестиглазый.

— Так, братцы мои, и режет прямо в глаза: «У меня, говорит, настоящий каторжный прижим будет».

Но церемония дня этим не кончилась. В камерах приказали тоже выстроиться в две шеренги! Шестиглазый обходил камеры и производил вторичный окончательный счет. В каждой камере при появлении его надзиратель кричал: «Смирно!» и, страшно скосив глаза, рапортовал: «Двадцать человек, господин начальник!»

Наконец, дверь захлопнулась, замок щелкнул, и мы, оглушенные, отуманенные всем этим громом и блеском, одуревшие, остались одни.

— Ну-ну! — резюмировал общее настроение Гончаров.

— О господи, владыко живота моего! — простонал старикашка Гандорин и действительно схватился за живот, заболевший у него со страху... Это всех рассмешило, и тишина прервалась общим разговором. Но я не слушал его и, улегшись в своем углу, старался успокоиться и собраться с мыслями.

IV. НА ШАРМАНКЕ

Следующие два дня, назначенные для отдыха, прошли как две капли воды похожие один на другой. Разница была только в разговорах арестантов между собою да в том, что второй день был постный, среда, и потому мяса в баланде совсем не было. Впрочем, не религиозными, очевидно, соображениями руководилось начальство, учреждая в каторге два постных дня в неделю, потому что сало для каши и в эти дни отпускалось. Такая странность особенно бросалась в глаза в великом посту, когда арестантов заставляют поститься целых три недели (причем на одной из них происходит говение) и все это время угощают пустой баландой с

салом. Кроме постов по средам и пятницам, в Шелайской тюрьме еще два раза в неделю отпускалось, вместо мяса, так называемое осердие, или, по арестантскому произношению, «усердие», то есть печенка, брюшина и легкие. Порция выходила несколько больше обыкновенной, но зато весьма лишь неприхотливый желудок мог есть это «фальшивое», как говорили арестанты, мясо: скользкие, как жаба, легкие, плохо вымытая брюшина, отдававшая своими естественными ароматами, с трудом лезли мне в горло. Таким образом, есть настоящее, не фальшивое мясо мне приходилось только три раза в неделю — и, ознакомившись покороче с пищевым режимом Шелайской тюрьмы, я с невольным ужасом помышлял о нескольких годах, которые предстояло мне провести в ней. «Тут замрешь!» — твердил я про себя арестантскую поговорку...

На вечерней поверке второго дня по-прежнему присутствовал сам Лучезаров, но никаких речей больше не держал. Вечером третьего дня старший надзиратель обошел ряды, приглашая арестантов объявить свои ремесла и мастерства. Сначала все молчали, потом начали поталкивать полегоньку один другого: «Иди, Андрюшка... Может, заробишь что на табачишко... Знаешь ведь, какая тюрьма здесь». Водянин из нашей камеры первый вызвался в кузнецы и, назвавшись по фамилии, высунулся было из шеренги.

— Не выходить из строя! Стоять на месте! Руки по швам! — кинулось к нему несколько надзирателей. Железный Кот быстро юркнул в ряды.

— Еще кто? Молотобойцем кто может быть?

Из нашей же камеры вызвался некто Ефимов.

Малахов, уже выпущенный из карцера, назвался бондарем. Из других камер нашлись плотники, столяры, пильщики, слесаря, сапожники. После этого дежурный прочитал наряд на работы. Тут была группа назначенных для рытья какой-то канавы, для постройки зимовья, для возки воды и дров и, наконец, — горных рабочих. С невольным замиранием сердца ждал я, куда попадет моя фамилия, и был душевно рад, когда услышал ее в числе назначенных в гору, как потому, что желал познакомиться именно с рудничными работами, так и потому, что все остальные, хотя и более легкие, казались мне как-то менее почетными... Прочитав наряд,

надзиратель объявил назначенным в гору, что, в виду дальности расстояния ее от тюрьмы и неудобства возвращения на обед, они будут ходить туда на один «упо-вод» и потому могут брать с собою хлеб и котелки для варки чая.

Шпанка весь вечер волновалась. Сидеть безвыходно под замком успело уже надоесть, и всем чрезвычайно нравилась перспектива предстоящей перемены. Обсуждали также вопрос о том, будет ли в Шелайском руднике выдаваться «почтеление», — так выговаривали слово «поощрение». По словам арестантов, мастеровым, работавшим в руднике, шли от горного ведомства какие-то деньги; кузнецу пять рублей в месяц, дневальному и крепильщику по четыре рубля и т. п. Ужасно интересовались также вопросом о том, что за зимовье хотят строить. Гнусавый человек, предлагавший сажать докторов в муравейник, заговорил таинственным шепотом:

— Я знаю... Для вольной команды.

— Для какой вольной команды? Чего плетешь?

— Не плету, а знаю... Выпускать скоро будут... Ведь уж многим строка́-то покончились. Вон Андрюшке Повару, Парамону, Тарбагану, Пестрову Ромашке, Летунову, Скоропадову...

— Так-то оно так. Только будут ли здесь выпущать-то? Образцовая ведь тюрьма-то...

— Будут... Я тебе говорю!

— Да откудова знаешь ты, гнус проклятый? С нами же тут все дни под замком сидел.

— Уж знаю, мое дело... От надзирателя слышал!

— Что и за гнус у нас, братцы! Это не гнус, а прямо два сбоку. С ним и ведомостей не надо.

Я поглядел на гнуса. Все лицо его сияло довольной и вместе лукавой усмешкой; длинные рыжие усы шевелились, как у татарина, чахоточная грудь дышала прерывисто и часто.

Высказав свою сенсационную новость, он улегся на нары и по-прежнему замолк.

Начались бесконечные разговоры о том, кому и когда выходить в вольную команду. Я полюбопытствовал спросить, кто пойдет из нашей камеры в гору. Оказалось, что только один Гончаров и его земляк-товарищ Петрушка Семенов, молодой геркулес, отличавшийся

угрюмой молчаливостью. Кузнец и молотобоец для горы назначены были из других номеров; Железный Кот и Ефимов оставлялись при тюремной кузнице. Чирок подал мне благой совет выспаться хорошенько перед работой, и я, послушавшись, немедленно лег и уснул как убитый. На следующий день я проснулся еще задолго до свистка, подаваемого за двадцать минут до того, как отворяют камеры на поверку. Оделся, умылся, снова прилег и успел еще немного соснуть, пока загремели наконец двери и раздался обычный оклик: «Вылазь на поверку!» Следовательно, было пять часов утра. В шесть часов, когда кончилось утреннее чаепитие, раздался второй звонок у ворот, а в коридорах тюрьмы оглушительный свисток и крик надзирателя:

— На работу! На работу! Стройся на дворе группами, кто куда назначен.

Все хлынули на двор, отыскивая своих. Я наглядел моих богатырей, Гончарова и Семенова, и стал позади одного из них. У каждого горного рабочего была за пазухой холщовая онучка с ломтем хлеба и чайной чашкой; у некоторых, кроме того, котелки. Сначала вызвали за ворота тех, которые были назначены для рытья канавы, затем плотников и позже всех горную группу. За ворота нас выпускали по одному человеку, причем тут же обыскивали, ощупывая всю одежду с головы до ног. На плацу перед тюрьмой вторично велели построиться и окружили густым конвоем казаков. Несколько раз пересчитали. Старший конвойный расписался в дежурной комнате, что принял тридцать пять арестантов. Затем раздалась команда надзирателя, который должен был сопровождать нас в гору:

— Пол-оборота на-пра-во! По четыре человека в ряд! Шагом марш!

И кобылка очертя голову полетела в неведомую даль — куда бы то ни было, лишь бы подальше от тюрьмы, лишь бы на что-нибудь новое, хотя бы это новое было и в десять раз горше...

Сначала дорога опускалась вниз. Повсюду кругом желтела мелкая таежная поросль — молодая лиственница, жидкая береза, тальник, кусты багульника и шиповника, а по всему горизонту высоко поднимались то совершенно голые, то покрытые таким же кустарником сопки. Мы не знали, в которой из них помещается

Шелайский рудник. По слухам, все шелайские горы были изрыты шахтами и прорезаны штольнями. Местность эта была полна смутных и даже страшных легенд. Указывали на одну из сопок и говорили, что тридцать лет назад там случился обвал, от которого погибло больше шестидесяти человек каторжных.

— Это скрывают, конечно, — рассказывал немолодой уже арестант с сухим, как щепка, лицом и бойкими черными глазами, — скрывают, чтоб не запугивать нашего брата. Ну да мы-то знаем!

— И ничего-то ты не знаешь! — возразил ему надзиратель, шедший рядом и слышавший разговор. — Завалить обвалом действительно завалило, только не здесь, а в Алгачах.

— А алгачинский нарядчик тоже сказывает, что, мол, не у нас, а в Шелайском.

— Не может этого быть. Алгачинский нарядчик, Степан Иванович, мне родной дядя. Кому же из нас лучше знать?

— Может быть, вы и лучше знаете — супротив этого я не спорю, — только начальство вам самим приказывает скрывать от нас.

— Для чего же скрывать?

— А для того, что — знай это кобылка — никого бы тогда и в гору не загнать!

— Врешь, старик! Загнали бы, захотели. Ведь вот ты же знаешь, говоришь, а гонят тебя — и идешь.

Старик перестал спорить, но долго что-то ворчал про себя. Арестанты были, видимо, на стороне своего брата. Многие мне подмигивали и шептали:

— Какую пулю отмочил? Да нас, брат, не проведешь. Знаем мы вашу змеиную породу!

— Во! Во! — дернул меня кто-то за рукав. — Смотри-кось, Миколаич. — Я оглянулся влево, по направлению к указанной сопке, и мог только разглядеть несколько огромных куч наваленных каменьев и черневшие местами ямы.

— Это что за ямы? — спросил я.

— Шахты.

— Здесь и был обвал?

— А кто его знает; може, и здесь.

Дорога начинала подниматься в гору. Пройдя с четверть версты, я почувствовал, что задыхаюсь, и невольно

закричал на сибирском наречии: «Легче!» Надзиратель объявил привал.

Отдохнув минут пять, снова тронулись в путь. Подниматься становилось все труднее и труднее. Но уже недалеко была светличка, небольшой домик, в котором жил рудничный сторож и где должна была производиться раскомандировка арестантов по работам. Тут же стояла и кузница. Ввалившись всей толпой в светличку, мы увидали дряхлого, подслеповатого старичка с гривой седых нечесаных волос и лохмотьями на плечах. Острый носик его, казалось, вынюхивал воздух; также и глазки, несмотря на старческую тусклость, производили впечатление лукавства, того, что называется себе на уме. Это был горный сторож. Рядом с ним сидел нарядчик, плотный румяный мужик, одетый в плисовые черные шаровары и поношенную поддевку с красным кушаком. Звали его Петр Петрович. Он немедленно начал расспрашивать каждого из нас, кто какую работу знает; но я подметил, что все, даже и бывалые, старались уверить его, что в первый раз в глаза видят рудник. Нашлись, впрочем, кузнец и плотник (крепильщик), открывшие накануне свои ремесла тюремному начальству. Из дальнейшего разговора я очень мало понял; слышал только, что меня назначили в верхнюю шахту на какую-то «шарманку».

— Это что же такое? — спросил я с недоумением у Гончарова. Мне пришло в голову — уж не шутят ли надо мною.

— Да вы не беспокойтесь! С вами Петька Семенов назначен, он все вам объяснит и укажет.

— А вы сами разве в другое место?

— Я тут остаюсь нарядчику сани делать.

Я подошел к Семенову и узнал от него, что мы пойдем на самую верхнюю шахту воду откачивать.

— А шарманка-то как же?

— Это и есть шарманка — воду откачивать, — улыбнулся Семенов, показав два ряда ослепительно белых зубов.

Я в первый раз вгляделся в его лицо и, признаюсь, с трудом мог оторваться. Угрюмое и жесткое в обыкновенное время, — озаряясь улыбкой, оно пленяло чисто детским простодушием; серые глаза, в глубине которых

таилась недобрая сила, блистали тогда доверчивостью и располагающей мягкостью.

— Сколько вам лет, Семенов? — невольно полюбопытствовал я, залюбовавшись его улыбкой.

Улыбка сразу исчезла, как солнце за налетевшими тучами.

— Двадцать восемь, — ответил он нехотя и отошел прочь.

Наблюдая за ним издали, я видел опять только серьезное, холодное лицо и насупленные брови. Небольшие, едва заметные усики придавали нижней части лица, вообще очень красивого и энергичного, какой-то неприятный животный характер. Лоб у Семенова был большой, совершенно четырехугольный; высокий рост и железные мускулы рук дорисовывали фигуру. Каждый раз мне чувствовалось не по себе, когда я глядел в эти серые большие глаза: казалось, они глядели не прямо на вас, а, пронизывая насквозь, видели что-то за вашей спиной, и являлось инстинктивное опасение, что вот-вот схватит вас за затылок железная рука и моментально сорвет кожу с черепа. Я дал себе слово узнать поближе этого человека, в душе которого, несомненно, жил какой-то демон.

Всходить на верхнюю шахту было еще тяжелее, гора поднималась все круче и круче, и на пространстве семисот шагов мы отдыхали по крайней мере пять раз. Впрочем, пятеро назначенных вместе со мной арестантов сами, по-видимому, не чувствовали потребности в роздыхах и делали это лишь ради меня. При этом все они были обременены тяжестями: один нес громадный толстый канат из морской травы, весивший не меньше трех-четырех пудов; другой — деревянные носилки; еще двое по тяжелой бадье, окованной железными обручами; наконец, пятый железную балду в полпуда весом, топор, кайло и несколько кирок. Я же нес только пустое ведро для чаепития и хлеб. Когда мы добрались наконец до места назначения, сердце у меня билось, как птица в клетке: задыхаясь, упал я на землю и так пролежал несколько минут, пока пришел в себя. Тогда только я с любопытством огляделся вокруг. Мы сидели возле большого деревянного строения, имевшего форму конуса или колпака вышиной около пяти сажен, прикрывавшего собою вход в шахту. По бокам его были

две двери, запертые на замок; старший конвойный отомкнул их. Два казака немедленно стали с ружьями по обеим сторонам колпака, а пятеро других начали разводить костер.

Я взглянул вниз. В глубине котловины сверкала ограда Шелайской тюрьмы; самый зоркий глаз едва мог бы различить черные точки часовых, проходившие по ее ослепительно белому фону; около тюрьмы чернело много других строений, производивших массою дымившихся в утреннем воздухе труб впечатление целого маленького городка. Значительно выше, окруженная болотом, виднелась горная светличка, из которой мы только что вышли. Еще выше, несколько в стороне, стоял красивый домик уставщика Монахова, заведовавшего Шелайским рудником. Прямо под нашими ногами возвышался точь-в-точь такой же, как наш, деревянный колпак, прикрывавший собою среднюю шахту. Во время пути, под влиянием страшной одышки, я и не заметил ее; шахты разделяло расстояние около двухсот шагов. Тут только услышал я от арестантов, что около светлички начинается еще штольня — горизонтальный коридор, углубляющийся в гору по направлению к нам, коридор, в который должны впоследствии упасть вертикальные шахты, чтобы играть в нем роль отдушин. Удовлетворившись этими первыми сведениями, я невольно залюбовался расстилавшеюся передо мною картиной. Стояло яркое осеннее утро; в воздухе было свежо, тихо и както радостно; по бледной небесной лазури не плыло ни одного облачка. Только что взошедшее солнце уже проливало море блеска. Местами сопки сверкали ослепительно ярко, местами от них ложилась черная тень. Темно было также в ущелье, где находилась тюрьма. Зато выше ее, в противоположной от нас стороне, ландшафт был особенно живописен и величествен. Там поднимался целый амфитеатр гор, громоздившихся одна на другую и наконец исчезавших в синевшем утреннем тумане. И мне невольно вспомнились слова поэта:

За горами горы,
Хмарою повиты,
Засияны горем,
Кровию политы... [20]

Да! страшная мысль о том, сколько горя, слез и даже живой человеческой крови видели эти бездушно

краснвые горы, омрачала наслаждение ландшафтом и невольно заставляла глаз отворачнваться... Я посмотрел в другую сторону, вверх от шахты. Там высилась огромная гора, по-вндимому, господствовавшая над всей окрестностью. Однн нз казаков, заметив мое любопытство, подошел и сказал, что в этой-то нменно горе н находятся главные выработки Шелайского руднннка.

— Она вся нзрыта шахтамн, и руды там еще многое множество. Только теперь, трндцать вот уж лет, водой все затоплено — подступнться нельзя. Мой дедушка там робнл... Он н по сю пору жнв еще.

— Каторжный был?

— Да почнтай что каторжный. Втапоры все крестьяне каторжные былн... Мы заводскне ведь. Как послушать дедушку-то, так нонешние каторжные в раю жнвут супротнв ихнего. Разгнльдеев ведь тогда был...[21] Вон спросите-ка светлнчного старнка: он ведь тоже — н здесь, в этой самой горе, роблнвал н на Каре был. Вам теперь какая каторга? Урков с вас, почесть, не спрашивают, порют редко, в препорцню, а втапоры дня не проходнло, чтоб кровь рекой не лнлась!..

Казак отошел. Все невольно задумалнсь.

— Что же? Посмотрнм, что за шахта такая, — предложнл я арестантам, и мы отправнлнсь в колпак.

Посреднне его находнлся большой четырехугольный колодец, почтн доверху наполненный водою. Я нагнулся н почти тотчас же зажал нос — такой вонью разнло оттуда...

— Трндцать лет стояла — прогннла, — объясннл кто-то нз арестантов.

— Что же мы будем делать?

— А вот придет нарядчнк — укажет. Торопнться нам нечего. Казна-матушка подождет.

— Что мы — каторжные, что ль? Торопнться!..

— Кто поспешнт, людей насмешнт.

— Да я не к тому говорю, чтобы торопиться, — оправдывался я, — а просто спрашиваю: что мы будем делать?

— Шарманку крутить.

— Где же тут шарманка?

Все захохоталн.

— Ну и плохи ж вы, Миколаич! Тут об кннжках-то забыть надыть..,

Я совсем сконфузился и начал оглядываться по сторонам. Над колодцем возвышался, на перилах, вал с железными ручками. Я взялся за одну из них, и огромный вал заскрипел и грузно повернулся. Тут только вспомнил я о принесенных нами бадьях и канате.

— Эхма! Давайте-ка лучше песенку, братцы, споем! — сказал молодой, довольно красивый парень Ракитин, имевший в тюрьме прозвище «осинового бо́тала» (так назывался бубенчик, который вешают на шею коровам, чтоб они не заблудились в тайге).

И, не дожидаясь поощрения, он запел высоким, сладеньким тенорком:

На серебряных волнах,
На желтом песочке
Долго-долго я страдал
И стерег следочки.
Вижу, море вдалеке
Быдто всколыбнулось...

Но эта песня, должно быть, не понравилась ему, и он тотчас же затянул другую:

Звеинт звонок — и тройка мчится
Вдоль по дороге столбовой;
На крыльях радости стремится
Вдоль кровли воин молодой. [22]

Я насторожил уши.

— Вдоль чего стремится?

— Вдоль кровли воин молодой... То есть совсем, значит, молоденький паренек, ну вроде как я... И красавец такой же... И едет он к жене своей родной, супруге своей драгоценной...

— Постойте! Как же по кровле может он ехать? По дороге, по полю — так, а по крышам кто же ездит? «В дом кровных» нужно петь, то есть в дом родных.

— Хорошо-с. Это я беспременно запомню, будьте спокойны. Ох, и жестокая ж была у меня прежде память, Иван Николаевич, до чрезвычайности я, бывало, помнил всякую вещь! И ужасную страсть имел к наукам. Ну, а с тех пор как женился, гораздо тупее стал.

— А вы женаты, Ракитин? Где же ваша жена?

— Здесь же, за мной пришла. Да разве вы не видали — в обозе женщина ехала? Скверненькая такая,

скверненькая старушоночка, плюнуть хочется! Она на пятнадцать лет меня старе.

— А вам самому сколько лет?

— Двадцать седьмой вот с покрова пошел. И мальчишечка у меня, знаете, есть, сюда же пришел, Кешей звать. Третий годок. Ох, и болит у меня сердечушко об ём, как подумаю, — болит!

— А об жене не болит?

— Жена что! Жен можно двадцать добыть, стоит захотеть. Особенно такому артисту, как я!.. Любая баба с ума от меня сойдет, от че́стной моей красоты!

И он вдруг пустился в пляс, приговаривая скороговоркой:

Ви-лы, грабли, две метелки и косач!
Ви-лы, грабли, две метелки и косач!
Приходили две чертовки и лешак,
Утащили две пудовки и мешок!

— Ах ты, ботало осиновое! — хохотали арестанты.

В эту минуту в дверях появился нарядчик Петр Петрович.

— Запарился же я, ребята! — сказал он, снимая шапку и обтирая лоб красным клетчатым платком. — Трудненько будет забираться сюда.

Тяжело дыша, он уселся рядом с нами на бревенчатом широком срубе шахты. Я попросил его объяснить, что имеет в виду горное ведомство, предпринимая эти работы.

— Да, почесть, ничего, паря, не имеет... Так, дурные деньги завелись... К старым выработкам, вишь, подойти хотят, что в той большой сопке находятся. Там вода теперь — ее нужно спустить через штольню вниз, вон в то болото у светлички.

— Когда же осуществится этот план?

— В том-то, паря, и дело, что — когда?.. Если бы вольный труд... А с каторжными никогда этого не будет.

— Никогда?..

— Ну, может статься, лет через тридцать — сорок. Надо только думать, что гораздо раньше надоест деньги зря бросать... И в старину-то к тому ж, шелайская руда не из первосортных была: на пуд всего каких шестнадцать золотников серебра. А в Алгачах, к примеру, есть жилы — двадцать восемь золотников дают. Там только людей подавай, а серебро сейчас же бери, без всяких

подготовительных работ... Вот хоть бы эту шахту взять: ее надо довести, по плану, до шестидесяти сажен глубины; пока же в ней девять всего сажен.

— В таком случае для чего же возобновлен Шелайский рудник?

— Для тюрьмы... Чтоб, значит, вашего брата учить!..[23] Однако, ребята, мы болтаем, а работать-то все-таки надо. Как бы уставщик не заглянул... Хоть брюхо-то у него и толстое, таскать тяжело, а подползти все же может. Надевайте канат на валок!

Мы накрутили на вал канат и к концам его привязали по бадье, или, говоря на горном жаргоне, по кибелю. Четверо из нас, в том числе и я, стали вертеть вал за железные ручки, двое других принимали кибель и выливали из него вонючую воду в пристроенный тут же желоб, из которого она стекала в канаву.

«Вертеть шарманку» вчетвером и даже втроем было совсем легко; вдвоем приходилось уже изрядно напрягаться, в одиночку же из всех нас смогли выкрутить только двое: Семенов и еще один, невзрачный с виду, хохол. Петр Петрович тоже захотел попробовать силу и, хотя с большим трудом, все же выкрутил.

— Ну, теперь я пойду, братцы. Прощайте, не бросайте робить, пока казака не пришлю.

— Вот что, Петр Петрович, — подошел к нему со сладенькой улыбочкой Ракитин, — вы задайте нам лучше урок. Знаете, у арестанта тогда только и руки на работе чешутся, когда интерес есть, а так, всухую, оно что же-с? То же, что со старой бабой такому молодцу, например как я, любовь крутить.

— Для меня, пожалуй, как хотите. Триста кибелей выкачайте, тогда приходите в светличку.

— Многовато-с!..

— Нельзя меньше, уставщик осердится.

— Ну, ладно, — сказал Семенов, — триста идет!

— А тот кибелек-с, который вы сами вытащили, тоже прикажете сосчитать?

— Отвяжись, шут гороховый, некогда мне с тобой лясы точить.

— Ну, всего хорошего! Торговать не дешево! Красных девушек целовать, нас, горемык, не забывать!

Ах, что вы, девки, делаете,
От нас, парней, бегаете!..

Петр Петрович ушел. Я полагал, что мы сейчас же с большим усердием примемся за работу, так как было уже не рано, а урок казался мне изрядным. В душе я удивлялся даже, что сотоварищи мои так мало торговались с нарядчиком. Но как только последний скрылся из виду, Ракитин взвизгнул от радости, подпрыгнул, потом заржал жеребцом и наконец закукурекал:

— Чай варить! — закричал он. — Кончен урок!

Остальные безмолвно последовали его приглашению. Семенов взял котелок и пошел к казакам спрашивать, где они брали воду. Я с недоумением поглядел на Ракитина.

— Как кончен урок? Когда же мы успеем?

— О, не беспокойтесь, Иван Николаевич, времени у нас много будет. Вы на сколько лет осуждены-с?

Я сказал.

— Фю-и!! Много воды выкачаете за эстолько времени! Больше трехсот кибелей.

— Значит, вы обманете нарядчика? Скажете — триста выкачали, не выкачав и тридцати?

— Во-о-от-с! Догадались. Вот именно! Следуйте всегда моему правилу, Иван Николаевич: старайтесь об одном только, чтобы желоб замочен был. Замочен у нас? Ну, и великолепно!.. Ах, нет, нет! Вот тут краешек сухой остался... Мы его позабрызгаем сейчас, вот так, вот этак... Чтоб настоящей, значит, работы вид оказывало. Теперь я свободен, господа-с! Может, желаете песенку прослушать?

Не слышно шуму городского,
На веской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит янтарная луна. [24]

— Или вот еще, гораздо лучше:

Уж за горой сыпучею
Потух последний луч,
Едва струей дремучею
Юрчит вечерний ключ!
Возьму винтовку длинную,
Отправлюсь из ворот,
Там за скалой-пустынею
Есть левый поворот. [25]

Семенов достал между тем воды, быстро сварил чай на солдатском костре, и мы предались сладкому кейфу.

— Напьемся чайку, можно и соснуть будет малость, — продолжал болтать Ракитин. — Вы лягте-с, Иван Николаевич, ей-богу лягте, я вам постельку приготовлю. Наломаю лиственничных веточек, принесу на носилках с Петрушкой, и вы превеликолепно у нас отдохнете. Сам я днем не умею спать: у меня, знаете, мыслей чрезвычайно много, и кровь также большой напор делает. Так я на стреме около вас посижу. Чуть замечу — идет какое начальство, — и разбужу вас легохонько.

Но я наотрез отказался от этого любезного предложения, сказав, что тоже не умею спать днем и потому предпочитаю поболтать.

— На сколько вы лет осуждены, Ракитин?

— На одиннадцать. Я ведь, Иван Николаевич, совсем безвинно в работу пошел. За шапку. Вот побожиться, за шапку!

— Как так?

— Был я сердит на одного парня... Вот Петька знает его, Трофимова Алешку. Мы все ведь из одного места, из Енисейской губернии — и Гончаров, и Петька, и я... Ну, из-за девок, конечно, вышло... Вот и надумал я попочтевать его хорошенько, то есть ребра от души пощупать. Подговорил Сеньку Иванова. Укараулили мы с им раз, как Алешка выехал куда-то со двора, пали в кошеву — и айда за им следом. Нагоняем на степу: «Стой!..» Он туды, сюды метаться... Нет, брат, шалишь. Я прыг в его кошеву, вскакиваю, ровно кошка, ему на грудь — и прямо зубами в груди впиваюсь... У меня, знаете, привычка такая: когда в гневе я, сейчас зубы в ход... Сенька — тот одной рукой за машинку его (за глотку), другой — под мякитки жарит. Здорово употчевали голубчика, изукрасили так, что не рыдай, моя мамонька! Избили и бросили в снег. Я еще снежком взял малость запорошил. Сели опять в кошеву — и айда по домам. А Алешка возьми да и отживи! Вылез, как медведь, из-под снега, в крове весь... Пришел прямо к сельскому старосте и подал на нас с Сенькой заявление, что мы у него, мол, шапку и денег семьдесят пять рублей отобрали. Сделали у нас обыск: глядь — и впрямь у меня в кошеве Алешкина шапка лежит! Пришло кому-то из нас в дурью пьяную голову — шапку у него отобрать, да потом и из ума ее вон! Сами просто диву дались:

как попала? На что брали? А уликой она меж тем большой явилась. Так, за шапку только, и в каторгу пошли на одиннадцать лет.

— А денег вы не брали?

— Вот разрази меня бог — не брали! Честной моей красотой божусь вам — не брали!

— И раньше честным трудом жили?

— Даже, можно сказать, вполне. Я, видите ли, Иван Николаевич, сиротинкой взрос. Отец мой поселенец был, от него я совсем махонький остался. По кусочки ходил с сумочкой на плече. И, бывало, чужие даже люди, глядя на меня, слезами обливаются: «Ах ты, деточка милая! Ни отца нет у тебя, ни матери!» Таким манером я и взрос. Стал к работе привыкать, в работниках жить. Потом приказчиком взял меня к себе конный торговец Иван Иванович Чащин. Потому я разудалый был парень, на всякий оборот способный и лошадей пуще отца-матери любил. Тут зазнобил я сердечко дочери его единокровной, супруге моей теперешней, Марфе Ивановне. И произойди между нами, например, грех... Посерчал, конечно, посерчал родитель, только видит — дело уже сделано, взял да и перевенчал нас законным порядком. С той поры я уж ни в чем не нуждался, пил и ел сладко, трудами собственных рук жил.

— Уж коли сказывать, так не врал бы, осиновое ты ботало! — сердито поправил угрюмо молчавший до тех пор Семенов. — Фартовыми делами никогда, скажешь, не займовался?

— Ах, Петя, братец ты мой! Да как же мог я совсем, значит, в стороне оставаться? Вырос я в нужде, в бедности, столько друзьев и товарищев имел, а тут, разбогатевши, порог бы им вдруг указал? Нешто возможное это дело? Нет, Петруша, товарищество прежде всего. Так-то, друг мой любезный!

— А чаво, паря, — закричал в это время старший, входя к нам в колпак, — не пора ли домой? В светличку пойдем, что ли?

Все встрепенулись и живо собрались в дорогу. Спускаться вниз было не то что подниматься вверх: ноги сами так и скользили; приходилось употреблять усилие, чтобы не бежать бегом. Казаки с ружьями едва поспевали за нами. Меня порядком смущала мысль, что первый же свой каторжный день я должен был начать

обмаиом, если не лично, то хоть как соучастник, но при виде того ясиого спокойствия, которое сияло иа лицах арестаитов, у меия тоже стало легче иа душе.

«Если и остальные работы будут подобны сегодияшией, — думал я, — тогда можио еще жить».

Ракитии иастолько имел иахальства, что, придя в светличку, самым простодушиым и естествеиным тоиом сообщил Петру Петровичу, будто мы ие только задаиный урок исполиили, но и лишиих пятьдесят кибелей выкачали...

— А убывает хоть сколько-иибудь вода-то? — полюбопытствовал Петр Петрович.

— Пока трудио, господии иарядчик, определить. Через иесколько дией видиее будет. Ежели где-иибудь боковая течь есть, тогда без поипы, пожалуй, и ие поделаешь иичего!

Вслед за нами пришли рабочие и из других шахт. Коивой велел строиться. Сопровождавший нас иадзиратель произвел поверку и скомаидовал: «Шагом марш!..» Мы троиулись обратио в тюрьму. Смутиое, но, во всяком случае, не особеиио дуриое впечатление оставил этот первый день работы. Оборотиую сторону медали мие суждеио было увидеть позже.

V. НА ДНЕ ШАХТЫ

С горы вериулись в половиие третьего. У ворот иас опять обыскали так же тщательио, как и утром, пересчитали и только затем впустили в тюрьму. Пришлось есть подогретый обед. Парашиик Яшка Тарбаган сообщил мие иемедлеиио тюремиые иовости. Зимовье действительио строят для вольиой комаиды, скоро выпускать будут. В тюрьму заглядывал Шестиглазый и обходил все камеры. Объявил старостам и парашиикам, что каждый понедельник и пятиицу оии обязаиы мыть полы в камерах и отхожих местах, а коридорщики — в коридорах.

— Наш Гаидорин чуть ие помер со страху!

— Что такое?

— У него иары ие подияты были. Как только вы ушли иа работу, надзиратель вскричал, чтобы старосты иары подымали, а наш старик не слыхал...

— Да я, — задребезжал жалобно Гандорин, — на куфне картошку чистил. А ты тоже неладно, Яша, сделал: коли уж сам не хотел за старика потрудиться, так должен был сказать мне... А то, вишь, в какую беду чуть было не вверзил!

— Ха-ха-ха! Так вас, старичков благословенных, и надо. Говорить, вишь, ему... Мне какая надобность? Мне сам начальник сказал: «твое, говорит, дело — свой стакан в исправности соблюдать, прочее все старосты касается».

— Что же случилось с Гандориным?

— Спросите его самого.

Но старик молчал и только вздыхал тяжело.

— В келью под елью чуть было не посадил Шестиглазый! Богу молиться... Оно бы и под стать ему, — продолжал Тарбаган. — Как раскричится на него: «Это что? Ослушание, непокорство? В наручни, на цепь! На хлеб, на воду!» Смотрю я: у нашего Гандорина и коленки трясутся, и губы побелели... Бух в ноги!

— Небось бухнешь! Погоди — и сам еще бухнешь! Ведь я третий год в каторге-то, а ни разу еще в карец не попал. Неохота тоже безвинно-то страдать. Вот что!

Чтобы переменить разговор, я спросил, до какого часу должны работать негорные рабочие, и узнал, что в одиннадцать утра они обедали, после того два часа отдыхали и опять по звонку ушли на работу; что урока им не дали, и потому пришлось работать от звонка до звонка, то есть до пяти часов вечера. После этого, следуя благому примеру Семенова и Гончарова, я лег отдохнуть от трудов праведных.

— Слава богу! Один каторжный день прожит.

С первых чисел октября, так как день стал короче, число рабочих часов, согласно тюремным правилам, было уменьшено: будить стали часом позднее и на работу выгонять не в шесть уже, а в семь утра. Позже, в ноябре, уменьшили еще на один час: негорные работы стали заканчиваться в четыре часа, а вечернюю поверку начали делать в пять. Зато и послеобеденный отдых сократили наполовину. Всю первую половину октября стояла ясная, солнечная осень; снегу не было, но по утрам стояли изрядные морозцы. Печи стали топить

только с первого октября, и то сначала довольно скупо и редко; поэтому в камерах было сыро и холодно. Хотя обещанные казенные матрацы, набитые соломой, и выдали, но покрываться приходилось тем же грязным халатом, который надевался во время работ. Никаких одеял и простынь не полагалось; иметь собственные постельные принадлежности, ради соблюдения казарменного единообразия во всем, даже в мелочах, было запрещено. Хорошо еще, если у вас был новый, недавно выданный халат, но за два года, которые полагалось носить его, он так обыкновенно изнашивался, так истирался о камни шахты и штольни, что сквозил буквально как решето и в качестве одеяла служил самой ненадежной защитой от ночного холода; многие арестанты покрывались поэтому еще куртками и даже штанами; некоторые спали и совсем не раздеваясь... Вообще осенью и весною, а иногда и в ненастное летнее время, когда тюрьма не отапливалась, приходилось порою ужасно страдать по ночам от холода и часто простужаться. Зимой, когда в распоряжении арестантов имелись шубы, было гораздо лучше.

Не меньше двух недель ходил я на «шарманку» в верхнюю шахту, к которой был окончательно прикомандирован, но вода в ней все не убывала. Наконец Петр Петрович сообразил, в чем дело, и начал стращать нас тем, что станет отсылать с записками к Шестиглазому. Несколько раз, кроме того, он имел терпенье просидеть с нами несколько часов, лично наблюдая за ходом работы и ведя счет кибелям. В течение каких-нибудь четырех часов непрерывного труда мы выкачали пятьсот кибелей, и уровень воды в шахте сразу заметно понизился. Уличенные в наглом обмане, Ракитин, Семенов и другие ни мало не сконфузились, но работать стали с тех пор усерднее; слово «записка» имело магически устрашающее действие... А кроме того, Петр Петрович закинул удочку, будто уставщик собирался назначить «почтеление». Это тоже было волшебно действующее словцо. Меньше чем в неделю в верхней шахте выкачали воду до глубины пяти сажен. Дальше пошел сплошной лед.

Решили сойти на дно осмотреть шахту. Семенов и Ракитин один за другим спустились прямо по канату, охватив его руками и ногами и сделав это так быстро,

что я едва успел опомниться... Первый надел по крайней мере рукавнцы, а ветреный Ракнтнн н их даже не взял. Не дождавшись, пока Семенов достнгнет дна, он голымн рукамн схватнлся за канат и, пннсвнстывая и горланя какую-то песню, стрелой спустился вниз, так что сел товарищу прямо на шею. Слышно было, как Семенов заругался н обозвал его чертом... Я выразнл опасение, не обжег лн себе Ракнтнн рук о канат, но ему ровно ничего не сделалось. На дне шахты он уже пел, плясал н паясннчал. Остальные арестанты, а за ними Петр Петровнч н я, полезлн через так называемую «западню», деревянную крышку, прнделанную в одном нз боков шахты; с фонарем в руках мы стали спускаться по темной лестнице. Осторожность была нелншней, так как недавно еще шахта была доверху наполнена водой, н ступенькн лестннцы, обледенелые н мокрые, скользнли под ногамн. Отвесная стена нз толстого тесу отделяла эту часть шахты, похожую на ящик, от остальной для защиты лестннц н нарядчнка от днкамитных взрывов, как объясннл мне Петр Петровнч.

— Только ненадежная это защнта,— прибавнл он,— все ведь на живую руку сколочено. Сколько раз случается, что и доскн все этн к черту полетят н лестннцы! Я стараюсь всегда вон нз шахты выбежать, когда запалю патроны.

— Плохая же ваша должность; а велнко жалованье?

— Каторжное! Двадцать рублей в месяц... Хуже всего этн шахты проклятые, где по лестннцам надо лазнть. В штольне куда способнее: отбежишь сажен десять, спрячешься за уступ нлн за стойку и стоишь себе как у Хрнста за пазухой.

Лестннца в двенадцать ступенек кончилась, н мы очутнлнсь на деревянной площадке. Я уднвнлся было, что уже конец спуску, но оказалось, такнх лестниц с площадкамн впереди было еще четыре. Пятая, которую звали «пасынком» (простое бревно с насечкамн), находнлась еще подо льдом. В шахте было сыро, холодно н темно для непрнвычного глаза; только вонь оказалась меньшей, чем я ожидал поначалу: гнилая вода была выкачана, а лед за первым грязным слоем, уже пробнтым кайламн Семенова и Ракнтнна, был белый и чистый, как сахар. Я поглядел наверх. Шнрокнй колодец шахты благодаря прикрывавшему его снаружи кол-

паку давал мало света; бревна были сплошь замочены водой, и над самыми нашими головами по углам шахты висели огромные ледяные сосульки, которые, упав, могли бы, пожалуй, убить насмерть... «Так вот она, шахта-то, какая!» — невольно подумал я, вздрагивая от холода и с тайной боязнью помышляя о том, что в этом погребе придется сидеть по пять-шесть часов в день.

— Когда начали работать эту шахту? — продолжал я расспрашивать нарядчика.

— Тридцать лет назад. В три года выработали тогда девять сажен.

— И сруб этот и лестницы тогда же деланы?

— Зачем! Это все заново прошлым и позапрошлым летом сделано, когда рудник к открытию готовили. Вольная команда зерентуйская и алгачинская старалась.

— Значит, и вода, которую мы качали...

— Недавно набежала. Осенью дожди сильные были.

Мы принялись долбить лед. Надолбив достаточное количество стали поднимать его, как и воду, в кибелях и выносить на носилках в канаву. Больше недели продолжался этот подъем льда. Местами вместо льда опять встречались прослойки воды, где попадались гнилые останки зайцев, крыс и бурундуков. Тогда приходилось затыкать нос от нестерпимого смрада... Наконец достигли на девятой сажени каменного дна шахты.

— Будет вам лодырничать! — сказал в одно прекрасное утро Петр Петрович, встречая нас в светлице. — Принимайтесь-ка теперь за буренку.

Это было уже в последних числах октября; выпал глубокий снег и установилась настоящая зима; морозы достигли уже 20°. Старик сторож вынул из баула около сотни круглых железных брусьев различных размеров (от четырех до шестнадцати вершков длины) и велел арестантам разобрать по тридцати штук на каждую шахту.

— Это что же такое? — любопытствовал я.

— А чем же бурить-то будешь? Это и есть буры.

Я поднял один из брусьев и увидал на конце лезвие, наподобие долота, с закругленными боками. Каждой шахте дали также по шести молотков и по три «чист-

ки» — тонкие и длинные железные прутья с загнутой лопаточкой на конце: что именно будут чистить ими, оставалось для меня непонятным. Наконец, старик дал нам еще по тонкой сальной свечке на человека, каждая длиною в четыре вершка. По поводу этих свечек вышел с ним спор.

— Чего жалеешь, старый хрыч, казенного добра?

— Да, жалеешь! Меня самого на учете небось держат.

— По две свечки на брата полагается.

— Это ежели в разных местах робят, а вы все ведь в одной кучке... Велика ли шахта-то? Я знаю, сам роблывал...

— Ишь, аспид старый! Я, говорит, тоже каторжный был... Да тебя задавить мало за то, что против своего же брата идешь!

— Да вы какие ж каторжные? Вот в наше время посмотрели бы, ребятушки, как бурили-то... Одну экую свечечку на двух человек давали, а урок чтобы полный сдаден был. Впотьмах, бывало, лупишь, все руки в кровь побьешь, а выбуришь! Потому, ежели урока не сдашь, тут же тебе, на отвале, и спину вспишут! А вы с нарядчиком-то теперь ровно со своим братом говорите и шапки не ломаете.

— Эвона, братцы, куда пошел! Ах ты, бесстыжие шары твои, дух проклятущий! Еще старик прозываешься... Да в старину-то что б сделала с тобой кобылка за такие подобные твои речи?

— А что? Я чего же такого... Я знаю, что с моих слов ничего худого не станется, вот и говорю... А то мне какое до вас дело? Хоть вы того лучше живете. Нате вот еще по одной свечке на шахту. При Разгильдееве пожили б!..

— Чего ты нас своим Разгильдеевым стращаешь? Пуганые вы все вороны были — вот он и казался вам страшным. А нонешняя кобылка живо б спесь-то ему сбила. Много бы не почирикал. Мы нынче ихнему брату не подражаем.

— Вишь какой храбрый выискался! Ну да не на того напал бы. Посмотрел бы ты, как он по Каре проезжал. Нас больше тыщи человек согнато было. Как, помню, гаркнет: «Запорю!» Так вся тыща и замерла. Как зачал поливать, братцы мои, как зачал поливать...

Сто человек подряд перепорол до полусмерти — и ускакал.

— За что ж это он, дедушка?

— Ну да вот показалось, вишь ты, что мало сробили... Бывало, два воза березовых прутьев так и лежат всегда возле работы.

— И неужели ж не находилось человека, который бы за себя постоял?

— Как не находилось, паря! Один татарин был, здоровенный такой татарин, Магометом Байдауловым звали. «Ну, говорит, братцы, я порешу Разгильдеева, на первый же раз, как увижу, порешу». Смотрим мы: ровно не пьяный, а глаза кровью налиты и из лица весь переменился. А раньше того смиренный был парень. Видим, твердо человек решился. А тут кобылка еще подзуживать: «Куды тебе, мол, увальню! И рука-то у тебя дрогнет, и гайка заслабит». — «Нет, не заслабит, говорит, — убью». Ну ладно. Вот работаем мы опять дня этак через два. Глядим — едет полковник, и прямехонько в нашу сторону. Байдаулка рядом со мной стоит. Надзиратель во все горло орет: «Шапки долой! Смирно!» Все шапки скидают, инструмент на землю бросают. Смотрю: Байдаулка в шапке, бледный весь и кайлу в руках держит... Я ни жив ни мертв, трясусь, не знаю, что будет. Соскакивает тут Разгильдеев с коня и прямым манером к нему подлетает: «Мерзавец!» Крепким таким словом загибает его... «Это что тебе в башку дурью влезло?» Лясь его в одно ухо! Лясь в другое! И что тут вышло промеж них, я и до сих пор не пойму. Вижу только: Байдаулка на земле валяется, а Разгильдеев ногами его топчет... «Убрать его, негодяя, на край света!» Вскочил на коня — и был таков. Байдаулку того же часу и увезли. Так никто и не узнал, что с ним сделали.

— Как же это он оплошал? Струсил?

— Не струсил, а так... Рокового, значит, своего не нашел еще Разгильдеев.

— Какого рокового?

— Человека... человека такого.

— Да ведь его и после не убили?

— Не убили — это верно, а только кончил он хуже, чем убивством.

— Как так?

— Сам государь услыхал об его злодействах, отрешил ото всех чинов и должностей и приказал явиться к себе в Питер. Только он не доехал — подох!.. Заживо сгнил — черви съели... А опосля того вскоре и нам, крестьянам, воля пришла. *

— Пора бы и всему вашему разгильдеевскому семени подохнуть! — решил Семенов, вдруг почему-то со злобой взглянув на старика. — Чужой только век заедаете! Самим было плохо, вы и другим того же хотите. [26]

— Полно, однако, ботать-то зря, — вступился Петр Петрович, — ступайте лучше на работу.

Ракитин подошел тогда к Петру Петровичу и со сладкой улыбочкой и заискивающими глазами спросил:

— Кого же назначите вы у нас буроносом?

— Ваше дело. Кого захотите, того и назначайте. По очереди можно для отдыха ходить...

— Вы бы их вот, Петр Петрович, назначили, — продолжал неугомонный Ракитин, указывая на меня. — Они люди к работе непривычные, люди ученые, не то что мы, туесы простокишные. **

— Коли хочет, пущай. Мне что!

— Вот и распрекрасно. Иван Николаевич, вступите-с в исправление вашей должности.

— Какой такой должности? — сурово спросил я, чрезвычайно недовольный тем, что мной распоряжаются без моего согласия и желания.

— Вы буроносом у нас будете-с... Буры таскать... Как только мы затупим их, вы, значит, и понесете к кузнецу подвастривать. В этом и труд ваш состоять будет. Бурить-то ведь тяжелее, Иван Николаевич, в погребу этаком сидеть! С вас-то, положим, Петр Петрович не спросит, он тоже понимает обращение... Голова, сейчас видно!.. Ну, а все-таки...

---

* Мне до сих пор неизвестно, так ли именно умер «варвар» Разгильдеев, но рассказ о том, что он сгнил заживо и перед смертью был разжалован, весьма распространен в Восточной Сибири. Жаль, что никто не написал биографии Разгильдеева, не собрал всех существующих о нем легенд, песен и пр. Пройдет еще десяток-другой лет, перемрут живые еще свидетели того ужасного времени, последние старики — «богодулы», — и сделать это будет уже гораздо труднее. *(Прим. автора.)*

** Туесом называется в Сибири бурак, берестяное ведерко, в котором держат молоко. *(Прим. автора.)*

— И сколько же раз ходить мне придется взад и вперед?

— Когда как случится. Три, пять, семь разиков... а то пофартит — и ни одного, ежели буры стоять будут.

Но от одной мысли подниматься на эту высокую гору три и даже семь раз я пришел в неописанный ужас.

— Нет, нет, ни за что! — закричал я. — Лучше двадцать вершков выбурить.

— Иван Николаевич! — умоляющим голосом убеждал меня Ракитин. — Голубчик, согласитесь.

— Да вам-то что? Вам от этого легче станет, что ли?

— Не легче, а жалко мне вас, вот что...

— Вот пристало осиновое ботало! — прикрикнул на него Семенов. — Говорит тебе человек — не хочу. Ну, стало быть, и дело его.

Ракитин тотчас же замолчал и, съежившись и печально вздыхая, начал взваливать себе вязанку буров на плечи. Мы отправились на свою шахту, решив, что буроносами будут желающие или все по очереди. Вслед за нами явился и нарядчик.

Мы спустили в кибеле буры, молотки и чистки и затем, захватив с собой свечи, по лестницам направились сами в глубину колодца.

— Кто из вас буривал? — спросил Петр Петрович.

Все молчали.

— Ты, Ракитин, ведь, уж наверное, бурил. Где ты был раньше?

— В Зерентуе, Петр Петрович, только я... раза два всего бурил, и вышло у меня за два раза, в сложности, два вершка без четверти. Потому у меня рука была сломанная в младенчестве и с тех пор размаху правильного не имеет.

— Ладно, брат, ладно! Тут не размах, а сноровка нужна. А ты, Семенов, бурил?

— Нет, — отвечал угрюмо Семенов, хотя арестанты много раз рассказывали про него как про лучшего бурильщика в Покровском.

— По глазам вижу, что врешь, умеешь. Вот ты, братец, и наблюдай мне за шахтой, чтобы у всех дырки, значит, правильно шли. А то другой поведет шпур сначала в левый бок, потом в правый... Глядишь — скривил

его, бур и засял,* ни взад, ни вперед. И труд и время даром пропали. Сегодня для первого разу хоть по шести вершков выбурите, и то хорошо будет.

— Нет, уж я, как хотите, старшим не буду, — грубо проговорил Семенов, — это тот пускай будет, у кого язык длинный или кто хвостом ударять может, а я не умею.

— Экой же ты, паря, какой! При чем тут язык али хвост? Я вижу только, что ты малый посурьезней и посмышленей других, вот и хотел... А то ведь подумай сам: кажное утро мне экую высь залезать для того только, чтоб вам урок задать. А уж если я ходить буду, значит, и проверять буду строже: сколько вершков вчера выбили, полный ли урок сдали?.. На веру-то и вам бы оно способней было. К тому ж я бы поощрение охлопотал вам...

— Вот это бы хорошо, Петр Петрович, ей-богу, хорошо! — говорил Ракитин. — Почтеление-то всего бы лучше. А то, знаете, сухая ложка рот дерет. Ух! Как развернусь я... Как заговорит во мне ретивое!.. Честной красотой моей клянусь вам, десять вершков отхватаю сегодня же! И зол же я на этот камень, у! как зол! Где прикажете садиться, Петр Петрович?

— Вот в этом, пожалуй, углу садись, паря. — Петр Петрович постукал молоточком по граниту. — Тут, кажись, не шибко твердо. Вот так задайся, на откос. Влево немного отнеси бур, чтобы вот эту кочку сорвало. А ты, Семенов, в правом углу садись. Тоже на откос держи бур, вот этак, даже пониже чуть опусти. Немного неловко бить будет, ну да как-нибудь пристроишься. Зато сорвет здорово.

Таким же точно образом указал Петр Петрович места для бурения и еще троим арестантам.

— А вы буроносом будете? — обратился он ко мне, в первый раз за все время говоря мне «вы». Очевидно, пропаганда Ракитина об моей учености и пр. возымела свое действие... Я отвечал отрицательно, объяснив, что страдаю одышкой и сердцебиением.

— Ну, так забуритесь, пожалуй, вот тут, — постучал он в правую стену шахты. — Тут и пристроиться удобно

* Сясть, сял — сибирское произношение вместо «сесть», «сел». *(Прим. автора.)*

можно и помягче будет. — И Петр Петрович направился к выходу.

— Так, значит, — крикнул он с лестницы, — с шестерых сегодня тридцать вершков я должен получить. Один за буроноса сосчитается.

Арестанты закурили перед работой трубки.

— Ох, и подрадел же он мне камушек, — пригорюнясь, заговорил Ракитин, — уж вижу, что подрадел! Тверже стали!

— Захныкала баба. Ведь сам же ты сейчас похвалялся, честной красотой своей клялся, что живой рукой десять верхов отмахаешь?

— А что же, Петя, и впрямь? Чего нам унывать с тобой, этаким молодцам, кудряшам удалым?! Эх! пропадай моя телега, все четыре колеса! Ну-с, благословясь, за дело божие примемся.

— За чертово, скажи лучше.

Все взялись за молотки и буры. Я подошел к Семенову посмотреть, что и как он будет делать. Он взял самый короткий из буров, с широким острием.

— Это забурник называется, — объяснил он мне. — Длинным буром нельзя забуриваться, потому в руке держать неспособно — вихляться будет из стороны в сторону. А главное, у середних и длинных буров перья делаются ýже. Сделаешь сначала узкую дырочку — широкие буры в нее уж и не полезут. Живо засадить можно бур. В буренке самое важное — за пером следить: перво-наперво короткими бурами забуриваться; с трех-четырех вершков глубины — средних размеров буры брать, и только уж под самый конец, с восьми вершков, за самые длинные приниматься.

Сказав это, Семенов ударил молотком по головке бура. Раз, и другой, и третий... Левой рукой он придерживал бур, стараясь все время слегка поворачивать его то в ту, то в другую сторону. Через каких-нибудь две минуты я увидел, что на том месте, где он держал бур, в камне образовалось небольшое трехугольное углубление.

— Уже забурились? — вскричал я с невольной радостью.

Семенов поглядел на «перо» своего бура и с сердцем бросил его на середину шахты.

— Вот сволочь! — сказал он. — Уж успел сясть. Полсотни ударов не выдержал. — И он взял новый забурник. Я с любопытством поднял и осмотрел брошенный им бур: стальное лезвие совсем превратилось в лепешку...

— Однако и вам, Иван Николаевич, забуриваться надо, — обратился ко мне Семенов, — позвольте-ка, я покажу вам.

— Нет, сидите, Семенов, я сам хочу научиться.

— Без учителя не учатся.

И, не обращая на меня внимания, он засветил новую свечку, прилепил ее к стене около назначенного мне нарядчиком места, уселся на голом камне и, не более как в пять минут, забурился довольно глубоко. Молоток его так и щелкал по буру, левая рука не уставала крутить — и от всей фигуры Семенова веяло силой, мужеством и энергией.

— Довольно, довольно! — кричал я. — Вы этак мне ничего не оставите.

Семенов ухмыльнулся, взял железную палочку, которую называли чисткой, и опустил ее в сделанное круглое углубление. Вынув обратно, он поднес ее к моим глазам, и я увидал на лопатке целую кучу мелкого белого порошку.

— Вот муки-то сколько набилось,— сказал он, сбрасывая порошек на землю, — да это не все еще. Смотрите, еще сколько выволоку.

И Семенов еще несколько раз погрузил чистку в шпур и каждый раз вынимал обратно полную белой муки. Потом он перевернул ее и опустил в шпур другим концом. Вынув назад, он пристально посмотрел и объявил мне, что уже больше полуторых вершков готово: оказалось, что на чистке сделаны зубилом насечки, обозначавшие вершки. Семенов встал и, подавая мне бур и молоток, проговорил:

— У вас мягко... Тут я в один час берусь двенадцать вершков выбить. Вы только бур правильнее держите, к правому боку немного прижимайте. Снимите шубу, положите ее на этот камень и садитесь.

— Без шубы, пожалуй, простудиться можно...

— Во время работы-то? Что вы! Я вон вспотел аж, скоро и бушлат снимать придется. В шубе уж не работа!

Я послушался совета и, скинув шубу, подложил ее под сиденье. Между тем молотки щелкали уже по всей шахте гулко и дружно, в такт один другому. Выходила довольно гармоничная музыка. Ударил и я... Ударил — и остановился, так как показалось неудобным сидеть и понадобилось поправить под собой шубу. Долго не клеилась у меня работа. Я все усиливался, подражая Семенову, крутить бур левой рукой в то самое время, когда правая ударяла молотком, и никак не мог согласовать вместе оба движения. В то время как правая била, левая оставалась праздной и в рассеянности следила, казалось, за своей товаркой; когда же левая начинала крутить, молоток с высоты замаха точно любовался ею и никак не хотел опуститься.

Семенов заметил мое затруднение.

— Да вы не старайтесь так уж точка в точку, — утешил он меня, — сперва хоть как-нибудь. Раза два стукните — и поверните бур... Опять стукните, опять поверните.

После этого дело пошло на лад. Тик-так! Тик-так! — постукивал мой молоток, наподобие маятника, и мысль о том, что я работаю в руднике, доставляла мне тайное удовольствие... Насчитав сотню ударов, я с замиранием сердца взял чистку, погрузил ее в шпур, повертел там и вынул в надежде, что она окажется, как у Семенова, полною муки. Но каково же было мое огорчение, когда она вынулась почти пустая! В отчаянии я стал мерить, но вышли те же самые полтора вершка, которые были уже до моего бурения, и мне показалось даже, что и до полуторых-то немного не хватает...

— Семенов! — закричал я жалобно. — Что же это такое?

— А что?

— Да вот уж сто ударов я сделал, а хоть бы капелька муки набилась!.. И не прибавилось ничего!

Все засмеялись.

— Это потому, Иван Николаевич, — объяснил Ракитин, — что вы стукаете-то, ровно будто сахар колете. А тут надо эвона как гокать, чтобы грудь треш-шала! Я говорил ведь вам, что буроносом было бы много способнее...

Я чувствовал себя пристыженным и, не ответив ничего, попробовал усилить удар и увеличить размах

молотка. Но почти тотчас же вскрикнул от страшной боли и, вскочив с места, забегал по шахте, махая левой рукой и корчась: я промахнулся и вместо бура изо всей силы хватил молотком по запястью руки... Я рассчитывал услышать слово сочувствия, но все только смеялись надо мной.

— Что, получил крещенье шелайское? — обратился ко мне молчаливый обыкновенно толстяк Ногайцев, сам служивший предметом постоянных шуток арестантов и не иначе называемый ими, как Топтыгин или Михайло Иваныч. Это взорвало меня окончательно.

— Что тут смешного, ну что смешного? — ощетинился я. — Ведь больно...

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — закатился Ногайцев и в такое пришел восхищение, что даже по земле начал кататься, и вся его жирная, водяночная туша так и колыхалась от смеха. Один только Ракитин и на этот раз посочувствовал мне.

— Дураком родился, дураком неотесанным и помрешь! — сказал он сентенциозно Ногайцеву.

— Да! ты умный... Плакать прикажешь, не то осердишься?

— Бросьте вы, Иван Николаевич, эту буренку проклятую, ей-богу, бросьте, — продолжал Ракитин, подходя ко мне. — Вылезайте-ка лучше наверх да чаек нам согрейте. В животе-то начинают уж телеги ездить... Право!.. У меня вог тоже скверное дело выходит. Все рученьки оббил, а и на вершок еще не подался!

Но я решил продолжать бурить. Не один раз ударил я себя в этот день по руке (хорошо еще, что рукавица защищала), но все-таки успел выбурить около двух вершков сверх полуторых, выбуренных Семеновым. Раньше всех отбурился сам Семенов, а вслед за ним Ногайцев. Последний подошел после этого ко мне и долго молча смотрел на мою работу. Он видел, что у меня уж и рука начинает неметь и удар становится все легковеснее и неправильнее.

— Дай-кось я побурю, — сказал он наконец грубовато, отстраняя меня прочь, но сказал это так просто и задушевно, что отказаться от предложенной услуги было невозможно. Тут только увидал я всю разницу между его и своим ударом, мой был слабее по крайней мере вчетверо... Я насчитал, что Ногайцев без передыш-

ки, ни на минуту не останавливаясь, опустил молоток триста раз, да и тогда остановился потому только, что набилось слишком много муки и необходимо было чистить. В полчаса он выбурил мне четыре вершка.

— Ну и мякоть же у тебя, Миколаич, — сказал он, вставая, — кабы ты ушел, я бы тут с водицей живой рукой до двенадцати вершков догнал.

— Как с водицей? Разве легче с водой?

— Куда ж сравнить! Тогда грязь-то целыми возами выволакиваешь. Особливо, коли горячая вода. Не ко всякой только породе она идет: в твердой — что с водой, что без воды — одинаково бурится.

— А где же бы достать воды? Разве сверху принести?

— Уж мы бы достали, здесь бы достали... Тепленькой!

— Ну достаньте, я погляжу.

— Хо-хо-хо! При тебе нельзя...

— Это у нас секрет такой арестантский, — подтвердил Ракитин, хитро улыбаясь, — ушли бы вы, Иван Николаевич, а то забрызгаться можете.

Вдруг с той стороны, где бурил рыжий неприветливый арестант Кошкин, я услыхал чавканье воды в шпуре и, обернувшись, почувствовал залепленным грязью все лицо. Моментально я сообразил, откуда взялась эта вода...

— Вот мерзость! Вот безобразие! — закричал я, обтираясь и поспешно бросаясь к выходу из шахты.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! — залились вслед за мной Ногайцев и Кошкин.

Так познакомился я с тайнами бурильного искусства.

Зато всю ночь ломило у меня правую руку и чувствовалось в ней жжение. А проснувшись на другой день утром, я не мог ни сжать, ни разжать кулак. Арестанты в утешение мне говорили, впрочем, что всегда так бывает с непривычки, но что потом рука разомнется. Однако, выбурив во второй день три вершка, я почувствовал, что завтра совсем уже буду не в состоянии работать.

— Знаете что, Иван Николаевич, — шепнул мне Ракитин, — ударимте-ка мы с вами сегодня хвостом к фершалу! Всем этак плесом ударим: так и так, мол,

господин фершал, оставьте нас отдохнуть на денек или на два.

— Ага! — сказал Семенов. — И у тебя заслабила гайка-то? Два дня побурил, да уж и хвостом бить собираешься?

— Да что же, Петя, поделаешь! Сложения я, сам видишь, нежного... На роду мне написано было песенки попевать да разве торговым делом займоваться... А тут вдруг экая притча приключилася... Да пропадай она и каторга вся! Что я за дурак — из жил тянуться?

— Не дурак ты, а ботало осиновое! Все ботаешь, все ботаешь по-пустому! — Ракитин умолк и через минуту запел высоким, сладеньким тенором:

Скажи, моя красавица,
Как с другом ты прощалася?
Прощалась я с ним весело:
Он плакал — я смеялася...
А он ко мне, бедняжечка,
Склонил на грудь головушку:
Склонил свою головушку
На правую сторонушку,
На правую, на левую,
На грудь мою на белую...
И долго так лежал, молчал,
Смочил платок горючих слез...
А я, его неверная,
Слезам его не верила! *

Зараженные примером Ракитина, все встрепенулись и хором запели другую приисковую песню:

На заре было, на зореньке,
На заре было на утренней —
Я коровушек, девица, доила́,
Сквозь платочек молоко я цедила̀,
Процедивши, душу Ваню поила́,
Напоивши, приговаривала:
Не женися, душа Ванюшка!
Если женишься, переменишься,
Потеряешь свою молодость
Промеж девушек-сиротушек,
Промеж вдовушек-молодушек...
— Гой, дубрава-мать, зеленая моя!
По тебе ли я гуляла, молода;
Я гуляла, не нагуливалась...

Жутко было слушать эти меланхолические напевы на дне каменного гроба. Все бо́льшая и бо́льшая нена-

* Кольцовская песня, сильно переиначенная.[27] *(Прим. автора.)*

висть к шахте охватывала с каждым днем мою душу... Начинались сильные морозы. Ударишь несколько раз молотком — и чувствуешь, что пальцы совсем закоченели от холода. Оглянешься кругом, чтоб не заметили и не посмеялись арестанты, и погреешь их над свечкой. Ноги также ужасно зябли, как ни закутывал я их шубой. Чем короче знакомился я с шахтой и ее тайнами, тем одушевленнее становился для меня этот гранитный мешок. Казалось, он с бессердечной насмешливостью глядел на всех нас и, вея ледяным дыханием, говорил: «Ага! попались, голубчики? Уж много вас, таких же, похоронил я здесь».

И как будто слыша этот гробовой голос, я с дрожью оглядывался вокруг. Во мраке тускло горели сальные свечи; там и сям, бросая от себя черные тени, сидели, скорчившись, арестанты и дули со всего плеча молотками. Некоторые издавали при этом звуки, подобные стонам или тяжелым вздохам, другие — рычанью дикого зверя.

— Ах! Ах! — выкрикивал толстяк Ногайцев при каждом ударе.

— Гу! Гу! — гневно выговаривал Семенов.

В тусклом освещении я плохо различал их лица и фигуры, и мне чудилось порой, что то́ не живые люди, а какие-то подземные гномы работают здесь, рядом со мною. Я взглядывал вверх, в надежде уловить там хоть один солнечный луч, который сказал бы мне слово утешения, уверил бы, что я не совсем еще мертвый человек, что придет время — и я опять буду жив, и волен, и счастлив. Но безжалостный колпак закрывал светлое солнце, и в отверстие шахты проходил лишь тусклый, скупой отблеск зимнего дня. Я видел там только два конца каната, спускавшиеся с вала, и две болтавшиеся над нашими головами бадьи, черневшие в вышине подобно двум висельникам. Неприглядно, темно и холодно... И больно, и сиротливо на сердце, и так самого себя жалко...

— Чего задумались, ребяты?! — вдруг вскрикивал неистово-радостно Ракитин, выходя из своей меланхолии и пускаясь по шахте в пляс.

Вилы, грабли, две метелки и косач!
Вилы, грабли, две метелки и косач!

И приговаривал басом:

Что ты! Что ты! Что ты! Что ты!

Горькие думы улетали, и я невольно смеялся вместе с другими.

VI. ПОДЪЕМ

Через неделю работы вся шахта была заполнена готовыми шпурами. К нам явился Петр Петрович, неся в руках целую охапку динамитных патронов с длинными черными и белыми фитилями и корытце с жидко разведенной глиной. Я попросил Петра Петровича объяснить мне устройство снарядов.

— Собственно, это не дина́минт, — сказал он, подавая мне один из них в руки, — а гремучий студень.

Я развернул бумажку, в которую был спрятан патрон, и увидал столбик желтоватого студенистого вещества, похожего на обыкновенный воск.

— Устройство простое, — продолжал Петр Петрович, — к ружейному патрону с капсюлем приделан пороховой фитиль. Затолкаешь его на самое дно шпура и снаружи хорошенько глиной обмажешь, чтоб взрыв был сильнее. Потом поджигаешь фитиль и лататы задаешь... Ну, кто же со мной полезет сегодня? Одному там не управиться, пожалуй. Ты, что ли, Ракитин?

— Я, Петр Петрович, не умею... Я...

— Ага! Заслабило?

— Нет, Петр Петрович, не то чтобы заслабило, а как я в младенчестве руку сломанную имел и к тому же напужан был сильно... Раз кони... Летом было дело...

— Ну ладно, ладно... Не до басен теперь. Ты, Семенов, пойдешь?

— Пойдемте.

Они пошли вниз, а мы, остальные, легли на срубе шахты и с любопытством свесили вниз головы. Долго там ничего не было видно, кроме мелькавшей взад и вперед свечки. Наконец послышался голос нарядчика:

— Теперь уходи, Семенов!

Тогда арестанты, и прежде всех Ракитин, повскакали на ноги и побежали вон из шахты. Но увидав, что я продолжаю лежать, и сообразив, что Петр Петрович с Семеновым еще внизу, все опять насмелели и прилегли.

— Боитесь? — спросил я Ракитина.

— Эх, Иван Николаевич! Ведь у меня, знаете, жена и мальчоночко есть!.. Для них больше оберегаешься.

Вдруг внизу что-то зашипело и вспыхнуло... В одном, в другом, в третьем месте... Все вздрогнули и с криком «зажигает!» кинулись прочь. На этот раз побежал и я... Скоро вылез из западни и Семенов. Петр Петрович еще перед спуском в шахту приказал нам стоять во время «паленки» не ближе двадцати шагов от колпака. Прошло минуты полторы томительного ожидания, а Петр Петрович все еще не показывался, и мы решили, что он предпочел ожидать выстрелов на одной из лестниц. Но вдруг его плотная фигура с красным задыхающимся лицом появилась в дверях колпака, и почти одновременно один за другим грянули два выстрела. Первый из них ударил сравнительно глухо, с каким-то тяжелым и как бы сердитым, отрывистым стуком; зато второй был оглушительно громок. Мне показалось, что весь колпак дрогнул и зашатался... Сидевшие на нем два голубка, как сумасшедшие, пригнулись к крыше и, глупо вытянув шеи, в первую минуту не знали что делать, но потом встрепенулись, шумно захлопали крыльями и, высоко взвившись, начали кружиться в воздухе. Еще четыре зажженных Петром Петровичем патрона ударили несколько позже, и притом два из них до того одновременно, что я сомневался даже, точно ли это было два выстрела. Последнего, седьмого по счету, ждали так долго, что Петр Петрович стал уже беспокоиться.

— Надо быть, сфальшил, проклятый! — проворчал он. И вслед за тем послышался такой оглушительный гром, что перед ним и второй удар показался слабым.

— Вот ловко, должно быть, сорвало! — заметил Ракитин.

— Напротив того, — отвечал Петр Петрович, — этот хуже всех взял, на воздух вылетел. Лучше берут те, которые глухо ударяют.

Оставалось выпалить еще пятнадцать шпуров, но зажигать их тотчас оказалось невозможным, потому что вся шахта была наполнена серным удушливым дымом, очень медленно поднимавшимся вверх. Чтобы ускорить его выход, мы стали опускать и поднимать вверх канат с кибелями, но все-таки ждать пришлось довольно долго, пока нарядчик, ворча и ежеминутно отплевываясь,

мог наконец вторично отправиться на дно шахты. В этот второй раз он успел зажечь восемь шпуров: для остальных пяти прншлось в третнй раз спускаться. По окончанин паленкн он был утомлен, бледен, страшно кашлял н выплевывал нзо рта черную, как сажа, слюну. К счастью, нн однн нз двадцати патронов не «сфальшил», и на другой день мы моглн без страха приннматься за обивку н подъем взорванного камня.* С любопытством спустнлся я утром следующего дня в шахту посмотреть на результаты взрыва. Прежде всего меня удивило, что, несмотря на семнадцать протекших часов, на дне шахты все еще слышался неприятный запах серы. Но больше всего я был поражен незначнтельнымн размерами пронзведенных разрушенний. Я ожндал, что от такнх громоносных выстрелов вся шахта потрескается н подастся в глубнну чуть не на целую сажень, а на деле только койгде виднелись кучкн наваленных каменьев н замечалнсь трещнны. Любопытнее всего было мне, разумеется, посмотреть на то место, где находилнсь два выбуренные мною шпура. Однн нз них — увы! — остался точь-в-точь такнм же, какнм был и до паленья...

— Не оснлнл, на воздух выпалнл, — объяснил мне Семенов, — оно н лучше! У вас, значнт, готовая дырка есть.

Зато от другого моего шпура осталась только длннная царапнна на камне; от большннства другнх остались «стаканы» — остаткн в несколько вершков глубнной.

— Очень хорошо взорвало! — решил Семенов.

— Это хорошо называется?!

— А вы как бы думалн? Знаете, сколько тут обивки будет? Дня на два по крайней мере. Смотрнте: н здесь бут, н здесь, везде трещины.

И он начал ударять слегка балдой по разным местам шахты: последняя глухо отзывалась на удары («бутила»). Я очень мало понимал во всех этих технческнх

* Инструкцнн горного ведомства строго предписывают в тех случаях, когда патрои почему-лнбо не взорвет, «обуривать» его, то есть делать рядом другой шпур; этот способ счнтается самым иадежным. Нельзя, однако, не созиаться, что он довольно-таки страшен, н арестанты очеиь часто иаотрез отказываются от обуриваиия. Тогда употребляют другое средство: по возможности выколупывают (еслн нельзя совсем вынуть) сфальшнвивший патрон и в ту же дырку вставляют новый. Впрочем, нередкн в рудииках н трагнческие случаи гнбели арестантов н нарядчнков. (*Прим. автора.*)

терминах и потому решил держаться наблюдательной политики.

— Эй, черти, чего там разботались? — закричал Семенов товарищам, остававшимся еще наверху. — Влезайте все, да за дело примемся!

Тотчас же несколько человек сошло вниз. Проворный Ракитин и увалень Ногайцев, которому тяжело было тащить по лестницам свое грузное тело, спустились по канату. Мне поручили держать свечку и светить. Семенов отгреб в одном углу наваленные мелкие каменья, насмотрел трещину и, наставив на нее кирку, велел Ракитину бить балдою.

— Вот я тебя запрягу! Поменьше язык-то чесать станешь.

Ракитин покорно взял полупудовую балду, занес ее высоко над головой, зажмурился — и... со всего размаху хватил ею по деревянной ручке кирки: кирка полетела в один конец шахты, сломанная ручка в другой, а Семенов едва успел отдернуть руку, в которой держал ее.

— Ах ты, сволочь паршивая! — закричал он. — Разве так бьют? По морде захотел, что ли? У тебя где глаза-то?

Ракитин стоял с виноватым видом и уныло смотрел в сторону.

— Какой я, в сам-деле, работник, Иван Николаевич? — зашептал он мне, жалуясь. — Взрос я в сиротстве... К торговому потом делу приобык... Натура у меня к понятию всякому склонная... Вот ежели бы грамоте меня обучали, так я, думаю, далеко бы пошел! Потому глаз у меня на этот счет самый пронзительный!

— Да! Сразу б в попы тебя поставили! — злобно сказал Семенов. — Ступай-ка лучше наверх, покаместь цел, да ручку новую к кирке вытеши. Топор там лежит.

И Ракитин послушно поплелся наверх. Через две минуты мы уже слышали, как он распевал там песни и чемто потешал казаков. Вместо Ракитина бить стал сам Семенов, а кирку держать Ногайцев. Все лицо и фигура Семенова мгновенно преобразились. И в обычное время он поражал меня своим здоровьем и силой, теперь же казался прямо каким-то мифическим титаном, явившимся из неведомого мира. Несмотря на порядочный мороз, он сбросил бушлат и работал в одной рубашке, без

шапки. Богатырская грудь его и стальные мускулы отчетливо обрисовывались и поражали своей упругостью. Он поднимал и опускал полупудовую балду, казалось, играючи, без заметного напряжения, и каждое движение выходило от этого красивым, почти грациозным. А между тем от этих красивых ударов вся гора тряслась под нашими ногами... Он отваливал и, обхватив руками, с легкостью относил в сторону такие куски гранита, из которых многие я не мог бы, пожалуй, и с места сдвинуть... Только на лицо его жутко было глядеть во время этой работы: что-то жестокое, неприятное скользило по нем. Да, этот человек ни перед чем не остановится, на все решится, если найдет нужным — невольно думалось про Семенова... Я попросил его дать мне попробовать ударить. Он молча передал балду.

— Ну, только я держать не буду! — заявил Ногайцев. — Бей так, по камню.

Я ударил раза четыре; но удары мои были так младенчески слабы и неуклюжи, что я сам устыдился своей попытки и, слыша общий смех, бросил балду на землю. Тем не менее после этих четырех ударов я уже с трудом переводил дыханье и шатался на ногах. За мною стал бить Ногайцев. Я ожидал чего-нибудь до крайности неуклюжего и смешного от этой неповоротливой медвежьей фигуры, но, к удивлению своему, и им также принужден был залюбоваться. В работе его также виделась могучая стихийная сила, чуялся тоже богатырь сказочных времен... Залюбовавшись этими «детьми природы», я чуть не потерял глаза! Один из отскочивших камешков попал мне внезапно в бровь и рассек ее до крови... Арестанты тогда предупредили меня, что во время обивки подобные вещи случаются очень часто и что надо быть осторожным. Напуганный этим случаем, я стал с тех пор во время обивок прикрывать оба глаза рукавицей левой руки (что, конечно, мало увеличивало мою работоспособность)... [28]

Обивка наконец кончилась, и все снова полезли наверх пить чай. За чаем разговорились и разоткровенничались. Болтал больше всех, по обыкновению, Ракитин, но внимание мое направлялось уже не к нему. Между прочим, арестанты стали «подзуживать» добродушного, но вместе и крайне обидчивого «Михаила Ивановича», и совокупными усилиями нам удалось выжать из него

любопытную и страшную историю, приведшую его в каторгу.

— Ведь вот попадется же экое брюхо в каторгу, — завел один арестант. — И за что попасть мог?

Ногайцев молчит, только пьет чай, сердито сопя в свою грязную китайскую чашку.

— Он телушечник, — сказал Ракитин, — ей-богу, телушечник, по всему видно.* Я любого из них за три версты узнаю.

— Да, телушечник! — огрызнулся Ногайцев. — Ты поймал меня?

— А коли нет, за что ж ты попал?

— Нужно сказать тебе. Беспременно. Не то серчать станешь.

— За бабу ты прийти не мог, потому какая ж баба тебя любить бы стала?

— А вот любела.

— Это то-ись жена-то родная? Это, брат, не в счет.

— Зачем родная... И окромя жены...

— Что-то чудно, брат, верится...

— А ты поверь.

— Ну расскажи, тогда и поверю. Чужая тебя баба любила? Да разве кривая какая? Аль безносая?

— Еще какая девка-то! И девка, и мать ейная, обе.

— Что ты говоришь?!

— Ну. Я в работниках у богатого купца томского жил. Вот жена-то его, купца этого самого, Матрена, и связалась со мной... А за ней и дочь ейная, Парасковья... Ты думаешь что? На воле-то я такой же был? Ведь это от тюрьмы, брат, жир этот и одышка взялись, а прежде я не хуже тебя молодец был.

— Ну, допустим. И что ж, долго не знал ничего муж-то, купец-то?

— Да он и по сей день ничего не знает. Шито-крыто, брат, дело делалось. Ты думаешь, я как? Не дурней тебя был. А только из-за баб этих, из-за проклятых, я и в каторгу пошел!

— Это верно он говорит, братцы! Сколько из-за этих шкур нашего брата погибает!

---

* Намек на один гнусный противоестественный порок. *(Прим. автора.)*

— Еще как погибают-то! Будь бы моя, братцы, воля бы, всех баб на свете на цепе держал, а чуть какая непокорность бы оказала — камень ей на шею и в воду! Как же ты, дурак, попустился им? Брюхо мякинное!

— Так. Хозяин продал в Барнауле товар и велел хозяйке с сыном и дочерью домой в Томск ехать. А я пожелал к жене на побывку съездить в Тару. Он дал мне, что следовало по расчету, и, не дожидаясь отправки семейства, поскакал сам в Бийск, по торговому делу. Только он уехал, Матрена с Парасковьей и ну ко мне приставать: поедем да поедем с нами, Федча.

— Да ты как же жил-то с имя обеими? Неужто они не таились друг от дружки?

— Ну вот еще! Знамо, таились... Разве, может, подозренье имели... Я, на грех, возьми и согласись. Собрались, поехали вместе. С нами еще брат, Матренин-то сын, значит, парень лет двадцати, да работник-мальчишка. Вот едем. Хорошо таково едем. Время о летнюю пору. Пришлось раз ночевать на краю болота. Страшенная такая трясина, ельник кругом... Развели костер, закусили, выпили. Мы с Антипом-то, братом Парасковьиным, и здорово таки хватили. Ночь-то не помню уж как и прошла, а утром, солнышко чуть взошло, Антип и застань меня с сестрой... И у нее, конечно, выпито было лишнее: вот мы и заснули в кибитке, обнямшись. Открыл Антип рогожу и увидал нас в этаком виде... Схватывает сейчас прут — и давай поливать меня! Я насилу разбудился, уж Парасковья растолкала... Выскакиваю из кибитки, наубёг хочу. А он за мной, да все стегает, все стегает. Загорелось тут у меня внутре: что, думаю, ты за господин мне? Оглядываюсь: стяжок хороший лежит березовый... Хватаю его. «Отстань, говорю, не вводи в грех!» Не слушает. Ровно очумел парень — знай хлещет. Ну, я как развернусь, как хвачу его по башке... Так половина черепа и отлетела! Тут уж в глазах у меня красный туман пошел... Кровь, значит, ударила... Теперь, думаю, все равно погибать! Кидаюсь к телеге, в которой старуха спала, — хвать и ее по голове. Вдребезги голова. Мальчишка-работник смотрит на меня во все глаза, сам ни жив ни мертв. Мальчишке пятнадцать лет. Смиренный такой парень, славный, и жили мы с ним душа в душу. Не поднялась у меня рука на малого, бросил я стяг. Потом вспомнил, что ведь еще Парасковья оста-

лась. Лечу к кибитке — она простоволосая сидит, белая вся как полотно, и языка и ума решилась со страху... Хватаю ее за ноги, как чурку, размахиваюсь — бац головой об колесо! Только мозги во все стороны полетели. Тогда подхожу опять к Ваське: «Вот что, говорю, Вася. Жили мы с тобой как братья родные, и зла я тебе не хочу делать. Помни же: ты ничего не видал, это все во сне было. Сам я вчера еще ничего в уме не держал, ничего б и не было, кабы сами они не довели меня до этого». Подхожу затем к Антипу, нахожу у него в бумажнике две тысячи рублей, у Матрены нахожу — в юбке зашиты — тоже две тысячи рублей; у Парасковьи под левой титькой полторы тысячи заложено... Отобрал деньги и стащил всех разом в болото: одного на спину, тех двух сволочей под мышки... В такую трясину опустил, что они б там и до скончания века оставались... Еще и каменьев сверху наворочал... Следы все уничтожил, ни одного пятнышка крови не оставил... Всю траву кругом пожег... Телеги и коней цыганам продал... Ваське дал пятьсот рублей и простился. Уехал я в Томск и стал там гулять. Думаю, никаких улик против меня теперь не может быть, потому хозяин, уезжая, думал, что я в Тару еду.

— Значит, Васька тебя продал? Надо было и его, гаденыша, пристукать.

— Вот то-то и есть. Доброта-то меня и погубила. Об Ваське я и думать забыл. А он тоже, как и я, гулять зачал. Стали люди дивиться, откуда у него эстолько денег взялось. А как узнал купец, что у него вся семья куда-то пропала, за Ваську и принялись. Арестовали его, молодчика, он и укажи на меня.

— Вот те и брат родной!

— Да. Только я раньше прослышал, что меня арестуют, и денег у меня копейки не нашли.

— Куда ж ты дел их?

— Две тысячи я уже прогулять успел, тысячу дедушке своему подарил — очень любел меня дедушка; пятьсот крестнику отдал; думаю, вырастет — будет у бога грехи мои отмаливать. А остальные полторы тысячи спрятал.

— Куда ж ты спрятал?

— А тебе на что?

— А вот, может быть, сорвался бы я, пошел бы и взял...

— Нет, уж ты не бери. Те бумажки все равно теперь негожи, новые в обороте ходят.

— Зачем же ты, дьявол, прятал их? Лучше бы дал попользоваться кому.

— Дурака нашел. Нет, лучше пущай так пропадут, истлеют. Кажный пущай сам об себе заботится.

— А скажите, Ногайцев, — задал и я вопрос, — за что вы Парасковью убили?

Ногайцев смеется:

— А что тебе? Жалко?

— Ну да все-таки... Теперь ведь дело прошлое: вы любили ее?

— Любел. Ну что из того?

— Любили — и убили? Как же это? За что?

— А за то — все равно одна змеиная порода! Зачем ей на свете жить?

— А вы зачем на свете живете?!

— Я мужик... Что ж, по-твоему, мне надо было оставить ее живой? Чтоб она разблаговестила, меня погубила?

— Молодец Михайло Иваныч! — одобрили его слушатели. — Хорошо расправился! Еще и каменьев сверху наворочал.

— Как он ее, братцы, об колесо-то звезданул! Ха-ха-ха! Знай наших сибиряков!

— Да и Антипку славно тоже употчевал, на том свете помнить будет!

— Вы сознались, Ногайцев, когда вас арестовали? — задал я еще вопрос.

— Нет, ото всего отперся. За несознание-то мне и двадцать лет дали, а то за что ж бы?

— Как за что!.. Да разве это много за три души-то?

— Вестимо, много... Они разве мучаются теперь? Им хорошо... А я тут страдай за них! Не из корысти ж я и убил-то, а за свою ж обиду. Зачем он меня стегал?

— Как без корысти? Ведь вы же взяли деньги?

— Вот еще чудное дело! Что же, и деньги было в трясину бросить? Тут всякий бы на моем месте взял...

Я не стал спорить, видя, что мы говорим на совершенно разных языках и что нам никогда не понять друг друга. Тяжелое, удручающее впечатление произвели на

меня и этот рассказ и это бездушное отношение к нему слушателей. Меня охватило чувство невольного ужаса и отвращения к этому мягкому, по-видимому, и простодушному парню, в душе которого почудилось мне присутствие какой-то недоброй, темной, больной, быть может ему самому неведомой силы... И немало времени прошло, пока я смог осилить себя и начать относиться к нему по-старому. Это случилось тогда только, когда ужасная история, услышанная мной в этот день, побледнела перед другими, в десять раз более страшными своим бессердечным цинизмом и сознательной развращенностью, когда, ближе познакомившись с Ногайцевым, я узнал, что он богородицу смешивает с пресвятой троицей, Христа с Николаем-угодником и пр., узнал, что душа его, в сущности, то же, что трава, растущая в поле, облако, плывущее в небе и повинующееся дуновению первого ветра. В самом деле, чем он был виноват, если, предоставленный на жертву соблазнам жизни, городской культуры и собственным плотским вожделениям, ни от кого и никогда не получил той священной искры Прометея, которою гордимся мы, образованная часть человечества, и которая может хоть сколько-нибудь сдерживать в нас дикие, животные порывы? Кто решился бы предать его вечной анафеме?..

— Однако, ребята, пора за подъем приниматься, — сказал вдруг Семенов, почти не принимавший участия в разговоре, — а то болтовни нашей и век не переслушаешь. Полезай в шахту, Ногайцев, каменья накладывать.

— Тебе, Мишенька, привычное дело каменья-то ворочать, — прибавил Ракитин, — будешь там поваркивать себе: м-м! м-м! м-м!

Трое арестантов, в том числе и я, взялись крутить вал, Семенов с Ракитиным — принимать кибель и относить каменья в носилках на отвал. Втроем мы едва выкручивали теперь кибель: камень был потяжелее воды и тем более льда. Однажды, когда мы уже выкрутили кибель, Ракитин, неловко принимая его, упустил из рук гранитную глыбу весом не меньше двух пудов, и с страшным шумом и свистом она полетела на дно шахты.

— Берегись! — успел крикнуть Семенов, и крик этот спас Ногайцева от неминучей смерти: едва успел он отскочить под лестницу, как камень грохнулся на то самое место, где он стоял.

— У, чучело соломенное, мякинное брюхо! — накинулись на него же Семенов с Ракитиным. — Ты каждый раз должен под варшафтом* стоять, когда подымают кибель... А то и мокренько от тебя не останется!

— Вот ироды оглашенные! — кричал, в свою очередь, Ногайцев из глубины колодца, очевидно до полусмерти перепуганный. — Вы, пожалуй, скорее начальства на тот свет отправите... Жизнь мне, что ль, надоела, с вами работать? Черти!

— Ну! Ну! — прикрикнули на него. — Сам же виноват, плохо укладывает, да еще и ругается... Толстопузый боров!

И работа пошла по-прежнему, хотя долго еще не мог я оправиться от пережитого волнения. А неунывающий Ракитин уже острил:

— А что б за беда, ежели б и убило одного такого дьявола? Нового б пригнали, еще жирнее. Нашего брата у матушки казны много!

— А бывают случаи, что убивает насмерть? — полюбопытствовал я.

— Сколько еще бывает-то, — отвечали арестанты. — Здесь хорошо вот — восемь сажен глубины, а ведь есть шахты в двадцать и сорок сажен. Там бросьте этакий вот маленький камушек, в зернышко величиной, и то, пожалуй, голову до крови прошибет. Прошлой зимой в Зерентуе сорвалась с каната пустая бадья и упала на татарина. Так ему весь череп разнесло и руку из плеча вырвало, на аршин в сторону отбросило... А иной раз так счастливо обойдется, что просто диву дашься. Раз этак же в Алгачах с четырех сажен сорвался кибель и прямо на плечи Ваньке Микитину... Положим, здоровенный детина, богатырь прямо... Так он всего только неделю в больнице пролежал, да и то так больше, для предлогу... Теленок раз тоже упал на Покровском в шахту — и хоть бы что у него повредилось! Мычит там, сердешный, насилу выволокли.

— Одиножды я тоже напужался, братцы. Сижу это в шахте, бурю себе, ни об чем, то-ись, не думаю. А рядом Андрюшка на кибель примостился бурить. Не приметил того, что другой-то кибель снят, конец каната

* Так выговаривают арестанты слово «форшахта», то есть передняя часть шахты, занятая лестницами. *(Прим. автора.)*

пустой болтается иа валке; ну и ерзает себе, на кибелето сидя. Вдруг как зашуршит!.. Как почиет валок крутиться, как побежит канат... Я-то бурю себе и виимания иикакого не беру, а Андрюшка вытаращил со страху шары, глядит вверх и ждет, как дурак. Валок все скорей, все скорей крутится... Вот он как побежит под варшафт, да заголосит: «Бере-гись!» Только-только успел я к стеике прижаться — весь каиат грох! В двух вершках от меия иа то самое место, где я сидел. Кабы не отскочил вовремя, пожалуй, крышка была бы.[29]

— А сколько случается тоже, буроиос из рук бур выпустит. Тоже страху натерпишься. Ругаии тогда бывает, ругаии!

— Никому помирать здря иеохота.

Мы подияли в этот деиь восемьдесят кибелей камня, и, уходя в светличку, я чувствовал себя всего разбитым и измучеиным.

VII. ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ

Жизнь в тюрьме шла между тем своим чередом по одиажды заведенному порядку. В свое время поверка, в свое время обед, окончание работ, сои. Все, решительио все иаправлеио было к тому, чтобы превратить людей в машииообразные существа, иначе ие живущие, как по комаиде и «согласио инструкции». Последияя, по-видимому, не предполагала даже, чтобы на дие всячески регламентироваииой жизии арестанта все-таки мог оставаться уголок, куда оиа, ииструкция, ие в силах проиикнуть, чтобы в душе и самых развращеиных людей была святая святых, куда оии иикого чужого не впускают. Таким святая святых для арестаита являлись воспоминаиия о прошлом, стремление к воле, иистииктивная ненависть ко всякого рода «духам», то есть солдатам, надзирателям, вообще к иачальству. Правда, чистая и неиспорчеииая душа могла бы, пожалуй, содрогнуться, заглянув в это страшиое святилище; ио что из того? Для отвержеица человеческого общества оно все-таки является таковым; душа его чувствует себя довольной и счастливой только в этом мире, а ие в каком-либо другом, лучшем и высшем на наш взгляд. Даже в Шелайской тюрьме, где жизнь была до смешиого опутаиа всевозможными устаиовлениями и формализмами, никакие

инструкции не могли отнять у арестантов свободы мыслить и чувствовать сообразно их понятию и умению; и так как установления эти касались только чисто внешнего облика и поведения человека, того, чтобы в камерах и коридорах было чисто, чтобы одежда была в исправности, чтобы уроки сдавались сполна и шапка с головы снималась вовремя, то в результате не было, конечно, ни одного случая перевоспитания души человеческой. Понятия о цели и смысле жизни, все взгляды на вещи оставались совершенно нетронутыми, и арестант, выходя в вольную команду или на поселение, начинал новую жизнь по тому же шаблону, по какому и раньше жил, с тою только разницею, что теперь старался вести дело «чище», осторожнее, не оставляя по возможности следов и улик. Одним словом, я вынес такое впечатление, что терроризующий режим каторги влияет в желательном для закона смысле лишь на очень небольшую группу людей, здоровых от природы и не развращенных воспитанием, попавших в тюрьму вследствие внезапной вспышки темперамента, минутного соблазна или судебной ошибки; но ведь таких незачем и устрашать: они все равно не попадут во второй раз в каторгу, а если и попадут, то не скорее всякого другого среднего человека, живущего на воле. Зато испорченного до мозга костей человека внешний страх только окончательно развращает, заставляя быть хитрым и лицемерным. Он не уничтожает в его душе злотворных бацилл, производящих болезни преступлений, а загоняет их, так сказать, вглубь, в невидимые для постороннего глаза сердечные тайники, где присутствие их, однако же, не менее опасно для общественного организма... Бравому штабс-капитану Лучезарову, который основывался на чисто внешних данных, на том, что во вверенной ему тюрьме все обстоит «благополучно», нет ни карточных игр, ни промота казенных вещей, ни пьянства, ни буйства, совершенно естественно могло казаться, что тюремное дело в его руках кипит и процветает, что он идет впереди своего века или по крайней мере ни на шаг не отстает от выводов самоновейшей криминальной науки; но мне, перед которым открывались порой сокровеннейшие глубины преступной души, дело было виднее, и я с болью в сердце видел, что ничего существенного, ничего хорошего этим страшным режимом не достигалось... Я ви-

дел, что все эти грозные команды, строи, маршировки, все эти крики о снимании и надевании вовремя шапок — через несколько же дней обращались для арестанта в привычку, которой он следовал так же машинально, как машинально подносил ложку ко рту, а не к носу, когда хотел есть, что даже ни малейшего страха и страдания эти вещи ему не доставляли. По собственному уверению арестантов, они целый день готовы были снимать и надевать шапку, лишь бы не допекали их другими, более существенными способами... Да и чего же иного стали бы вы ожидать от людей, у которых совершенно атрофировано понятие о человеческом достоинстве, о праве, об унижении? Больше того: у людей, у которых до сей поры вы же, представители и защитники культуры (в лице властей и чиновников), старались по возможности подавить, а не развить это понятие? Страдать подобным страданием способен только интеллигентный человек, и действительно, я с положительностью могу утверждать, что за годы моего прозябания в Шелайской тюрьме из сотен перебывавших в ней арестантов *эта сторона* тюремной жизни действовала угнетающим образом не больше как на двух-трех интеллигентов, имевших несчастье, подобно мне, попасть на каторгу. В самом деле, мне лично она доставляла наибольшее, поистине невыразимое мучение, и сознание того, что мучений этих не разделяет со мной никто из невольных сотоварищей, особенно удручало и делало меня несчастным. Как ни старался я убаюкивать себя мыслью, что это не больше как неизбежная формальность, которая не может принизить мое человеческое достоинство, что-то в глубине души болело и протестовало. Я готов был сквозь землю провалиться всякий раз, как при появлении Шестиглазого надзиратель командовал снимать шапки, а бравый штабс-капитан не торопился с дозволением накрыть их, и нам приходилось стоять перед ним иногда по нескольку минут, смиренно держа в руках шапки. Чувство это заставляло меня прибегать к смешной на первый взгляд уловке. Я снимал шапку добровольно еще задолго до появления начальства и таким образом, не слушаясь команды, не шел в то же время и против нее. Я хорошо сознавал, что это не более как жалкий компромисс, сделка с собственной совестью, и тем не менее чувствовал ее несколько успокоенной и удовлетворенной... Что же

касается арестаитской массы, то, мие казалось, ей доставляло даже какое-то наслаждение снять лишний раз шапку перед начальством.

В иеиастиую погоду вечерняя поверка производилась обыкновенио в коридоре, где можно было стоять совсем без шапок. По моей просьбе, артельиый староста Юхорев н предложнл кобылке так делать.

— И в сам-деле, ребята, — крнчал ои, — на кой они черт? Лишний раз только слушать эту команду. Да провалнсь вместе с ней и сам Шестнглазый.

Ои доложил надзирателю, что арестаиты будут стоять в корндоре без шапок и что потому комаиды «шапки долой» ие иужио. Надзиратель согласился и при появлеиии Лучезарова прокрнчал только «смнрио». Но в следующий же раз, недели через две, когда поверка опять случилась в корндоре, арестанты вышли решительно все в шапках, и на мое иапомннаиие об условии отвечалн, смеясь:

— А что, лень нам снять-то будет, что лн? Крикнут «сымай!» — мы н сымем.

Да н сам староста, так горячо принявшнй прошлый раз к сердцу мою просьбу, уже забыл о ней и стоял тоже в шапке, ухарски заломив ее набекрень. Я махнул рукой иа этот вопрос.

Неизмеримо страшнее была, разумеется, мысль о телесных наказаннях. Мие казалось, что если бы когда-инбудь самого меня подвергли этому ужасиому надругательству, то вся моя духовиая личность была бы иавеки раздавлена, уннчтожена и я больше ие мог бы жнть и глядеть иа свет божнй. Чем-то нензгладимо позорным н варварскнм, худшим из всех остатков средиевековой пыткн представлялось мне употребленне плетей и розог иакануне XX века... Между тем сожителям монм и этот взгляд был вполне чужд и иепонятен. В телесиом иаказанни пугал нх одии только элемент — фнзнческой болн. Когда я увидел в первый раз длииную, толстую плеть, свнтую из бечевок наподобне жеиской косы, когда ее принеслн в тюрьму для иаказаиия приговорениых по суду к плетям и в маленький карцерный дворнк, кроме палача, вошли — сам Лучезаров, доктор, фельдшер и несколько иадзнрателей, я весь дрожал как в лихорадке и долго ие мог успокоиться даже после того, как наказан-

ные вернулись в камеры и рассказывали, смеясь, что одна «проформа» была.

— Микитке так только заглянули... А меня чуть-чуть по штанам погладили... Шестиглазый прямо отрезал: «Я этих наказаньев по суду не обожаю! Они меня не касаются. Вот если у меня в чем проштрафитесь, ну тогда не помилую».

Арестанты все в один голос одобрили за это Шестиглазого и вообще остались очень довольны его поведением. Репутация его после этого случая значительно поднялась в глазах кобылки. Я застал еще то время, когда практиковалось даже сечение женщин; * но и оно никого не возмущало с точки зрения позора...

Лишение воли отзывалось, конечно, одинаково тяжело на всех заключенных. Но, говоря правду, я думаю, что образованный человек легче выносит это лишение. У него обширнее внутренний мир, богаче те сокровища, которых никто и ничто не может отнять у человека. У темного человека внутреннее «я» беднее, и потому он более нуждается в чисто внешних впечатлениях, которые заполняли бы его душевную пустоту и отвлекали от горьких дум. По той же причине его сильнее тянут на волю и чисто физические инстинкты и потребности. Я нередко удивлялся и не мог понять, зачем так рвались арестанты в вольную команду, откуда так часто приводили их обратно в тюрьму с лишением скидок или даже с набавкой срока каторги за какую-нибудь кражу или буйство в пьяном виде. Многие из них и сами признавались мне, что для них лучше было бы до конца срока просидеть в тюрьме, не выходя в вольную команду, где так легко новую каторгу заработать; и тем не менее каждый из говоривших это печально бродил по двору вдоль тюремных стен, завистливо поглядывая на высившиеся за ними сопки, вздыхал и высчитывал, сколько месяцев и дней остается ему до вольной команды... И пускай бы еще вздыхали те, которые мечтали о побеге с воли, те, которые имели двадцать и тридцать лет каторги на плечах: таких я понимал бы... Но рвались в команду и те, кому до поселения оставалось всего каких-нибудь два-три месяца... Подчиненность была,

* Телесное наказание женщин отменено окончательно весною 1893 года. *(Прим. автора.)*

правда, в вольной команде слабее: «духа со штыком» не замечалось за спиной; но работа была не менее тяжела. Та же жизнь в казарме, только гораздо худшей, более тесной, грязной и шумной (благодаря большей свободе); пища хуже тюремной, потому что за вольнокомандцами начальство следило не так зорко и строго. Что же в таком случае влекло туда этих людей? Конечно, воля, выражавшаяся главным образом в свободной игре в карты, питье водки и ухаживанье за каторжными дульцинеями...

В чисто физическом смысле Шелайская тюрьма давала арестантам действительно огромную массу страданий. Самым главным из них было запрещение частных улучшений пищи и необходимость, даже имея свои деньги, питаться одной казенной баландой. Среди арестантов попадались довольно состоятельные люди, но дойти до такого — первобытного, в сущности, — альтруизма, чтобы согласиться улучшить на свой счет общий котел (что разрешалось начальством), никто из них никогда не мог.

— С какой стати на собственные свои деньги стану я всю тюрьму кормить? Меня же дураком назовут! — рассуждал каждый и предпочитал лучше издыхать с голоду.

Правда, как ни строг был Шестиглазый, как ни грозны были его речи и сулимые в них кары, вскоре и в Шелайской образцовой тюрьме образовались разные маленькие лазейки и бреши. Больничный повар стал потихоньку продавать «лишнее» молоко, а сами больные — свои порции мяса и пр. Долгое время я не понимал, как и на какие деньги производится эта конспиративная торговля, потому что на руках арестантам не полагалось иметь ни одной копейки, пронести же в тюрьму хоть один рубль при том изысканном обыске, которым мы были встречены при приемке, представлялось мне немыслимым. На выраженное мной однажды недоумение в этом роде старик Гончаров, с которым мы были одни в номере, засмеялся.

— Да хоша бы он и того пуще обыскивал, деньги у арестанта всегда будут! Вы что думаете? И в карты здесь не играют? — шепотом спросил он у меня.

— В карты? Откуда же их взять? Карты еще труднее пронести.

Гончаров, не отвечая ни слова, вышел в отхожее место и, возвратясь оттуда через несколько минут, таинственно показал мне, хитро улыбаясь, две колоды старых, замасленных карт.

— Как! Разве и вы играете?

— Нет, я-то сам отроду не игрывал, и никогда даже смотреть на игру меня не тянет. Мы с Петькой так только... держим. Он-то, положим, игрок, первой руки шулер. Он, помни, за всю дорогу (мы полгода шли вместе) ни одного разу в проигрыше не был. Все эти подходы и выверты картежные он до тонкости знает.

— И здесь играет Семенов?

— Какая здесь может быть игра! Стоит ли ему тут мараться? Во всей-то тюрьме здесь колесом ходит — много-много — двадцать каких рублей.

— Так зачем же держите вы карты?

— Как зачем? Вот кто захочет поиграть — и идет к нам. Мы получаем про́цент.

— А, вот что...

После того мне и самому случалось несколько раз быть свидетелем картежной игры. Происходила она обыкновенно на нарах в углу камеры или в кухне за печкой. У дверной форточки обязательно стоял стрёмщик, который при приближении надзирателя обыкновенно провозглашал: «Двадцать шесть!» — обычный условный сигнал тюремных жуликов. Стрёмщиком бо́льшею частью был Яшка Тарбаган, большой любитель и знаток своего дела. К счастью картежников, дежурный надзиратель всегда был обвешан, точно бубенчиками, связками ключей, которые гремели при каждом его движении и тем предупреждали виновных. Помню, в каком волнении была вся тюрьма, когда однажды игроки «засыпались» в кухне: стрёмщик прозевал, и надзиратель прямо из их рук взял и карты и деньги. Ожидали, что Шестиглазый строго расправится с виновными, но, к общему удивлению, он ограничился тем, что продержал их несколько дней в карцере и не произвел даже обыска в тюрьме. В другой раз надзиратель подглядел, что в камере происходит игра. Неслышно отомкнул он замок, быстрым толчком отворил дверь и кинулся схватить карты, но они исчезли.

— Где карты? Где карты? — кричал опешивший блюститель порядка.

— Какие карты? Господь с вами, Прокопий Филипныч. Мы просто так сидели, разговаривали.

— Врете, врете, собачьи дети! Я сам собственными глазами сейчас видел, как Петин сдавал. У тебя, Петин? Признавайся!

— Да нет у меня.

— Разувайся, я обыщу. Голову на отсеченье даю, у тебя. Заморю в карцере!

— Воля ваша, ищите.

Все, до последней ниточки, обшарил надзиратель на Петине, детине саженного роста, покорно расставлявшем по его требованию, руки и ноги, снимавшем сапоги, штаны и бушлат. Карты будто сквозь землю провалились.

— Ну ладно, батьке твоему нехорошо будь! Ничего не поделаешь... Ну да я все ж подкараулю тебя.

Надзиратель ушел, и арестанты начали смеяться.

— Куда вы ухитрились спрятать их, Петин? — полюбопытствовал я.

Он весело оскалил свои белые зубы.

— На голове все время были. Как только вбежал он, я живой рукой, будто шапку поправил, и сунул их под шапку... Глаза-то у него разбежались — он и не видал. Всего обыскал, под шапку только не догадался заглянуть.

Меня самого позабавила эта остроумная арестантская уловка. Еще нечто подобное проделал Яшка Тарбаган. Другой надзиратель, заподозрив в предбаннике игру, тоже опрометью вбежал туда и начал всех обыскивать. Главное подозрение падало на Тарбагана, но найти при нем карты ему все-таки не удалось. Оказалось потом, что Яшка во все время обыска держал колоду карт на ладони левой руки, искусно прижав ее мизинцем и большим пальцем... Впрочем, несмотря на подобные случаи, я не могу сказать, чтобы в общем арестанты отличались уменьем конспирировать и прятать запрещенные вещи. Все их прославленное уменье и ловкость заключается в дерзости, в нахальной находчивости. Обычные качества русской натуры, легкомыслие и халатность, в высшей степени свойственны им.

Однако самый факт появления в тюрьме карт и денег показывал, что одной воли Шестиглазого и нагоняемого им страха недостаточно для того, чтобы образцовая

Шелайская тюрьма стояла всегда на одном и том же уровне строгости и образцовости. Я имел много случаев убедиться, что у арестантов были постоянные сношения и с волей, с теми немногими вольнокомандцами, которые еще до нашего прихода жили в услужении у самого начальника и у надзирателей. Откуда-то появлялись время от времени лишние рукавицы и рубахи, которые относились в гору и сдавались сторожу-старику или оставлялись в заранее условленных местах. Лазейки понемногу расширялись. Шаг за шагом делались завоевания и в более существенных пунктах. Так, самим надзирателям не нравилось производить утреннюю поверку на дворе, мерзнуть на сорокаградусном морозе, стоя с обнаженной головой во время молитвы, и вот начали вскоре производить ее в коридоре. Лучезаров вставал поздно, и не было опасности, что он явится когда-нибудь сам. Арестанты пошли дальше и, после долгих пререканий с надзирателями, ввели обычай не петь, а только читать утренние молитвы. Молитва по утрам вообще была скорее богохулением, нежели благочестивым делом. Голодные, продрогшие, заспанные, еще неумытые арестанты выстраивались в коридоре и стояли на сквозном ветру верных десять-пятнадцать минут, пока надзиратели ухитрялись сосчитать их. Арифметику шелайские надзиратели знали вообще очень плохо — и в то же время, вместо того чтобы считать всех подряд, считали почему-то каждую из девяти камер отдельно, прибавляя потом одну к другой.

— Шестнадцать да восемнадцать — тридцать три.

— Тридцать четыре, Прокопий Филиппыч, — поправлял кто-нибудь из арестантов, выходя из терпения.

— Ох, сбил ты меня, паря! Надо снова пересчитать.

И бежит уже в третий раз проверять все сначала. Наконец, раздается команда:

— На молитву! Шапки до-лой!

Все молчат.

— Чего же молчите? Пойте.

— Некому петь, Прокопий Филиппыч.

— Как некому? Вечером поете же?

— То вечером, другое дело... А теперь, со сна, глотка у каждого сухая, осипшая.

— Ну, так читайте хоть кто-нибудь.

Все молчат.

— Ну ты, Пенкин, читай!
— Я слов не знаю, Прокопий Филиппыч.
— Как не знаешь? Ты певчий. В карец захотел, что ли? Это что за безобразие! Я начальнику доложу.
— Ей-богу, слов не знаю, Прокопий Филиппыч. На слух-то могу петь, а прочесть не умею.
— Читай ты, Буланов.
— Голосу нет, Прокопий Филиппыч.
— Что за вздор! Говорит, а у самого голосу нет. Читай.
— Я мордвин, Прокопий Филиппыч, — пищит Буланов, — какой может быть читатель мордвин? Ну да я прочитаю, если хотите:
«Очи наши рижеси на небеси. Да святится имя твое, придет царство твое, будет воля твоя на небеси, как и на земли. Хлеб наш насущный дай нам есть. Не остави нам долги наши, яко же и мы не оставляем должникам нашим. Не введи нас в искушение, не избавь нас от лукавого. Аминь».
— По камерам шагом марш!..
С шумом и смехом расходится кобылка по камерам.
— Ай да мордвин! Не умею, говорит, а сам как отхватил, хоть бы и попу — так впору!
С тех пор каждое утро слышали мы это «очи наши рижеси на небеси...»
Послабления пошли и еще дальше. Вначале было строго предписано надзирателям на один только час в день отворять камеры настежь для очищения воздуха и для прогулки «слабых», освобожденных фельдшером от работ. Выпускались старосты в кухню за обедом — камеры мгновенно захлопывались за ними и замыкались; возвращались они с обедом — надзирателю опять приходилось по очереди впускать их. Таким образом, в течение дня, от утренней до вечерней поверки, ему приходилось раз пятьдесят отворить каждую камеру и столько же раз запереть. А камер было девять. Само собой разумеется, что даже самые исполнительные из надзирателей чувствовали себя несчастнейшими в мире людьми в дни своего дежурства, находясь в непрерывном волнении, беготне и поту; а так как на всю тюрьму полагался один только внутренний дежурный (другой был за воротами), то естественно, что он почти не имел времени следить и за кухней, и за больницей, и за карцерами, и за

мастерской, где производилась починка белья и обуви. Ввиду этого Лучезаров разрешил вскоре держать камеры отпертыми по праздникам в течение всего дня, в будни же от утреннего звонка на работу до возвращения горных рабочих. После этого попущения со стороны высшего начальства и надзиратели сделались смелее. Арестанты, со своей стороны, не уставали их подзуживать.

— Эх, Прокопий Филиппыч, всё-то вы боитесь, всё-то пужаетесь.

— Я, брат, по инструкции... Мне как велено.

— Велено-то оно велено, спору нет. Только человеку понятие тоже дано ведь. Почему же вот ни Иван Павлович, ни Василий Андреевич никогда камер на запоре не держат? Ну конечно, ежели предполагают, что начальство сейчас явится, тогда поспешают. Так на то звонок ведь есть: старший дежурный предупредить обязан.

— Не может этого быть. Не поверю, чтоб Иван Павлович али Василий Андреевич камер не запирали. Чего мелешь непутевое, собачий сын?

— Ей-богу-с, правду говорю, не запирают. Конечно, болтать только об этом здря не велят. Потому они люди тонкого понимания.

— Сомнительно что-то, — отходил прочь Прокофий Филиппович, покачивая головой, но тем не менее впадая в некоторое раздумье.

А на Василия Андреевича и Ивана Павловича арестанты старались между тем воздействовать мнимой снисходительностью к ним Прокофия Филипповича. Преувеличенные похвалы соперникам нередко оказывали-таки свое влияние, и кто-нибудь из надзирателей становился вскоре действительным любимцем публики.

— Это не Иван Павлович, а просто объеденье! — говорили они меж собой, не зная, как похвалить его.

Но как ни важны, как ни значительны были все послабления и уступки, отвоеванные с течением времени арестантами, *для меня* жизнь в Шелайском руднике попрежнему была невыразимо тяжела. Тошнотворная и малопитательная пища; работа в сырых и холодных шахтах; казарменно-унизительный строй жизни, попирающий в грязь все заветнейшие чувства и стремления; лишение свободы и общения с образованным миром; тесное сожительство с людьми, с которыми так мало име-

лось общего и родного; горькие дни и черные ночи с мучительной бессонницей или кошмарными снами, — ах! и теперь еще, по прошествии стольких лет, я вздрагиваю каждый раз, как вспомню обо всем этом... Сердце опять трепещет, опять полно ран и скорби... Тише, тише, непокорное! Победи свой порыв! Превратимся опять в беспристрастных летописцев хоть и ужасного, но всё же пережитого прошлого. Будем рассказывать по порядку, что в нем было наиболее важного и любопытного: авось кому-нибудь пригодится!

VIII. НАЧАЛО МОЕЙ ШКОЛЫ

С наступлением зимы и удлинением ночей нас запирали на замок все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался этому. Только тогда, когда проходила наконец вечерняя поверка со всеми ее страхами, окриками, громом и блеском, когда щелкал замок за удалявшейся свитой Лучезарова, только тогда вздыхал я полной грудью и чувствовал, что до следующего утра никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется в мою душу, что на целые полусутки я застрахован от всякой новой обиды и поругания. Много было отвратительных сторон в этом долговременном пребывании под замком, но для меня существовали более страшные вещи, чем спертый, удушливый воздух и близкое общение с отбросами человечества. Впрочем, постараюсь дать читателю некоторое представление и о той атмосфере, которою приходилось дышать. Камера, по первоначальному расчету, была устроена на шестнадцать человек (число это значилось и на дощечке, прибитой к дверям); но, как я говорил уже, партия пришла большая, и в каждой камере было по двадцать и даже по двадцать два человека. Пятерым в нашем номере не хватило места на нарах, и они принуждены были спать на полу (на пол сгоняли обыкновенно татар и сартов). Оконная форточка в камере имелась, но так как русскому человеку принадлежит знаменитое в науке открытие, что пар костей не ломит, то открывали ее чрезвычайно редко и неохотно. Ее, наверное, и никогда бы не открывали, если бы не моя настойчивость; однако и я стеснялся слишком злоупотреблять своим влиянием, встречая порой косые и прямо враждебные взгляды старичков вроде Гандорина.

Этот достопочтенный и благочестивый старец, с своей стороны, мало стеснялся: ровно через две минуты он, как кот, осторожно подкрадывался к отворенной мною форточке и с постным, умиленным выражением лица, на правах старосты, потихоньку захлопывал ее; а чтоб не обидеть, с другой стороны, меня и дать какое-нибудь удовлетворение, притворял ненадолго посторонку и, держа в зубах трубку, шамкал в мою сторону:

«Она тоже выносит... Еще способнее».

Этот Гандорин был истинным мучителем моим. С лицом святого, с седенькой бородкой клинышком и изможденным лицом, он был обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добросовестно съедая до последней крошки собственную порцию баланды, какую бы мерзость она ни представляла, он в качестве старосты еще сливал к себе же остатки от всех других порций и тоже обязательно съедал. Съедал и весь хлеб — свой и остатки чужого. Допивал весь оставшийся чай... Ум отказывался понимать, куда все это лезло в тщедушного старичонку! Но зато он сторицей же отдавал и обратно то, что воспринимал в себя: вечно страдая расстройством желудка, он поминутно принужден был выбегать куда нужно, да когда и назад возвращался, соседям его не приходилось благодарить судьбу... К несчастью, он спал всего через два человека от меня: Чирок, Тарбаган и он... Мое место было у самой стены. Впрочем, не один Гандорин страдал катаром желудка, который и неудивителен был при том ужасном пищевом режиме, который ввел в Шелайской тюрьме бравый штабс-капитан; поэтому атмосфера небольшой камеры, где скучилось с лишком двадцать взрослых человек, почти прикасавшихся телами одни к другому, была по вечерам в высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную вонь распространяли также онучи, которые арестанты тут же, около печки, развешивали для просушки. Онучи эти у некоторых не мылись по целому году, и от них пахло такой омерзительной прелью, что непривычного человека могло бы стошнить... У многих арестантов ужасно воняли и самые ноги от постоянно струившегося по ним пота (болезнь очень распространенная среди рабочего люда).

И все-таки, еще раз повторяю, я всегда чувствовал радость, когда проходила поверка и нас запирали на замок.

Подбором своих сожителей, за малыми исключениями, я был вполне доволен. Большего эти люди не могли мне дать, и смешно было бы на них сетовать за это. Отношения между нами с самого начала установились дружеские. В первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающих грамоте. Едва я высказал однажды — полушутя, полусерьезно — это желание, как экспансивный Никифор Буренков сорвался с нар и, подбегая ко мне, закричал:

— Вот хорошо-то будет! Я, знаешь, Миколаич, давно уж просить тебя хочу, да все не смею... А ты сам надумал... Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьявол ее побери! Приду домой — диву все дадутся: неужто это Микишка? Тот ведь ни аза в глаза не знал, а этот... И знаешь что, Миколаич? Ты выучи меня и рихметике также... Счет мне знать хочется... Я там у них писарем буду — вот окручу-то всех!

Я отвечал Буренкову, что учиться надо не для окручивания людей, а, напротив того, для выкручиванья их из сетей темноты и всяческой неправды. Никифор сконфузился и поспешил уверить меня, что это он «так только, пошутил».

Этот человек был настоящее «дитя природы»; такого неуменья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встречал в другом человеке. Лицо его было лучшим зеркалом его души. Высокий, костлявый, он весь был — страсть и огонь; порывистые движения, постоянно веселый нрав, остроумие, незлопамятность, легкомыслие делали его всеобщим любимцем. В больших серых глазах его и тонких губах, оттененных длинными мягкими усами и желтой козлиной бородкой, светилось, правда, и некоторое лукавство. Он сам иначе не говорил про себя, как «мы, мощенники»... Но стоило немного присмотреться к Никифору, чтобы убедиться, что он не только хороший товарищ во всякого рода «фартовых» предприятиях, но также и рубаха-парень. Он был из «семейских» Верхнеудинского округа староверов беспоповского толка; но раннее знакомство с приисками и природная склонность к товариществу и молодечеству превратили его в одного из героев больших дорог, специальность которых — срезывать чаи в обозах. За это и пошел он с двоюродным своим братом Михайлой в каторгу на четыре года.

Вся камера живейшим образом заинтересовалась мыслью об устройстве школы. Старики подталкивали более молодых, побуждая учиться. Процент грамотных ничтожен в тюрьме. В нашей камере грамотных оказалось всего трое: Семенов, Парамон Малахов и некто Владимиров. Но были и такие камеры, где царила поголовная безграмотность. Я спросил, кто еще станет учиться. На некоторых лицах читалось страстное желание объявиться, но все молчали.

— Ты, Пестров, чего же? — кричали на одного совсем молодого паренька, вялого, молчаливого и конфузливого.

— У меня, братцы, память плохая.

— Вот сказал! У нас, что ль, лучше, у стариков? Кому и учиться, как не тебе? Парню девятнадцать лет, в самом что ни на есть соку.

— Так будете учиться, Пестров?

— Хотелось бы... Только память, ей-богу, ничего не стоит.

— Ничего, посмотрим.

— А как же мы учиться-то станем? — вскрикнул вдруг Никифор. — Ведь ни карандашей, ни чернил, ни гумаги у нас нет! Ах ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нет!..

И от бурной радости он вдруг перешел к самому мрачному отчаянию. Я и сам призадумался. Книжка, положим, была — Евангелие; бумага тоже была: эконом продавал арестантам для куренья махорки серую писчую бумагу, причем, следуя инструкции, запрещавшей в тюрьме письменные принадлежности, разрезал ее на уродливо-неправильные полосы. Труднее было придумать, где и как достать карандаш. Парамон Малахов, необыкновенно важно сосавший на нарах свою трубку и о чем-то долго размышлявший, вдруг ударил себя кулаком по лбу и закричал:

— Не будь я Парамон Малахов, коли не достану!..

— Чего?

— И карандаш и... азбучку. Пускай у Шестиглазого шесть глаз, пускай даже больше будет, достану. Надейся, Никишка, на Парамона!

Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Он ходил бондарничать в столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякий раз,

как возвращался с работы, Буренков и Пестров приставали к нему с расспросами. Красавец бондарь разводил только руками и пожимал плечами:

— Ну да уж все-таки достану. Придет такая точка. Не бывало еще, чтоб Парамона хлопушей звали!

Между тем мне пришло в голову воспользоваться углем. Никифор достал прекрасный длинный уголь; я заострил его и начертил на махорочной бумаге несколько первых печатных букв. Восторгам учеников конца не было. Вечером, только что прошла поверка и заперли камеру, все гурьбой бросились к столу... и обступили меня с Никифором и Пестровым. Лицо первого из них сияло, как хорошо вычищенный медный таз; и с него и с Пестрова уже градом лил пот, хотя ученье еще и не начиналось: оба страшно трусили...

— Ну, Микишка, поддержись, не ударь в грязь лицом! — одобряли Буренкова Чирок и Гончаров.

К великому моему удивлению и огорчению всей камеры ученики мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, малоспособными. Долго успокаивал я себя мыслью, что они просто робеют и смущаются, но через неделю с положительностью должен был убедиться относительно Пестрова, что он абсолютно тупой и беспамятный парень. Я не показывал, конечно, и виду, что пришел к подобному заключению, и не уставал каждый вечер одно и то же вдалбливать ему в голову; но камера самостоятельно пришла вскоре к тому же выводу и ужасно сердилась на Пестрова: казалось, будто у каждого задета была собственная его амбиция...

— Ну и долбежка ж ты, Ромашка! — говорил Чирок. — Я ведь уж кто такой? Все меня пермяком называют, из чурки вытесанным... В лесу я взрос, в тюрьме состарился... А и то ведь уж несколько гуковок затвердил, на тебя глядя. А ты молодой, ты — расейский!

— Брошу же я совсем! — вспыхнув, как порох, объявил Ромашка, и большого труда стоило мне каждый раз уговорить его продолжать опыт ученья.

Зато Никифора камера хвалила и обнадеживала:

— Попом будешь, Никишка, у семейских!

Похвалы эти были, конечно, сильно преувеличены. Никифор не был, правда, безнадежной тупицей, но порывистость натуры вредила ему так же и в ученье, как в жизни. Не вглядевшись хорошенько в букву, он момен-

тально выкрикивал ее название, большею частью невпопад. Кроме того, он не любил сознаваться тотчас же в самых явных ошибках и, обладая богатой фантазией, оправдывался сходством между такими буквами, которые, казалось, ничего общего не имели: так, по его словам, *м* как две капли воды походила на *ф*, *а* на *з*... Нечего и говорить, что вследствие торопливости он постоянно смешивал созвучные буквы: *ж — ш*, *с — з*, *д — т* (я учил по звуковому методу).

— Ну и терпение ж ангельское у Ивана Николаевича, — говорили про меня в камере.

Один только Малахов держался на этот счет особого мнения.

— Это не ученье, а баловство одно, — ворчал он, — разве так в старину нас учили? Первое: аз, буки, веди, глаголь, добро... У каждой буквы свое название было, каждая как живая была... А нынче что? Шипят, свистят... Ничего не поймешь! Ж-ж-ж-ж! С-с-с! Просто хоть уши затыкай.

Я старался объяснить Малахову выгодные стороны звукового метода, но напрасно: он был слепым поклонником старины, и к тому же, если упирался на чем-нибудь, то был упрям, как бык. *

— Второе, — говорил он назидательным тоном, — без колотушек учителю обойтись невозможно.

— И верно, Миколаич, — вскрикнул Никифор, — ей-богу, колоти меня! И за волосья таскай, и как хочешь... Ни слова не скажу, лишь бы за дело.

— Нет, брат, и без дела не мешает, — поправлял Парамон, — просто так, для науки, для страха. Нас, ты думаешь, как били? Меня дьячок наш сельский учил. Бывало, как ни придем мы к нему, ребятишки, всегда пьянехонек. И первым делом сейчас же после молитвы всем без разбора волосянку давал... Треплет, треплет, устанет... Ну, теперь давайте, говорит, учиться, ребята! А уж за дело коли бил, тогда надо было отнимать от него: до смерти заколотит! Я раз во время волосянки руку ему

* Спешу, впрочем, оговориться, что учебная практика заставила впоследствии и меня пойти на некоторые уступки старине. Все буквы носили у моих учеников-арестантов имена хорошо знакомых им предметов (*б* называлось бродней, *в* — волком, *т* — туесом), и это обстоятельство много помогало успешности занятий. *(Прим. автора.)*

укусил, так он об меня всю палку в щепки расхлестал.

— Здоровая ж, Парамон, и тогда у тебя спина была, — смеялись арестаиты.

— Ну, а что ж хорошего было в таком учеиье? — спрашивал я Парамона.

— Как что? Грамоте выучивались, баловства было меньше.

— Насчет баловства не знаю, а грамоте вот не выучились же вы хорошо, как ни бил вас дьячок? До сих пор чуть ие по складам читаете.

— Это я теперь забыл, — отвечал самолюбивый бондарь, видимо иачинавший уже раздражаться и с сердцем выколачивавший о нары свою трубку. — А для своего обихода я и теперь еще ладио читаю. Где же нам, дуракам, миогоучеными быть?

Впрочем, пропаганда битья, кроме самих учеииков, ие иашла себе в камере сочувствующих, и Малахов остался в этом отиошеиии одиииоким. Особеиио ополчился против кулачной расправы с детьми старик Гоичаров.

— Да чтоб я своего дитю дал бить? — с искреииим негодоваиием говорил ои, расхаживая по камере. — Ни за что! Раз, этак же, еду я верхом иа мерние у себя дома. Слышу робячий крик. Гляжу: у самого плетия учитель дерет за уши кожевииковского мальчишку. Ребеику лет семь, а ои знай уши ему выворачивает да волосянкой потчует. Вот подъезжаю я, привязываю меринадо к плетню и прямо к учителю. «За что?» — спрашиваю. «А тебе какое дело? Я учитель». — «А! ты учитель? Так вот поучись-ка прежде у меня!» — Как подмял его под себя да зачал угощать, так и до сего часу, пожалуй, бока болят...

Я поглядел на огромную медвежью фигуру Гоичарова с широким лицом, изрытым оспой, толстым носом, рыжевато-седыми бакеибардами и светлыми большими глазами, иад которыми угрюмо свешивались рыжие брови, и подумал, что действительно плохо, должио быть, пришлось учителю...

— И после, бывало, помии, — продолжал Гоичаров, — завидишь где его издали, маиишь к себе: «Эй, Трофим Евстигиеич, иди-ка сюды, поговорим с руки иа руку...» Он сейчас и лыжи прочь навострит! Я смеюсь, киутом ему вслед грожу!

IX. МАЛАХОВ И ГОНЧАРОВ

Гончаров и Малахов, видимо, недолюбливали друг друга, хотя явно и не показывали этого, чуя один в другом почти равную физическую и нравственную силу. Это были натуры противоположные во всех смыслах, и мне кажется — именно тою противоположностью, в какой вообще находится Сибирь и ее метрополия: Малахов был пскович, живший в самом Питере в кучерах и получивший там некоторый внешний лоск. С людьми, к которым он чувствовал уважение или расположение, он умел обходиться с утонченной вежливостью, непохожей, впрочем, на ту отвратительную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявшие барские ухватки и словечки. Гончаров был в этом отношении грубоватее, неотесаннее. Зато чисто внешним лоском и ограничивались следы цивилизации, наложенные на Парамона. В душе он оставался настоящим типом вандейца, закоренелого в традиционных взглядах и предрассудках. На беду свою он отличался большим самомнением, считал себя очень умным человеком и думал, что имеет твердые, определенные воззрения на вещи, хотя на самом деле был весьма недалек и даже, быть может, туп. Вот почему, когда речь заходила о каких-нибудь жгучих, задевавших его убеждения вопросах, он становился желчен и забывал всякую деликатность и вежливость. Всякую «многоученость» он с презрением отвергал, и потому, против моей воли и желания, мы нередко вступали в бурные пререкания. Против экспериментальных наук и всяких в глаза бьющих открытий и изобретений он еще ничего не имел; но чуть от практики дело переходило к общим выводам и положениям, покушавшимся, как ему казалось, на вековые святыни человечества, он выходил из себя и лез на стену, защищая свои взгляды. Особенно часто схватывались мы из-за астрономических вопросов, из-за того, что земля имеет шарообразную форму, что она вертится, а солнце стоит относительно на одном месте и пр. Парамон обыкновенно долго и молча выслушивал мои рассказы кому-нибудь из арестантов про чудеса природы, разоблаченные современной наукой. Наконец не выдерживал и говорил:

— А кто же из господ ученых лазил на небо, что так хорошо все это узнал?

Я начинал сызнова свои разъяснения, стараясь выражаться возможно толковее и еще понятнее, чем прежде. Он опять терпеливо слушал и потом решал властным и внушительным тоном:

— Вздор все это, чепуха! Что солнце ходит — это я вижу, собственными глазами вижу. Ну, а что земля ходит — этого никто никогда не видал и никогда не увидит! Буду я целый день стоять на одном месте и смотреть вон на ту сопку — и ни на один шаг она не подвинется в сторону.

Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновременно вся, всей своей массой и равномерно во всякой точке; напрасно приводил обычный пример, что когда едешь на машине, то представляется, будто стоишь на одном месте, а земля от тебя убегает. Чем яснее, казалось мне, доказывал я свои положения, тем больше Парамон волновался и сердился... Однажды, думая поразить его, я, с своей стороны, указал ему одно место в книге Иова,[30] где говорится, что бог *ни на чем* утвердил землю, повесив ее в воздухе; в ответ на это он отыскал другие места в Библии, говорящие о неподвижности земли и подчиненности ей солнца и звезд. Никаких иносказательных толкований он принимать не хотел и разражался в конце концов страстной филиппикой[31] против науки.

— Вся эта высокоученость гроша медного не стоит! Нынешняя наука дошла до того, что и бога нет!

— Вы пустяки говорите, Парамон, — отвечал я, — нет такой науки, которая бы доказывала, что нет бога; наука не занимается такими вопросами.

— Как! Я сам встречал ученых, которые говорили это!

— А разве и из совсем неученых людей, из арестантов например, — нет таких, что в бога не верят?

— Ну, уж я больше на собственные свои уши полагаюсь. Поверите ли, братцы, — обращался вдруг мой оппонент ко всей камере за сочувствием, — один ученый доказывал мне в Питере, что человек произошел от обезьяны... Да, дурак он! Подумал бы он о том хоть, что обезьяну надо б по крайней мере раз в месяц брить, чтобы она походила на человека!

Все разражались единодушным хохотом, и Малахов глядел победителем. Два-три человека из молодежи

были, правда, на моей стороне, но и они боялись слишком явно высказываться в пользу науки; старички же поголовно сочувствовали взглядам Парамона и заодно с ним возмущались внутренно моим вольнодумством. Один только Гончаров посмеивался и уклончиво говорил:

— Ну, а я всему верю... всему готов верить... Потому знаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни таежные — ничего больше! И в головах у нас есо́р * один!

Гончаров был ум чисто практический, мало интересовавшийся отвлеченными умозрениями, но зато другим дававший в этом отношении полную свободу. Парамон, напротив, был идеалист. Несмотря на солидность манер и всей фигуры (ему было под сорок), он был в высшей степени страстный и увлекающийся человек, ни в чем не знавший меры. Говорил он обыкновенно с пафосом, приподнятым несколько слогом, воодушевляясь и искренно волнуясь, и красноречием своим умел иногда наэлектризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда ему приходилось говорить уже совсем несуразные вещи. Так, однажды он рассказал нам следующую историю.

Возвращался он с товарищем домой из Питера. Заходит в какую-то деревню и в одной хате видит больную женщину, не встававшую уже несколько лет с постели. Родня больной обращается к прохожим с вопросом, не знают ли они какого средства от этой болезни. Парамон и его товарищ ребята были молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить.

— Вот я и отвечаю: как не знать! Сделайте только все так, как я вам скажу. Испеките мне из пшеничного теста куклу. Те, конечно, с полным удовольствием того же дня изготовили мне огромаднейшего статуя. Удалил я тогда всех из горницы, положил на больную эту куклу и помолился перед образом... Нужно же было что-нибудь для виду сделать! Призываю потом снова всю родню и говорю, что куклу эту я с собой возьму, а что больная вскоре-де будет здорова. Надавали мне тогда на дорогу всяких припасов, даже денег сколько-то дали, и мы отправились с товарищем дальше. Посмеиваемся про себя. Останавливаемся на пути закусить. Решили и куклу отведать. Вот отламываю я от нее руку... и что же,

* Есор — мусор. *(Прим. автора.)*

братцы, думаете? Вижу — кровь!.. Отламываю другую руку — живая человечецкая кровь!.. Вот, ей-богу, правда!.. Испугались мы тут, побросали куклу и все припасы и убежали. Но что же случилось между тем? В самый тот час, как мы куклу ломали, женщина та, больная-то, с постели совсем здоровой встала, — ну вот, ей-богу же, не вру!.. Пусть-ка ученые объяснят это, а? Пускай попробуют!

Рассказ этот произвел на слушателей огромное впечатление; но меня лично заинтересовал он в другом смысле. Я чувствовал, что в нем не все обстоит благополучно, что тут скрывается один из тех секретов, помощью которых создаются обыкновенно всякие легенды и народные суеверия. Часто приставал я после этого к Парамону, прося еще раз рассказать историю о кукле; он каждый раз отговаривался, лукаво подсмеиваясь над моим любопытством. Но однажды, уже полгода спустя, в минуту счастливого настроения и расположенности ко мне он прямо мне признался, что насчет крови-то тогда приврал.

— Все правильно обсказал, как было. Только вот насчет крови прибавил — пошутил, — объяснил он, несколько конфузясь, хотя я отлично помнил, что *тогда* он не думал шутить.

Одно обстоятельство заставляло меня прощать Малахову все его недостатки и нелепости: это его несомненная неиспорченность, сравнительно с остальной арестантской массой. Я знал, что в каторге он за убийство; но уж один тот факт, что сибирский суд приговорил его (и раньше бывшего поселенцем) всего к шести годам каторги, говорил несколько в его пользу. Общее мнение арестантов о Малахове было, что он человек честный и самостоятельный. Сам Парамон любил похвалиться, что мошенничеством никогда не занимался, что и в будущем твердо надеется на свои руки. В общем, нрав у него был далеко не мрачный; под внешней серьезностью таилось много юмора и подчас чисто ребяческого легкомыслия. Поострить на чужой счет, «потереть волынку», как говорят арестанты, повозиться с Чирком, раззудить его, заставить вступить с собой в перебранку и даже полезть в драку — было любимым занятием Парамона.

— Ты чего не на свое место онучи положил? — якобы грозно спрашивал он Чирка.

— А ты что за барин такой выискался? — отвечал тот.

— Убери, говорю, тебе, сейчас убери, не то рожу твою сопливую оботру ими. Ты знаешь, кто я такой?

— А кто?

— Я Парамон Малахов! Я — родословный! А ты кто? Бро-дя-га?

— Какой я бродяга? Перекрестись пойди да выспись.

— Ты на житье был в Ишим сослан и оттуда подкопом в Ялуторовскую тюрьму бежал, чтоб майдан снять!

В камере общий хохот.

— Он собаку съел, ты не знаешь, Парамон? — вступается Яшка Тарбаган.

— Молчи, гад! — кричит на него Чирок. — Туда же, творенье паршивое рот разевает.

Нужно сказать, что Чирок был вечным предметом насмешек со стороны товарищей за свой побег из вольной Алгачинской команды. Уморительно рассказывали арестанты историю этого знаменитого побега. Только что выпущенный из тюрьмы, подвыпил он на последние деньги и, взяв в товарищи татарина Малайку, пустился немедленно в дорогу. Днем беглецы лежали в кустах, ночью шли вдоль телеграфной линии.

— Мы еграфом, еграфом пойдем, Малайша!

На вторую ночь оба сильно проголодались, подошли к одной деревне и увидели впереди что-то белое.

— Малайша, Малайша, — шепчет Чирок, — ведь это баранша... Вот бог послал нам!

Подкрадываются, хотят схватить предполагаемого барана — и вдруг на них кидается с лаем огромная белая собака... Насилу Чирок с Малайкой ноги унесли. На третий день их арестовали, вернули в Алгачи, «дали по пятидесяти» и посадили до конца срока в тюрьму. С тех пор арестанты не давали Чирку покоя: лаяли на него собакой, блеяли бараном, куковали кукушкой, называли его, шутя, бродягой (у каторжных издавна существует вражда к бродягам по призванию). Шутники рассказывали даже, что он съел-таки собаку, но на месте преступления оставил хвост, по которому и был уличен; что за ужин из собачины он отлучен попом от святых тайн и что собачий хвост припечатан к его статейному списку... Чирок относился довольно хладнокровно ко всем подобным рассказам и насмешкам и в шутку только показы-

вал иногда вид, что сердится; один Малахов умел раззудить его и довести, что называется, до белого каления.

— Хм! — не унимался он. — Другие по крайности сухарями или майданом прельщаются, бродяжить идут, а он собачины отведать захотел. Оголодал на алгачинской баланде!

Чирок молчит.

— Ловят вот этакого черта, приводят в тюрьму. «Откуда ты?» — «Я, говорит, братцы, много горя видел... Я, говорит, с Соколиного Острова бежал, в железных бродиях море переплыл, сорок верст подкопом шел... Дайте мне, говорит, братцы, майдан подержать, поправиться... Я — генерал Кукушкин!..» У, бродяжня проклятая!

Чирок опять упорно молчит и, лежа на своем месте, сосет цигарку и поминутно сплевывает на пол. Парамон сидит с ним рядом и продолжает повествовать о проделках бродяг, обращаясь ко всей камере и изредка только к самому Чирку.

— А в тюрьме он живет: наденет красную рубаху, подбоченится и идет этаким дьяволом... Мы-ста — не мы-ста!.. У, черти окаянные! Пермя́ — соленые уши!

В ответ еще раз молчание; только слушатели заливаются смехом.

— В дороге того хуже: захватит себе один полсажени нар. «Подвинься, — говорят ему, — братец». — «Ты разве не знаешь, — отвечает, — к кому обращаешься? Ты кто такой? Ты родословный? А я — Иван, родства не помнящий! Поимай это! Здесь одна моя нога, а там другая лежит. Полезай под нары!» Вот и приходится страдать нашему брату, родословному, из-за них, из-за этаких вот чертей... Вот из-за этаких... вот как этот... во-вот, что лежит тут!

Парамон протягивает палец по направлению к Чирку и с лицом комически мрачным и серьезным долго держит его в таком положении, повторяя:

— Вот из-за них самых... этаких вот... из-за летучек тобольских, хвосторезов коровьих, костогрызов бессовестных, тварюг!..

— Сам тварюга! — вскакивает вдруг Чирок, выведенный из себя не обличениями и даже не ругательствами Парамона, а главным образом его пальцем, который так долго висит в воздухе и всем указывает на него.

Этого движения пальцем Чирок почему-то никогда не выдерживает, и в крайнем случае, когда ничто не действует, Парамон всегда к нему прибегает.

— Гад паршивый! Дьявол чернопазый! — кричит нараспев, по-пермяцки, окончательно озлившийся Чирок и иногда, вскочив, принимается даже тузить своего мучителя. А чернопазому дьяволу того только и нужно было: довольный своим успехом, он покорно принимает здоровеннейшие тумаки в спину и заливается веселым смехом.

Совершенно другой тип представлял собою уроженец Енисейской губернии — старик Гончаров!

Над «челдонами», «желторотыми челдонами», то есть сибиряками,* арестанты очень любят поострить и посмеяться. Чем-то черствым, бездушно-трезвым и эгоистичным веет от того сибирского типа, который рисуется в рассказах арестантов (причем, подражая сибирскому говору, они всегда почему-то гнусавят). Не могу позабыть одного характерного рассказа бродяги Дорожкина о том, как однажды его арестовали челдоны в каком-то селении Западной Сибири. Привели его в баню и, крепко-накрепко скрутив веревками руки, оставили там, а сами пошли в предбанник пить водку.

— Вот затекли у меня, братцы, руки, окрепли... Перестал я даже и слышать, что на мне веревки. Думаю — надо быть, ослабли немного. Оглядываюсь кругом — окно. Вот я как разбегусь — да головой в раму! Как набегут в баню челдоны... Как зачали меня поливать!.. Повалили на землю: я сижу ни жив ни мертв, наклонив голову. Они мне в загорбок, знай, накладывают. Добрых полчаса лупили, ажно в глазах у меня смерклось. Двое устанут, другие двое подходят. «Пожалейте, говорю, старички, хоть не меня, а руки свои. Чем землю пахать будете?» — «А чаво, паря, и в сам-деле... Руки-то свои ведь... дороже его башки». Ударили еще по разу и опять пошли в предбанник водку пить. Я сижу на полу. Вот входит старик, седой как лунь, сгорбленный весь.

* Впрочем, нужно заметить, что только в Западной Сибири общеупотребительно слово «челдон» в приложении к крестьянину (так же как «варнак» — к каторжному); в Забайкалье же каждый крестьянин страшно обидится, если его так назовут, и сам обзывает челдонами арестантов. Но последние, понятно, не признают за собой этой клички. *(Прим. автора.)*

Смотрнт на меня. «Дедушка, — говорю ему (жалостно таково), — дедушка!» — «Чаво, — спрашнвает, — родимый?» — «Дай воднцы нспнть... Запеклось все в глотке... Вишь как избнлн». — «Ах, онн, говорнт, варвары! Да за что оии тебя, дитятко? Им-то какое дело, хоша бы ты н мать свою родиую убнл? Перед господом на том свете ответишь. Все ответнм». Берет черпак банный н подает мие старик воды напнться. Чнстым медом вода эта мие показалась, всю до диа выпнл. «Пей, — говорит старнк, — пей еще, родиой!» Да вдруг, как выпил я всю воду-то, как размахиется черпаком да как хватит меия со всей силы по башке — так черпак вдребезгн и разлетелся!.. После опять входят ко мне всей гурьбой челдоиы, н волостиой старшииа с инми. Я к нему с жалобой: «Прнкажите, говорю, ваше степеиство, помазать мне чем-иибудь руки. Посмотрите, кровь нз-под веревок брызиула». Посмотрел: «О! говорит, паря, оин н впрямь чересчур уж. Послабьте немиого да помажьте ему рукн чистым дегтем». Схватывает один челдон мазилку дегтярную (тут же и кубышка с дегтем стояла) да как суиет мие в рыло... Мазь, мазь! Всего, как черта, вымазал. Прнвязали меия потом к телеге н повезлн в Ачниск. Мухи меня всего дорогой облепилн. Бегу за телегой, ровио дьявол, из самого пекла достатый... Ребятншкн по деревиям увидят — к матерям домой бегут...

Таковы рассказы о бессердечной, доходящей до сладострастия, жестокости сибиряков. Возможио, что в иих есть известиая доля правды. Практнчиость н трезвость взглядов сибиряка, полиое отсутствие поэзин в его душе, хнтрость и умеиье сдержнваться сразу брósаются в глаза российскому человеку.

Но он обладает зато чертамн н качествамн, которымн бесконечио превосходнт последнего и которые блнже ставят его к западиоевропейскому типу. Ум его меиее засорен отжнвшимн традициямн и предрассудками, более способеи к развитию н воспрнятию новых идей н поиятий, отличается большею независнмостью н свободолюбием. Да оио и поиятио: снбиряк не зиал крепостного права, он и теперь не зиает, что такое малоземелье н связаииые с инм для мужнка нищета н бесправие; в нем ие видио той забитостн, того раболепня перед властямн, какнми так непрнятно поражает коренная Русь.

Много раз приходилось мне менять свое мнение о том или другом арестанте, в том числе и о старике Гончарове, но единственное, чего никогда не приходило мне в голову отрицать в нем, это — ясный, чисто сибиряцкий ум, умевший всегда быстро ориентироваться в каждом житейском вопросе и положении, схватить, что называется, быка за рога. Благодаря этому качеству и острому, как бритва, языку, который никогда не лез за словом в карман, он разыгрывал в камере роль отца-командира: молодых поучал уму-разуму и охотно посвящал в свои прошедшие похождения и приключения, им же числа не было, а более зрелых летами или равных себе по значению выслушивал со снисходительностью старшего брата, никогда, впрочем, не упуская случая и тут вставить какое-нибудь свое наставительное замечание. За это самомнение арестанты его не любили. Гончаров был очень тактичный человек и резкости позволял себе только относительно вполне безобидных людей, поэтому с ним редко схватывались лицом к лицу и лишь за глаза честили на все корки. Дружил он с одним только Семеновым, своим земляком: все, что имели, они делили пополам, ели и пили вместе. Угрюмый и молчаливый Семенов, видимо раздражавшийся внутренно болтливостью старика, находил почему-то нужным щадить его и терпеливо выносил его неутомимое краснобайство и резонерство.

— Чистейшей степени лицемер! — говорил про него Малахов, похвалявшийся тем, что он любому человеку в глаза матку-правду отрежет. — Лисица сибирская! Подумаешь, настоящий монах был, трудами рук своих жил, хозяйство большое имел; а сам — сказать срамно! — ведь здесь многие его на воле-то знали: все в один голос сказывают, что нашим братом поселенцем кормился... Сколько он их перебил, так дай мне бог столько лет на свете прожить! Первый злодей был... А теперь каким прикидывается химиком! *

— Не те времена. В другой тюрьме показали б ему, что за это арестанты с ихним братом делают, — отзывался Яшка Тарбаган.

---

* Химик на арестантском жаргоне — тихоня, лицемер, подлипало. *(Прим. автора.)*

— Нет, робята, — говорил Чирок, — я за что не люблю Гончарова? За то, что он других все осужает, всех осужает, да все знает... «Я, да я!» — только н слышншь. А другой при ём н рта не смей розевать.

Во время одной ссоры Чирок таки броснл Гончарову в лнцо попрек иасчет поселенцев; бросил, да тут же и язык прикуснл. Гончаров живо сбил его с позиции.

— Чего бо́таешь? — закричал он раздраженно. — И ботаешь зря. Тут ведь много нашнх в тюрьме. Вон Петька меня хорошо знает, Ракитин в шестом номере знает, Васильев, Григорьев... Спроси, рты у них не замазаны. Эх, дурак, дурак! Поселенцев бить... Да что с его возьмешь, с такого, как ты? Стану я рукн марать. Дожнл до седых волос н лучше бы путн не нашел, как копейку добыть? Вон Петька знает, как я жнл. Другой барнн так не жнвет! Когда в кабаке целовальником[32] стоял, меня вся округа знала и все уважали. И всегда ко мне шли, потому я умел и знал, кого как прннять н угостнть. Фартовые людн тоже ко мне лнпли. Укрыться лн человеку нужно — опять ко мне. Спросн вот Петьку, он не даст солгать: трн раза он из Канской тюрьмы бегал, и кажный раз я же прятал!

— Да я что ж! — оправдывался Чнрок. — Я ведь то, что людн... Сказывают: много народу побнл...

— Много народу? Это что же? Они считаться хотят, кто больше побнл? И кто ме́не, тому медаль хотят выдать за честность алн прямо в ра́й отправнть? Вот что значнт — просветилнсь в Шелайской тюрьме. Честности стали набираться... Нет, бернте уж себе эту честность, так и так ее надо, а мы и без честностн век дожнвем. Мы в каторгу за то прншлн, что мошеннnками и подлецамн были; нам с вамн, значит, однех щей не хлебать! Народу, вншь, много побнл я? Завнсть нх взяла. Я разве таюсь? Я вот поляка одного убнл и под кочку в болоте закопал. Так двадцать лет прошло — никто не узнал. Один бог вндел. Потому обиды я не стерплю, за обнду всегда отомщу; разве жив не буду — забуду. Но за то я н добро век помню!

И, долго еще рассуждая, ходил Гончаров по камере, грузно поворачнвая свою огромную тушу, в которой было до семи пудов весу, н напоминая собой разъяренного медведя, ставшего на задние лапы... Он бывал страшен в мннуты гнева. Он сам рассказывал, как де-

сять лет назад во время шуточной борьбы с таким же, как сам, енисейским медведем — собственным зятем — с такой силой ударил его о землю, что у несчастного разлетелся на две части череп, за что Гончаров присужден был всего к семи месяцам высидки и церковному покаянию... Если подобные вещи делались в шутку, в трезвом состоянии, то чего же следовало ждать от вспышек бешенства или пьяного самозабвения?

Малахов не проронил ни слова во время стычки с Чирком, хотя мнения своего о Гончарове не переменил. Впоследствии я не раз слыхал и от многих других недоброжелателей Гончарова, что недобрая слава его десятки лет гремела в Енисейской губернии, пока наконец правительству удалось поймать и уличить опытного таежного волка. Спрашивал я о прошлом Гончарова и у земляков его, но даже болтливый и легкомысленный Ракитин отозвался уклончиво:

— Мало ли, Иван Николаич, о чем ботают зря... А настояще обсказать трудно.

Однажды, когда, к разговору, я спросил самого Гончарова о том случае, который привел его в каторгу, он стал клясться и божиться, что в этот раз попал ни за что.

— Вот что скажу я вам, Иван Николаич. Мошенничал я, можно сказать, всю жизнь, грабил и даже убивал — не таюсь. Ну, а на этот раз пришлось за чужой грех пострадать. Вот как перед истинным богом говорю вам! Целовальником я был. Раз вечером — в кабаке никого не было — заходит товарищ мой, Бируков. «Я, говорит, с Пахомовым в город еду. Пьян, как стелька, в телеге лежит и деньги при ём, хоть всего оберн». Посмеялись мы. Выпил он немного, вышел из кабака и дальше поехал. Я тоже спать ушел. А на другой день, слышу, нашли телегу и лошадь без хозяина, а в телеге Пахомов лежит убитый. Бируков как в воду канул. Начались розыски. И покажи тут одна женщина-соседка... Чтоб ей, стерве, в пятом колене анафемой быть! Покажи, будто видела, как Пахомов на этой самой телеге подъезжал к моему кабаку, долго у меня сидел, а потом будто мы вдвоем вышли и сели в телегу.

— Зачем же она показала то, чего не было?

— Вот поди спроси у подлюхи. Я так полагаю, что когда Бируков стал опять в телегу садиться, Пахо-

мов-то, хоть и сильно пьян был, приподнялся немного: она и techno прими его за меня. Потому росту он был почти такого же, и в плечах такой же широкий, и обличием сильно схож.

— А Бирукова так и не нашли?

— То-то что не нашли. Бежал, надо думать.

— Коли спустил в Енисей, так где уж тут найдешь! — заметил Малахов не то шутя, не то всерьез.

— Кто спустил?

— Да ты.

Гончаров ничего не ответил, только пыхнул своей трубкой и презрительно сплюнул на пол.

— Вот что мне и бедно-то, Иван Миколаич, — продолжал он после непродолжительного молчания, — что и досадно-то. Тридцать лет мошенничал и все с рук сходило, всегда правым оставался, а тут из-за какой-нибудь шкуры, из-за сволочи, прости господи, на пятнадцать лет пошел!

В другой раз, когда мы остались одни в камере, оба по болезни освобожденные от работ, старик снова заговорил со мною о своем деле; снова почти дословно рассказал то же, что и при всех рассказывал, и так же горько жаловался на несправедливость судьбы. Один только небольшой штрих прорвался в новом его рассказе — штрих, которого в тот раз не было и который заставил меня подозрительно настроиться.

— Заходит товарищ мой Бируков. «Я, говорит, с Пахомовым в город еду. Пьян как стелька, в телеге лежит, и деньги при ём. *Тысячи с две, пожалуй, есть. Что, говорит, делать?»* Я смеюсь. Выпил он немного, вышел из кабака и дальше поехал.

— А вы что же ему отвечали на вопрос, что делать?

— Да ровно ничего... Так, посмеялся только: «Оглоушь его, говорю, стяжком хорошенько, да и спусти в овраг». В шутку, вестимо, сказал. А оно с шутки-то и сталось.

Однако довольно о Гончарове. Много ли, мало ли перебил он на своем веку народа; виновен или чист был, как голубь, в том деле, за которое попал в каторгу, — крови, во всяком случае, было достаточно на его руках, и он сам не думал скрывать этого. Он был, конечно, зверь; но и зверь оставляет порой о себе добрую память! Такой именно добрый след оставил в моей душе и

этот зверь-человек. Если нам суждено когда-нибудь еще раз встретиться в жизни, я уверен, что мы встретимся по-приятельски... Одна чисто человеческая, и довольно редкая в арестантах, черта особенно привлекала меня в Гончарове — это отеческая нежность, с которою любил он маленьких детей. Любовь эта сквозила во всех его рассказах о них. Раз, когда я писал, по его просьбе, письмо к жене и внучке, которую он оставил на воле девочкой трех лет, и когда дошел до обычного в письмах простолюдинов выражения: «Любезной внучке моей Даше посылаю родительское благословение, навеки нерушимое», из-под этих свирепых бровей градом хлынули слезы... Любил также старик кормить под окнами тюрьмы голубей и других мелких пташек... О дальнейшей судьбе Гончарова скажу в своем месте.*

X. МОИ УЧЕНИКИ БУРЕНКОВЫ[33]

Ученики продолжали учиться. Буренкова и Пестрова иначе и не называли в камере, как учениками; впрочем, многие путали значение слов «ученик» и «учитель» и нередко меня самого звали «учеником»... Пестров как застыл на складах, так и не двигался дальше; а между тем каждую свободную минуту он посвящал ученью: сидел на своих нарах с листком написанной мной азбучки в руках и шептал над нею, точно колдун свои заклинания. Отдельные слоги он складывал довольно хорошо, но при соединении их в слова память каждый раз ему изменяла и выходило у него — черт знает что.

— С... е... се! н... о... но!

И Пестров задумывался.

— Что же вместе будет, Пестров?

---

* В настоящих очерках несоразмерно часто фигурируют уроженцы Сибири и Пермской губернии, и обстоятельство это может быть истолковано читателем не к выгоде этих последних. Сибиряки, или по крайней мере осужденные сибирским судом, действительно составляют огромный процент среди обитателей Нерчинской каторги, но объясняется это, я думаю, главным образом тем, что большая часть здоровых каторжан из российских губерний идет кругоморским трактом на Сахалин, в Сибирь же приходят почти исключительно слабосильные и малосрочные, причем последние очень скоро выпускаются в вольную команду. Нужно, впрочем, оставить кое-что и на долю безгласного сибирского суда. *(Прим. автора.)*

— Перо! — отвечал он после долгого размышления, приводя меня в отчаянне.

В однн прекрасный день Малахов, сняя н торжествуя, приинес-такн в рукавнце карандаш и какую-то старую, нстрепанную азбучку. Ннкнфор лнковал чуть ли ие больше его самого. Даже вялый н обескураженый своимн неуспехами Ромашка несколько оживнлся. Но тут же я подметнл н недоброю теиь, пробежавшую между ученикамн. Ннкнфор с жадностью схватил и караидаш н азбучку, счнтая их как бы своей иеотъемлемой собствеииостью.

— Ты ведь мие обещал, Парамон?.. Я заплачу.

Пестров молчал, но с очевидной завистью смотрел на Никнфора. Я заметнл последнему, что он должеи поделиться с товарнщем карандашом.

— Да ему зачем, Миколанч? Ои ведь складов ие зиает еще? Ои... А я пнсать учнться хочу.

— Вы тоже не бог зиает как складываете.

— А не ты же ль сам говорнл, что можно в одно время и чнтать и гуквы пнсать учнться? Гумагн не жаль.

— Во-первых, не *гуквы* и ие *гумага*, я уж говорил вам. А во-вторых, ие хорошо жадиичать. Азбучку н совсем можете Ромаиу отдать: вам оиа ие нужиа больше.

— А повторять-то? Без азбучкн забудешь... Как без азбучки учиться? Мы вместе с нм глядеть будем.

Впрочем, через иесколько же мниут порыв жадиостн сменился порывом великодушия, н я слышал, как Никнфор сам уговаривал Пестрова взять у него и часть караидаша и азбучку. Но тот чувствовал себя снльно обнженным и долго капрнзиичал:

— Не надо мие... Я брошу учнться... Памятн нет...

Так что вся камера прниялась наконец ругать его.

— Ишь ведь какой ты вредный человек, Пестров! Сколько зла в тебе сидит. Микишка — простецкий пареиь, у того все от сердца ндет, а ты — иет.

Пестров взял азбучку, но от карандаша отказался.

Между тем совершеино для всех иеожнданио объявился еще третий ученнк, такой, на кого и подумать бы ннкто не мог. Двоюродиый брат Никифора — Михайла, по фамилии тоже Буренков, в одии нз наших вечерннх уроков долго стоявшнй у стола, скрестнв иа грудн рукн, вдруг выпалнл:

— Туес ты простокишный, погляжу я, Микишка! Этаких пустяков в башку взять не можешь. Бросай учиться, не срамись и учителя не мучь по-пустому!

Никифор вскипел.

— Ты что за ученый выискался? Ты бы небось в башку лучше взял?

— Вестимо бы, лучше. Я и так лучше тебя склад знаю.

Меня заинтересовала эта похвальба, так как я знал, что Михайла безграмотный, и в шутку сказал ему:

— А ну-ка, прочтите вот это слово.

И, к великому моему изумлению, подумав немного, Михайла правильно произнес указанное слово, спутавшись немного лишь в окончании (слово было длинное). Никифор тоже был поражен. Придя несколько в себя, он хотел было уличить брата в ошибке, но сам сделал еще бо́льшую и окончательно взбесился. Я стал между тем экзаменовать Михайлу и узнал, что, прислушиваясь из своего угла к нашим урокам и искоса приглядываясь к буквам, он успел научиться гораздо большему, чем сами «ученики». После этого я начал уговаривать Михайлу приступить к правильным занятиям. Камера подняла его на смех. Всем казалось чрезвычайно удивительным и смешным, что сорокалетний человек хочет обучаться грамоте! Нужно сказать, что Михайла далеко не пользовался симпатиями арестантов, и я давно подмечал, что и с братом живет он неладно. Михайла был лет на пятнадцать старше Никифора и характер имел во всем ему противоположный. Как тот был говорлив и экспансивен, так этот молчалив, постоянно серьезен и скрытен. Никифор любил щеголять своим товариществом и верностью арестантским порядкам и обычаям; Михайла презирал общественное мнение, с которым сам не был согласен, и не боялся открыто высказывать взгляды на вещи, шедшие прямо вразрез с мнением камеры и даже всей тюрьмы. Гордости, «зла», как выражались арестанты, в нем была бездна... Он помнил малейшую когда-либо нанесенную ему обиду и никогда не прощал. Это был до мозга костей индивидуалист. Я уже рассказывал как-то, что в современных тюрьмах замечается быстрое и ничем неудержимое умирание старинных арестантских обычаев и понятий, с трудом

уживающихся с новыми порядками и условиями жизни Мертвого Дома; и тем не менее если не на деле, то на словах чувство арестантской чести и товарищества до сих пор еще живо и устойчиво. Так, например, свято чтится и сохраняется обычай помогать всеми возможными средствами посаженным в карцер товарищам, не справляясь о причинах ареста. Им арестанты отдают последний табачишко, последний кусок сахара, вырезают из обеденного мяса лучшие порции и пр. Само собой разумеется, что передавать все это приходится тайком от начальства, но в тюрьме всегда находится несколько рыцарей без страха и упрека, которые, рискуя собственной шкурой и свободой, пекутся о заключенных в «секретных», стоят на стреме и отыскивают ту или другую лазейку для сношений с ними. Вот насчет этой-то помощи сидящим в карцерах Михайла и высказывался не раз в самом враждебном смысле.

Однажды, когда ему показалась слишком малой порция мяса за обедом, он не преминул опять ополчиться против благотворителей. Тогда вся камера, как один человек, накинулась на него, ругая асмодеем, аспидом и припоминая такие случаи из прежнего его поведения, о которых он и сам позабыл уже. Но Михайла не струсил и продолжал отстаивать свой взгляд горячо и вместе методически-спокойно.

— Попался в карец — ну и сиди. Твое дело. Я попадусь — и мне не подавай. За что попадают в карец? За карты, за грубость, за леность — за что больше? Эко нашли страдальцев! В каторгу шли, не боялись, а тут заслабило? В каторгу пришли, а хотят жить как на воле, с надзирателями лаяться, в карты играть.

— Смотрите, братцы: честный меж нас выискался!.. Поп пришел. Зачем же ты сам мошенничал?

— Вестимо, мошенничал; разве я скрываюсь? Только я не плачу, как вы, что в тюрьме сижу.

— Да, ты честно ведешь себя. На работе небось не лодырничаешь? Да ты первый лодырь! Где только можно, ты везде норовишь увильнуть и на другого свалить. На поторжной работе * с тобой горе робить, потому ты для виду только тянешь веревку али что!

* Поторжной зовется артельная работа, в которой нет личных уроков. *(Прим. автора.)*

— А для чего я буду из жил тянуться? Я и вам лодырничать не запрещаю; только с умом делайте, понимайте, когда можно и когда не можно.

— Ах ты, лисица семейская! Смерть я не люблю, братцы, вот этаких химиков, тихонь, в которых зла столько заключается! — кричал Малахов. — Объели вишь его, в карцерах сидя... Оголодал!

— Да, и оголодал. Почему в последнее время порции меньше стали? Ведь я не слепой. Больно часто на карцера что-то ссылаться зачали... Так лучше уж совсем туда не давать. За что нам вольную команду кормить? Он там пьян напьется, набуянит, а я корми его? Он там водку тянет, а я последние крохи ему подавай? Нашел дурака!

— Да ты-то, брат, не дурак, никто этого не скажет.

Михайла рассуждал логически и, казалось, вполне правильно, а сердце все-таки почему-то не лежало к этой его безжалостно-логической последовательности, и нежной симпатии внушить он к себе не умел. Но меня привлекал он несомненной своей даровитостью и недюжинностью, независимостью характера, энергичного, гордого, оригинальностью всего своего духовного облика. Я сказал уже, что камера подняла на смех его желание учиться в сорок два года грамоте, но он и тут пренебрег общественным мнением и, отшучиваясь и отмалчиваясь от обидных уколов, в каких-нибудь три месяца, при самых неблагоприятных условиях для ученья, стал сносно читать, писать и усвоил четыре правила арифметики. А к концу этого срока начал учиться еще и церковнославянскому языку; он был, как и Никифор, семейский, только богомольнее его. Никифор курил табак, а Михайла считал его проклятым на семи соборах.

С двоюродным братом шла у него, по-видимому, старинная глухая вражда. По прибытии в Шелайскую тюрьму вражда эта на время прекратилась; под влиянием внешнего гнета сердце размягчилось, и Никифор просил даже Шестиглазого о помещении его в одной камере с братом: Михайлу тогда и перевели в наш номер. Но учебные занятия все перевернули вверх дном, и, как ни старался я внести в сердца соперников мир и согласие, как ни пускал в ход свой авторитет учителя, вражда снова всплыла наверх и достигла самых крупных размеров. Вражда эта была каплей горечи, отрав-

лявшей радость, которую во время успешных занятий испытывали и сами ученики, и я, и вся камера. Между Никифором и Михайлой пылали постоянная ревность и злоба. Недоброжелательство их друг к другу переносилось порой и на меня самого. Причиной этого прежде всего были условия тюремной жизни, при которых приходилось учиться. Свободным для ученья временем были только два-три часа от вечерней поверки до барабана, звавшего ко сну. За это время мне нужно было успеть и с учениками заняться, с каждым порознь (так как уровень их способностей и успехов был неодинаков), и самому хотелось иной раз о чем-нибудь подумать, кое-что припомнить из былых знаний. Поэтому те из учеников, с которыми мне случалось не заниматься несколько вечеров подряд, обязательно на меня дулись: каждому казалось, что другому я посвящаю больше времени и внимания, чем ему... Михайла был умнее и тактичнее других, но Никифор и Пестров часто вламывались в амбицию. От их подозрительности не ускользнуло то, что с Михайлой мне действительно было приятнее заниматься, чем с ними, и что я выказываю ему больше знаков расположения. В последнем я, точно, бывал виноват: восхитишься иногда быстрыми успехами любимого ученика, не удержишься и выскажешь громкую похвалу, а в сердца остальных она вопьется между тем, как отравленная стрела! Это были поистине взрослые дети, совершенные дети, в умах и душах которых, как на девственной почве, легко могло взойти и худое и доброе семя... К сожалению, условия наших занятий были так неблагоприятны, что хорошее семя трудно было взрастить. Сколько происходило глухой борьбы из-за азбучки, из-за Евангелия, из-за карандаша, доставать которые было так трудно! Карандаши при каждом тюремном обыске безжалостно отбирались, и их нужно было тщательно прятать. Шла также борьба из-за места за столом. Единственным освещением для камеры служила маленькая жестяная лампа, немилосердно коптившая и бросавшая вокруг себя довольно тусклый красноватый свет. Стол был огромный, но скамейки специально для него не было: днем придвигались к столу те скамьи, которые стояли под поднятыми нарами, но по вечерам, когда большинство арестантов тотчас же валилось на боковую, их нельзя было выдвигать,

и ученики могли пользоваться лишь тем местом в углу камеры, где скамейкой служили сами нары: его хватало лишь для двоих читающих или для одного пишущего. На этом месте, у стены, спал Михайла Буренков, и, пока он не учился грамоте, Никифор беспрепятственно мог им пользоваться; но когда и Михайла начал заниматься, он, по праву хозяина, завладел и местом у стола. О, сколько происходило тогда ссор и всяких историй из-за этого места, сколько ненависти волновало порой всю камеру, принимавшую живейшее участие в делах моей школы! Пестров вскоре совсем бросил ученье, и я больше не уговаривал его. Никифор же долгое время безмолвно дулся на меня и на брата. Он вставал по ночам, когда все уже спали и место было свободно, и один занимался письмом или чтением, чутко прислушиваясь к шагам надзирателя и при каждом его приближении ныряя в постель. Так просиживал он иногда до света, без малейшей пользы для успехов в ученье. Я долго не понимал, чего дуется Никифор, почему он бросил со мной заниматься, но однажды между ним и Михайлой произошло бурное объяснение, во время которого они вынесли наружу всю свою прошлую грязь, начиная с домашних дрязг на воле и кончая делом, за которое пошли в каторгу, и общей жизнью в Покровском руднике.

— Из-за тебя ведь попал я на каторгу, — с сердцем говорил Никифор, расхаживая большими шагами по камере. Большие голубые глаза его горели огнем, а в голосе слышались грусть и глубокое убеждение. — Из-за тебя... Ты старше был, ты больше понимал... Ты б остеречь меня должен, а ты заместо того вплотную меня затянул в мошенницкие дела.

Камера, обыкновенно державшая сторону Никифора, на этот раз стала смеяться над ним.

— Так ты, Никишка, тоже жалеешь, что в монахи не постригся?

— Он, ребята, честный был, — ядовито отвечал Михайла, — потому черт его чесал и чесалку об него сломал. Он что до тех пор делал, как я его смутил? У отца раз деньги слямзил, восемьдесят рублей, и с девками прогулял; к китайцам в магазин раз ночью забрался, тысячи на две товару тяпнул; случалось, и чаи в обозах срезал, не брезговал... Ну, да это все не в счет, он честный был...

— Не отопрусь я, ни от чего не отопрусь, — с той же грустью и серьезностью в голосе продолжал Никифор, — все это было. Только ум-то у меня еще не вовсе порченый был, на правильную дорогу я мог бы еще стать. В трезвом виде я боялся еще мошенничать... Разве забыл ты, зачем я дружить-то с тобой зачал, не посмотрел на то, что в семье у нас тебя не любили? Тебя никто ведь не любил, потому ты — гордец. Разве я подлецом тебя считал? Ты ведь каким химиком ко мне подъехал? Ты ведь за богомола, святошу слыл. Почему ж я и от товарищев прочих хотел отстать, к тебе приклониться? А ты куда меня приклонил?

— Так, так. Я же и виноват вышел. Память-то у тебя, жаль, коротка. Не был я — это точно — таким боталом пустым, как ты, не трезвонил на всех перекрестках о своих мошенничествах; ну, а все же ты врешь, врешь, Микишка, будто за святого меня почитал. Знал ты про мою жизнь, все доподлинно знал. А что прочих товарищев ты на меня променял, так причина тут другая была.

— Какая причина?

— Такая, что меня ты умнее других считал, надеялся, что со мной не так скоро в капкан попадешься.

— Да с тобой-то я скорей еще попался! Десять месяцев всего мошенничал я с тобой, да зато уж вплотиую — и в пьяном и в трезвом виде не бывал честным.

— Я виноват, ты во всем, брат, не виновен!

— Вестимо, ты больше виноват. Ты-то бежал ведь, когда застремили нас, а меня одного бросил кашу расхлебывать?

— А ты небось выгородил меня, всю вину на себя принял? Ты же меня опутал кругом, твои ж родные и арестовали меня.

— Стойте вы, черти! Расскажите толком, как все дело было, — остановил кто-то спорщиков, и один из них начал рассказывать, перебиваемый ежеминутно поправками и ядовитыми укусами другого. В коротких чертах я узнал следующее. Раз ночью, отрезав в обозе на большой дороге два места чаю и взвалив на стоявшую поблизости телегу, Бурениковы помчались по направлению к Троицкосавску. Хозяева обоза гнались за ними, но догнать не могли. На рассвете уже похитители прибыли на постоялый двор к знакомому «фартовцу». Между тем

преследователи дали знать полиции, и последняя прежде всего нагрянула на этот постоялый двор, давно уже пользовавшийся темной репутацией. Увидав полицейских, Буренковы кинулись к своей телеге, растворили ворота и стали выезжать вон. Полицейские пытались этому воспротивиться, но были отброшены прочь; несколько сделанных в упор выстрелов из револьвера также не устрашили кяхтинских удальцов; выехав со двора, они что было мочи погнали лошадей вон из города... Пока снаряжалась конная погоня за ними, они были уже далеко и скрылись бы скоро в лесу — если бы дорога не пошла в гору по сыпучему песку. Изморившиеся кони стали. Полиция приблизилась и опять стала стрелять. Осторожный Михайла, сообразив, что спасти похищенный чай невозможно, бросил телегу на произвол судьбы и скрылся в кустах; но разгорячившийся Никифор во что бы то ни стало хотел догнать лошадей до лесу. Чтоб остановить преследование, он сделал даже один выстрел из имевшегося у него дробовика... Полиция действительно остановилась, но часть ее, спешившись, пошла обходом в лес. Только заметив это движение (и то уже поздно), Никифор подумал о спасении. Но едва успел он добраться до опушки леса и забросить в густую траву дробовик, как был окружен со всех сторон и схвачен. На счастье его, полицейские позабыли в суматохе о дробовике и когда потом вспомнили, то следователь уже не принял к сведению их запоздалого и голословного обвинения. Не брось Никифор ружья, он пошел бы, конечно, вместо четырех на двадцать лет каторги... Михайла между тем бежал и скрывался целых восемь месяцев: Никифор в своих показаниях все сваливал на него. От этого он не отпирался и сам.

— Я думал, тебя никогда не поймают, — наивно оправдывался он. Зато всеми силами открещивался он от другого обвинения Михайлы, будто бы он уговаривал своих родных отыскать его и арестовать. По словам Никифора, родня его по собственному почину заманила Михайлу к себе в гости и предала в руки полиции. Михайла был страшно озлоблен этим предательством и сам сознавался, что в отместку, в свою очередь, свалил все на Никифора и, кроме того, замешал в дело кучу его родственников...

— Пущай, думаю, черти, посидят в тюрьме, отведают казенного хлебача!

В конце концов оба Буренковы приговорены были к четырем годам каторги и попали сначала в Покровский, а затем в Шелайский рудник. В дороге они примирились, да и в Покровском жили без особенных ссор; но теперь я имел несчастье стать невольной причиной новых раздоров между ними. Вся грязь прошлых отношений и поступков выволакивалась на свет и отдавалась на всеобщее обсуждение и посмеяние. Камера, как я говорил уже, держала большею частью сторону Никифора, но обоим хотелось, видимо, знать мое мнение, заручиться моим сочувствием. Положение мое было крайне щекотливое, и я старался по возможности прекратить разговоры о прошлом.

— Я парень простой, — говорил о себе Никифор, — у меня все от сердца, а не от ума идет... А ты хитрый, двуликий!

— Не хитрый я, а с башкой, — возражал Михайла, стараясь казаться спокойным, хотя так же был красен, как и Никифор. — Любишь ты хвалить себя, Микишка: простой, мол, ты да бесхитрошный... А что в этой твоей простоте, когда товарищу от нее тошнее подчас, чем от хитрости бывает?

— Это как так?

— А так. Я хитрый, да я твоей доли никогда не заедал, а из-за твоей хваленой простоты мне дорóгой голодом приходилось сидеть. «Общее, говорит, все у нас будет, Михайла! Как братья родные жить станем, всем делиться друг с дружкой». Я отвечаю: «Ладно, попробуем...» Мешаю в одну кучу и деньги и все. А он в карты играть? Еще кабы с умом в башке, а то сам же сейчас говорил, что ума-то у него нет... А туда же стос заложить нужно! Ну и проиграется в пух и прах, свое и мое спустит, — и идем оба несколько дней голодом.

— Да часто ль было-то это? Бесстыжие твои шары! Раза два за всю дорогу.

— А все ж было.

— Ну да и ты уж тоже, Михайла, — вмешивался вдруг Парамон Малахов, — и ты хорош. Что ты на Покровском проделывал?

— Что?

— Да уж знаю я что... Видал. Ты-то, может, думал, никто не видит, а люди-то видели. Накупит, бывало, пирогов крадучись от Микишки, и уплетает за обе щеки один, ходя по-за тюрьмой, озирается как волк!

— А что же — с им, скажешь, делиться было? Он в карты играть, а я кормить его!

— Ну, и сказал бы так в глаза ему! А то прятаться... Ох вы, богомолы-фарисеи, праведники! Высокоумные!

И Парамон, плюнув с сердцем, ложится на нары и замолкает. Спорщики тоже, наконец, умолкают, хотя долго еще волнуясь ходят, как звери, взад и вперед по камере — один в одну, другой в другую сторону.

Привязавшись к ученикам и одного полюбив за ребячески-незлобивый нрав, а другого за способности и твердость характера, я во что бы ни стало стремился примирить их. Михайлу мне действительно удалось склонить к миру, польстив его умственному превосходству, и он согласился уступить Никифору свое место за столом для вечерних занятий, но Никифор капризничал, как малое дитя, и не хотел возобновлять занятий. Однажды мне пришлось даже выслушать от него кучу самых оскорбительных вещей.

— За что вы сердитесь на меня, Никифор? — спрашивал я. — Разве я сделал вам какое зло?

— Кто мне какое зло может сделать, — отвечал он, не глядя мне в глаза, — все мы тут равны. Все мошенники, каторжные, по одному делу...

— Как так по одному? За разные ведь дела приходят в каторгу...

— А я почем знаю, что и ты не был таким же мошенником, как я, не украл аль не убил кого? Все же и тебе кто-нибудь помогу давал?

И при этом Никифор взглянул на меня такими наглыми и злыми глазами, что я поневоле замолчал и отошел прочь. Но другие арестанты возмутились за меня против Никифора.

— Вот стоит их, этаких чертей, учить, мучиться из-за их, — закричал Чирок, искренно негодуя, — благодарность от их получишь, жди!

— Ах, дурак ты, дурак, Микишка! — переконфуженный, качал головой Гончаров. — Тебе самому ведь завтра стыдно будет того, что язык твой дурной сболтал.

— Какое это ученье? — негодовал по-своему и Парамон. — Чтоб учитель да упрашивал ученика учиться? Да где это видано? В наши годы палкой хорошей по спине отвозить — вот и ученым бы стал!

Михайло также чувствовал себя пристыженным за брата, и, расхаживая по камере, говорил:

— Туес ты колыванский... С твоими ль простокишными мозгами в науку лезть!

Никифор молча сидел за Евангелием. Я лег спать и, хотя мне долго не спалось, сделал вид, что тотчас же уснул. Когда вся камера давно уже храпела, я видел, как Никифор несколько раз подходил к моему месту и долго в меня всматривался, но я не открыл глаз. На следующий день он в руднике просил у меня прощения, с чрезвычайной наивностью умоляя несколько раз ударить его по щеке. Предложения этого я, конечно, не принял, но помириться охотно согласился, так как, в сущности, и не сердился нисколько. В тот же вечер наши учебные занятия возобновились. Никифор был весел, оживлен и отличался необычной понятливостью. Михайлу он также старался замаслить, как провинившийся в чем-нибудь мальчик замасливает отца. Михайла вел себя сдержанно и солидно. Камера тоже не помнила вчерашнего.

Никифор употреблял все усилия нагнать брата в писанье, но это никак ему не удавалось. Его порывистые, грубые руки ломали карандаши, прорывали бумагу, прыгали и выводили такие никому неведомые фигуры, что учитель чистописания пришел бы в ужас. А между тем научиться письму было всегда заветнейшею мечтою всех шелайских учеников: в уменье писать простолюдин видит квинтэссенцию всякого знания, идеал учености. Боже, с какою страстью и прилежанием марали они по целым дням и вечерам бумагу, едва только научившись выводить с грехом пополам буквы! Уловив иногда ядовитую, как ему казалось, усмешку на губах Михайлы, Никифор вспыхивал, бросал бумагу и карандаш и начинал жаловаться.

— Какое тут может быть ученье в тюрьме? И какой тут может быть смех? Тебе хорошо молотобойцем быть, мех раздувать, на скамеечке сидя, а попробовал бы, как я, десять верхов в день выбурить! Небось тоже запрыгала бы рука-то!

— А я разве не буривал? — возражал Михайла. — Давно ль я-то перестал бурить? Нет, уж лучше на туес свой, на башку пустую жалуйся.

— Брошу же я писать! — решал тогда Никифор. — Должно быть, и в самом деле дару на писанье нет. Займусь лучше читать хорошенько.

И, переходя внезапно к полному отчаянию, вскрикивал:

— Да на что нам, мошенникам, и вся эта грамота? На что?

— Давно б так! — насмешливо поддакивал Чирок, сосавший на своем месте цигарку.

— Миколаич! На что нам грамота? На что?

Я старался, отвечая на этот вопрос, выяснить пользу грамотности, говоря, что она делает человека умным, а следовательно, и честным; но, утверждая это, я и сам порой сомневался, на что она им, арестантам, вся эта грамота? Сколько раз я имел впоследствии случай убедиться, что многие из лучших моих учеников, научившихся и читать и писать порядочно, по выходе в вольную команду очень скоро забывали и то и другое, и горькая досада шевелилась тогда в душе, досада на то, что столько потрачено даром труда и времени. Не раз мне приходилось также слышать от самих арестантов, что грамотность даже вредна им, что мошенник сумеет с нею быть еще большим мошенником, а честный человек благодаря ей развратится, начав мечтать о легком труде писаря и получив отвращение к физическому труду. Я хорошо понимал, конечно, всю поверхностность и зловредность таких обобщений на основании отдельных, исключительных фактов, но, признаюсь, нередко овладевали мною сомнения всякого рода, и тогда я подолгу забрасывал свою школу. Надоедало бороться также с препятствиями, которые ставило на каждом шагу начальство нашим занятиям: оно то смотрело сквозь пальцы на существование в тюрьме карандашей и писаных тетрадок, то вдруг все отбирало и опять подвергало строжайшему запрету. Но проходило некоторое время, и я с любовью возвращался к своей «педагогической» деятельности. Среди всяких терний и шипов, которыми она была усеяна, среди всякого рода горечи и отравы, которую она проливала порой в душу, было в ней все-таки что-то доброе, светлое, теплое, что озаряло

и согревало не только меня и моих учеников, но, казалось, и всю камеру. Арестанты как-то невольно приучались с уважением относиться к бумаге и книжке; мысли их настраивались на высший тон и лад. В других номерах с завистью посматривали на Буренковых, слыша преувеличенные рассказы об их успехах и о моих учительских способностях, и множество людей мечтало перейти в нашу камеру и также стать «учениками». *

Не могу забыть того дня, когда Буренковы решились в первый раз послать своим женам собственноручно написанные письма и стали готовиться к этому торжеству. Немало черняков было сочинено и переписано, прежде чем я выразил наконец свое одобрение. Письмо Никифора было, правда, сочинено целиком мною, потому что из его бессвязных черняков с сотнями невозможных ошибок и недописок удалось сохранить весьма немногое, и с его стороны было только приятным самообольщением считать это письмо своим произведением. Зато письмо Михайлы было действительно собственным его детищем, и написано оно было настолько толково и складно, что я не мог удержаться от выражения самого искреннего восхищения. Один только недостаток я нашел в нем: обращение к жене показалось мне чересчур сухим и холодным... Нужно сказать, что в августе этого же года (письма писались в январе) обоим Буренковым кончался срок каторги и они должны были идти на поселение, но куда — неизвестно: уроженцев Забайкальской области отправляли и на Сахалин, и в Якутскую область, и оставляли здесь же, в Забайкалье. Последнее, конечно, было мечтою Буренковых; Сахалина же оба страшно боялись... Но следовало, разумеется, готовиться к худшему, следовало заранее выяснить, что́ намерены предпринять

* Что касается способностей арестантов к усвоению грамоты, то читатели не должны думать на основании приведенных в настоящих очерках чисто случайных примеров, что в большинстве случаев она дается им туго. В моем личном опыте способные ученики относились к тупым, вероятно, как половина к половине. Принимая в расчет возраст арестантов, несомненно отличающийся и меньшей восприимчивостью и более слабой памятью, чем школьный, детский возраст, я даже думаю, что арестанты скорее должны поражать нас своими способностями. Не говорю уже о прямо изумительных в подобной среде и в такие годы охоте к ученью и прилежании. *(Прим. автора.)*

жены, всюду ли готовы они последовать за мужьями. От письма Никифора к жене, сочиненного с моей помощью, веяло волнением и жаром; но письмо Михайлы, как я сказал уже, дышало холодом: это было простое извещение жены о предстоящей перемене в его судьбе, даже без вопроса о том, как она, с своей стороны, думает устроиться.

— Напишите хоть чуточку потеплее, — посоветовал я Михайле и предложил, между прочим, к слову «жена» прибавить эпитет вроде «дорогая» или «милая». Михайла засмеялся:

— Так не годится.

— Почему?

— Жену нейдет так величать: «Дорогая» — что это такое? Лошадь может быть дорогая, изба... «Милая» — это тоже у нас не водится; «любезная» — еще туда-сюда.

— Ну так прибавьте, что скучаете по ней, ждете поры, когда опять свидетесь и станете жить вместе.

— Нет, и этого не нужно, — отвечал Михайла серьезно, и на другой день я заметил в его черновой только одну короткую вставку: «Теперь, жена, молись богу».

Я считал неловким (по своим понятиям) расспрашивать самого Михайлу об его отношениях с женою; но Никифор вскоре разболтал мне, в чем дело. Михайла, отправляясь в каторгу, хотел, чтобы жена с семьей последовала за ним; но она не проявила особенного желания сделать это, выставляя на вид, что срок небольшой и не стоит-де ей подыматься с маленькими детьми на новую, быть может, очень тяжелую жизнь для того только, чтобы вскоре переменить ее опять на другую. Жена Никифора, напротив, рвалась ехать за мужем, но он сам уговорил ее отложить приезд до поселения.

С боязнью и тревогой вступили мы все трое в ближайший воскресный день в дежурную комнату, где нужно было писать письма. Писать чернилами совсем не то, что писать карандашом, и я сильно опасался за своих учеников. Недаром пророчил Парамон, кладя свою голову на отсеченье, что, сроду не держав пера в руках, они осрамятся, и советовал поэтому украсть чернила у надзирателя и сделать несколько предварительных опытов. Последняя идея ужасно нравилась скоропалительному, всегда восторженному Никифору, и мне стоило большого труда удержать его от приведения ее

в исполнение. С первой же строки письма Никифор иасадил таких клякс и изобразил такие египетские иероглифы, что пришел в отчаяиие, и я должеи был переписать за иего чериовую; ои только подписался. Фамилию свою он выводил добрых десять минут (причем также украсил ее двумя кляксами, размазаииыми языком), и разобрать ее все-таки стоило немалого труда. Окоичив и положив перо, ои буквально обливался потом.

— Десять верхов легче выбурить, — заявил ои, глубоко вздохиув. Несмотря на иеудачу, он все-таки глядел победителем и весь сиял. Зато Михайла, просидев почти весь день в дежурной комнате, сам написал все письмо. Я следил за каждым движением его руки и подавал советы. Сначала буквы прыгали у него по бумаге, как пьяные, но потом сделались тверже и увереннее. Вериувшись в камеру, он с торжеством потребовал головы Парамона.

— Только, так уж и быть, — смягчился он, — дарю иазад, потому большая она, да дуриая!

После того Михайла сочинил и иаписал еще иесколько писем домой; Никифор же вскоре совсем бросил писанье, отчаявшись когда-нибудь иаучиться столь мудреному искусству.

XI. СЕМЕНОВ

Учебные заиятия послужили, между прочим, поводом к одиой тяжелой сцене, оставившей после себя самые мрачные воспоминания, ио зато ближе познакомившей меня с внутренним миром человека, личность которого уже давно возбуждала во мне живейшее любопытство. Я говорю о Семеиове, одиом из самых иеразговорчивых и угрюмых обитателей иашей камеры. Ои никогда почти ие вмешивался в общие разговоры, изредка только вставляя какое-иибудь едкое замечаиие, где обиаруживался его озлоблеииый ум и презреиие ко всему обыдеииому, пресиому, ко всякого рода трусости, лицемерию, «хвостобойству», ко всякой честиой посредствеииости. Со миой устаиовились у него добрые отиошения, но ие короткие, ие такие, которые допускали бы с моей стороиы возможность расспросов об его прошлой жизни. Мие было известио только, что у Семенова бешеиый нрав и что в пьяном виде он бывает положительно опа-

сен, хватается за нож и кидается на первого, чье лицо ему не понравится. В Покровском, где арестанты без труда могли доставать водку, Семенова старались в таких случаях тотчас же связать, и приятель его Гончаров, терявший тогда всякую власть над ним, первый заготовлял веревку или полотенце.

Однажды перед утренней поверкой, проснувшись, я услышал перебранку между Никифором и Гандориным.

— Ты куда, старый черт, дел мою тетрадку? — сердито допрашивал Никифор.

— Никуды я ее не девал, кетрадки твоей, — дребезжал Гандорин, — вы же, ученики, куда-нибудь засунули. Да вон, так и есть! Вон она у Семенова в Евандельи лежит.

— Ну, брат Петька, и тебя уж в ученики записали! — пошутил Гончаров.

Семенов нервно подошел к полке, вырвал из рук Никифора свое Евангелие, швырнул на стол его тетрадку и закричал:

— Не смейте в мою книгу класть! Чтоб не было этого больше! Уче-ники!.. Чтоб вас стягом хорошим учило... В попы норовят!

— Да чего ты, брат, куражишься? Чего лаешься? — ощетинился Никифор, придя в себя от неожиданности. — Сам ты разве не учился?

— Я когда учился-то? В тюрьме я разве учился? — еще возвышая голос, заговорил Семенов, и ноздри его раздулись и гневно задрожали.

— Ты и теперь учишься, — смело продолжал Никифор, — тоже все равно ученик.

— Я ученик?! — не спросил, а прорычал Семенов, точно получив кровное оскорбление.

— Вестимо. Тоже читаешь постоянно Евандельe, тоже в попы метишь...

(Я должен пояснить здесь, что Евангелие это, за чтением которого я действительно не раз видал Семенова, было, по словам Гончарова, материнским благословением.)

Едва успел Никифор произнести последнее слово, как послышался треск разрываемой бумаги, и листы священной книги, как пух, полетели по всей камере. Тарбаган, Чирок и Железный Кот, видя такую богатую добычу для цигарок, кинулись со всех ног ловить

и подбирать их. Между тем Семенов, весь дрожа с головы до ног, бледный, судорожно сжимая кулаки, гремел на всю камеру:

— Вот как я читаю!.. Как в попы мечу!.. Вот как я попов ваших всех (дальше циничное слово, звучащее в устах Семенова, как удар ножом)... И писание ваше священное, и закон, и веру!

Даже искушенным в ругани обитателям каторги жутко стало от страшных богохулений; в камере все проснулись давно, но было тихо, как в гробу.

— Петя, Петя! — умоляющим голосом шептал Гончаров. — Надзиратель услышит...

— А мне что надзиратель? — продолжал греметь Семенов. — Когда я таился от надзирателей? Не сидел я два года в секретной в кандалах и наручнях? Я Шестиглазого испугаюсь? Да я всех их...

И опять ужасное ругательство, заставившее меня вздрогнуть.

К счастью Семенова, надзирателя не было в коридоре, и все прошло благополучно. Семенова удалось наконец успокоить. О Евангелии никогда с тех пор и помину не было, и мне осталось неизвестным, раскаялся ли он когда-нибудь в том, что надругался над материнским благословением. К старухе матери он, без сомнения, был сильно привязан. Он посылал ей весьма аккуратно письма, причем никогда не просил в них денег, подобно большинству арестантов, а, напротив, — сделал однажды выговор за присланные два рубля. Замечательно также, что после каждого из трех своих тюремных побегов он прежде всего шел навестить мать, страшно рискуя попасть из-за этого в руки властей и глубоко ненавидевших его односельчан.

В тот же день, как случилась история с Евангелием, я имел с Гончаровым разговор в руднике об его приятеле и узнал много любопытного. Старик благоговел перед Семеновым и, передавая даже самые несимпатичные, на мой взгляд, факты и черты, как бы не замечал их. Он все, решительно все находил в своем «Петьке» прекрасным и достойным удивления.

— Я ведь вот этаким махоньким еще знал его, на коленках держал... И отца знал, и мать, и брата. Они расейские. Отец за убийство на поселение в нашу губернию пришел. Горький пьяница был. И такой варвар:

жену и ребятишек, помни, так стязал, так стязал, что инда вчуже глядеть было жалко. Они все и спасенья только имели, что в моем доме. А потом отец помер — опять же я пригляд за детьми имел. Ну, только тут они разбаловались. Стали пьянствовать, буянить, с двенадцати лет с тюрьмой ознакомились. А тюрьма, вестимо, уж до добра не доведет; тюрьма святого — и того с пути праведного собьет. Старшему Степше восемнадцать было лет, как угодил в каторгу на четыре года. С дороги бежал, и прямо к Петьке. Тут они такую кашу заварили у нас в волости, что вся округа поднялась. Облаву устроили и поймали сонных в лесу. Связали по рукам, по ногам и зачали поливать! Так употчевали, что Петька после того три недели при смерти был. Дело его, однако, втáпоры без последствий осталось. Степше только десять лет каторги за побег набивали. Он с дороги-то еще раз бежал, часового убил. Опять поймали и на вечное уж в Тобольский централ законопатили. Он и теперь там. А Петька еще года два крутился на воле. Шайку устроил... Все таких лихих робят подобрал себе, что и по сей бы день не поймали их, кабы не водка... Она-то и погубила его. У Петьки уж такой нрав дурной: выпить четыре бутылки может, все на ногах держится; ну, а уж как разберет его, тогда всякий рассудок теряет. Среди бела дня в городе идет лавку ломать. Ну и попался, конечно. В Канской тюрьме он шесть лет просидел, никак дело его вырешиться не могло: только-только надумают решить, а он, глядь, и сорвался! В секретной в кандалах и наручнях держали — и оттуда убегать ухитрялся: то решетку распилит, то стену разломает, то подкоп сделает. Прыг прямо на часового: «Семенов я, туды-сюды тебя!» Тот с одного этого слова и ружье бросит и наубёг. А Петька ко мне сейчас. Я уж знаю, где спрятать. Только и тут водка его кажный раз губила. Через два-три дня напьется, и, ничего не одумавши путно, на кражу идет. А его между тем ищут, облава кругом... Поймают опять, изобьют до полусмерти — и в зáмок. В зáмке его все боялись. Смотритель перед ним на цыпочках ходил, книжки присылал ему читать. Вот, как Еванделье сегодня, так он в глаза все начальство, бывало, ругал. Кабы вы статейные его видели, Иван Миколаич, так диву б просто дались, сколько делов там записано, из чего двенадцать лет его каторги составн-

лись, побеги, покушения на грабеж, сопротивления властям, тюремные буйства, скандалы всякого рода... Зато и избили ж его, как последний раз брали... Так избили, живого места не оставили, все суставы повывернули! Вы не глядите, что он такой здоровый и бравый с виду, да все молчит, да никогда ни на что не пожалуется. Я — старик, а я, пожалуй, еще здоровше его, потому я не битый... А его — чуть мало-мало погода — его, уж я знаю, и ломает всего. И помни: так боятся его по сей день урииские мужики (он из Ури ведь, Петька-то), так боятся... Каждое лето ждут, что воротится! Да он и то все одну думку в голове держит. Он ужо покажет им, старичкам благословлённым, он благословит их!

И Гончаров прибавил шепотом:

— Жаль, тюрьма здесь не такая, сорваться трудно... Петьку-то, положим, и она бы не испугала; и шелайские б стены не удержали его, да я все отговариваю: «Подожди, говорю, Петька, тебе вольная команда скоро. Год-то один протерпеть можно». Одного я боюсь, Иван Николаич: характера его боюсь. Кабы не сегодняшнее утро, вы б, пожалуй, его самым тихим арестантом считали, а кабы знали вы, чего ему стоит эта смиренность! Гавканье надзирателей слушать, всему покоряться, все это видеть — и молчать! А с своего-то брата иной раз еще скорее стошнит. В другом бы месте он давно уж одного, а не то и двоих пришил. А здесь терпеть надо, потому недолго и скидок и вольной команды решиться...

Действительно, начав с этих пор присматриваться к Семенову, я заметил, что ему страшных усилий воли стоило сдерживать порывы своей дикой натуры. Однажды захворал у нас парашник Тарбаган, и один из самых ненавистных арестантам надзирателей, не долго думая, крикнул Семенову:

— Ты будешь сегодня парашником!

Обыкновенно должность эту исполняют в тюрьмах добровольцы, чувствующие склонность к подобного рода занятиям или находящие в них какую-либо выгоду; иваны́ же, к числу которых, несомненно, принадлежал и Семенов, считают для себя зазорным идти в парашники. Я видел, как Семенов вдруг побледнел и судорожно стиснул кулаки. Но он и тут сдержался и промолчал. С парашками дело обошлось как-то и без него.

Вскоре после того мне случилось около двух недель кряду работать с Семеновым в штольне. Штольня представляла узкий каменный коридор, в котором могли бурить не больше как два человека. Эта физическая близость и ежедневное пребывание вдвоем под землею в течение многих часов, естественно, вызвали и некоторое духовное сближение между нами. Семенов стал, незаметно для самого себя, разговорчивее и откровеннее, и сам рассказал мне многое из того, что я уже знал от Гончарова. Оказалось, к большому моему удивлению, что он знаком был со многими из классических произведений русской и даже иностранной беллетристики: читал Гоголя, Пушкина, Некрасова, «Девяносто третий год» Виктора Гюго и отлично помнил содержание читанного; но, конечно, еще больше читал он разной бульварной дребедени, всяческих изделий французских борзописцев в русском переводе, и багаж его литературных знаний состоял из невозможнейших романических приключений, любовных и кровавых историй, которым он слепо верил и которые, без сомнения, оказали некоторое влияние на его умственный склад и облик. Облик этот был дик, страшен и поразил меня своей бессердечной эгоистичностью и какой-то убежденной, если можно так выразиться, развращенностью. Сбить Семенова с позиции в спорах было невозможно, так как ничего, кроме грубой, материалистически последовательной логики, он не признавал. Одна красная полоса проходила через все его чувства, думы и вожделения: непримиримая ненависть ко всем существующим традициям и порядкам, начиная с экономических и кончая религиозно-нравственными, ко всему, что клало хоть малейшую узду на его непокорную волю и неудержимую жажду наслаждений... «Наплюй на закон, на веру, на мнение общества, режь, грабь и живи вовсю» — таков был девиз этого Стеньки Разина наших времен...

Сначала это мировоззрение изумило меня, и долгое время я старался отыскать его корни в какой-нибудь прочитанной и ложно понятой книжке; но в конце концов принужден был убедиться, что сама жизнь создает Семеновых, наполняя их душу одной безграничной злобой и лишая всяких руководящих принципов и идеалов.

— Если все станут рассуждать так же, как вы, — говорил я Семенову, — то что же выйдет? Жизнь

станет сплошным убийством и насилием, люди станут еще несчастнее, чем до сих пор были.

— А мне какое дело, — отвечал он, — зачем я об других стану заботиться, когда обо мне никто не заботился, меня никто никогда не жалел? Они соблюдают законы, наказывают голодного, который кусок хлеба украдет, а сами тысячи воруют и святыми слывут! Долговолосые о боге нам говорят, а сами бога-то... Нет, пускай уж это честные делают, а я на честность плевать хочу!

— Но ведь не всё же вы одних виновных и подлых убиваете? Вы ищите только, чтоб деньги были. А он... может быть, трудами рук своих, в поте лица нажил деньги? Чем он виноват?

— Нет, уж коли богатым стал, значит — таким же змеем, как все, стал. А коли и нет, так бог на том свете его наградит, попы ладаном обкурят, святым сделают!

— А совесть, Семенов? — робко спросил я, не решаясь уже говорить о боге, в которого он, очевидно, не верил. — Чем вы объясняете, что у каждого человека, даже у самого злого, испорченного, на дне души все-таки есть стыд? Если ничего святого нет на свете, если человек есть тоже животное и душа его такой же пар, как вы говорите, тогда откуда же этот стыд берется? Припомните: случалось вам когда-нибудь несправедливо обидеть человека, который вам делал только добро? После этого вам ведь неприятно бывало? Это же что такое? Как вы объясните?

Семенов ничего не успел ответить, так как в эту минуту нам помешали; но мне показалось, что не поэтому только он не ответил, а вообще был застигнут моим вопросом врасплох. Семенов задумался — этого, размышлял я, вполне достаточно для первого раза; остальное сделают время и дальнейшие беседы со мной. Однако торжество мое продолжалось недолго и оказалось преждевременным. Не позже, как дня через три, он подошел ко мне во дворе тюрьмы и сказал:

— А знаете, что я хочу сказать вам, Иван Николаевич? Это насчет совести-то, о которой вы мне говорили. Я вспомнил, что она ведь и у собаки тоже есть.

— Как так у собаки?

— Да так. — И он рассказал мне один случай, говоривший, по-видимому, за то, что и собака может стыдиться своего дурного поступка.

— Сначала я приучил ее бояться меня, а потом она и стыдиться начала. То же, думаю, и с человеком. Ребятишки тоже ведь никакого стыда не имеют, а розги одной боятся, ну, а как вырастут...

Я пожал плечами и отошел прочь. В другой раз я задал ему такой вопрос:

— Но чего же впереди вам ждать, Семенов? Ведь это ужас, ужас один — ваша жизнь! Вам еще и тридцати нет, а вы почти уже восемь лет, с маленькими перерывами, в тюрьме сидите. Да и раньше, с двенадцати лет, были знакомы с нею... Брат ваш тоже вечный тюремный житель... А те немногие годы, которые провели вы на воле, какую радость и они вам дали? Пьяный разгул — неужели он так дорого стоит, оплачивает такие страшные муки? Ведь вот вы, наверное, опять убежите — не из тюрьмы, так из вольной команды... Ну, и вас опять, конечно, поймают, еще прибавят десять лет каторги... Нет, Семенов, право, это ужасно... Не лучше ли было бы... честно жить? Хоть вы и ненавидите честность, но простой ведь расчет заставляет предпочитать ее.

— Это землю то есть пахать? Зернышко в землю положить, полтора вынуть? Нет, уж спасибо. Пускай честные этим занимаются!

— Значит, тюрьма лучше?

— Да, лучше. А сорвусь — ну, тогда... хоть час, да мой!..

«Хоть час, да мой» — такова квинтэссенция всех житейских идеалов таких людей, как Семенов. Но, кроме того, у него была еще одна «думка», по выражению Гончарова: думка — отомстить односельчанам, избившим его во время последнего ареста. Каждый раз, как он заговаривал об этом предмете, глаза его загорались мрачным огнем, кулаки гневно сжимались, он скрипел зубами и рычал, как зверь, у которого отняли лакомую добычу, но который все же не теряет надежды снова забрать ее в свои лапы. Гончаров знал эту думку своего ученика и друга, всей душой сочувствовал ей и, как кот, у которого чешут за ухом, сладострастно зажмуривал глаза в эти минуты мстительных вожделений. Он, как родное детище, лелеял мечту о побеге Семенова с каторги. Возможно, что у него были свои счеты с уринскими мужиками и что сочувствие его было не чисто платониче-

ское... У Семенова эта мечта была не пустой лишь мечтою, не пленной мысли раздраженьем: я не сомневаюсь, что она сидела у него в крови и была одним из главных демонов, владевших его душою... Другое дело — прочие арестанты. Если верить их словам, то месть является почти у каждого из них главным стимулом, подстрекающим к дальнейшему существованию и заставляющим мечтать о воле и побеге. «Отомщу, а там хоть и подохну — не беда!» — говорили мне десятки подобных мечтателей. О мести мечтал Гончаров, о мести говорили Ракитин, Чирок, Ногайцев, Малахов и все разновидное и разноликое множество тюремных обитателей, с которым мне удалось познакомиться. Даже какой-нибудь Яшка Тарбаган, эта тюремная «трава» без названия, самый последний человек в артели, и тот, наслушавшись мстительных речей Семенова или другого такого же поводыря, говорил иногда с комической важностью:

— Я тоже, коли бог даст, отбуду срок и побываю в своем месте, тоже найду кой-кому за добро заплатить.

Принимая за чистую монету всю эту кошмарно-кровавую атмосферу злобы и мести, которою дышала почти поголовно вся арестантская масса, можно было бы ужаснуться за русский народ, столько прославленный своей кротостью и христианским всепрощением и, однако, порождающий из своих недр подобных чудовищ зла и ненависти! К счастью, я думаю, не каждому слову арестантов следует придавать серьезность и значение.

Тем не менее я часто задавался вопросом о том, что должно делать общество с такими несомненно вредными членами, как Семенов? Конечно, прежде всего оно должно бы не производить и не создавать таких членов... Но, раз они уже есть, что с ними делать? Имей я власть, что я сделал бы с ними? Признаюсь, я и до сих пор затрудняюсь категорически ответить на этот страшный вопрос... Казнить и бичевать их теми бессердечными скорпионами, какими являются современные тюрьмы и каторга, я, конечно, не стал бы; но решился ли бы я, с другой стороны, отпустить их на волю? Сами арестанты иногда задавались при мне таким же вопросом... Нужно сказать, что они почти все без исключения глядели на себя как на невинных страдальцев... Ведь убитые, по их словам, не мучаются? Богатые оттого, что их пощипали немного, не обеднели? За что же их-то то-

мят так долго? Десять, двадцать лет, вечно.., За что и по окончании даже каторги не позволяют вернуться на родину, клеймя вечным клеймом отвержения и тем как бы толкая человека на новые убийства и преступления? И большинство решало, что, будь они на месте правительства, они немедленно выпустили бы всех заключенных на волю..,

— А я, — вскочил и закричал раз Семенов, прослушав все мнения, — я собрал бы всех нас в одну тюрьму, со всего света собрал бы и запалил бы со всех концов! Из порченого человека не выйдет честного, и волкам с овцами не жить как братьям!

Слова эти прозвучали глубокой, какой-то даже бесстыдной искренностью, и много горькой правды почувствовал я в них в ту минуту. Почувствовал — и сам ужаснулся... Ужаснулся потому, что у меня, конечно, не поднялась бы рука поступить по рецепту Семенова, потому что и этих страшных людей я научился понимать и любить, научился находить в них те же человеческие черты, какие были во мне самом, такое же уменье страдать и чувствовать страдание. При данных условиях и обстоятельствах они являлись в моих глазах жертвами, а не палачами... И я нередко ловил себя на тайном сочувствии мечтам Семенова о побеге, на желании ему полной удачи, даже на легкомысленной готовности самому помочь ему вырваться туда, в этот зеленеющий лес, на эти привольные сопки, на дикую волю, дальше от душной ограды Шелайской тюрьмы, где гасло без следа столько сил и молодых жизней.. При виде страдания, живого страдания, роднишься и сближаешься даже с заклятым врагом, сочувствуешь даже зверю, томящемуся в железной клетке и бессильному из нее вырваться!...

XII. ЧТЕНИЕ БИБЛИИ. — ЯШКА ТАРБАГАН. — ПОЭТ - КАТОРЖНИК

— Все ученикам да ученикам, а нам, камере, ничего нет. Давайте, ребята, взбунтуемся! — сказал однажды Парамон, в особенно благодушном настроении покуривая свою трубку на нарах. — Надо заставить Николаича что-нибудь почитать нам.

— И то верно: почитать! — хором подтвердили остальные.

— Да что же мы станем читать, — спросил я, — когда книг нет? Одна Библия у меня да Евангелие.

— А чего же еще лучше надо? — отвечал Парамон. — Библию и начать. А то эти гандоринские сказки мне уж тошнее редьки стали. «Жил да был Иван-царевич да серый волк, Прасковья-царевна да жар-птица...» Лежит тут возле, знай — брюзжит Яшке — волей-неволей слушать надо. И хоть бы хорошо сказывал, вот как Прелестников, например, в Покровском: тот — башка был, связать умел!

— Да я ведь старик, что с меня и взять-то? — пел в свое оправдание Гандорин. — Я, как в старые годы слышал, так и сказываю.

— Старик ты? Ох, врешь ты, старичок благочестивый! Не так, как в старые годы... Глаз-то у тебя не туда, брат, глядит. Слышу я! По сказкам твоим вижу, за что ты и в каторгу попал.

Все разразились хохотом, так как хорошо знали, что Гандорин пришел на двенадцать лет за изнасилование маленькой девочки.

Сказки Гандорина, которые он аккуратно каждый вечер рассказывал на сон грядущий Тарбагану и Чирку, нередко и меня возмущали до глубины души. Все они были, по-видимому, собственного его изобретения; в одну кучу сваливал он все когда-нибудь слышанные им истории, побасенки и даже жития святых и все покрывал общим флером какого-то беззубо-старческого цинизма и сладострастия. Даже самую обыкновенную, помещаемую в детских хрестоматиях, сказку он умел пропитать своим специфическим гандоринским духом. Арестанты вообще большие любители циничных бесед и рассказов; но сказки Гандорина отличались таким полным отсутствием талантливости и даже простой умелости, что никто, кроме непритязательного Чирка и Тарбагана, никогда не дослушивал их до конца.

— Вот хорошо, — начинал Гандорин своим обычным манером продолжение вчерашней бесконечной сказки, и уж от одного этого начала всех начинало клонить ко сну, и действительно камера вскоре подозрительно затихала под ритмическое журчание этих часто повторяющихся певучих «вот хорошо».

Мысль о чтении вслух давно уже меня интриговала, и я думал: как отнеслись бы мои сожители к тому или другому истинно художественному произведению, доставляющему столько высоких наслаждений образованному человечеству. Какое впечатление произвели бы на них Шекспир, Диккенс, Гоголь? Хорошо зная, что тюремные инструкции запрещают арестантам всякое другое чтение, кроме религиозно-нравственного и строго научного, но зная в то же время, что на практике в большинстве тюрем правило это не применяется слишком строго, я еще с дороги послал домой небольшой список беллетристических книг, которые просил мне выслать. Я с нетерпением поджидал теперь этой посылки, питая тайную надежду, что бравый штабс-капитан, как это нередко бывает, окажется меньшим формалистом относительно духовной пищи своих подчиненных, нежели относительно телесной. Пока же приходилось ограничиться Библией. Все затаили, казалось, дыхание, когда я в первый раз приступил к чтению. Однако не дальше как через час времени я заметил, что многие не выдержали этого напряжения и уже исправно храпели. Раньше других заснули Гончаров и Тарбаган; за ними последовали «ученики». Никифор даже и впоследствии, при самом захватывающем чтении, когда остальная публика волновалась, хохотала до упаду или скрипела зубами от ярости, не умел долго слушать и сосредоточивать внимание на одном предмете. Зато самым ревностным слушателем после Парамона оказался, к моему удивлению, Гайдорин. Он как-то удивительно умел соединять в одно — отвратительнейшее сладострастие с самым искренним и умиленным святошеством. Слезы стояли у него на глазах, когда я читал историю о прекрасном Иосифе, проданном братьями в рабство, и он поминутно вытирал их кулаком. Впрочем, история эта произвела на всех одинаково сильное впечатление. Одного не выносили мои слушатели: что я читал не по стольку в один прием, сколько бы им хотелось. Им все казалось мало. Малахов, Чирок и Гайдорин готовы были целую ночь слушать, и всякий раз, как я закрывал книгу, говоря, что на сегодня довольно, они поднимали крик и начинали со мной торговаться. К сожалению, я принужден был вскоре убедиться, что слушателей моих гораздо больше завлекала внешняя фабула рассказа,

чем внутренний его смысл и содержание: по крайней мере по окончании чтения мне ни разу не приходилось слышать никаких благочестивых бесед по поводу прочитанного. Послушали — и ладно. Каждый возвращался после этого к своему делу: один немедленно засыпал, другой начинал прерванную вчера сказку. А если чтение и вызывало иногда разговоры, то это была или какая-нибудь мелочь, относящаяся к специальности того или другого арестанта, или же такой пункт, обсуждение которого было мало полезно и желательно. Так, Яшка Тарбаган очень много смеялся по поводу жителей Содома,[34] оскорбивших ангелов, и, видимо, от души жалел, что его самого там не было... Уже большая часть камеры спала, а он все еще толкал под бок соседа и говорил, захлебываясь от смеха:

— Как они, брат, анделов-то, анделов-то... того!

А Гончаров, большею частью дремавший под чтение чутким стариковским сном, просыпаясь, говаривал после того, как я закрывал книгу:

— Как послушаешь да поразмыслишь, так всегда-то и везде одно и то же на свете было. Драки, убивства, насильства... И вечно, помни, вечно так оно и идти будет до скончания века!

В конце концов я вполне уверился, что до понимания Библии, этой книги, полной такой высокой поэзии и величавой простоты, слушатели мои не доросли еще; мне стало тогда понятным и то, почему именно чтение Библии вызывает так часто разные умственные расстройства в простых и набожных людях. Они приступают к ней с глубокою, чисто детскою верою в то, что каждая строка этой «святой» книги должна быть чиста, благочестива и назидательна, и когда находят, вместо того правдивую, неприкрашенную хронику первобытных нравов и жизненных коллизий всякого рода, со всеми их темными и порой грязными деталями, то положительно становятся в тупик и, не в силах будучи уловить общую одухотворяющую все идею, не знают, что думать. Простолюдин так же точно относится к святому, как и к красивому. Красота, например, женщины только тогда бывает ему близка и понятна, когда бьет в глаза резкими, выпуклыми, банальными в своей красоте формами и красками, когда все в ней ярко и ослепительно, нет ни одной черточки, показывающей, что имеешь дело

с живым, имеющим душу существом, а не с марионеткой или намалеванным дешевым икоиописцем ангелом. Святое точно так же должно быть безукоризненно свято. А это что же за святые люди, когда некоторые деяния их в иастоящее время были бы подведеиы под кодекс уложения о наказаииях и могли бы повести в каторгу?

Пробовал я читать также Евангелие. Крестные страдаиия произвели огромное впечатлеиие, и по поводу их в камере происходили разговоры, напомнившие мне слова дикаря Хлодвига, короля франков: «Ах, зачем я ие был там с моими франками!» Что касается остальных частей Евангелия, то онп вызывали мало иитереса. Самое сильиое и прекрасное, на наш взгляд, место — нагорная проповедь — прошла совсем бесследно. Даже сам Парамон, главный ревнитель веры в нашей камере, заявил:

— Нет, Библию я больше одобряю... Не для иоиешнего иарода это писано... Око за око, зуб за зуб — это вот по-иашему!

— А по-моему, два ока за одно и все зубы за одии! — добавил Чирок, смеясь.

В отчаяние, прямо в ужас приводила меня иепроглядиая темиота, царившая в большиистве этих первобытиых умов, и часто я себя спрашивал: неужели там, «во глубине России», еще больше темиоты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди — те же русские люди, только затронутые уже лоском городской культуры, просвещенные и развращениые ею?

Кстати, я познакомлю читателя еще с несколькими обитателями моей камеры, чтобы для него стала окончательно ясной та умственная и иравствениая атмосфера, в которой мне приходилось жить и действовать.

Вот «тюремная трава без названия», Яшка Перванов, Тарбаган по прозвищу, парашник, о котором я упомииал уже не один раз.

В своем роде это прелюбопытный экземпляр. Казалось, он и на свет родился для того только, чтобы жить в тюрьме, исправляя именно должность парашника. Маленький, жирненький, с обрюзглым красным лицом и отвисшим брюхом, с короткими ножками, ступавшими как-то тяжело и неловко, семеня мелкими шажками, он живо иапоминал своей фигурой того сибирского зверька, название которого носил. В довершение сходства, цвет

его небольшой бородки и волос на голове был желтый. Ничто в мире в такой степени не занимало и не волновало его, как чисто тюремные вопросы и интересы, карты, стрёма, промот вещей, расплата за них собственной шкурой и т. п., и трудно было даже представить себе, чтобы Яшка Тарбаган жил когда-нибудь на воле и занимался каким-нибудь иным трудом, кроме ношения парашек. А между тем и он когда-то жил, когда-то был человеком, имел жену и детей... Он был родом с Кубани. Четырнадцати лет уже высидел целый год в местной тюрьме по подозрению в конокрадстве и там, по собственным его словам, впервые испортился. Забритый в солдаты, он был отправлен на службу в Ригу, где скоро попал в штрафные и был телесно наказан. Но, изведав еще ребенком, что такое тюрьма и арестантская жизнь, он никаких наказаний не страшился и быстро опускался по наклонной плоскости пьянства и краж. Одно только обстоятельство чуть было не отрезвило его. Его поймали раз на краже коня, связали и, забив семь больших иголок в пятку, отпустили на все четыре стороны. Долго после тóго болела у Яшки нога, и еще мне показывал он знаки от вышедших у него из икры иголок... Но вскоре он попался в таком деле, за которое сразу угодил в Сибирь. Несколько пьяных солдат избили до полусмерти в каком-то грязном притоне нелюбимого ими фельдфебеля и за это отданы были под суд; вместе с ними приговорен был и Перванов к лишению всех прав и поселению в Енисейской губернии. На поселении он пробыл не больше года, ничего не делая и существуя «мантулами» и «саватейками», то есть побиранием под окнами. Наконец, в сообществе с другим таким же рыцарем, он убил мужика за мешок пшеничной муки и этим заработал себе десять лет каторги. Я не сомневаюсь, что и вся его дальнейшая жизнь пойдет точь-в-точь таким же путем. Работать он не умеет и не хочет, и если «мантулами» прожить окажется трудно, пойдет с поселения бродяжить, дорогою будет пойман с каким-нибудь «качеством»* и опять попадет в каторгу. В заключение всего угодит — на Сахалин. Чрезвычайно характерна для нравственной оценки Тарбагана история его отношений к родне. По его словам, целых семь лет

* Качество — на арестантском языке преступление. *(Прим. автора.)*

не имел он никаких известий из дому и сам решил никогда не писать, чтоб не огорчать матери своей каторгой.

— Пускай лучше думает, что я помер.

И вот однажды он обратился ко мне с неожиданной просьбой написать ему домой письмо. Удивленный, я спросил, почему он вдруг передумал. Тарбаган, несколько сконфузившись, осклабился и сказал:

— Да что ж! Авось деньжонок сколько-нибудь вышлют.

Уже написав письмо, я узнал, что Тарбаган перед тем в пух и прах проигрался... Ответ пришел, когда он находился уже в вольной команде. Встретив меня раз за тюрьмой, он начал радостно махать мне издали шапкой и кричать:

— Я письмо получил!

— Что же вам пишут? — полюбопытствовал я из вежливости.

— Рупь денег прислали... Жена — вот уж шесть лет без вести пропала... Мать жива и здорова.

За один рубль, который он тотчас же проиграл в карты, этот человек не затруднился продать спокойствие матери!

Странно, однако, что и в этой вечно заспанной, ожиревшей и как бы созданной для тюрьмы голове постоянно бродила мечта о воле. Часто, когда я возвращался из рудника, он подходил ко мне и, широко улыбаясь, таинственно шептал:

— Говорят, я тоже в вольную команду скоро... Уж представка пошла. *

И я сочувственно кивал ему головой и улыбался. А зачем бы, кажется, воля подобному субъекту? Зачем воля кроту, сурку, тарбагану, для которых весь свет заключается в их норке и вся жизнь в еде и спанье?

Но образ Тарбагана вышел бы далеко не полным, если бы я не сказал о нем еще несколько слов. Он, без сомнения, воплощал в себе не только самые дурные, но и самые хорошие стороны арестантского мира. Развращен он был, правда, до мозга костей; самые отврати-

* Находя возможным выпустнть того или другого арестанта в вольную команду, смотрнтеля тюрем обязаны сделать предварнтельное донесение об этом («представку» — на арестантском языке) в управленне Нерчинской каторгн. Оттуда приходит отказ или разрешение. *(Прим. автора.)*

тельные тюремные привычки и извращенные вкусы были усвоены им в совершенстве. Режим Шелайской тюрьмы не позволял арестантам развернуться вовсю; народу в ней было сравнительно немного, все на виду, и, донесись что-нибудь до слуха Шестиглазого, он быстро и посвоему расправился бы с виновными. Приходилось поэтому ограничиваться словесными вожделениями, и вот в этом-то отношении Тарбаган мог перещеголять всех. Говорил он хоть и мало, но речь сводил всегда к любимому своему предмету. Даже на самих женщин он глядел с своеобразной, чисто тарбаганьей точки зрения; естественными своими прелестями они его мало привлекали... Но я сказал уже, что в Тарбагане были также и свои хорошие стороны. Как вечная тюремная крыса, он считал чем-то вроде своего долга — строго блюсти арестантские традиции и заветы, высоко держать знамя тюремной чести и товарищества. Правда, на сходках его голоса никогда не было слышно и сами арестанты называли его «травой без названья», но без такой травы внутренняя тюремная жизнь тотчас же потеряла бы свою физиономию, и арестантский мир подвергся бы без этих безымянных героев окончательному разложению. Так, например, подавать заключенным в карцере табак, мясо и пр. было делом исключительно Тарбагана, обязанностью и правом, которых у него никто не оспаривал. Впрочем, я вообще замечал, что тюремные поводыри, иваны и «глоты» ограничиваются в большинстве случаев тем только, что вносят материальные пожертвования и стоят на стрёме, «карауля» надзирателей, в огонь же опасности лезут всегда люди, играющие в тюрьме самую незначительную роль и даже служащие предметом общих насмешек. Никто смелее Тарбагана не «лаялся» также с надзирателями. Его тарбаганье тявканье было, правда, очень комично и часто только смешило тех, на кого направлялось, но под флагом этого комизма он бросал иногда в глаза резкую правду, на которую и не всякий бы из иванов решился... Таков был Яшка Тарбаган.

Кстати, сообщу одно курьезное наблюдение, сделанное мною вообще относительно парашников Шелайской тюрьмы. Они все были точно на подбор, все точно самой природой созданные для своего ремесла: сонные, неуклюжие, неумытые, нечистоплотные, оборванные... Так, другим после Тарбагана достойным представителем

почтенной корпорации был один молдаванин, по фамилии Абабий, по прозванию Тараканье Осердие. Меткие клички умеют давать друг другу арестанты. Я никогда в жизни не видал тараканьего осердия; в невежестве своем не знаю даже, существует ли оно у таракана, и если существует, то какую форму имеет; но стоило только взглянуть на эту маленькую, беззубую; вечно что-то шамкающую фигурку с длинными шевелящимися усами, чтобы тотчас же признать в ней изумительное сходство именно с тараканьим осердием... Только в позднейшие времена, когда начальство Шелайской тюрьмы уничтожило на практике выборное начало и стало само назначать арестантов на все тюремные должности, корпорация эта утратила свой общий, резко бросающийся в глаза облик.

Был в нашей камере еще один курьезный субъект, которого я также назвал бы, пожалуй, травою, если бы его прошедшее, а с ним и весь его нравственный образ до сих пор не оставались для меня окруженными некоторым ореолом таинственности. Это был некто Владимиров. Нескладно сложенный парень, лет двадцати трех, без признаков растительности на лице, понурый, с вечно опущенной вниз и словно болтающейся головой (шутники говорили, что она у него на нитках привязана), всегда он имел какой-то заспанный вид и ходил неуклюжей старческой походкой. Выражение лица тоже было странно и изменчиво: то можно было счесть его дряхлым семидесятилетним стариком, то, напротив, совсем еще мальчиком. Чирок довольно удачно окрестил его Медвежьим Ушком. Постоянно молчаливый и говоривший тихим, убитым голосом, Владимиров иногда точно с цепи срывался, вмешивался внезапно в спор и, доказывая что-нибудь явно нелепое и ни с чем не сообразное, орал так громко и таким звероподобным басом, что все уши затыкали и с тревогой поглядывали на дверную форточку. Владимиров производил на меня подчас впечатление настоящего кретина. А между тем он прошел два класса уездного училища, писал вполне грамотно, и когда впоследствии у меня завелись книги, самостоятельно изучил курс арифметики и алгебры. К математике он вообще чувствовал большую склонность: решать головоломные задачи было его любимым занятием. Зато другими науками он совсем почти не

интересовался и тем утверждал во мне невысокое мнение о своих умственных способностях. Но вот однажды он поднес мне на лоскутке бумаги (до сих пор хранящемся у меня) следующее стихотворение собственного сочинения:

О, Природа! Природа! Природа!
Ты не имеешь конца и начала.
Только лишь звезды сверкают
В безграничном пространстве твоем.
И блестят, и горят, и плывут...
Плывут туда, где вечный мрак и холод,
Где нет живого существа.
— О, я ошибся, я солгал!
Там — мир иной, блаженный,
Там есть живые существа!

Это стихотворение, признаюсь, поразило меня... Я поспешил объяснить Владимирову технику стихосложения и посоветовал больше читать. К чтению он по-прежнему не приохотился, а на прочитанное высказывал самые странные и порой дикие взгляды, но стихи продолжал писать. Вскоре он представил мне еще два произведения своей музы, где метрические требования были удовлетворены несколько лучше.

Я слышу голос, голос и привет:
«Пора, пора на вольный божий свет!»
Свободней стало, грудь вздохнула,
И вот когда слеза блеснула
В моих очах... Чем эта доля,
Милей мне воля, воля, воля!
Физическая слабость,
И умствённая вялость,
И на поверке проповедь
Карают человека ведь.
Проходят дни и годы —
Дождусь ли я свободы?!
Когда жена меня больная
И мать под кровом приютит?
Когда страна, страна родная
Мне утешенье возвратит?

Другое стихотворение, из которого помню только первый куплет:

Лес шумит и зеленеет
И шуршит ковыль;
В поле ветер дует, веет,
Подымает пыль, —

не представляло ничего оригинального, отзываясь подражанием Кольцову, Шевченку и другим народным

поэтам. Конечно, я не видел в стихах Владимирова чего-нибудь подающего крупные надежды и вскоре даже совсем перестал поощрять его к дальнейшим опытам, но повторяю — открытие это меня приятно удивило. Оказывалось, что в этом неуклюжем, вечно заспанном увальне, жившем столько времени бок о бок со мною и казавшемся мне таким смешным и недалеким, происходил довольно сложный процесс мысли и чувства, в сущности очень близкий и родственный тому, который сам я переживал и чувствовал.

Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на поверке проповедь...

Ах! да не то же ли самое и меня терзало и мучило?

Я слышу голос, голос и привет:
«Пора, пора на вольный божий свет!»

Не мой ли это вопль и не моя ли заветная дума подслушана и так поэтически выражена — и кем же? Медвежьим Ушком!..

Вскоре Владимиров бросил поэзию и опять вернулся к своей обычной физической и умственной спячке. Внутренний мир его снова для меня закрылся и стал непроницаемым. Другого такого замкнутого человека я нигде не встречал. Никакие насмешки и уколы товарищей не могли вывести его из себя и заставить рассказать, кто он такой, откуда родом и за что попал в каторгу. Знали только, что он арестован был как бродяга в Иркутске и как бродяга же осужден на шесть лет временно-заводских работ без права вольной команды. Слышал я еще от Гончарова, будто Владимиров тоболяк, купеческий сын и скрыл родословие, не желая огорчать родителей и надеясь по окончании каторги вернуться домой «чистым» человеком; но точно ли это верно, и если верно, то что именно занесло его в Иркутск и за что он был арестован, этого я и до сих пор не знаю. Сам Владимиров в одну из минут откровенности сказал мне только, что домой по окончании каторги ни за что не воротится, так как ничего хорошего не рассчитывает там найти, а постарается устроиться на поселении. Но возможно и то, что он обманул меня, показав лишь вид, что откровенничает, на самом же деле хотел зачем-то отвести мне

глаза от настоящего следа к своему прошлому — бог его знает.

Владимиров имел одно несомненное достоинство, которое резко отличало его от остальной шпанки; последняя вся поголовно была уверена (и только относительно его одного), что у своего брата арестанта, у артели, Медвежье Ушко ни за что крошки не украдет; однажды даже выбрали его в тюремные старосты. Но на этой должности он оказался таким разиней, витая в своем внутреннем, никому не ведомом мире, сидя за решением алгебраических задач или сочинением стихов, так мало обращал внимания на действительность, что мяса в котле у него оказывалось нередко значительно меньше, чем у завзятого вора — старосты: его обкрадывали повара, обвешивал эконом, и вскоре Медвежье Ушко под предлогом болезни принужден был бежать в больницу, чтобы избавиться от общих нареканий. Вообще староство далось ему соком; чрезвычайно дорожа общественным мнением о своей неподкупной честности, он волновался из-за каждого пустяка, в котором видел или подозревал недовольство арестантов собою, и бывал в высшей степени смешон в этом волнении. Религиозный и искренно богомольный, в одну из таких горьких, а для постороннего наблюдателя комичных минут своей жизни он дошел даже до того, что громко высказал сомнение в существовании бога!..

XIII. ЧИРОК

Мне живо помнится один вечер. В камере шел обычнейший разговор о том, что «у нас-де дурное правительство — не выпускает арестантов на волю, а держит их до срока в тюрьме и всячески стязает». Кто-то спросил меня: что я об этом думаю? Признаюсь, я затруднился ответом на заданный так прямо вопрос.

— Ну, кого б вы из нас выпустили? — смеясь, спросил Гончаров. — Вот сейчас кого бы на волю выпустили?

Я оглянулся кругом и назвал своего соседа Кузьму Чирка, предмет общих шуток и насмешек, человека, казалось мне, вполне безобидного, попавшего в каторгу по какой-нибудь судебной ошибке. Все разразились оглушительным хохотом при моем ответе.

— Вот нашли черта! Да знаете ль вы, сколько он народу побил? Он не сказывал вам? Вы не смотрите, что он тихонький да ласковый, как теленок. В этой пермяцкой голове много хитрости заложено!

— Не верь, не верь, Миколаич! — закрнчал Чирок, лукаво ухмыляясь, — правду ты истинную молвил, святую правду. Давно б такого старичонку, как я, выпустить на волю пора!

— Да! чтоб ты еще пятерых спать навеки уклал?

— А разве вы пятерых, Чирок, уложили? — спросил я.

— Слухай ты их, Миколаич, онн тебе наскажут. Я совсем безвинно страдаю.

— За что же?

— За брата. Он полюбовницу убил, а я подсобнл ему в мужнин погреб ее спустить.

— Да, живую спустить подсобил.

— О, дьявол чернопазый! Чего врешь? Живую... И не дыхала даже, удавлена была! За что ж бы меня на одиннадцать всего лет засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только одно н пришел я в каторгу.

— Ну, а расскажи, брат, как ты черемиса-то задавил.

— Какого там еще черемиса?

— Да такого, за воз-то сена...

— Молчн, дьявол, молчи! Ведь он запншет, Мнколаич-то...

— Нет, не запишу, Чирок, расскажите.

— Не омманешь?

— Не обману. За что вы его задавилн?

— За шею, вестимо... Как же не задавить было проклятого? Поехали мы с Егоршей да с другнм еще братишкой, Васькой, по сено... то-ись по чужое. Вот наворотили два огромадных воза и едем домой. А навстречу черемис этот самый. Как тут быть? Что тут делать? Оставить так — донесет ведь шельма, в тюрьму придется идтн. Ну, взяли мы и накинули на шею ему удавку.

— А расскажи еще, как мужика-то ты за голову сахару укокошил?

— Это еще чего поминать. Робячьнм еще делом было, какое это преступленье?

— Все-таки расскажите.

— Приехал к тятьке знакомый мужик в гости, пьяный-распьяный. Покаместь он с тятькой сидел да водку пил, мы, ребятишки, нашли у него в санях кулек с разными сластями. Голова там целая сахару была, пряники... Только хотели было уволочь кулек, глядь — он выходит, хозяин-то то-ись. Еле ноги передвигает, тятька под руки его ведет. Сел кое-как в сани. «Прокати, говорим, дяинька!» Уселись мы с ним и поехали. Лошаденка сама дорогу знает, бежит куда надо. Вот я взял вожжи-то, да и накинул ему, сонному, на шею. Он и захрипел. Мы сейчас лошадь остановили, кулек сцапали — и наубёг. А лошадь домой. Так мертвого его привезла. Ну, тятька-то, надо быть, сдогадался, призвал нас и пригрозил кнутом: «Молчите, сучьи дети!» Так и не узнал никто. Задавился сам, пьяный, да и все тут.

— А сколько вам лет было тогда, Чирок?

— Я по одиннадцатому был году, а Егорша по восьмому.

— Ты, значит, удавочкой все больше орудовал? Молодец, Кузьма!

— Он и топориком, братцы, умел девствовать, — поправил Тарбаган. — Расскажи-ка, Кузьма, как другого-то мужика топором ты в боковину двинул.

— О, гаденыш проклятый! Творенье паршивое!

— Нет, уж рассказывай, брат, рассказывай, коли начал, — галдела вся камера, — а нет, так ведь живо подкуем. Эй, Железный Кот! Подковать его надо!

«Подковать» — это значило щекотать пятки, чего Чирок смертельно боялся. Он моментально вспрыгивал на ноги и начинал бегать по нарам, грозя всем наступающим своими дюжими кулаками.

— Пад-сту-пись-ка только! — кричал он нараспев. — Я покажу! Даром что старичонко...

Но враги приближались со всех сторон. Никифор, Семенов, Железный Кот заходили с боков; Парамон надвигался прямо, грозный и решительный... Чирок, прижатый в угол, готовился к жаркому бою, но внезапно какой-нибудь Тарбаган кидался ему под ноги, все на него налетали, валили после долгого и упорного сопротивления на нары и «прибивали подковки». При этом Чирок орал так немилосердно, что должны были зaты-

кать ему рот из опасения, что услышит надзиратель. Наконец Чирок просит-таки пощады и, кашляя и бранясь, усаживается на свое место рассказывать, как он мужика топориком двинул.

— Чего тут рассказывать-то? Из-за межи спор вышел. Он на меня со стягом кинулся... Мне што ж, зевать, что ль, было? Я и махнул в него топором и угодил прямо в боковину. Тут же из подлеца и дух вышел. Меня втапоры и суд оправдал, потому свидетели были.

— Записывайте, Миколаич: это уж которая душа-то?

— У него еще есть. Вчера ночью мне сказывал... Раз... — заводил было Парамон, но Чирок принимался так усердно тузить его и между ними начиналась опять такая возня, что к форточке подходил надзиратель и прикрикивал на буянов. Возня затихала, беседа прекращалась, и большинство мало-помалу засыпало. Только Чирок, Парамон и Железный Кот, сойдясь в кучку на противоположных нарах, где было место кузнеца, долго еще, иногда до поздней ночи, сидели, сложив по-турецки ноги и посасывая цигарки и трубки, и беседовали между собой таинственным полушепотом. Это Чирок рассказывал о своей молодости... До меня доносились отрывки этих рассказов, и часто я вздрагивал от невольно охватившего меня ужаса, а иногда, напротив, готов был смеяться самым искренним и добродушным смехом.

Личность Чирка вообще представляла какую-то причудливую смесь серьезного с шутливым, комизма с трагизмом, чисто детской наивности и простодушия с самой хитрой плутоватостью и лукавством. Природный ум и лукавство светились в этих серых, всегда с любопытством смотревших глазах, глядели из складок морщинистого лба и углов большого неуклюжего рта, оттененного жесткими, рыжеватыми усами; но в то же время от этого бледного худощавого лица с длинным, как у лошади, черепом, от всей мешковатой, переваливающейся с ноги на ногу и прочно скроенной фигуры веяло чем-то таким простым и хорошим, что редко кто не любил Чирка. Служа предметом вечных и всеобщих насмешек и отругиваясь порой как самый последний извозчик, Кузьма даже в минуты яростного гнева бывал, в сущности, безобиден, и самые ужасные его ругательства

вызывали один хохот. В бранных словах он был большой знаток и мастер; они почти не сходили у него с языка и, однако, не имели в его устах того страшного характера, как, например, у Семенова, или циничного, как у Тарбагана. За несколько лет общей жизни в Шелайской тюрьме я сильно привязался к Чирку, и среди многих треволнений и испытаний всякого рода, о которых будет речь впереди и которые не раз заставляли меня переменять мнение о других арестантах, Чирок всегда оставался в моих глазах все тем же незлобивым и добродушным Чирком, тем же верным и надежным приятелем, никогда не сующимся ни в какие арестантские дрязги. А между тем на воле этот же самый шут Чирок отправил на тот свет с десяток душ и теперь не чувствовал в том ни малейшего раскаяния...

Долгое время я не понимал, почему его дразнят, между прочим, Сахалином, говоря, что скоро и его туда повезут к сестре. Я думал, что это не больше как шутка; но, прислушиваясь раз к таинственному ночному шепоту, узнал из уст самого Чирка следующее объяснение этим насмешкам:

— Из-за Лукейки-то я и пропал больше. Еще экосенькой вот девчонкой она чистый разбойник была. Шары большие, так и горят, глядеть страшно... Лет семнадцати связалась с бродягой Сенькой Пелевиным и зачала с им дела крутить! Я в их круг не мешался, потому я больше на тихой манер норовил: в клеть али в анбар чужой залезть, чужих баранов али гусей пошарить... Где сено, где дрова... Ну, и пшеницей и чебаками тоже не брезговал... — Среди слушателей тихий смех.

— А чтоб убивать, так уж разве неминучее дело. Так я и тогда удавочку больше в ход пущал али сулему.

Смех еще дружнее.

— Подозревали меня, конечно, во многих делах подозревали, а только настояще уследить не могли. Раз с обыском заявились. Я у соседа трех баранов украл, мясо посолил, шкуры продал... И своего одного барана тут же заколол. «А, говорят, вот оно, мясо-то!» Я говорю: «Это мой баран, вон и кожурина Тимошкина висит...» Тимошкой барана моего звали. «Да разве, говорят, у одного барана восемь почек бывает?» — «Ей-богу, говорю, такой жирный да матерой баран был...» С тем и отступились, ничего не взяли.

— Ну, а зятек-то богоданный с сестрицей не такими делами орудовали?

— Нет. Те надумали старуху одну убить и ограбить. Верст за семьдесят от нас богатая старуха, ровно монашка, жила с девочкой-приемышем. Вот они к ним и заявились, убили обеих, обобрали, уехали и стали, как водится, гулять. Взяли их в подозренье, арестовали и осудили. Лукейку на двадцать лет, а Пелевина навечно. На Сахалин обоих угнали. Только кончили с имя́, тут и Егоркино дело подоспело. Не будь Лукейкина убивства, меня б и не засудили, пожалуй. А то прокурор шибко уж основывался: так и так, мол, коли уж сестра разбойник такой, братья тем больше должны быть разбойники. Из-за нее, шельмы, из-за змеи подколодной, я на одиннадцать лет угодил!

— А что это у тебя за знак на голове? Должно полагать, не так все с рук сходило, как сказываешь?

Чирок ухмыляется и начинает скрести себе голову рукой в прошибленном месте.

— Это точно, робята: оплошал я таки однова́, пришлось стяжка отведать. По крупчатку мы с Егоршей ночью поехали. Его я на стрёме с конями поставил, а сам ношу да ношу, знай, мешки из анбара. Только Егорка-то видит, что тихо все, никого нет, и разинул рот: стоит себе да ковыряет в носу... Потому молодой еще был, глупый! Вот несу я куль на спине... Вдруг кто-то как оглоушит меня стягом по башке!.. У меня аж разные огоньки в глазах забегали, и синие, и зеленые, и красные. Будто из ружья кто выпалил — гулы кругом пошли... Уронил я кулек, прислонился к дереву (дерево, спасибо, поблизу стояло) и стою — гляжу. Но, *он* тоже стоит, глядит на меня. Должно быть, тоже шибко испужался.

— Испужаешься небось этакого дьявола, что и стяг не берет!

— Опамятовался я потом — и наубёг скорей! Кликнул Егоршу, сели в телегу — и айда домой! Голова у меня здорово проломлена была... Крови что вышло! Только я отговорился, когда пошли розыски: конь, мол, лягнул.

И долго еще на нарах у Железного Кота продолжается в том же роде шепот, прерываемый изредка сдержанным смехом и отдельными замечаниями слуша-

телей. Страшные образы и дикие, кровавые сцены проходят передо мною, сплетаясь в одну мрачную фантасмагорию. Лукейка с огненными шарами вместо глаз, убивающая старуху с маленькой девочкой и идущая на Сахалин со своим любовником-бродягой; десятилетние дети, накидывающие мертвую петлю на пьяного мужика; Чирок, ворующий сено и убивающий при этом свидетеля-черемиса... Удавка, вожжи, топорик, сулема... Удары стяжка по голове, подобные ружейным выстрелам... Крупчатка, чебаки, дрова, Тимошкина кожурина и его восемь почек... Кровь, острог, каторга... И плутоватое лицо рассказчика, и сочувственный хохот слушателей... Наконец я засыпаю; но и во сне продолжаются те же видения, душат те же кровавые кошмары. Я стараюсь спастись от них, бегу, задыхаясь... Счастливо миную часового со штыком, бегу мимо светлички с выглядывающим из нее стариком сторожем, подозрительно воззрившимся в меня, бегу по болоту, по сопкам... И вдруг падаю, оступившись, на дно мрачной, холодной шахты! Воздух, рассекаемый моим трепещущим телом, свистит, и страшное, ненавистное чудовище шепчет: «Ага! попался, голубчик!..» Вот-вот ударюсь я об один из его гранитных выступов, и череп мой разлетится в мелкие дребезги...

— Ах!..

И я просыпаюсь, весь обливаясь холодным потом, охваченный смертельным ужасом. В коридоре слышится свисток надзирателя и крик: «Вылазь на поверку!» В окнах еще темно, но уже наступает тяжелый каторжный день, и сожители мои, позевывая и потягиваясь, начинают лениво подниматься.

XIV. ЛУЧЕЗАРОВ

В одно декабрьское воскресное утро в камеру вбежал запыхавшийся Тарбаган с известием, что меня к воротам зовут. Под воротами я узнал от дежурного, что начальник требует меня на квартиру.

— Может быть, в контору? — переспросил я.

— Нет, на квартиру велено.

Мне дали выводного казака, и я отправился с ним к бравому штабс-капитану.

— С черного крыльца пойдешь? — спросил казак, останавливаясь в некотором недоумении.

Но я решил войти через парадное крыльцо и дернул за колокольчик. Звонить пришлось, однако, долго. Наконец появилась какая-то женщина и при виде арестанта с сердцем захлопнула дверь, крикнув:

— Чего с парадного хода шляетесь? Барин серчает.

Сконфуженный, я должен был отправиться на черное крыльцо и вошел в кухню. Там переругивалось несколько женских фигур. При моем входе они замолчали.

— Чего надо? — грубо спросила одна, с пожилым лицом и высоко засученными рукавами, очевидно кухарка. Я сказал. Отправились докладывать.

— Барин велел в кабинет идти, — удивленно объявила горничная, перед тем выпроводившая меня с парадного крыльца. Мы с казаком пошли вслед за нею через длинный и темный коридор, по бокам которого виднелись в растворенные двери комнаты с кадками и горшками цветов на окнах и по всем углам и с яркими масляными картинами на стенах, сюжетов которых я не успел разглядеть.

— Сюда, — указала горничная, и я робко вступил в небольшую комнату, устланную коврами и занятую шкафами книг и всевозможных бумаг. В большом кресле за письменным столом восседал сам Лучезаров. Услыхав шорох, он поднялся с места и быстрыми шагами подошел почти вплоть ко мне.

— А! — протянул он, пытливо уставив в меня свои круглые глаза, и лицо его, румяное, пышущее здоровьем, подернулось довольной улыбкой.

— А я — должен сознаться — на днях только узнал... совершенно случайно... что в моей тюрьме находится арестант с высшим образованием.

Признаюсь, меня удивила эта бесцельная ложь со стороны бравого штабс-капитана: из одной уже моей переписки с родственниками, не говоря о статейном списке, он с самого начала должен был знать о моем общественном положении до суда.

— Я ценю образование, — продолжал он развязно, — но полагаю только, что для русского человека не оно самое главное. Гораздо важнее дисциплина ума и характера. Я, право, отказываюсь понять, как может

попасть в каторгу человек, получивший высшее образование?

Мне был тяжел подобный оборот разговора, и я уклончиво отвечал, что в моих бумагах, конечно, подробно указано, за что я осужден.

— О да, разумеется, — сказал Лучезаров, — я знаю, я читал... Но тем не менее могла ведь быть судебная ошибка, могли быть смягчающие обстоятельства, как-нибудь ускользнувшие от внимания...

— Нет, — сухо возразил я, — насколько мне известны русские законы, я осужден по ним вполне правильно.

— Да?.. — Лучезаров в течение нескольких минут пытливо глядел на меня, все по-прежнему иронически улыбаясь. Потом вдруг лицо его сразу сделалось серьезным и официальным. Он быстро повернулся на каблуках к столу и сказал:

— Тут получилась посылка... Собственно, за этим я и вызвал вас.

До сих пор в обращении ко мне он не употребил ни одного личного местоимения, ни «ты», ни «вы», видимо, колеблясь между ними и как бы разведывая почву; но теперь вдруг бросил колебания и заговорил решительно вежливо.

— Пришли книги на ваше имя... От вашей матушки.[35] Судя по письмам, она, должно быть, прекраснейший человек. Я, знаете ли, не люблю этих слабонервных дам, вечно хныкающих, с сантиментами. А она не то, совсем не то. Бодростью этакой, даже веселостью веет от ее писем... Совсем мужской характер. Да, так вот она вам книги прислала. Когда-то я сам любил читать, но теперь, конечно, поотстал от века. Делами завален по горло, бездельничать некогда. Выбор книг, могу сказать, недурной; есть общеизвестные имена. Матушка ваша сама пишет, что классиков старалась выбрать.

— Значит, я могу получить их? — забежал я вперед.

— Н-ну, это, положим, еще не значит, — отвечал Лучезаров, и лоб его вдруг нахмурился.

— Как так?

— Видите ли: относительно чтения арестантами книг я не имею, к сожалению, вполне ясных и определенных инструкций. Я во всем люблю точность. Я солдат; я люблю, чтоб каждый мой шаг был правилен и последователен. Если ступил левой ногой, то знай, что дальше

следует поднимать правую, а не прыгать на той же левой. Вот, например, я имею самые обстоятельные и несомненные указания относительно того, как должна происходить поверка, работа, каковы должны быть отношения арестантов к начальству, их пища и прочее.

— Однако, — не утерпел я, — в вывешенной в тюрьме инструкции не сказано, например, чтобы запрещалось покупать пищу на свои деньги, а вы же запрещаете?

— Да, пожалуй... Если хотите, вы правы: в инструкции и этот пункт недостаточно ясно обоснован. Что будете делать! Знаете, каков умственный уровень большинства исполнителей высших начертаний? Вы правы: упущений много. Но запрещение частной пищи логически вытекает из всего каторжного режима. В инструкции отчетливо и до мелочей подробно указано, что́ именно полагается арестанту от казны: столько-то мяса, столько-то хлеба. Очевидно, закон признает это количество пищи вполне достаточным.

— Он, может быть, вовсе не признает достаточным, но казна не настолько богата, чтобы давать больше.

— Н-ну, не думаю этого... Наконец, это вяжется и с моими личными убеждениями: каторжный режим должен быть также и пищевым режимом. На солдат — заметьте: на солдат! — отпускается казною немногим больше. Это ненормально. Да, да! Я буду ходатайствовать, я стану настаивать перед губернатором, чтобы этот пункт инструкции был определен точнее и именно в том смысле, какой я указываю. В каторгу приходят не есть и спать, а страдать и нести возмездие. Нет, нет, вы не знаете еще этих артистов; дай им вдоволь хлеба и пищи — они валом повалят в тюрьму! Необходима узда, необходимы строгие рамки во всем, между прочим и в пище. Повторяю, это мое глубокое убеждение...

Я поглядел на дышавшее здоровьем и румянцем лицо Лучезарова, на его круглый живот и с достоинством выпяченную грудь и понял, что таково действительно было его искреннее и глубокое убеждение... Но внутри меня что-то клокотало, что-то подталкивало сделать еще одно-два возражения.

— Но ведь это... негуманно, — сказал я, — жить на подобной пище в течение многих и многих лет, исполняя тяжелые работы, не имея свободы, немыслимо!

Народ неизбежно ослабеет и начнет болеть. Разве можно сравнивать арестантов с солдатами? Солдаты — лучший цвет народа, самая здоровая часть молодежи, тогда как арестанты — люди всех возрастов и всевозможных родов здоровья. Солдаты не истомлены, как они, долгим предварительным сиденьем по тюрьмам и получают они все-таки больший паек. Наконец, им не запрещается тратить свои деньги. Мне кажется, ваш «пищевой режим» равняется для нас медленной смертной казни, которую вряд ли имеет в виду закон!

Лучезаров, казалось, очень внимательно слушал мою речь, нахмурив лоб и даже сочувственно кивая головой.

— Все это, может быть, и так, — отвечал он, пожав плечами, — но... отсюда один выход: не попадать в каторгу.

Он понизил при этом несколько голос и приятно улыбнулся. Я перестал спорить.

— Что же хотели вы сказать относительно книг?

— Да, книг! — радостно встрепенулся Лучезаров. — Я хочу сказать, что нахожусь в большом затруднении. Я, видите ли, человек, в сущности, не жестокий и надеюсь, что при дальнейшем знакомстве со мною вы в этом убедитесь. Мне даже приятно было бы доставить вам некоторое удовольствие: я вижу, что вам очень хочется получить эти книги. Но... опять-таки должен сказать, что по рукам и ногам связан инструкцией. А составители шелаевской инструкции, очевидно, не предполагали даже, что найдутся такие арестанты, как вы. В самом деле, где и когда арестант интересуется чтением? Помилуйте, да разве книжка нужна этим артистам! И вот, в инструкции я читаю только: «Разрешаются книги религиозного и нравственного содержания». Даже не так: союза «и» нет! Сказано: «религиозно-нравственного содержания», но так как книг религиозно-безнравственных не может быть, то я считаю это за простую описку и самовольно ставлю союз «и».

Не будучи уверен в справедливости догадки бравого штабс-капитана, я покривил душой и поспешил подтвердить, что догадка эта вполне уместна и основательна.

— О да! Я много об этом думал... Вчера и сегодня думал... И полагаю, что я прав. Итак, кроме чисто религиозных книг, закон разрешает еще книги нравственного содержания. Но вот тут-то и загвоздка! От-

кровенно сознаюсь вам, что быть судьею того, нравственны или безнравственны присланные вам книги, я отказываюсь. Конечно, я тоже читал и знавал когда-то всех этих Гоголей и Шекспиров, но это было так давно... Очень многое я уже позабыл. Да, по-моему, не стоит и помнить всякую дребедень. Перечитывать же теперь все это заново — прошу покорно! У меня нет для этого времени. Это раз. А второе и самое главное: то, что может назваться нравственным для чтения на воле, совсем другое влияние может оказать на людей, сидящих в тюрьме! Подите узнайте, что вынесут они — ну хоть из этого Гоголя? Вот, например, «Мертвые души»... Я, право, не помню. Не отыщут ли они тут какой-нибудь аллегории? Да вот и дозволения цензуры к тому же не указано...

Я горячо вступился за Гоголя, начав доказывать, что это один из самых нравственных русских писателей, классик, допущенный решительно во все школы, средние и низшие; объяснил также и существование в России с 1865 года закона, по которому большинство книг печатается без предварительной цензуры.

— Все это так, все это, может быть, и так, — кивал головой Лучезаров, — но скажите, пожалуйста, зачем вам нужны эти книги? Вы, по-видимому, и так все чуть не наизусть знаете. Верно, вы хотите читать их арестантам?

Я отвечал, что действительно имею в виду эту цель, и начал пространно развивать свой взгляд на воспитательную роль художественной литературы, говоря, что чтением хороших книг и развитием в арестантах высших умственных интересов можно скорее и вернее исправить их, чем всеми командами, строями и пр.

Лучезарова удивила эта идея, и между нами завязался оживленный спор.

— Конечно, — сказал он, — исправить арестантов вещь хорошая. Я и сам задаюсь этою целью; но в первый раз слышу, чтобы на этот народ могло что-нибудь другое действовать, кроме страха. Собственно, я далеко не поклонник, например, телесных наказаний; это я не раз уже высказывал и самим арестантам. Если хотите, я даже принципиальный противник плетей и розог: к чему они? Что они значат для таких артистов? Арсенал карательных мер, находящихся в моих руках, и без

того достаточный... Повторяю, я по натуре вовсе не жестокий человек. Я держусь только во всем строгой законности, буквы закона. И потому я не вижу иных средств исправления, кроме тех, какие указаны мне инструкцией. Современные тюремные деятели признают одно только средство — страх, и я вполне с ними согласен. Это все прочее, что вы указываете, это еще гадания только одни... Нет! книжечками этими вы подобный народец не проберете. Я уже десять лет в Сибири живу и лучше вас его знаю. До мозга костей испорченные канальи! Впрочем, попытайтесь. Впредь до разъяснения этого вопроса высшим начальством я, пожалуй, выдам вам некоторые из книг. Пользы они, конечно, не принесут, но и вреда, думаю, особенного тоже не будет...

— Каких же из присланных мне книг вы все-таки не выдадите?

— Некоторых. Ну, вот эти можно. Гоголя два тома, Пушкина, Лермонтова... Хотя стихи, по моему мнению, совсем бы не годились для тюрьмы... Ну да уж так, на время... «Отелло», «Король Лир» — не помню, что это такое, но, вероятно, можно. Костомаров, Мордовцев...[36] историческое... Ну, пожалуй. А вот этих иностранных писателей не могу выдать: Гюго, Диккенс... Их я, признаюсь, совсем не знаю. Нет, нет, не могу! И не просите!

— А Фламмариона[37] почему же нельзя?

— Это что-то о небе, о звездах?.. Нет, и этого невозможно выдать, никоим образом. Небо, знаете ли, вещь щекотливая... Роль духовного цензора я никак не могу на себя взять... И знаете ли что: напишите вашей матушке, чтобы она не присылала больше книг. К чему? Довольно и этих.

Я раскланялся и с ворохом книг в руках поспешил к выходу. Лучезаров любезно проводил меня сам на парадное крыльцо. Я летел к тюрьме, не чуя под собой ног от радости, ежесекундно боясь, что вот-вот бравый штабс-капитан раскается и велит мне вернуться. Но он уже заинтересован был другим, я слышал, как раздался его зычный окрик на кого-то:

— Это что за беспорядок? Что за сор на дворе? Разве не знаете, что я не люблю этого. Чтоб сейчас было подметено и прибрано. В карцер, что ль, захотели?

Во дворе тюрьмы меня обступила толпа арестантов.

— Николаич, книги? Братцы мои, книги!

— Нам, нам, Миколаич, во второй нумер... Хошь одну, самую махонькую!

— Эвона книжища-то... Вот тут, ребята, должно быть, ума-то! И не лень было писать ему?

— Нам! Нам!

— Разорвать тебя придется теперь, Миколаич. У нас во всем номеру Гришка один по складам мало-мало знает.

— Уж вы мне одну книжечку пожалуйте, Иван Николаич, мне-то уж, бога ради!

— А ты чем святой противу других?

— Постойте, постойте, господа, всех удовлетворю. По справедливости разделим. Пойдемте в мою камеру.

С шумом, гамом и топотом вломилась почти вся тюрьма в мой номер и обступила меня и книги.

— Да не суйтесь вы, ребята, к книгам! Дайте покой Ивану Николаевичу, смотрите, он и так потом обливается... Успеете еще! — говорил общий староста Юхорев, атлет-мужчина с представительной и энергической физиономией, усаживаясь сам около меня и отстраняя прочь назойливо лезшую шпанку. — Вы сейчас же прочтите нам что-нибудь, Николаич, — прибавил он.

— Сейчас! Сейчас! — загудели все хором. Я взял один из томиков Пушкина и раскрыл «Братьев-разбойников». Все немедленно стихло. Я начал:

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей —
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!

— Это про нас! — закричало сразу несколько голосов. Все лица оживились и приняли разудалое выражение.

Зимой, бывало, в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.

При этих словах некоторые из арестантов попытались пуститься в пляс. Юхорев прикрикнул на них; но когда я стал читать дальше:

Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи —

Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли — всё даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем! —

он вдруг сам привскочил с места, подбоченился, притопнул ногой и в порыве восторга загнул такое словцо, что я невольно остановился в смущении.

— Это как я же, значит, на Олёкме с Маровым действовал! — закричал он. — Знай наших!

Такого сюрприза я, признаюсь, положительно не ожидал. Мне стало совестно и за себя и за Пушкина... Больше всего за себя, конечно, за то, что я выбрал для первого дебюта такую неудачную вещь, не сообразив, с какой аудиторией имею дело. Я хотел было остановиться и прочесть что-нибудь другое, но поднялся такой гвалт, что я принужден был окончить «Братьев-разбойников». На шум явился, однако, надзиратель.

— Что за сборище? — закричал он. — По камерам! На замок опять захотели?

Юхорев с другими имевшими вес арестантами бросился уговаривать и умасливать его.

— Вы послушайте сами, какова тут у нас лекция происходит. Читает-то как Николаич, просто ведь любо-дорого! Вы не сомневайтесь: ведь эти книги сам начальник прислал.

Надзиратель замолчал и тоже с любопытством подошел к столу. Я продолжал «Братьев-разбойников». В конце поэмы было мало, конечно, веселья: облако грусти и задумчивости отуманило на минуту лица даже и моих бесшабашных слушателей.

Но это длилось именно минуту только. Тотчас же все опять развеселились и принялись восхищаться началом рассказа. Надзиратель велел затем разойтись по камерам. Отовсюду протягивались ко мне руки, просившие книг. Очень многие требовали «Братьев-разбойников».

— Я наизусть их выучу, Иван Николаевич! — восторженно кричал Ракитин, только что перед тем начавший азбуку.

Я роздал все книги, оставив для своей камеры Пушкина.

XV. ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ ПЕРЕД СУДОМ КАТОРГИ

В этот первый вечер почти по всем номерам чтение продолжалось до двенадцати часов ночи, так что надзиратель несколько раз подходил к дверям и приглашал публику ложиться спать. Я серьезно опасался, что это обстоятельство дойдет до Лучезарова и он отнимет книги. К счастью, период был либеральный; надзиратели давно уже не отличались первоначальной неукоснительной пунктуальностью, и доноса не последовало. Весь вечер читал я своим сожителям Пушкина, до того, что охрип. Из всей камеры уснул вскоре один только Гончаров, практический ум которого страдал полной неспособностью внимания. Значительно позже уснули Никифор и Тарбаган. Все остальные слушали с поглощающим интересом и готовы были вконец замучить меня. Чирок волновался и был необыкновенно комичен в своем любопытстве. Весь вечер сидел он подле меня, сосредоточенно-внимательный, с чрезвычайно лукавым выражением серых глаз и с глубокомысленно наморщенным лбом. От избытка чувств он то и дело ерзал на нарах и чесал себе брюхо... Малахов слушал важно и солидно, но тоже не мог скрыть восторга, хлопал себя рукой по бедру, заливался детским душевным смехом и чаще других вставлял замечания. Внимательно, но молчаливо слушали: Гандорин, Семенов, Владимиров и Михайла Буренков. Заспанный Тарбаган глядел во все глаза и то и дело подавал свою обычную реплику: «Так и лучше!» — нередко совсем невпопад. Ученики слушали в этот первый раз внимательно, но впоследствии между ними и камерой завязалась вражда: ученики эгоистично предпочитали учиться, камеры же слушать чтение. Много происходило из-за этого смешных, а подчас и тяжелых эпизодов.

Пушкин понравился и был понят почти весь, без исключения. Наибольшим, однако, триумфом увенчались: «Борис Годунов», «Капитанская дочка» и «Дубровский». Между прочим, известная сцена в корчме вызвала такое неудержимое веселье и хохот, что многие в судорогах катались по нарам. Яшка Тарбаган при этом чуть не помер, и Малахов принужден был каждую минуту совать ему в глотку кулак для того, чтобы чтение

могло продолжаться. Личность Годунова настолько была понята всеми, что именем его прозвали впоследствии одного арестанта и оно вообще сделалось в Шелайской тюрьме синонимом всякого лицемерия и политиканства. Но наряду с хорошими впечатлениями от чтения этих произведений Пушкина у меня остались и мрачные, тяжелые воспоминания. Страшная сцена убийства Федора и Ксении в «Борисе Годунове» в некоторых из слушателей вызвала сочувствие и радость.

— А, гады, закричали!.. — сказал Чирок и был поддержан Тарбаганом, который стал хохотать неизвестно над чем. Таких случаев я помню множество, когда какое-нибудь трагическое, захватывающее дух место вызывало в арестантах внезапный взрыв веселости и цинизма... Это обстоятельство вначале приводило меня в отчаяние, и я вспоминал насмешливую улыбку Лучезарова, отдававшего мне книги:

— Книжечками этими вы их не проймете!

По прочтении «Капитанской дочки», «Дубровского» и даже того же «Бориса Годунова» некоторые говорили с искренним сожалением:

— Вот времечко-то было!.. Вот кабы при нас такая каша заварилась... Мы б тоже, Чирок, руки с тобой погрели.

— Долговолосым-то, долговолосым надо б гривы порасчесать! — подтверждал Чирок тоном глубокого убеждения.

Вообще в подобных разговорах особенно ярко проявлялась ненависть арестантов к духовенству. Последнее пользовалось почему-то одинаковой непопулярностью среди всех, поголовно всех обитателей каторги, и причин этой преимущественной ненависти я никогда не мог хорошенько проследить. Однажды я прочел моим сожителям наизусть, что помнил, из той главы «Кому на Руси жить хорошо», которая посвящена защите священника. Большинство камеры, казалось, согласилось с мыслью поэта; но прошло некоторое время — и возобновились прежние разговоры и прежние нелестные отзывы о духовенстве... Один из бывалых арестантов (тот самый, который носил прозвище Годунова) выказывал особенную злобу и ожесточение против попов, а между тем при подробнейшем ознакомлении с его личным прошлым я не нашел ни одного случая какого-либо столкновения его

с этим сословием. Это какая-то традиционная, передающаяся от одной генерации арестантов к другой вражда, в параллель которой можно поставить разве еще неприязнь к фельдшерам и врачам.

Но да не подумает кто-нибудь из читателей, что лучшие произведения Пушкина производили на всех арестантов деморализующее влияние. Я разумею только некоторые личности; да и про тех нужно сказать, что отдельные, вырывавшиеся у них при чтении циничные замечания были скорее делом привычки и легкомыслия: не по тому, так по другому поводу, при чтении и без чтения, замечания эти все равно были бы высказаны, как результат привычной несдержанности на язык. В сущности, они ровно ничего не показывали. Тот же самый Чирок в другие вечера говорил совершенно противоположное, выражал негодование против убийц Федора и Ксении и вообще даже чаще других являлся защитником строгой нравственности и гуманности. И что бы он ни утверждал, все у него, как у ребенка, было в высшей степени искренно. Что касается неуместного смеха или шуток во время самых патетических мест чтения, шуток, которые, естественно, возмущали и коробили меня, то они показывали одно только — неразвитость художественного вкуса; делать на основании их какие-либо общие неблагоприятные выводы о плодотворности чтения было бы несправедливо. Встречались, правда, отдельные, безнадежно испорченные субъекты, везде и всюду ухитрявшиеся найти то, чем сами были переполнены, — жестокость, грязь и цинизм; такие слушатели портили часто впечатление самых безукоризненных произведений и примером своим заражали неиспорченную часть аудитории; но большинство — я прямо утверждаю это — отдавалось всегда именно тому настроению, которое преследовал автор, и получало те же впечатления, какие получают все нормальные читатели и слушатели.

Немало помню и таких случаев, когда безнадежные циники и негодяи заражались, в свою очередь, благодушным настроением большинства и рассуждали вполне здраво и человечно. Не могу позабыть того сердечного трепета, с каким приступил я к чтению «Короля Лира» и «Отелло», единственных произведений Шекспира, которые у меня были. Мне думалось, что великан-поэт

должен будет потерпеть в этой среде полное поражение, что если он и не покажется смертельно-скучным, то единственно благодаря некоторому мелодраматизму фабулы, а отнюдь не глубине психологического анализа и всему тому, чем пленяет Шекспир образованное человечество. Но каково же было мое удивление, когда обе трагедии произвели небывалый, невиданный мною фурор и поняты были приблизительно так, как их и следует понимать! При чтении двух первых действий «Отелло» настроение публики было, правда, сдержанное, даже холодное; в душу мою начинало уже закрадываться отчаяние: кое-где слышались посторонние разговоры, и, против обыкновения, большинство не пыталось их останавливать. Один только Семенов поразил меня удивительно тонким замечанием относительно Яго, которого он раскусил после первой же сцены:

— Ну, этот их всех окрутит!

Но с начала третьего действия настроение внезапно переменилось; точно электрический ток пробежал по камере.

— Начало разбирать, — сказал Чирок, подбирая под себя ноги.

И вскоре многие повскакали с нар и с горящими глазами обступили меня кругом. Впечатление от драмы вышло потрясающее. По окончании чтения все сразу зашумели и заговорили... Жалели Дездемону (имя которой, к сожалению, никак не могли выговорить правильно), жалели и Отелло; «Ягу» ругали единогласно и строили догадки, какую пытку выдумает для него Кассио. Одним словом, при чтении Шекспира с наибольшей яркостью обнаружилась сила и мощь истинно великих произведений искусства. «Король Лир» произвел почти такое же сильное впечатление, и с тех пор эти две драмы чаще всего остального имели спрос на чтение.

Одно только обстоятельство каждый раз до глубины души меня огорчало. Проходило каких-нибудь полчаса (и это еще много) после чтения — и впечатление в большинстве случаев совершенно улетучивалось, и разговор переходил к чему-нибудь постороннему, мелко-житейскому, чему прочитанное служило иногда чисто внешним, ничтожным поводом. Через полчаса, случалось, говорили уже совершенно противное тому, что вырывалось в первом порыве впечатления. Так, почти все по-

жалели (я хорошо помню это) Дездемону, говоря, что Отелло без вины задушил ее, а через час уже ругали женщин вообще и жен в частности, утверждая, что даже и без всякой вины их следует душить, как собак. После попов и докторов арестанты больше всего ругали женщин, и если бы принимать на веру каждое их слово, то можно б было подумать, что мир не создавал более страстных женоненавистников! Особенно возмущался ими Парамон Малахов, который всю жизнь свою, по собственным его словам, погубил за женщин. По поводу Отелло, помню, узнал я и историю его двойного убийства, за которое он пришел в каторгу. *

В течение трех лет жил он с лишением прав в Иркутской губернии, занимаясь, как и теперь, бондарным ремеслом. Там он слюбился с одной девушкой, приемышем местного крестьянина. Ходили темные слухи, будто крестьянин живет с своей приемной дочерью, но Парамон пренебрег этими слухами и взял только с невесты слово, что если и было что в прошлом между нею и отцом, то впредь ничего этого не будет и она будет ему верной женой. Свадьба обошлась Парамону, по его словам, в семьдесят пять рублей, и обстоятельству этому он придавал огромное значение. Первые три месяца молодые супруги жили дружно и любовно, но потом опять стали ходить слухи об отношениях Катерины с отцом. Парамон побил ее раз, побил и другой, уговаривая не дурить. И вот в один не прекрасный день она совсем убежала к отцу... Соседи начали смеяться над Парамоном. К чувству обиды примешивалось сожаление и о потраченных напрасно деньгах.

---

* Первого дела Малахова, за которое он попал в Сибирь на поселение, я не помню в подробностях. Знаю только, что он обвинялся в изнасиловании какой-то женщины-соседки; но Парамон клялся и божился (и рассказ его внушал мне доверие), что был оклеветан тогда невинно, по злобе за то, что не уступал мужу этой женщины спорного клочка земли, который по осуждении его, Парамона, перешел в их руки. Зная его самолюбивый нрав и страсть всюду восстановлять попранную правду, я допускаю, что легко могли найтись против него лжесвидетели. С большой любовью вспоминал Малахов о своей первой жене, которую, несмотря на готовность идти в Сибирь, он будто бы не взял с собой из жалости. Переписки с ней он не вел и не знал даже, жива она или нет, но нередко, помню, проснувшись в мрачном настроении, рассказывал вслух, что видал жену ночью во сне, и с большой грустью начинал вспоминать о былой жизни в России. *(Прим. автора.)*

— В первое ж воскресенье, — рассказывал Парамои, — оделся я в праздничную одежу и пошел к тестю окончательио переговорить о своем деле. Что-ибудь одио хотелось узиать: или что Катерина одумается и бросит свое распутство, или совсем от меия откажется, и тогда оии должиы были вернуть мие мои деньги. Что касается убивства, то это я еще надвое держал в уме и так только, про случай, заложил за голяшку нож. Обоих их я иа улице встретил, перед самым домом: из церкви от обедии шли. Я подхожу. Так и так, мол, говорю, потолковать с тобой, Степан, пришел. «Знаю, говорит, о чем ты толковать хочешь. Только мое тут дело — сторона. Если не хочет оиа жить с тобой — что я могу поделать?» — «Поди-ка, говорю, сюда, Катериона, мне сказать тебе иужио». Говорю это тихо так и спокойно, к сторонке ее маию. Вот, ей-богу, ие вру, иикакой, тоись, дуриой мысли в голове еще ие держу! А оиа, стерва... она хватает за руку своего любовиика и тащит домой. «Нет, говорит, не хочу, ие об чем иам говорить». Тут взыграло во мие сердце, горючей кровью облилось. Я тоже хватаю ее за руку и тяну к себе. Так и стоим мы середь улицы — иу вот, честиое слово, правда! — я за одиу ее руку держу, ои за другую. Поворачивается она тогда лицом ко мие и говорит: «Уйди, подлец, ие то закричу, в рожу плевать стаиу».

— А! так я подлец?! — Нагибаюсь, выхватываю изза голеиища нож и — раз! раз! — в грудь ей по самый черешок два раза иож запустил. Он, любовник ее, хотел было кинуться иа меня... Я размахиулся — и его иожом в живот. Ои тут же и сковырнулся иа землю — и дух вои. А Катерина... Та, шкура, иастолько живуща была, что еще до дверей избы добежать успела. Тут я догнал ее и еще раз в спииу полысиул: ие живи, змея подколодиая!..

Слушатели, все без исключеиия, были в полиом восторге от такого поступка Парамоиа и высказывали ему горячее одобрение: так ей и иадо, суке. Не умела жить честио — ешь землю. Лежи с своим любовииком, целуйся с им!

Никому и в голову ие приходило задаться вопросом о том, какая виутреиняя драма могла происходить в душе Катерины, какие причиины толкиули ее на разрыв с законным мужем. Ни у кого ие являлось и тени со-

мнения в том, что брак ее с Парамоном имел одну цель — отвод глаз, что она все время его обманывала — и те полгода, которые он был женихом, и те пять месяцев, которые был мужем.

— Она на другой день поутру померла, — продолжал свой рассказ Малахов. — Вся деревня, вся до одного человека, за меня стояла, арестовать даже не хотели. «Ты и так, говорят, не убежишь, не такой человек». Я уж сам настоял, чтоб арестовали. Катерина, оказалось, на сносях была, уж не знаю от кого — от его или от меня, и я за тройное убивство судился: за нее, за любовника и за младенца. На суде я все обсказал правильно, все, как было, ничего не утаил, и даже судьи сожаление мне выражали... И хоть приговорили меня к шести годам, но я это за то же оправдание считаю. Шесть лет за три души — это оправдание! Потому что я праведно поступил — за свою обиду, за свой позор и за свои деньги убил! Я честно поступил!

Пытался я вставить несколько слов в осуждение убийства вообще, но этим только окончательно озлил Парамона, и он, не желая меня слушать, восклицал патетически:

— Я правильно поступил! И всякий должен сказать: «Молодец Парамон! Артист Парамон! Герой Парамон!»

— Возможно, что и так, — отвечал я. — Я ведь не думаю винить вас. Я говорю только, что все-таки лучше б было не убивать.

— Нет, надо было убивать! — кричал весь раскрасневшийся Парамон, энергично потрясая своей огромной черной бородой и ударяя себя кулаком в грудь. — Надо было убивать, и весь мир скажет: «Хорошо сделал Парамон! Орел Парамон! *Отелла* Парамон!»

Я перестал спорить, и Малахов сиял полным блеском торжества и победы. Арестанты решительно все были на его стороне. Гончаров не преминул по этому поводу рассказать какое-то событие из собственной жизни, тоже свидетельствовавшее о необыкновенной глупости и подлости женщин. Кто-то другой, вызвав в камере общий смех и веселость, рассказал затем, как по-зверски расправился он однажды со своей любовницей.

— Я ее в боковину, под ребра, под микитки, в брюхо, опять в боковину...

Чтобы не слушать, я заткнул уши. Через некоторое время я задал, однако, вопрос Семенову, как, по его мнению, должен относиться муж к жене и что делать в случае ее неверности?

Семенов удивился.

— А неужели ж прощать ей? Чтоб она, подлюха, смеялась надо мной? Да лучше ж я сейчас отрублю ей, шкуре, голову, как только подозрение явится.

— А вы, Владимиров, как думаете? — обратился я к нашему поэту, который все время молчал и, казалось, сонливо лежал на нарах, бог знает о чем думая и где витая. Медвежье Ушко, по обыкновению, долго отмалчивался и отнекивался, говоря, что ничего не знает и не думает, но потом вдруг поднялся с места, замотал головою и забасил так, что у меня явилось опасение за свою барабанную перепонку:

— А, конечно, убить ее надо!.. Жена повиноваться должна... Не мужу ж бояться жены!

Разговор окончился вполне комическим образом, когда услышали внезапно заявление Тарбагана, что и он, когда воротится домой, тоже «беспременно» убьет свою жену, если она окажется ему неверной.

При одном взгляде на грязную, опухшую от сна и жира фигурку этого животного, которое тоже мечтало разыграть из себя Отелло, все разразились смехом и принялись острить на его счет.

— Да была ль у тебя жена-то? Не во сне ль приснилась?

— Ты не на той ли колоде женат-то был, что у нашего кабака лежала?

— Нет, братцы, он на пестренькой сучке женат, что по-за тюрьмой бегает. Она за им и в каторгу пришла.

Тарбаган сердился и, как мог, отгрызался. Он не умел парировать шутки шутками.

До сих пор остается для меня непонятным тот факт, что Лермонтов пользовался в Шелаевской тюрьме несомненно большей популярностью, нежели Пушкин. Если бы меня спросили раньше собственных моих наблюдений, которого из этих двух поэтов арестанты способны больше оценить и полюбить, я, конечно, не колеблясь назвал бы Пушкина. К удивлению моему, Лермонтов не только никого не заставлял скучать, но нравился даже и мелкими своими лирическими стихотворениями,

чего нельзя сказать про Пушкина. Разумеется, другой совершенно вопрос, насколько верно их понимали, но факт тот, что Лермонтова перечитывали чаще Пушкина и охотнее о нем говорили. «Демона» в первый раз прослушали, правда, очень холодно, очевидно ровно ничего не поняв; но спустя несколько дней произошло что-то совсем для меня непонятное: «Демоном» почему-то вдруг страшно увлеклись, так что готовы были хоть каждый вечер его слушать... Особенно один полуобрусевший татарин Равилов восхищался этой поэмой; отдельные места ее заучивались им и многими другими наизусть. Очаровательная ли музыка лермонтовского стиха или титанический образ героя поэмы оказали такое влияние — не могу сказать. «Боярин Орша» и «Мцыри» пользовались почему-то меньшей любовью; зато «Песня о купце Калашникове» смело могла соперничать с «Демоном». Некоторые арестанты по выходе на поселение собирались выписывать книги, и когда, справляясь у меня о ценах, узнавали, что Лермонтов и Пушкин стоят приблизительно в одной цене, вскрикивали с восторгом, что в первую же голову купят Лермонтова... Возможно, что слова эти в действительности никогда не приводились в исполнение (до Лермонтова ль и Пушкина на воле!), но важен самый факт отношения к обоим поэтам. Пушкина тоже любили, понимали его, несомненно, даже больше, а предпочитали все-таки Лермонтова. Большим успехом пользовалась, между прочим, юношеская его мелодрама «Испанцы» — потому, быть может, что она отвечала общей неприязни арестантов к духовенству, о которой я уже рассказывал. Как известно, у драмы этой нет окончания, так как заключительный листок лермонтовской рукописи был утерян ее владельцем. Слушатели мои никак не могли взять в толк смысла этой «утери» и не раз приставали ко мне с просьбой «поискать хорошенько» конца «Испанцев»... Больше всего удивляло меня, что популярность создали Лермонтову в Шелайской тюрьме именно его стихи, а не проза. К «Герою нашего времени» относились как-то равнодушно, несравненно больше увлекаясь «Дубровским» и «Капитанской дочкой». Что касается поэта Владимирова, то он совсем низко ценил Пушкина.

— Что в нем такого? — басил он, идиотски смеясь.— Ничего в нем такого нет, ничего особенного...

И по целым дням и ночам читал и перечитывал Лермонтова.

Но кто был несомненным кумиром шелайских каторжных, писателем, пользовавшимся наибольшей любовью и успехом, так это Гоголь. К сожалению, у нас имелись не все его сочинения. Было следующее: «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Старосветские помещики» и «Шинель». Из них одна только «Шинель» принята была совсем холодно и никогда впоследствии не перечитывалась; все же остальное чуть не наизусть заучивалось. Герои Гоголя стали в нашей тюрьме нарицательными именами — лучший признак огромных размеров успеха. «Вечера на хуторе близ Диканьки» слушались всегда с напряженнейшим вниманием и то и дело сопровождались самым искренним хохотом. Кто-то назвал однажды Кузьму Чирка — Черевиком (из «Сорочинской ярмарки»), и надолго с тех пор укоренилось за ним это прозвище. Черт, ведьма, кузнец Вакула и Чуб, зашипевший от боли, когда ему закручивали в мешке волосы, стали всеобщими любимцами; хорошо запомнился даже пьяный Каленик, мимолетно лишь появляющийся в «Майской ночи». Но наибольший фурор произвели, конечно, «Мертвые души» и «Тарас Бульба». Впечатление от того и другого произведения было различное, но почти одинаково громадное. Один только Владимиров высказывал, по обыкновению, оригинальное мнение относительно «Тараса Бульбы».

— Это что такое? Чепуха, прямая чепуха. Ничего тут особенного нет... Так просто сплетено.

Общий староста Юхорев до того восхитился личностью Ноздрева при первом же его появлении на сцену, что не удержался от восклицания:

— Да это я!.. Ей-богу, я, братцы!..

И только позже, когда личность Ноздрева лучше выяснилась, он хотел было отказаться от этого тождества, но уже было поздно. С тех пор тюремные шутники не давали ему проходу и постоянно дразнили Ноздревым, а также и «херсонским помещиком». Шелайский Ноздрев-геркулес, забывая всю свою представительность и звание старосты, с яростью гонялся по тюрем-

ному двору за обидчиками, и тому, кого он ловил в свои железные лапы, приходилось плохо. Он без пощады мял носы, рвал усы и бороды, коверкал руки и ноги. Но Ракитин, Никифор, Тарбаган и им подобные не унимались и после этой науки. Слух дошел наконец до самого Шестиглазого, и он, благодушно смеясь, осведомлялся у Юхорева, за что прозвали его Ноздревым...

Коробочка, Плюшкин, Манилов, Собакевич, Петух, генерал Бетрищев и сам Чичиков также были для всех живыми лицами, общими знакомцами и любимцами. Замечательно, что даже юмористические отступления Гоголя не оставлялись без внимания. То место, где Гоголь говорит о чиновнике, который перед начальником отделения являлся куропаткой, а перед своими подчиненными Прометеем, чрезвычайно нравилось. Запомнилось почему-то даже непонятное слово Прометей, и долгое время после того называли этим именем самого Лучезарова.

— Прометей, настоящий Прометей! — говорили про него, когда он показывался на вечерних поверках в сопровождении целой свиты надзирателей.

Курьезно, с другой стороны, то, что Собакевич был принят не за отрицательный, а за положительный тип, и Малахов ужасно неистовствовал по этому поводу.

— Вот это я понимаю! Это настоящий господин, а не пустая какая-нибудь мельница. Это... Парамон Малахов! Да! Собакевич — это я сам.

К сожалению, в числе слушателей всегда были и до мозга костей испорченные люди, задававшие обыкновенно тон остальным, представлявшие нередко самый даровитый и остроумный элемент каторги. Эти люди давали иногда весьма нежелательное освещение прочитанному. Так, бродяга Дорожкин изо всех сил старался возвести в перл создания главного героя «Мертвых душ» — Чичикова; он восторгался его ловкой затеей, превозносил до небес его мошеннические таланты и кричал:

— Так им и надо, тунсам простокишным! Чтоб губ не разевали... Эх, кабы меня теперь на волю пустили, я б не такую еще пулю отмочил, я б такого им Чичикова разыграл, что не только губернатор — сам бы генерал-губернатор за меня дочку отдал!

Конечно, это было пустое хвастовство, и Гоголь настолько мало научил Дорожкина искусству мошенни-

чать, что, выпущенный вскоре в вольную команду, он почти на другой же день возвращен был в тюрьму, уличенный в краже шали у жены одного надзирателя; тем не менее подобному толкованию «Мертвых душ» мне приходилось противопоставлять свою пропаганду и делать необходимые разъяснения. Впрочем, думаю, что в конце концов поэма эта и без моей помощи была бы понята должным образом и что большинство, даже соглашаясь на словах с Дорожкиным, в глубине души не считало Чичикова положительным типом, достойным подражания, а хорошо понимало, что это — сатира. Я всегда страшно жалел, что у нас не было ни «Ревизора», ни «Женитьбы», ни «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», ни «Носа», ни «Вия», ни «Портрета», каких бы размеров тогда достигла популярность Гоголя? Во всяком случае, не подлежит сомнению, что это истинно народный поэт, единственный из всех русских писателей, который теперь же может быть понят и оценен массой народа, и, следовательно, от души следует пожелать, чтоб скорее настало время, когда сочинения Гоголя появятся в дешевом народном издании. *

С сочинениями других русских классиков: Тургенева, Толстого, Достоевского, Островского, Некрасова мне не пришлось познакомить своих сожителей, и я могу лишь гадательно судить о том, какое впечатление произвел бы на них тот или иной из этих писателей, то или другое из их сочинений.

Между прочим, особенное любопытство возбуждал во мне вопрос, что сказали бы они о «Записках из Мертвого Дома» Достоевского, и я был ужасно обрадован, когда в старой хрестоматии Филонова отыскал несколько глав из этого произведения, посвященных острожному театру. Я рассчитывал, что столь близкий и родственный сюжет вызовет в моей публике взрыв восторгов и возбудит живейший интерес, и был сильно удивлен, когда она отнеслась к прочитанному отрывку довольно-таки равнодушно, чуть не холодно. Неудача эта огорчила и, признаюсь, почти раздражила меня; я стал объяснять Чирку, Малахову и другим, что не то было бы, если б я прочел им «Записки из Мертвого Дома» в целом виде:

* Писано летом 1893 г. *(Прим. автора.)*

— А что там описывается? — спросил старик Гончаров.

— Описывается, как жили арестанты в остроге сорок лет назад, — отвечал я, — как работали, страдали, как начальство их притесняло — словом, все тюремные порядки.

— Да ведь мы и так их знаем, Иван Миколаевич! Чего ж тут читать еще?.. Вот кабы там разбои разные да похождения описывались — например, вот об атамане Рощине и его есауле Буре, ну тогда б другое дело.

— Задавить бы его надо, а не читать! — сказал вдруг Семенов, поднимаясь с нар и зажигая свою трубку. Ноздри его гневно расширились, а глаза глядели недобрым и вместе презрительным взглядом.

— Кого это? — спросил я удивленно.

— Да того, который писал эти записки, — Достоевский, что ль, его... Я читал эту книжку.

— Читали? И говорите, что надо бы задавить?! Да вы, должно быть, другое что-нибудь читали.

— Не другое, а то самое. За то его задавить надо, что он все арестантские тайны начальству выдал, за то, что благодаря ему нашему брату еще хуже жить стало!

Я стал горячиться, доказывать, что Достоевский своим сочинением оказал, напротив, обитателям каторги великую услугу, выяснив тому же начальству, что арестанты такие же, как все, люди и что обращаться с ними следует по-человечески; но с Семеновым спорить было невозможно. Высказав, точно топором отрубив, свое мнение, он с выражением все той же ненависти и презрения на лице, улегся опять на свое место и замолчал. А мысль его подхватили уже другие, Гончаров и Малахов, и начался галдеж, в котором мой голос затерялся. В тюрьме нашлись потом и еще арестанты, читавшие «Записки из Мертвого Дома», и все они единодушно порицали автора за разоблачение арестантских секретов и разных интимных сторон их жизни, утверждая, что, попадись он в свое время кобылке в руки, ему несдобровать бы... Дело в том, что по наивности большинство арестантов думает, будто начальству и до сих пор ничего неизвестно об их способе прятать деньги в так называемых «сусликах», о разных приемах и формах сменки, разбивания кандалов и т. п.

Из иностранных произведений имелся у нас, кроме Шекспира, еще «Последний день приговоренного к смерти» Виктора Гюго. Я ожидал, что книжка эта также произведет на моих сожителей потрясающее впечатление; однако и тут, как с Достоевским, ошибся... Массу публики чтение скоро утомило, а под конец и совсем усыпило: глубокий психологический анализ при отсутствии внешнего действия и завлекающей фабулы оказался ей не по силам. Что же касается отдельных лиц из наиболее страстных любителей чтения, то они, правда, выслушали рассказ до конца с большим, по-видимому, вниманием, но в полном безмолвии, как бы что-то тая про себя, и я чувствовал, что впечатление, полученное ими, было тяжелое, до того неприятное, что мне самому стало не по себе. Близкий к их собственной жизни реализм сюжета, очевидно, подавлял их душу и делал ее не столь восприимчивою к художественной стороне произведения, как в других случаях. Быть может, слушатели мои чувствовали, что с каждым из них могла или может еще в будущем случиться подобная же история, а о таких вещах, как виселица, арестанты, естественно, не любят говорить и думать. Когда в доме недавно был или ожидается в скором времени покойник, тогда всякие разговоры о смерти, а тем более пространные и картинные, неуместны...

Библиотека моя была не обширна, а времени, в течение которого она находилась в тюрьме, недостаточно было для полного ознакомления арестантов даже с нею. Поэтому я уклоняюсь от каких-либо окончательных и решительных выводов на основании сделанных мною наблюдений. Скажу только, что эти вечера, проведенные за чтением вслух, составляют лучшую и благороднейшую часть моих воспоминаний о Шелайской тюрьме, и, несмотря на все частые разочарования, сопровождавшие мои мечты о гуманитарном влиянии художественной беллетристики на обитателей каторги, лично я и до сих пор остаюсь при своем мнении. Будучи поставлены на правильную почву, чтения эти, так же как и учебные занятия, могли бы, я думаю, сыграть огромную роль в деле исправления преступников, медленно и незаметно для них самих расширяя их умственные горизонты и пересоздавая нравственные понятия. Если бы даже оказалось на практике, что это химера, поэтиче-

ская фантазия — не больше, то и тогда я горячо стоял бы не только за разрешение, но и за устройство самим начальством в каторжных тюрьмах библиотечек из классиков иностранной и русской литературы и лучших произведений второстепенных беллетристов. Библиотека могла бы быть небольшая, но хорошо подобранная. Романы кроваво-уголовного характера и рискованно-романтического содержания, конечно, безусловно следовало бы исключить из нее. Мне лично всегда казалось, что из писателей всего мира наиболее подходящим к подобной библиотеке был бы Диккенс (романов которого у меня самого, к сожалению, не было) с его полными нежной теплоты и прелести образами и картинами, с его глубокой любовью к страдающему человечеству, к детям, беднякам, ко всем обездоленным, униженным и обиженным. Романы Диккенса хороши были бы и своим большим объемом. Я вообще замечал, что наибольшим успехом и наибольшим влиянием среди арестантов пользовались именно большие по объему вещи, чтение которых продолжалось из вечера в вечер, затягивая внимание слушателей в самые сокровенные и детальные глубины повседневной жизни и психологии, не только пробуждая мысль, но и давая ей время прочно настроиться на известный лад и тон. Небольшие же по размерам повести и рассказы нередко только раздражали моих сожителей: едва успевал неразвитый ум напрячь внимание и войти в известное настроение, как рассказ уже оканчивался. Слишком мелкие рассказцы и повести, по моему мнению, совсем непригодны в большинстве случаев для арестантской библиотеки, так как арестантам нужны прочные и глубокие, а не мимолетные впечатления. Но и они также являются отвечающими своей цели, когда малограмотные арестанты сами читают их в течение очень долгого времени; тогда у каждого из таких читателей является какой-нибудь свой любимый рассказик, с которым он носится, как курица с яйцом, и помимо которого долгое время не желает признавать никаких других книг. Среди моих книг громадным успехом такого рода пользовались: «Сократ, учитель жизни», «Христофор Колумб», «Александр Македонский, называемый Великим».

Кроме романов Диккенса для чтения вслух арестантам я рекомендовал бы также исторические романы

Вальтера Скотта и Купера, а также и лучшие произведения Майн-Рида (вроде, например, «Охотника за растениями»). Не говорю уже о таких знаменитых детских романах, как «Робинзон Крузо» и «Хижина дяди Тома». «Дон-Кихот» Сервантеса также, я думаю, мог бы стоять в числе первых книг этой избранной библиотеки. Но зато я решительно высказываюсь против всяких сокращений и переделок для детей и юношества.

XVI. ШАХ-ЛАМАС

Шел месяц за месяцем, а в вольную команду всё никого не выпускали. То говорили, что постройка зимовья не окончена, то — что в управлении задержана почему-то «представка», сделанная Шестиглазым. Слухи об этой представке почти уже замолкли, и кандидаты на выход в вольную команду повесили носы, как вдруг в тюрьме началось опять оживление и шушуканье. Тюремные «вестники» — Гнус, Тарбаган, сапожник Звонаренко и другие — то и дело шмыгали из камеры в камеру и передавали, что теперь головой уже готовы поручиться за верность известия: получилась представка на тридцать пять человек; сообщали об этом по секрету самые надежные люди; один из лучших надзирателей, писарь из конторы, и, наконец, Марьюшка, любимая горничная Шестиглазого... Волнение было написано на всех лицах. Волновались даже те, кто сам отнюдь не мог рассчитывать на освобождение из тюрьмы, — вечники и тридцатилетники.

В этом обстоятельстве ярче всего сказывался невыносимый гнет тюремных стен и шелайского режима. Одна мысль о том, что целых тридцать пять человек, живущих здесь же, этою самою жизнью, страдающих от тех же причин и условий, через каких-нибудь несколько дней станут почти вольными людьми, не будут видеть за своей спиной «духа» со штыком и слышать ежеминутно грозных окликов надзирателя, одна эта мысль зажигала сердца всех радостью, вчуже заставляя предвкушать восторги свободы...

А гнет действительно был немал, несмотря на мелкие послабления, о которых было рассказано выше. Как ни чуждо большинству каторжных сознание своего

человеческого достоинства, но и им было, несомненно, больно, когда на каждом шагу попиралась их личность, ежесекундно давалось им чувствовать, что они, в сущности, не люди, а какая-то особая порода животных, называемая каторжными. Не без горечи рассказывали однажды в тюрьме взявшийся откуда-то слух о том, будто Лучезаров, ругая провинившегося в чем-то слугу-вольнокомандца, кричал:

— Ты — каторжный! Ты — раб и ничего больше! Ни божеских, ни человеческих прав у тебя нет, вон как у тех быков, что возят мне воду! И ты должен так же беспрекословно повиноваться, как они!

Скептически относилось поэтому большинство и к высказанному им перед строем взгляду на телесное наказание.

— Вот помяните мое слово, братцы, — говорил, расхаживая по камере, огневолосый, до комизма крошечный старичок, Жебрейчик по прозванию,* всегда озлобленный против всего на свете и самого себя, по выражению арестантов, любивший только один раз в году, — помяните мое слово, братцы, первого же, кого он выпорет, мертвого на рогожке вынесут! Уж он напьется нашей крови, любит он человечецкую кровь. А что до сих пор не заглядывает он нам за рубахи, так это потому, что он — змей шестиголовый и шестиглазый. Посмотрите на его брюхо: не иначе как перед самым нашим приходом живого человека слопал — вот пока и сыт... И чувствую я, сердечушко мое чует, в ухо так вот и шопчет кто-то, так и шопчет, что и мне несдобровать от его руки... Или мне от него, или ему от меня погибнуть. Чему-нибудь да уж быть!..

И, глубокомысленно вперив глаза куда-то вдаль и смехотворно расставив маленькие ножки, полусумасшедший Жебрейчик величественно останавливался посредине камеры. Велико же было его злорадство, когда по тюрьме разнесся раз слух, будто бравый штабс-капитан собственноручно избил двух каторжанок, живших у него в услужении, одной разбивши в кровь нос, другой растрепав косы. Трудно было, конечно, проверить, живя

* Жебрей — сорная колючая трава, пристающая к одежде прохожих.

под замком, справедливость арестантских сплетен, но Жебреек и не подумал подвергать их сомнению.

— Скоро, скоро теперь и до нас доберется! — пророчески вещал он, поднимая кверху указательный перст и так грустно качая головой, точно готовился к какому-то великому подвигу.

К счастью, пророчество пока что не исполнялось. Тюремных арестантов бравый штабс-капитан не только не тронул никогда пальцем, но и не обругал нехорошим словом. Тем не менее все боялись его как огня. Личность Лучезарова невольно как-то давила и пригнетала к земле; каждый чувствовал себя в его присутствии как собака при виде поднятого над нею кнута... Полное презрение к человеческой личности ощущалось в каждом его взгляде, слове, поступке. Все было в нем как-то бездушно-законно и бесчеловечно-справедливо. Лучезаров гордился своей неподкупной честностью, и действительно, арестанты все единогласно признавали, что нигде не доходило до них так своевременно и сполна все, что полагается по закону, как в Шелайском руднике; ни в какой другой тюрьме не заботились так о чистоте и гигиене. Но для каждого ясны были, с другой стороны, и мотивы этой беспримерной справедливости и заботливости; вытекали они не из живой любви к живым людям, а из жажды славы и отличия перед высшим начальством, и самое большее — из любви к самому принципу законности и справедливости, к искусству ради искусства. Самих арестантов Лучезаров третировал в глаза и за глаза как животных, не подозревая, конечно, того, что животные эти ловили каждое его слово и умели иногда являться остроумными и беспощадными критиками. Так, они никогда не могли забыть его заявления, сделанного в первый же день знакомства, что одному надзирателю он поверит больше, чем семистам арестантов. В другой раз он заявил где-то (и это также передавалось из уст в уста), что расстояние между каторжным и надзирателем такое же, как между ним, штабс-капитаном Лучезаровым, и... самим богом! Вообще он направлял, видимо, все усилия к тому, чтобы возможно большей помпой обставить свое величие и авторитет исполнителей своей воли. У него было мудрое правило, несомненно преследовавшее ту же цель: никогда не отменять слишком быстро ни од-

ного своего распоряжения, хотя бы оказавшегося тотчас же явно нелепым и несправедливым. Очевидно, он был большой политик, мечтавший пойти далеко... Впрочем, однажды и сам Лучезаров приведен был в смущение, когда среди торжественной церемониальности вечерней поверки общий староста Юхорев заявил неожиданно из строя громогласную жалобу, от лица всей артели, на одного из стоявших тут же надзирателей, который позволял себе толкать арестантов в грудь и обзывать самыми скверными словами. Лучезаров на этот раз, казалось, опешил от неожиданности; молча стоял он некоторое время, откашливаясь и гмыкая, как бы не зная, что делать. Но потом, кратко пробурчав: «Я разберу!» — величественнее чем когда-либо приказал надзирателям разводить арестантов по камерам. Само собой разумеется, что так никто и не узнал никогда, в чем состояло обещанное разбирательство... Нелюбимый надзиратель остался по-прежнему надзирателем и хотя перестал толкать арестантов в грудь, но сделался еще грубее и нахальнее. Этот надзиратель, Безымённых по фамилии, был правой рукой Лучезарова, и его ненавидели за это не только арестанты, но и товарищи по службе. Будучи доносчиком по призванию, он не вступал ни в какие соглашения с кобылкой и был так же формалистичен и бездушно-законен, как и его патрон; но он вносил в это дело страсть и огонь, и, быть может, справедливо выражался о нем Лучезаров, говоря, что из всех надзирателей один Безымённых относится к своей деятельности с «религиозной» преданностью... Целый день шнырял он по тюрьме, то подкрадываясь как кошка и настораживая уши, то налетая как вихрь и накрывая виновных; целый день кричал, бранился, придирался и грозил арестом и жалобами. В его дежурство всегда несколько человек попадало в карцер. Вся тщедушная фигурка Безымённых с красным лицом, сплошь покрытым угрями, внушала даже и мне, с которым он был по-своему вежлив, отвращение. Он требовал, чтобы арестанты за малейшим пустяком обращались к нему не иначе, как со словами «господин надзиратель», чтобы при встречах с ним, хотя бы сто раз в день, неукоснительно снималась шапка, и, делая раз выговор кому-то из ослушников, кричал на весь коридор:

— Начальник заставит вас и перед женами нашими скидавать шапку!

Последнее особенно возмутило кобылку.

— Как! Чтоб мы перед бабой, перед всякой шкурой, стали шапку ломать? — либеральничали повсюду, тут же оглядываясь, впрочем, на дверь. — Да лучше пущай в карец сажают, заморят там!

Не столько строгостью и формализмом вооружил против себя Безымённых тюрьму, сколько именно презрением к человеку, который стал каторжным, презрением, сквозившим в каждом его слове и жесте, даже в интонации голоса.

Надзиратель этот мнил себя, между прочим, образованным и начитанным человеком, и действительно, никто из его товарищей не читал охотнее и больше его. В дни дежурства при нем постоянно находился какой-нибудь переводный французский роман с раздирательно-кровавым заглавием. У него была, кроме того, тетрадь, в которую он записывал татарские слова с переводом на русский язык, и, полюбопытствовав однажды заглянуть в нее, я узнал, что это был словарь всевозможных ругательств и гадких слов.

— Зачем это вам? — спросил я.

— А как же, — отвечал он, самодовольно осклабляясь, — другой раз проходишь мимо этого зверья и не знаешь, что они там за спиной твоей лопочут... Быть может, тебя же ругают! И нельзя даже в карцер посадить!

Этого, однако, мало. Безымённых был также и поэтом, сочинял злые сатиры на арестантов и на товарищей-надзирателей, писал доносы в стихах, которые и представлял иногда благоволившему к нему Лучезарову. Однажды у него вышла по этому поводу целая баталия с надзирателем Петушковым. Безымённых написал на него сатиру, получившую в шелайском мире широкую популярность и заключавшую в себе следующий куплет:

Как шкелет, сухой, ледащий,
Он поет, поет без слов,
И прозванье подходяще,
Лаконично: Петушков!

Этот убийственный куплет и особенно почему-то непонятное слово «лаконично» показались Петушкову

кровным оскорблением, которое невозможно было стерпеть. Он нарядился в парадную форму и отправился к бравому штабс-капитану с ультиматумом: или он, Петушков, или Безымённых, тот или другой должен выйти в отставку... Но Лучезаров сумел придать делу шуточный оборот и уклониться от представленного ему ультиматума. Он был чрезвычайно высокого мнения о Безымённых.

— Грубоват он, это правда, — отвечал он обыкновенно на все обвинения против своего любимца, — но это, в сущности, не мешает. Такой мягкий по натуре начальник, как я, обязательно должен иметь палача-исполнителя!

Вот почему все подкопы и подвохи арестантов и самих надзирателей под Безымённых были долгое время напрасны. Он держался прочно и погиб тогда только, когда бог лишил его разума и, соблазнившись даром стихоплетства, он сочинил сатиру на самого своего покровителя. Враги поспешили представить ее по адресу, и злополучный поэт чуть не в двадцать четыре часа был удален от должности...

Другой из нелюбимых арестантами надзирателей, Воронков,[38] был совсем еще мальчик, с едва пробивавшимся пушком на губах, хорошенький, как красная девушка, но нахальный и развращенный, как самый последний из каторжных. Власть, видимо, опьяняла его. При обысках у тюремных ворот, во время ежедневных выходов на работу, он бывал особенно дерзок и циничен. Остерегаясь много «чирикать», по арестантскому выражению, со мною и желая в то же время и мне доставить неприятность, он ограничивал свой обыск по отношению ко мне тем, что, проходя мимо, как-то особенно нагло хлопал меня ладонью по шапке; сделать это он никогда не забывал. Впрочем, Воронков был страшный трус и если встречал со стороны арестанта сколько-нибудь серьезный отпор, то немедленно поджимал, как заяц, хвост и сносил порою такие резкие ответы и даже прямые ругательства, какие потерпел бы и не всякий из шпанки.

Сознание бесправности и каторжной бессудности чувствовалось в Шелайской тюрьме на каждом шагу, во всех мелочах жизни. Лучезарову не нравилось, например, чтобы во вверенной его управлению тюрьме

числилось чересчур много больных, и пьяница фельдшер, приходивший в тюрьму за тем только, чтобы выпить или взять с собою из аптеки бутылку спирта, в точности исполнял его желание: у него никогда не было занято в лазарете более половины коек, и если оказывалось невозможным не принять кого-либо из вновь захворавших арестантов, то из старых обязательно один должен был выписываться, как бы ни чувствовал себя слабым. Кроме того, бравому штабс-капитану не нравилось, чтобы в Шелайской тюрьме были «богодулы», то есть слабые арестанты, неспособные к тяжелым физическим работам.

— Моя тюрьма — рабочая тюрьма, — заявлял он, — а не богадельня. Я не виноват в том, что ко мне присылают стариков, больных и увечных. Никаких богодулов я не желаю поэтому признавать. Все без исключения должны числиться на работе, раз не лежат в лазарете!

И действительно, он ухитрялся даже рассыпавшимся от дряхлости старичкам подыскивать какое-нибудь занятие, изобретать рабочую должность. У него было при этом предвзятое и часто совершенно неверное мнение, будто работы камерных старост, парашников и прочих «уборщиков» — самые легкие работы, наиболее подходящие для богодулов, и потому назначал на них стариков и слабосильных. Между тем должности эти были одни из самых тяжелых и хлопотливых. Два раза в неделю парашники и старосты обязаны были мыть столы, скамьи, нары и полы, ползая при этом с тряпкой в руках на коленках, так как швабры почему-то строго запрещались. Камеры должны были блестеть как стекло. Старосты же обязывались ежедневно чистить в кухне картошку, а когда в тюрьме уменьшалось число арестантов, возить также дрова и воду. Летом их же функция была — садить и поливать капусту на огородах. При назначении камерных старост никогда не наводилось у фельдшера справок о здоровье кандидатов на эти должности, и нередко поэтому случалось, что заведомые сифилитики и чахоточные мыли нам посуду, делили наше мясо и хлеб. В парашники назначались первоначально добровольцы, но затем Лучезаров перестал справляться с желанием или нежеланием арестантов идти на эту должность и отказывавшихся от нее начал

сажать в карцер. Вскоре он пришел почему-то к убеждению, что работа эта будто нарочно создана для татар, к которым он, подобно кобылке, безразлично причислял и настоящих татар, и кавказцев, и сартов. Это обстоятельство и послужило поводом к одной истории, которая окончилась трагическим образом для одного из арестантов и явилась для всей тюрьмы началом новой, еще более мрачной эры.

Был в Шелайском руднике один странный лезгин с сильно серебрившейся уже головой, не раз бегавший из каторги и не раз за это изувеченный и израненный пулями и штыками, человек несомненно болезненный и слабосильный. Только глаза Шах-Ламаса, большие и черные, гордо глядевшие с высоты красивого орлиного носа, говорили еще о несокрушимой внутренней энергии и пламенной ненависти к врагам-урусам. К физической работе он был мало годен, и на нем-то остановился Лучезаров, когда, обходя однажды камеры на вечерней поверке, узнал, что один из прежних парашников захворал и помещен в лазарет.

— Так вот этого старика назначить, — решил он, указывая надзирателям на Шах-Ламаса, — это самая татарская работа.

И с этими словами величественно выплыл из камеры. Шах-Ламас, услыхав от товарищей, в чем дело, онемел сначала от изумления и гнева, потом громко стал кричать:

— Мой — парашник? Татарска лаборт? Моя показал бы тебе Кавказ татарска лаборт! Сичас секимбашка!

Насилу его успокоили и уговорили, не затевая истории, сказаться наутро больным. Этим путем действительно удалось на время отделаться от неприятной работы; но прошел день — и надзиратели, помня приказание начальника, опять назначили злополучного лезгина парашником. Тогда Шах-Ламас наотрез отказался повиноваться. Целую неделю его продержали за это в темном карцере и, выпустив, опять велели таскать парашки.

Уходя в этот день в рудник, я был уверен, что Шах-Ламас снова откажется, и, признаюсь, с некоторым любопытством ожидал развязки этой борьбы начальства с упрямым кавказцем. Возвратившись с работы, я еще

под воротами догадался, что в тюрьме произошло что-то необычайное. Нас обыскали с давно забытой уже тщательностью и грубостью; котелки и мешки у всех были немедленно отобраны.

— Из чего же мы чай будем пить? — жалобно вопрошала кобылка.

— Для казенного чаю казенная посуда есть, — отвечал дежурный надзиратель, — а свой чай запрещен.

— Как так запрещен? Когда? За что?

— А вот там узнаете.

Как горох посыпались арестанты по тюремному двору, торопясь скорее в камеры, чтобы узнать о случившемся. Вбежав в коридор, мы увидали, как и в самом начале пребывания в Шелайской тюрьме, что все двери опять заперты на замок. В дверную форточку моего номера выглядывало пухлое лицо Тарбагана, видимо горевшего нетерпением поведать вновь пришедшим великие новости; за ним шевелились рыжие усы Гнуса. Только что надзиратель впустил горных рабочих в камеру, как оба они излились в потоках слов.

— Да стойте вы, черти, толком сказывайте, что случилось!

— Шестиглазого чуть не убили! — выпалил Яшка.

— Не убили, а попотчевали, — поправил Гнус.

— Ну?!

— А вот те и гну!

— Сказывайте путно, не томите. А то тянут, тянут, ровно мертвого за нос. Сказывай ты, Тарбаган!

— Шах-Ламас опять от парашек отказался. Доложили Шестиглазому... Вот он и заявляется сам в тюрьму: «Эт-то, говорит, что? Ослушание воле начальства? А знаешь ли ты, что́ бывает за отказ от работы?» Тот, черкес-то, резал в это время хлеб на нарах, закусить собирался. «Моя, говорит, вот что знает!» Да как развернется!.. Ну только тут кобылка путает, потому в камере-то о ту пору никого больше не было... Одни говорят, ножом хватил он Шестиглазого, а другие — ковригой хлеба. Ножом — вернее.

— Ковригой!! — прошипел Гнус, прерывая Тарбагана и от необычайного волнения совсем теряя голос. — Ножом не успел, потому надзиратели за руки схватили.

— Вот будет еще спорить, гнусина проклятая! — рассердился Тарбаган. — Звонаренке же лучше знать.

Ои в мастерской был, когда Шестиглазый назад уходил, он своими глазами видел, как у него пола отрезаииая от шинели болталась...

— Не голова ль еще, скажете, болталась? Пропадите вы и с Звоиареикой вместе. Мне сам Прокопий Филиппыч сказывал — кому ж лучше зиать? Ои первый и схватил черкеса. Озверел, говорит, вовсе, насилу удержали; ругался тоже шибко и в глаза плевался. Ну, да за то ж и иадзиратели иамяли ему бока, уж так иамяли — ие рыдай, моя мамоиька! А сам Шестиглазый, братцы мои, выхватил, говорят, левóльверт из карманa и кричит: «Убью и отвечать ие буду».

Обиженный Тарбагаи отошел иа время в стороиу, и ареиой общего виимаиия всецело завладел Гиус.

— И кузнецов всех четверых, братцы мои, посадили, — шипел ои.

— Как кузиецов? Их-то за что?

— А иожик-то? Нож-то откуда у его взялся? Надзиратели тотчас же сказали, что ихней чьей-нибудь работы. Им тоже, пожалуй, здорово теперь влетит.

— Да, всем теперь влетит, — мрачио заметил Никифор Буреиков, — уж коли котлы отобрали...

— Вот баба! — прикрикнул иа него Семеиов. — О том бы плакал, что Шестиглазому брюха ие распороли, а ои об котлах. Да ты кто? Арестаит? Ты в каторгу разве чай шел пить? Не тот ли, что в обозах срезáл? Вот оии, честиые, черт бы их чесал... Котел отобрали — испугался!..

Это резко выраженное Семеновым миеиие сразу дало тон иашей камере, определило, как следовало глядеть остальиым иа поступок Шах-Ламаса. Все выражали ему иа первых порах сочувствие и жалели о иеудаче его попытки. Тарбагаи между тем сиова овладел общим виимаиием и начал повествовать о том, чему сам был свидетелем.

— Сейчас же, как отвели черкеса в карец, камеры все иа замок заперли. Я на куфне был — меия оттуда дежурный в шею вытолкал. Заперли и того ж часу с обыском заявились. Всё до ииточки перебрали и перешарили. Котлы, чашки у кого были камфоровые — все, все забрали. Тряпочка где лишняя иашлась, иголки, иитки — все как метлой замели. Ножичишек несколько

штук тоже нашли, взяли. Книжки Ивана Николаевича, и Чичикова и Собакевича — всех уволокли!..

— Как! И книги тоже? — вскричал я, глубоко опечаленный тем, что так недолго продолжались наши блаженные вечера, полные такой поэзии и оживления.

— Все до одной. Библию только не тронули. Слышно, еще в кандалы всю тюрьму заковывать станут.

— Н-ну?!

— Нет, за нос тяну.

Все невольно повесили головы.

— Ах ты, распостылый Шелай! — заговорил опять Никифор. — Махонький карандашичек в щели у меня был, и тот вытащили. Помешал вишь им!

— Боятся, что Шестиглазому глаз выколешь, — сострил кто-то.

— Нет, что на тот свет родителям записку напишешь.

Мы принялись осматривать и разбирать свои подстилки и вещи, беспорядочно сваленные в одну кучу, спеша узнать, что у кого пропало и что уцелело. Увы! разорение было полное... Малахов, вернувшийся к вѐчеру из мастерской, принес новую неутешительную весть: камеры думают разбивать по-новому!.. Действительно, страшно неприятно было, сжившись в течение нескольких месяцев не только с людьми, но даже и с нарами, вдруг очутиться в новом месте, рядом с новыми, часто почти незнакомыми соседями, с которыми надо еще сходиться и свыкаться.

— Ну, да и вольная команда теперь улыбнулась, — подбавил Парамон масла в огонь, в раздумье выколачивая о нары свою трубку.

Он сам ожидал скорого выхода на волю, и в голосе его слышалась некоторая досада. Досаду эту, несомненно, испытывали и многие другие арестанты (вольной команды ждали также Гандорин, Тарбаган и Пестров), и, наверное, она прорвалась бы наружу, если бы не страх перед Семеновым; все хорошо видели его горячий, полный насмешки и злости взгляд, устремленный на них с нар, и молчали. Только Гандорин тяжело вздыхал и шептал какую-то молитву.

На вечернюю поверку вышли в этот день с невольным содроганием и ознобом во всем теле. Были уверены, что прибавятся новые неприятности. Ожидали самого Лучезарова... И вот он действительно появился,

окруженный обычной помпой и величием. Но торжественнее чем когда-либо развевалась на его плечах шинель и возвышалась на голове белая папаха. Лицо было багрово-красно, и грозно свешивались длинные рыжие усы. Шапок он не разрешил надеть, и когда после молитвы все затаили дыхание и водворилась мертвая тишина, он долго стоял молча, медлительно осматривая бритый строй арестантских голов.

— Вот что! — обычными вступительными словами началась наконец речь, и сердца у всех дрогнули. — Одним из таких же артистов, как вы, сегодня произведено было на меня дерзкое нападение. Артист этот не знал, очевидно, что я не из трусов, что я хожу постоянно вооруженный, готовый застрелить всякого, кто попытается меня оскорбить. Он понесет, конечно, заслуженную кару, но и вы все... да, все!... все являетесь в моих глазах ответственными за его поступок. И прежде всего ответственен староста той камеры, где он жил. Ему не могло не быть известным, что в камере находится запрещенный законом нож, а также и то, что этот артист способен отваживаться на то... на что он отважился. За то же самое отвечает и вся камера номер семь. Поэтому объявляю эту камеру арестованной на один месяц, то есть лишенной на это время табаку, чаю и прогулок, а также закованной в ножные и ручные кандалы; старосту же подвергаю, кроме того, заключению в темном карцере на неделю. Это относительно камеры номер семь. Но виновна и вся тюрьма. Во время последовавшего сегодня, по моему приказанию, обыска во всех камерах нашлись недозволенные мною ножи. Кто их изготовлял, тот понесет особое наказание. Но завтра же я прикажу всех вас заковать в кандалы и камеры строго держать отныне на запоре. Не умели пользоваться моей добротой — побрякайте теперь браслетами. Отбираю также и книжки, которые... которые я дал было вам, снисходя к просьбе... образованного человека, мечтавшего этими книжками научить вас уму-разуму. Я слышал, что они много вас увеселяли и забавляли, но такие артисты, как вы, не стоят никаких забот о себе и никакого снисхождения. В заключение еще вот что! Многим из вас вышли уже сроки выхода в вольную команду, но знайте: никто не будет выпущен до тех пор, пока я не увижу искреннего раскаяния и полного исправ-

ления. Обязанности камерных старост особенно велики и важны: их дело не только держать камеры в чистоте и порядке, но также следить за благонравием живущих с ними товарищей. За всякую новую историю, подобную сегодняшней, я буду прежде всего с них взыскивать. Дежурный, читайте наряд на работы, за исключением арестованного седьмого номера.

При разводе арестантов по камерам последовало затем нововведение: камеры немедленно были заперты на замок, и, при обходе их Лучезаровым, каждая снова отмыкалась. При этом прежде всего кидались в камеру надзиратели, тесным кольцом окружая робко жавшуюся шпанку. Бравый штабс-капитан доходил до середины помещения, грозно окидывал его безмолвным взором и в том же подавляющем безмолвии удалялся.

Этот роковой вечер все мы провели мрачно и молчаливо. Ученики, угнетенные и озлобленные, тотчас же легли спать; Гандорин не рассказывал Тарбагану своих сказок и очень долго молился, стоя на коленях и громко стукаясь лбом об пол; да и самому Тарбагану было не до сказок. Малахов пытался, правда, показать, что ему все на свете трын-трава и запел было приторно-пьяным голосом, наклоняясь к Чирку и задирая его:

Уж я сяду под оконце,
Погляжу на красно солнце, —

но Чирок, очевидно не расположенный к шуткам, ограничился только тем, что дал «чернопазому дьяволу» хорошего леща в спину, обругал его пьяной рожей и велел ложиться спать. Даже Гончаров не резонировал в этот вечер и очень скоро заснул...

XVII. ОБЫЧНАЯ РАЗВЯЗКА

Началось мрачное, тяжелое время. Чувствовалось, что население тюрьмы разделилось на две партии, враждебные одна другой. Одна из них, менее, правда, численная, но зато более сильная влиянием, состояла из людей, безусловно одобрявших поступок Шах-Ламаса и выражавших сожаление лишь о том, что ему не удалось отправить на тот свет Шестиглазого. К этой партии принадлежали, между прочим, и все магометане,

хотя они держались, как всегда, обособленно от русских и, не высказывая громко сочувствия своему единоверцу, ходили сосредоточенные, печальные и таинственные. Затем шли «иваны́», тюремные воротилы и бывалые люди, горой стоявшие за поддержание старинных арестантских обычаев и порядков и с озлоблением смотревшие на то, как постепенно разлагаются и падают освященные преданием устои и на развалинах славного прошлого воцаряется «новый род» трусов, «хвостобоев» (подлипал) и «язычников» (шпионов). Часть этих вожаков, вроде Семенова и Гончарова, были, несомненно, люди искренние и убежденные; но многие другие оправдывали Шах-Ламаса вовсе не потому, чтобы верили в его правоту или чтобы внутри их действительно горел огонь непримиримой вражды и ненависти, а потому только, что искали в толпе популярности и первенства. Большинство тюрьмы составляла безличная масса, шедшая туда, куда ее влекли и толкали поводыри; из страха перед ними она первое время таила в глубине души свои истинные (трусливые) взгляды и симпатии, высказываясь неопределенно, смотря по тому, чей голос громче и увереннее раздавался вокруг. Но вскоре заявила о своем существовании и крайняя правая, состоявшая большею частью из благочестивых старичков и других, рвавшихся в вольную команду; они недолго скрывали свое озлобление и негодование против виновника новых репрессий. Однако левые, неблагонамеренные, опираясь на безличную, трусившую перед ними шпанку, одержали вначале решительную победу, и старички принуждены были прикусить язык и съежиться. В одном номере арестанты хотели даже побить своего старосту, слишком близко к сердцу принявшего наставления Лучезарова... Несмотря на запертые двери, вожаки успели тотчас же обменяться паролями и лозунгами предстоявшей кампании, и скоро во всей тюрьме господствовало мнение, что «кориться» Шестиглазому отнюдь не надо, товарища выдавать не следует.

— Что он может с нами сделать? — кричали главари. — Котлы отнял, чай? Да душа из него вон и с чаем его вместе! В кандалы заковал? Так на то мы арестанты, на то и в каторгу шли. Вольную команду отымет? А начхать нам на его вольную команду! Это им она нужна, старичкам благословлённым, тем, у кого хвост

да язык долги, а мы, коли что задумаем, и в тюрьме можем сделать!

— А я так полагаю, братцы, — ораторствовал кто-то в другом углу, — что еще сам же Шестиглазый ответит. Потому он не имеет никакого полного права всех за одного наказывать. Приедет же какое ни есть начальство следствие сымать; заявим тогда все, как один человек: так и так, мол, ваше превосходительство, житья нет, утеснение большое. И, помни: ему нагорит! Все его злодейства можно раскрыть и объяснить. Наше дело и по закону правое, братцы, чего нам кориться? Может статься, еще и черкесу ничего не будет, потому закона такого нет вынуждать человека парашки таскать.

Но в армии крайних была одна брешь, один слабый пункт, которого в начале никто не замечал: это то, что Шах-Ламас был не свой, а «татарин». К татарам же, то есть магометанам, русские арестанты относятся вообще крайне враждебно. Вражда эта взаимная, и причин ее множество (среди них играют, быть может, некоторую роль и перешедшие в инстинкт исторические воспоминания). Нельзя вполне отрицать, например, того, что кавказцы, сарты и другие инородцы, непривычные к тяжелому физическому труду, всеми силами стараются от него увильнуть и, где можно, «проехаться на спине» русских; но последние преувеличивают этот их недостаток и обвиняют нередко в лености и желании лодырничать даже самых трудолюбивых из магометан, на чьей спине сами ездят. Незнание магометанами русского языка и явное нежелание учиться говорить на нем также поддерживает взаимное недоброжелательство. Магометане держатся в тюрьмах обособленными кучками, раздражая русских своим гортанным наречием, монотонно-певучим, несколько гнусавым чтением Корана и обрядами омовения, которые и мне внушали, помню, брезгливое чувство. С своей стороны, и «татары» мало имеют причин любить русских, видя на каждом шагу высокомерное отношение к себе, слыша постоянные окрики: «У, зверь! татарская лопатка!» и пр. Восточная вспыльчивость берет иногда свое, и в ход пускаются ножи. В дороге довольно нередки кровавые столкновения между русскими и черкесами.

Что касается Шах-Ламаса, то, несмотря на общее нерасположение к его единоверцам, он лично пользо-

вался в тюрьме популярностью и уважением. Все хорошо знали, что он человек, не раз бегавший с каторги и вообще умеющий за себя постоять, что он в самом деле болен, а не притворяется только негодным к работе. Старик отличался, кроме того, веселостью характера, сносно говорил по-русски и, будучи в Шелайской тюрьме единственным кавказцем, дружил больше с русскими, чем с татарами. В этом отношении с ним мог соперничать разве только узбек Маразгали, которому я посвящу одну из следующих глав. Когда случилась история Шах-Ламаса, в первые минуты никому даже и в голову не пришло вспомнить о том, что он «татарин», а не русский. Но под влиянием репрессалий и малодушного страха за будущее об этом вскоре вспомнили.

Послышалось легкое шушуканье по углам; начались косые взгляды на татар, киргизов и сартов, и скоро последним житья не стало.

— У, зверь! Татарская лопатка! — слышалось повсюду по делу и без дела.

В кухне произошло столкновение между поварами, кандидатами в вольную команду, и сартами, приходившими брать кипяток. Один из сартов в ответ на плевок повара брызнул в него горячей водой и был за это побит кухонниками и другими присутствовавшими в кухне арестантами. Плевок русского как-то замяли, а о том, что сарт облил его кипятком, говорила вся тюрьма, утверждая, что «их всех за это проучить надо». Замечательно, что даже Семенов, который был настолько умен, что мог бы, казалось, сообразить, к чему клонится, в сущности, вся эта агитация против татар, и тот увлечен был общим движением и тоже скрипел зубами при виде двух комичных киргизов, живших в нашей камере под его нарами и раздражавших его своим неумолкаемым «гыр-гыр-гыр», как называл он их разговор друг с другом.

И действительно, не успели очнуться подобные Семенову арестанты, как обострившаяся вражда к «татарам» перенеслась уже на Шах-Ламаса и его поступок, и беседы в этом смысле стали вестись открыто и безбоязненно.

— Подумаешь, какой барин! — ворчал Яшка Тарбаган. — Парашек не захотел таскать!

— У них там, на Кавказе, все ведь бояры да князья, — сочувственно подтверждал Гандорин.

— И ведь всегда так эти нехристи, — вмешивался Малахов, — скажи ты не по ём одно слово, сейчас он за кинжал или за нож хватается. Секим-башка!

— У, звери лесные!

— Вредный старичонко этот Шах-Ламас. Я давно замечал за им... Глаза так и прыгают, словно стреляют. Нехороший тот человек, братцы, у которого глаза стреляют!

— А теперь вот страдай из-за него... Котлы даже отняли! — жаловался Никифор, особенно близко принимавший к сердцу отнятие котлов.

Буренков был страстный любитель чая и мог выпивать один чуть не целое ведро. Перед вечерней поверкой он приносил из кухни свой котелок, наполненный горячим кирпичным чаем, и плотно закутывал халатом. Как только проходила поверка, котелок вытаскивался на стол и начиналось священнодействие чаепития, которого уже не могли потревожить ни звонок на работу или поверку, ни окрики надзирателей. Не знаю, каким образом, но даже и в это опальное время Никифор примудрился достать себе какой-то завалящий котелок, и однажды с ним произошла по этому поводу прекомичная история. Только что выволок он из потайного места свой котелок и стал над ним священнодействовать, как надзиратель Безымённых подошел к дверной форточке и закричал:

— Буренков! Ты чай пьешь?

— Какой чай! Сырую воду!

— Да разве я не вижу — пар идет?

— Это, ей-богу, от холодной воды... с морозу...

И в доказательство Никифор зачерпнул из водяного бака под столом чашку холодной воды и выпил одним духом. Надзиратель не отходил и наблюдал. Никифор еще зачерпнул чашку и опять всю выпил... И так выпил он по крайней мере пять чашек подряд, считая почему-то возможным убедить этим путем надзирателя в своей невинности! Надзиратель, однако, не убедился и, отомкнув камеру (ключи не были еще отнесены на ночь к начальнику), при общем хохоте кобылки забрал и унес котел с чаем, оставив обескураженного «назудившегося» сырой воды Буренкова с носом...

— Знаете что, братцы, — вдруг вскрикивал теперь Никифор, весь встрепенувшись, — я так полагаю, что лучше всего нам покориться... Потому из-за чего же похмелье в чужом пиру терпеть? Мы ведь совсем тут сторона... То ли было дело, как прежде жилось? Миколаич читал нам, мы учились... Камеры отворены были... Котлы опять...

— Да душа из тебя вон и с котлами вместе! — не удержавшись, закричал на него Семенов — Корись, коли хочешь. Обвешайся хоть весь котлами своими, разбей об них лоб!

— Ну и покорюсь. Ты чего? Мне что? Мне ведь не в вольную команду выходить. Я об себе разве? Я за правду...

— Праведник выискался, честный!.. — злобно захихикал Гончаров, грузно поднимаясь с места и поддерживая Семенова.

— Ты не будь честным, тебя ведь не приглашают, — огрызнулся против него Никифор. — По мне, хоть в магометанскую веру переходи, хоть замуж за себя своего Шах-Ламаса бери!

Завязалась крупная перебранка, во время которой Гончаров с Семеновым кричали:

— Да коритесь, коритесь, кто вас держит! Душа из вас всех вон! И из вас и из татар ваших вместе. Нашли с кем в дружбе обличать нас. Не за татар, а за правила арестантские стоим мы. Коритесь, души благочестивые, бейте хвостами!

Но события предупредили намерения благочестивых душ. По тюрьме скоро разнесся слух, что приехал чиновник особых поручений, очень важное, чуть не титулованное лицо, снимать с Шах-Ламаса допрос. Через день или два «лицо» действительно появилось в тюрьме. Это был совсем еще молодой и очень любезный человек, приятно улыбавшийся и в каждой камере осведомлявшийся, нет ли у арестантов каких-либо претензий или жалоб. Кобылка отзывалась, по обыкновению, что всем и вполне довольна. Отыскался один только смельчак из всех ста пятидесяти человек, до тех пор неизвестный большинству даже по фамилии, но тут вдруг нарушивший общее молчание и принесший жалобу на пищу. У любезного молодого чиновника сдвинулись тотчас же брови, и голос стал сух и серьезен.

— Чем же плоха пища? — спросил он холодно, сквозь зубы. — Не сполна выдаются продукты, что ли? Ты, братец, подумай хорошенько, прежде чем приносить такую претензию.

— Пищу часто в рот нельзя брать, — смело продолжал безвестный арестант, — одно время совсем гнилую картошку давали...

— Это дело будет расследовано, — оборвал чиновник и поспешно вышел из камеры.

Лучезаров чувствовал себя глубоко оскорбленным. Как! Он, бравый штабс-капитан, не сполна выдает продукты? Он кормит арестантов гнилью?.. Вместе с чиновником он спустился немедленно в кухонный подвал и освидетельствовал хранившуюся там картошку (перед тем в кухню прибежал опрометью запыхавшийся эконом и велел поварам сгрудить в сторону весь подозрительный пищевой материал). Картошка оказалась превосходнейшего качества. Поданный для пробы начальству арестантский обед (словленный сверху котла жирный навар) также найден был и вкусным и необыкновенно питательным.

— У меня дома не варят таких славных щей! — торжественно заявил молодой чиновник и тут же назначил поварам от себя по полтиннику на чай и сахар.

На вечерней поверке того же дня было громогласно объявлено, что арестант, предъявивший ложную жалобу на свое начальство, подвергается заключению в темном карцере на один месяц, с закованием в ручные кандалы. А на следующее утро сановное лицо вызвало в канцелярию Юхорева и всех камерных старост и сделало им строгое внушение относительно лежавших на них обязанностей. Рассказывали после, что многие старички, в том числе и наш Гандорин, падали в ноги и тут же называли имена разных «неблагонадежных» товарищей. После этого лицо уехало, отдав предварительно приказание перевести Шах-Ламаса, до решения дела, в Зерентуйский рудник. Больной старик был вынесен почти недвижимым из карцера, брошен на подводу и, несмотря на большой мороз, еле прикрыт халатом. Я слышал впоследствии, что вскоре по прибытии в Зерентуй он и умер, не дождавшись своего осуждения, которое, несомненно, было бы очень строго.

Кобылка после всех этих событий окончательно перетрусила, и каждый помышлял только о спасении собственной шкуры. Всякий раз, как Лучезаров являлся в тюрьму, то в той, то в другой камере к нему обращались с мольбами о выпуске в вольную команду и уверениями в благонамеренности. С надзирателями также происходили у многих таинственные беседы и шушуканье. Язык приходилось крепко держать за зубами...

XVIII. В ШТОЛЬНЕ

В это тяжелое время рудник являлся для меня единственным местом отдохновения и сравнительного душевного покоя. Уйти возможно дальше от ненавистных стен тюрьмы, из этого царства гнета и всяческой злобы, уйти на возможно долгое время и погрузиться всем существом, всеми силами души и тела в физическую работу, бить без передышки молотком по буру, мерить и считать готовые уже вершки и потом снова махать и махать молотком — опять сделалось для меня на время наслаждением, в котором было что-то болезненное, почти мучительное... Петр Петрович давно уже дал мне другое назначение, переведя из шахты в так называемую штольню, где было и теплее и камень значительно мягче. Здесь даже я мог без особенного утомления выбуривать восемь — десять вершков в день. Трудна была только обивка, и потому в товарищи мне назначался в такие дни кто-нибудь из силачей, вроде Семенова, но буривал со мной обыкновенно Ракитин.

Не мешает, быть может, объяснить, что такое штольня. Так назывался горизонтальный подземный коридор, направлявшийся от светлички к шахтам. До нашего прибытия в Шелайскую тюрьму в нем было прорыто, тридцать лет назад, около семидесяти сажен. Но работа в этом узком коридоре требовала не много рук: нужны были только два бурильщика и один откатчик, вывозивший в особо устроенном вагончике на отвал взорванную породу. По мере углубления штольни в гору требовались еще изредка плотники, ставившие новые подпорки (крепи) и удлинявшие мостки, по которым откатчик возил свой вагон. Таким образом, работать мне приходилось большею частью в полном одиноче-

стве, так как товарищи мои по бурению оканчивали свой урок значительно раньше и, отработавшись, уходили в светличку; я же, не торопясь и подолгу отдыхая, стучал молотком иногда вплоть до самого ухода арестантов в тюрьму.

В одном отношении штольня была, без всякого сравнения, лучше шахты; зимой в ней было гораздо теплее, чем на открытом воздухе, а летом не струилась со всех боков, как в шахтах, холодная вода, попадавшая за шею и в сапоги.

Живо и отчетливо рисуются мне эти долгие-долгие часы, которые просиживал я один-одинехонек в своем подземном мире. Слабо мерцала сальная свеча, прилепленная к камню, ежеминутно оплывая и тускнея; слева и справа, на расстоянии сажени один от другого, возвышались гранитные бока коридора; над головой висел неровный каменный потолок, который, казалось, вот-вот должен обрушиться... Но он держался прочно; мелкие каменья при обивке отлетали прочь, и оставался сливной камень, имевший слишком много точек опоры. Впереди стоял тот же мрачный гранит, в который приходилось стучаться; а позади свет моей свечки боролся с тьмою, переходил скоро в беглые тени и наконец совсем тонул среди вечно царствовавших там сумерек. В отдалении только, в самом конце штольни, виднелось небольшое оконце — выход на свет божий; с ним приходилось сообразоваться, чтобы вести штольню всегда по прямому направлению. Иногда, случайно погасив свечу в забое, я видел, как этот далекий просвет отражался на передовой каменной стене в виде небольшого светлого пятна, производившего самую полную иллюзию лунного света... В штольне, несмотря на ее сравнительную теплоту, чувствовалась постоянная сырость, и даже глазами можно было видеть испарения, плававшие вдоль стен. Бывало, задумаешься, глядя на этот туман, и вот он принимает постепенно в воображении смутные, странные очертания, говорящие о забытом всеми мире страданий, уже отживших, отошедших в вечность, но, однако, все еще как будто живых и реальных. Неясные сначала образы принимают постепенно резко определенные формы, и вот уже мерещатся бледные лица и костлявые фигуры людей, когда-то терпевших здесь действительно нечеловеческие муки — муки, перед которыми теперешняя ка-

торга — пустая игрушка, проливавших здесь не только пот, но и кровь, полагавших живот свой... Во имя чего? Кто были эти люди? Бессознательные жертвы общественных несовершенств, нищеты, невежества и диких вожделений, или же носители каких-либо высоких идеалов? Я не знал: но все, все без различия представлялись мне в эти минуты одинаково страдавшими и потому равно казались братьями и товарищами по несчастию. Я видел глаза, полные слез и ужаса, с недоумением вопрошавшие меня: «За что?» Видел поднятые кулаки, стиснутые бессильной злобой и точно искавшие врага, которого следовало бы растерзать; мне явственно слышались и вздохи отчаяния, вылетавшие из впалой, истомленной груди, и хриплый смех ярости, жаждавшей упиться местью...

Бледные тени, ужасные тени!
Злоба, безумье, любовь...

Даже кандальный звон чудился по временам... И, вздрогнув, я спешил оторваться от страшной галлюцинации. Это все прошло ведь, этого больше не будет. Теперь остается уже бледная тень того, что было, и можно надеяться, что и эта последняя тень исчезнет с первыми лучами солнца... Но тут я снова вздрагивал, хотя совсем уже от другой — реальной причины: в глубине горы прокатывался слабый глухой гром, явственно доносившийся, однако, до слуха, благодаря царившему кругом гробовому безмолвию. Эти голоса горных духов первое время пугали меня, потому что казались предвестниками землетрясения; но они повторялись так часто, что скоро я перестал даже обращать на них внимание. При мне в Шелайском руднике не было ни одного настоящего землетрясения, но в старину они бывали нередки и породили целые легенды. Одну из таких легенд рассказал мне светличный старик сторож. Подобно кобылке, и он утверждал, что в Шелае был однажды обвал, похоронивший под землею несколько десятков каторжных; только старик относил этот случай к еще более давнему времени, которого сам не запомнил.

— Вот работают раз ребята в горе, — рассказывал он, — работают, ни о чем не думают. Вдруг прибегает нарядчик, кричит: «Вон выходите скорее, гора идет!» Все побросали сейчас же инструмент и побежали вон.

Выходят — им нарядчик навстречу: «Куда, мерзавцы, идете? Чего работу бросили?» Они: «Так и так, говорят, ты сам сейчас приходил звать: гора, мол, идет». — «Да что вы, говорит, очумели, што ли? Или пьяны напились? Гора и не думает трогаться. Над вами кто-нибудь из каторги подшутил. Я все время в светличке был. Нечего лясы точить, ступайте работать». Что тут делать? Помялись-помялись, да и пошли назад в гору. Тогда ведь не те права-то были... Только успели в гору войти, за инструмент опять взяться, а она и пошла... и пошла!.. Так все и пропали. Шестьдесят, сказывают, человек пропало.

— Кто ж это приходил к ним, дедушка?

— А бог его знает. Стало быть, горный хозяин.

— А вы сами видывали его, хозяина-то?

— Я-то не видал, а люди видали... Почему же и до сих пор вот, где большие выработки есть, строго-настрого запрещается рабочим петь и свистать в горе.

— Это почему же?

— Ну, стало быть, потому. Стало, *он* не любит!

Со стариком, который показался мне вначале несимпатичным и плутоватым и которого арестанты называли «горным духом», с течением времени я сблизился и нашел в нем жалкое, забитое, покинутое всеми создание, невольно внушавшее к себе сожаление. Умственный мир его был очень неширок и незамысловат: в прошедшем — Разгильдеев, а в настоящем и будущем — постоянная тревога за те несчастные десять рублей в месяц, которые платил ему уставщик Монахов за исполнение обязанностей сторожа. К счастью, закаленный в огне разгильдеевщины, семидесятилетний старик был еще здоров и крепок, несмотря даже на то, что питался одним черным хлебом и кирпичным чаем. Мы подолгу болтали с ним в те дни, когда у меня рано оканчивалась работа. Страшные вещи рассказывал старик о временах разгильдеевщины, о том, как тяжела и непосильна была работа на Каре, как колодники болели и мерли, точно мухи осенью, и как во время холеры их живыми еще таскали сотнями на кладбище... Несправедливости и обиды чинились каторге возмутительные. Во время работы даже отдыхать, курить и есть запрещалось; приходилось украдкой, вынимая из-за пазухи, кусать ломоть хлеба. Забитое и запуганное было времечко...

— Неужели же Разгильдеев иикогда добрым ие бывал? — спросил я одиажды, и старик оживился. Морщинистое лицо покрылось приятной улыбкой, и потухшие, поблекшие глазки засверкали.

— Как не бывать! И иа зверя, бывает, пора иаходит удачиая. Вот раз... Как сейчас помню... Дождливый-дождливый был день. Мы с товарищем вдвоем по колеио весь деиь в воде простояли иа шурфах; промокли, прозябли, иасилу-иасилу урок к вечеру сробили. Вот идем, и говорит товарищ: «Давай-ка, брат, песню с горя затяием», Взяли и затяиули:

За тнхнм бродом речкн-переправою
Не ковыль-то трава во поле шатается:
Зашатался я, удал добрый молодец...
Загнала-то меня служба царская,
Служба царская, государская.
Тяжела-то мне служба царская,
Та лн служба с утра день до вечера,
С вечера до самой до полуночн!
Со полуночн с неба звезды сыплются...
Рассыпалася наша снла-армня,
Снла-армня, разгнльдеева партня.
И по падям-то, падям шнрокнма,
И по шурфам-то, шурфам глубокнма!

Долгая оиа песия, ие помию дале. Вот поем это мы, вдруг... слышим: «Кто там поет? Сюда!» Смотрим, иа крыльце дома человек стоит. Подходим, шапки сымаем и видим — сам полковник. «Пьяные, што ли?» — спрашивает. «Никак иет, отвечаем, ваше высокородие, с работы в казарму идем». — «С какой же радости вы поете?» — «Как с какой, говорим, радости? Вот промокли мы, иззябли до костей, проголодались, а теперь урок кончили. Придем в казарму, обогреемся, обсушимся». — «Ступайте, говорит, за миой!» — и ведет нас обоих к себе на квартиру. Ну, думаем, беда! Приводит нас в большую горницу, показывает иа стол: «Садитесь, говорит, гостями будете». Зовет потом повара и велит иам ужинать дать, тащить все, что только в доме есть. А сам выиосит нам по большому бокалу вииа. «Пейте!» — говорит. Ослушаться иельзя. Выпили мы. С перепугу не зиаем, что и делаем. А он, глядим, еще по такому же бокалу подает: «Пейте еще». — «Нет, говорим, довольио, ваше высокородие, ие то захмелеем, завтра иа разрез не сможем выйти». — «Ничего, говорит,

я в ответе. Помните, как Разгильдеев свою снлу-армию угощал». Потом берет бумагу, пишет какую-то запнску и кладет мне за пазуху: «Покажи, говорит, утром дежурному». Как мы домой добрели, я уж и не знаю. Пьянехонькн оба, потому много ль надо ослабевшему человеку? Поутру раным-рано на работу будят. Меня тоже толкают, а я ничего и понять не могу. Язык не ворочается, за пазуху только руку сую: «Тут», — говорю. Посмотрел дежурный на записку и рот разннул: «Да ты, говорнт, самим Разгильдеевым освобожден на сегодня от работ».

Около этого же времени познакомился я и с уставщнком Монаховым. Толстопузый, с красным опухшим лицом и благодушным смехом, выходившнм скорее нз упитанной утробы, чем из горла, внешннм видом он мало напоминал то слово, от которого происходнла его фамилня. Казалось, ннкакие житейские заботы н никакне умственные интересы не занимали его н из всех чувств, способных волновать человеческую душу, ему было доступно одно — чувство всеодуряющей скуки, от которой днем он искал спасення в светличке, в болтовне с арестантами и казаками, а по вечерам и ночам в картах и выпнвке. В последнем отношении он славился по всему Шелайскому округу: решнтельно ннкто, не исключая и бравого штабс-капитана, мало уступавшего ему в дородстве, не мог его перепнть. Если когда-нибудь и существовали у Монахова высшие интересы и стремлення, то он давно уже позабыл о них; прочнтывал случайно подвернувшнйся обрывок газеты, журнала, статейку, в которой, по слухам, был намек на известные ему местные дела и отношения, и дальше этого не шел. Политическне взгляды его во всякий данный момент определялнсь взглядами ближайшего горного начальства, к которому он езднл время от временн представляться и делать доклады о ходе работ в Шелайском руднике. Монахову, конечно, прекрасно было известно, что никаких результатов и плодов от этих работ горное ведомство не ожидает, и потому он не сильно о них заботился, предоставив все ведать и за все отвечать нарядчнку; сам же следил только за успешностью и продуктивностью работ столяра, бондаря, слесаря и кузнеца, которые снабжали его мебелью, шкафами, столамн, самоварами, оковывали казенным железом его сундуки, телеги и пр. За исключеннем тех случаев, когда

накануне бывало бесшабашное пьянство, Монахов не пропускал ни одного дня, чтобы с раннего утра не забраться в светличку и не болтать там с конвоем и арестантами обо всем, что взбредет в голову, рассказывать анекдоты, подшучивать, острить, одним словом, употребляя арестантское выражение, тереть волынку. Он вскоре узнал, конечно, кто я такой, был со мной утонченно вежлив и даже пытался вести разговоры иного рода, но я чувствовал, что разговоры эти тяготят его, что этому ожиревшему мозгу трудно подниматься на давно забытые вершины, и торопился уйти в штольню, хотя бы там у меня и не было никакого дела. Кончала кобылка свои уроки, выходила из светлички выстраиваться — выходил вслед за нею и толстопузый Монахов. И долго-долго стоял на одном месте и смотрел вслед за нами, словно раздумывая о том, идти ли ему домой обедать или закатиться куда-либо в гости. Но круг шелайского бомонда был невелик, и, подумав и поколебавшись, Монахов начинал карабкаться в гору, в свое холостое и неприветливое гнездо. Но вот по дороге к тюрьме нам попадалась навстречу гремевшая бубенцами тройка, в которой летел к нему какой-нибудь гость из завода, горный или другой чиновник.

— Ну, теперь пропал наш Монахов, — говорила промеж себя кобылка, — с неделю глаз не будет казать.

Неловко чувствовал я себя в те дни, когда в штольне происходила обивка. Тут я видел полнейшую свою беспомощность и бесполезность, видел, что сижу на плечах у другого. Самое большое, что я мог делать, это держать свечку или наставлять кирку; балдой же работал Семенов или кто другой из силачей. Никто из них, правда, не роптал на меня; но мне самому бывало жалко и противно мое бессилие, мое дворянское худосочие. Слушая, как стонет гора под могучими ударами Семенова и как сам он при каждом взмахе молота рычит, подобно голодному тигру, видя, как трясутся и падают под его балдой увесистые глыбы гранита, казавшиеся мне несокрушимыми твердынями, я, сидя где-нибудь в сторонке на корточках со свечкой в руках, съеживался, скорчивался, душевно и физически превращаясь в настоящего ребенка, которого пугала эта стихийная, всесокрушающая сила... Мне казалось, что сила эта может при желании раздавить меня, как червяка, и что вся-

кое сопротивление с моей стороны будет и смешно и бесполезно. И думалось мне в минуты отчаяния: вот правдивый образ народа и интеллигенции! Как он могуч и как вместе темен и слеп, этот несчастный труженик народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция, пылающая горячей любовью к нему, мечтающая о вселенском братстве и счастье, но имеющая такие слабые руки, такую ничтожную волю для осуществления высокого идеала! Кричи, плачь, взывай — твои вопли бесплодно замрут в глухом лабиринте действительности и не будут услышаны титаном, оглушаемым дикой музыкой своей повседневной работы, этими звуками, от которых вздрагивает мать-земля и с нею наше бессильное, пугливое сердце. Титан ничего не слышит, весь обливаемый собственным потом и кровью. Он только рычит, как лев, при каждом взмахе своей исполинской руки, и горе, горе тебе, если ты сумеешь оторвать его от этой работы и первый будешь замечен им! Лев растерзает тебя — и что же останется от твоих светлых мечтаний, от твоего горячего, любящего порыва?.. Одни паразиты останутся, чтоб продолжать свое гнусное дело...

— Будем продолжать наше дело, Иван Николаевич! — кричит во все горло Ракитин, появления которого, занятые работой, мы с Семеновым и не заметили. Он кончил свой урок в шахте и теперь прибежал посмотреть, что я делаю.

— Давай-ка, Петруша, мне балду. Вот как развернусь я да ударю, тряхну своей старинушкой дорогой, так ажно искры посыплются...

— Из глáз, — говорит Семенов, подавая ему балду.

Ракитин действительно ударяет раз пять-шесть, но скоро ему надоедает это занятие, и, усевшись, он принимается болтать о чем попало.

Не без удовольствия вспоминаются мне те дни, когда я работал в штольне вдвоем с «осиновым боталом». Работа подвигалась тогда медленнее, но зато было веселее. Даже когда Ракитин находился в меланхолическом настроении и склонен бывал к философским и лирическим излияниям, и тогда одно какое-нибудь слово его, одна выходка разгоняли во мне сразу всякую меланхолию. Однажды он был в истинно трагическом положении. Выбурив уже вершков семь, он сделал вдруг самое плачевное открытие:

— Иван Николаевич! А Иван Николаевич, — жалобно позвал он меня, — ведь у меня беда.

— Какая беда?

— Камень-то, смотрите-ка, шатается!.. Того и гляди совсем отпадет.

— Ну так что ж? Тем лучше. У Петра Петровича патрон сохранится. В другом месте забуритесь.

— В дру-гом?! А эти чтоб семь верхов так и пропали? Все труды, то-ись, мои? Что вы, Иван Николаевич! Да они разве поймут? Разве они способны? Они мне же еще строжайший выговор сделают, что забурился неладно; еще с запиской, чего доброго, в тюрьму пошлют.

— Ну, этого до сих пор не случалось. Петр Петрович, кажется, не такой человек.

— Все они до поры до время хороши! А по-моему, Иван Николаевич, что белая овца, что черная — дух один. Не заплакал бы я, кабы и все они сегодня к вечеру подохли, а завтра к утрию пропали! Нет-с, почтеннейший господин мой, на этих людей завсегда удобнее с опаской поглядывать. Беречь себя надо, чтобы все, значит, в исправности было.

— Но ведь этот камень все равно отвалится? Смотрите, какую уж трещину дал.

— Тс! не шевельте-с. Эхма! Да посмеет ли он у нас отвалиться, Иван Николаевич? У Егора-то Ракитина? Чтоб у Егора Алексеевича Ракитина отвалился? Чтоб семь верхов моих пропало, трудовых кровных семь! Да никакого этого... Ой-ой-ой! Валится, Иван Николаевич, ей-богу, валится... сейчас вот упадет... Придется коленком поддерживать. Мне бы до восьми только и достукать-то, еще вершочек один. Тут и не надо больше, восьми вполне будет достаточно.

И с уморительно серьезным и печальным видом он принялся потихоньку бурить, все время поддерживая двухпудовый камень коленом. Я хохотал до упаду, глядя на эту картину, а Ракитин не переставал бурить и в то же время болтать, то жалуясь на свою судьбу и проклиная злополучный день, когда он на свет зародился, то переходя внезапно к бодрому и разудало-веселому настроению, для которого все на свете — трын-трава! Наконец ему удалось-таки добурить до восьми вершков, и камень не отвалился. Ракитин радовался этому как

ребенок, плясал, визжал, даже через голову перекувырнулся. Потом сел, подперся, пригорюнившись, рукой в щеку и запел свое любимое:

На серебряных волнах,
На желтом песочке
Долго, долго я страдал
И стерег следочки.

Однако беда еще не вся была поправлена: трещина в камне была настолько велика, что нарядчик, придя палить, непременно должен был заметить ее. Потому Ракитин отправился в светличку, конспиративно приготовил там глины и, вернувшись в штольню, тщательно замазал все щели около своего шпура. Петр Петрович был проведен.

— А нам больше что же и надо? — говорил, лукаво посмеиваясь, Ракитин. — Чтоб желоб был замочен, чтоб дырка готова была: а какая она, это уж дело божие и нарядчиково.

Ракитин находился в числе сорока человек, представленных в вольную команду, и с нетерпением ожидал выхода на свободу. Но странное дело: ни малейшей вражды к Шах-Ламасу, поступок которого отдалил его освобождение, я никогда в нем не замечал. «Не пофартило, значит» — вот единственное объяснение, которое давал он своему несчастию, и предпочитал не о прошедшем тужить, а о будущем мечтать. Он то и дело возвращался к разговору о вольной команде.

— Вот хорошо-то было б, Иван Николаевич! Ведь я уж три года, почесть, света белого не вижу; жену и сыночка в этаком виде нечеловечецком принимать должен на свидании: на ногах браслеты, и краса с головушки бритой снесена! А как выду я на волю, Иван Николаевич, да в вольную одежду наряжусь, так вы, повстречав меня, так и ахнете: где, скажете, красота такая на свет зарождается? У меня, знаете, у жены в сундучке шапочка такая пуховая сохраняется, ровно котелок бьдто...

— Жаль только, жены-то вы не любите... Она, говорите, старая?

— Эх, Иван Николаевич, мало ли что наш брат говорит! Язык-то тоже ведь скучать не любит. Как можно жены родной не любить? Это правда, конечно, что она лет на десять меня старе и теперь как есть вовсе старушоночка. Ну, а все же закон я соблюдать должон...

особливо по трезвому виду. Пьяный — ну, тогда другое дело. Искра эта дьяволова ежели попадет нам в горло, тогда на человеке нет ответа...

— Чем же вы хлеб станете добывать в вольной команде?

— Примудримся, Иван Николаевич, примудримся! Первое дело — у меня к торговле большое склонение есть. Второе дело — жена у меня на все руки мастерица большая: и шить, и стряпать, и торговать тоже. А главное, Иван Николаевич, тут секретец один нужно знать, чем торговать.

— Чем же?

— Да этой самой водицей дьяволовой.

— То есть водкой?

— Ну да-с, в точку самую попали — ею-с.

— Но ведь если попадетесь, опять в тюрьму засядете?

— Это уж на фарт. Все может статься. И в тюрьму засядешь. Очень даже просто. Только с моим, Иван Николаевич, умом — орудовать можно. Сколько в эту башку, если б знали вы, заложено господом богом! Сколько там всяких плантов и размышлениев колобродит! Эх! Об одном жалею: в одном номере с вами не пожил, к грамоте не приобык настоящим манером. Ну, а все же большое вам спасибо, Иван Николаевич, что свет показали. Без вас никому бы тут и в голову не вошло книжками заняться, потому туисы все колыванские, простокишные. А теперь я все же склады маломало разбирать зачал. Немножко-немножко «Братьев-разбойников» не дочитал — отняли ироды! Расчудесная книга; беспременно куплю, как на волю выйду. Я вам летом ягодки носить буду, Иван Николаевич. Кажный божий день по целому туису приносить стану, ей-богу! Самому некогда насбирать будет, Кешку-подлеца пошлю. Парню три года ведь, пора уж отцу помогать.

— А что, Ракитин, не приходит вам иногда в голову... туда, за сопки махнуть?

— Это домой-то?

И беспечное лицо Ракитина вдруг омрачилось и подернулось морщинками.

— Как не приходит, Иван Николаевич, — заговорил он таинственно, — только теперь жена и сын по рукам, по ногам меня связывают. Ну, а все-таки попомните мое слово, Иван Николаевич, — и Ракитин энергично ударил

себя кулаком по колену, — не буду я Егором Ракитиным, коли не услышите вы обо мне! Уж я дожду своей черты! Потому мне беспременно нужно побывать дома!

— Для чего же это? Если не секрет, скажите.

— Уж есть там у меня одно дельце. Человечек один такой есть, что как подумаю об ём, так ажно сердце у меня кровью обомрет! Жив не буду, коли груди ему не выем... Так вот и вопьюсь зубами, чуть только увижу!

— Бросьте, Ракитин, вздор говорить. И человека такого, вероятно, нет у вас, и бежать вы вовсе не собираетесь.

— Кто? Я-то?! Еще как лататы-то задам, Иван Николаевич! Только, конечно, точки такой дождусь прежде.

Когда, после одного из таких разговоров, мы вернулись в тюрьму, оказалось, что там произошло уже давно желанное событие: около сорока человек выпустили в вольную команду, в том числе Тарбагана, Малахова, Пестрова и Гандорина. Ракитина также немедленно увели за ворота, и уходя он долго махал мне шапкой и восторженно кричал:

— Благодарим, за все благодарим, Иван Николаевич! Не поминайте лихом Егора Ракитина. Ягодок беспременно притащу вам. В ногах вываляюсь у господина начальника, а уж выпрошу, чтоб пропустил.

Зато оставшимся в тюрьме был поднесен пренеприятный сюрприз в виде нового размещения по номерам; придя в свою прежнюю камеру, я узнал, что уже переведен в № 1. Кроме вышедших на волю, я потерял Гончарова и Семенова, попавших в другую камеру, Гнуса и еще несколько человек из старых сожителей. Остались со мной братья Буренковы, Чирок, поэт Владимиров и Железный Кот с своим молотобойцем Ефимовым. С присоединением пяти новых арестантов нас стало двенадцать человек — число, при котором атмосфера камеры могла быть сносной. Администрация тюрьмы время от времени производила подобные перемещения, имея в виду ту же цель, какую преследовала решительно во всем, — однообразие. В данном случае имелось в виду однообразие духовное, так как предполагалось, что с течением времени у каждой камеры могла создаться своя, особая физиономия и особый характер, могли выработаться единодушие и единомыслие, при которых возможны мечты о подкопах и сопротивлении воле на-

чальства. Я уже говорил, что Лучезаров был великий политик и имел все шансы пойти далеко...

Какое-то невольное чувство обиды (странное, положим, в каторге!) примешивалось всякий раз к моему настроению, когда, приходя в тюрьму, я узнавал, что «перегнан» на другое место: точно скотом распоряжались тобою, перемещая по капризу из одного стойла в другое! Говорят, будто колодники с сожалением покидают ту цепь, к которой долгое время были прикованы, и я думаю, что в этом утверждении есть доля правды. Я хорошо по крайней мере помню то мрачное недовольство, которое испытывал после каждой насильной разлуки со старыми стенами и сожителями и помещения среди новых, почти незнакомых людей. То же самое чувствовалось и в этот первый раз. Мне было невыразимо жаль и Гончарова с Семеновым, и Тарбагана, и Малахова, и даже двух дикарей-киргизов, спавших у меня под нарами и нередко смешивших весь номер своими проделками. Только присутствие Чирка смягчало несколько мое уныние; но и он, видимо, скучал без «чернопазого дьявола» и Тарбагана. Ученики со времени отнятия книг мало меня занимали, да и сами они стали как-то ленивее и грустнее: ходили слухи о предстоявшей весною «выборке» на остров Сахалин... Владимиров (Медвежье Ушко) и прежде был вял и неразговорчив и большого интереса к себе и привязанности внушить ие мог. Наконец, кузнецов я знал совсем мало: в прежней камере они стояли почему-то на заднем плане. Новые же арестанты всегда казались мне в большинстве несимпатичными, угрюмыми, враждебно настроенными.

«Нет, эти далеко не то, что те были!» — думал я про себя...

ФЕРГАНСКИЙ ОРЛЕНОК[39]

В каждой тюрьме можно заметить кучку арестантов, держащихся в стороне от общей тюремной жизни, замкнуто и отчужденно от большинства товарищей. Это инородцы-магометане — киргизы, сарты, узбеки, татары (русские арестанты всех их без различия называют «татарами», так же как всех уроженцев Кавказа — «черкесами»).

В свободное от работы время они или сидят где-нибудь в уголку, с грустным вниманием прислушиваясь к монотонно-певучему, несколько гнусавому чтению своего муллы из Корана, или расхаживают по тюремному двору степенно-тихою, почти торжественною поступью и ведут между собою таинственный, тоже как будто грустный разговор.

Но мне всегда казалось, что самою серьезною преградой к сближению мусульман-арестантов с христианским большинством является незнание ими русского языка, а отнюдь не религиозный фанатизм. Как только магометанин научается понимать русскую речь и владеть ею, взаимное отчуждение быстро исчезает, и он почти сливается с общею арестантскою массой. К сожалению, у большинства инородцев нет ни стимулов, ни желания учиться по-русски, так как каждый из них постоянно мечтает о возвращении на родину. Из вольных команд и с поселения они бегут сразу целыми десятками, причем большая часть гибнет в пути или снова попадает в тюрьму, и только редким единицам удается пробраться в Хиву, Бухару и даже в Афганистан.

Особенной неприязнью русских арестантов пользуются почему-то сарты, среди которых можно различить два главных типа: одни угрюмы, молчаливы и откровенно ленивы; другие, напротив, болтливы, веселы, но лукавы и искусно умеют отлынивать от работы, сваливая ее на товарищей. Я помню одного такого сарта, молодого, здоровенного толстяка с черной окладистой бородой, потешавшего своей болтовней всю тюрьму. Он любил рассказывать о своих похождениях на воле и, хитро подмигивая, сам про себя говорил, что Айдар Якубайка был «мошенчик, балшой мошенчик», что если «урус» поймал и посадил его в тюрьму, то от этого он только «лючёнее», то есть ученее, стал, и когда выйдет опять на волю, то урусам плохо-плохо придется. Якубайка был забавен, смешлив, любознателен, ко всякому разговору прислушивался и, несмотря на плохое знание языка, всегда как-то умудрялся что-нибудь понять. Эти качества могли бы снискать ему общее расположение арестантов, если бы не ужасная леность и хитрость во время работ, где он показывал только вид, что работает, а всякую тяжесть сваливал на других; к этому присоединялась отвратительная жадность, обид-

чивость и сварливость. Он поминутно вступал в драки и при всей своей силе и дородстве часто бывал при этом бит, так как был неуклюж и комично неповоротлив; то проламывали ему голову, то вырывали клок волос из бороды... И нужно было видеть Якубайку во время драки: он превращался тогда в настоящего зверя, оскаливал зубы, страшно выворачивал белки глаз, рычал и визжал, подобно тигру. К чести его я должен, впрочем, сказать, что злопамятством он не отличался: через два часа он уже не помнил таких обид, за которые русские арестанты, по крайней мере на словах, в течение многих и многих лет мечтают отомстить. Выпущенный в вольную команду, Айдарка немедленно бежал и, говорят, был убит степными тунгусами. Вероятно, хотел что-нибудь «скоропчи́ть» (украсть), но шелайское «люченье» не пошло в прок: тунгусы оказались лучшими «мошенчиками», чем он.

Гораздо симпатичнее были киргизы, или, как сами они себя называли, кыргызы.

Я любил наблюдать этих детей природы, почти не затронутых европейской городской культурой. Среди них попадались лица с тонкими, деликатными чертами, с благородным очерком лба и нежным выражением глубоких бархатистых глаз, с изящными нерабочими руками. При виде этих удивительных фигур, вышедших из глубины наших оренбургских и туркестанских степей, мне часто вспоминались индейские романы Купера, трогательная история последнего из Могикан. Так врезались мне в память братья Стамбеки — Теленчи́ и Эскамбай. Они пришли в каторгу за грабежи караванов и неоднократный угон чужого скота. Теленчи был старший и имел один из тех симпатичных обликов, о которых я только что говорил: гибкий и тонкий стан, длинное, смуглое, европейского типа, лицо с небольшой эспаньолкой и глубокими задумчивыми глазами. Он был слаб и хрупок и, пользуясь правами старшего брата (ара́), почти не работал. Эскамбай исполнял обыкновенно двойной урок — и за себя и за него. Эта нежность братских отношений страшно возмущала кобылку, и на Теленчи сыпались отовсюду ругательства и попреки.

— У, ленивая татарская лопатка! Все только на брате ездишь? Рад, что дурака нашел!

Теленчи был молчалив и постоянно грустен. Если бы можно было, он, кажется, с зари до зари лежал бы на нарах, не поднимаясь с места. Но спал он мало, и часто ночью я видел открытыми его длинные ресницы, из-под которых задумчиво глядели большие темные глаза. Эскамбай спал безмятежно, а Теленчи все думал...

Эскамбай имел совсем другой характер и даже другие черты лица, более грубые, более отвечающие монгольскому типу: выдающиеся скулы, желтоватый цвет кожи, несколько вкось поставленные глаза. Пара выбитых передних зубов придавала ему совсем дикарский вид. Но все эти недостатки выкупались замечательно добрым, детски веселым нравом. Эскамбай был добр и услужлив не только по отношению к брату, но и ко всем, кто только без злобы к нему относился. Так, он находился в большой дружбе с Чирком, который, с своей стороны, благоволил к нему. Забравшись к нему под нары, Эскамбай лаял оттуда, как настоящая собака, блеял, как чистокровный баран, и куковал, как самая несомненная кукушка. Чирок не выдерживал, вскакивал и начинал выгонять обидчика из-под нар ремнем, крича:

— Ах ты, татарская лопатка! Гад! Творенье!

А Эскамбай рычал оттуда по-своему:

— У, ид пала́с! Кучук палас (собачий сын)!

И вся камера помирала со смеху.

Тот же Чирок обучал Эскамбая просить милостыню в русских деревнях.

— Ведь беспременно пойдешь по бродяжеству, уж я хорошо знаю вашу звериную породу. Только выйдешь в команду, сейчас котел на плечи — и айда домой!

И Эскамбай, лукаво улыбаясь этому пророчеству, учился у него «стрелять под окнами» и «собирать саватейки»,* кланяясь в пояс и уморительно выговаривая:

— Матушки, батушки, подайте мылостынку, бога рады!..

Стамбеки действительно бежали впоследствии из вольной команды, и о дальнейшей судьбе их мне ничего не известно.

---

* Попрошайничать на арестантском жаргоне. *(Прим. автора.)*

Прн переводе в № 1 я с радостью увндел соседом своим по нарам молодого узбека Усанбая Маразгалй, давно уже привлекавшего мон снмпатнн н сожалення. Было что-то особенное, не передаваемое словамн, в этом гнбком, грацнозном существе, в его легкой походке, в лнце, то юном н жнзнерадостном, то вдруг словно поблекшем н постаревшем, с заметнымн морщннкамн на щеках, с горькнм выражением в углах губ н в черных прекрасных глазах. Я усердно расспрашнвал арестантов, н, к удивлению моему, оказалось, что почти вся тюрьма благосклонно относнтся к этому странному юноше.

— Это Усанка-то? — говорил старнк Гончаров. — Да одного только его нз всего этого зверья н вндал я за всю жнзнь, что мало-мало на человека походит. Этот совсем от нхнего брата особый. Мы-то всех зовем нх ровно — татарамн да сартамн, а по-настоящему Усанка не сарт. Он серчает даже, когда его сартом зовут: «Моя, говорнт, узбек, а сартов нашн сторона тоджн не любят». И чудной же парень этот Усанка, весельчак такой, забавннк. Его н в дороге вся партия любнла... Ленн этой, что в Якубайке сндит, в нем, помни, н следа нет: н за себя сробит и другому подсобнть норовнт. Я н то часто ему говорю: «Чего ты, Усан, надрываешься? Из нашнх тоже ведь лодырей сколь хошь есть... В каторге не надо себя через снлу нуднть...» Только смеется, рукой машет: «Лядно! Моя не бонся!» А какое ладно: сам, помнн, совсем больной! Он ведь нзбнтый весь... С дорогн у ннх побег был, в нхней еще стороне; отца-то и брата солдаты убнлн, да н сам прн смертн был... Другой раз так закашляется бедняга, ажно смотреть тошно... За грудь схватится: «Тут, говорит, больно». Славный парень, бесхнтрошный, нечего говорнть!

В руднк Маразгалн не назначалн, н потому я долго не имел случая познакомнться с ннм покороче, встречаясь большею частью лншь на поверках; но в тюрьме нн о ком чаще не говорилн арестанты, как об Усане, о том, какой он бесхнтростный на работе, как через снлу тянется, не желая понять, что и «из нашего брата тоже ведь есть подлецы». Все еднногласно хвалнлн также его веселость н любовно передразннвалн плохой выговор русскнх слов. Между прочнм, прошел однажды по тюрьме слух, что Маразгали замечательно искусный

борец и что в кухне в борьбе на кушаках он повалил подряд троих русских силачей, от которых никто не ожидал такого срама. Тюрьма заволновалась. Большинство было в восторге от Усанбая и подзадоривало его к дальнейшим подвигам; меньшинство же, те, которые сами претендовали на славу хороших борцов, негодовали, уверяя, что только мараться не хотят, а то сразу могли бы «кишки выпустить татарскому гаденышу»... А Усанбай положил между тем одного за другим на пол еще с пяток хвастунов, из которых многие были вдвое тяжелее его и больше; но он брал подвижностью и ловкостью своего гибкого, молодого тела. Наконец противники привели в кухню самого Андрюшку Борца, детину страшного роста и огромной силы. Его насилу, впрочем, уговорили — он трусил... Не понадеявшись, должно быть, на свою силу, Андрюшка прибег к подлой хитрости: не предупредив о способе, каким станет бороться, он вдруг с легкостью мячика перебросил Маразгали через голову... Делается это ужасно рискованно, прямо по-варварски: после нескольких примерных эволюций один из борющихся внезапно падает вперед на одно колено, а ошеломленного неожиданностью противника с силой перекидывает в то же время через собственную голову. Нередки, говорят, случаи смертельных исходов такой борьбы... Несчастный Маразгали сильно ударился плечом об лежавшее на полу полено и долго после того хворал. Против Андрюшки ополчилась вся тюрьма, но сам пострадавший только улыбался и, корчась от боли, говорил:

— Ничего, ничего, лядно.

Подвиги борьбы, однако же, прекратились после этого случая.

Я всячески старался сблизиться с Маразгали, но странное дело: веселый и развязный с другими арестантами, вечно с кем-нибудь шутивший и возившийся, меня он почему-то конфузился и избегал, отделываясь обыкновенно ничего не значащими фразами и спеша убежать. Подражая арестантам, он долгое время даже называл меня на *вы,* хотя это было вполне чуждо его родному языку, и не иначе обращался ко мне, как со словом «гаспадин». Когда я, случалось, заходил к нему в камеру, то, не имея возможности куда-нибудь скрыться, конфузясь и отворачиваясь, он волей-неволей принужден

был вступать со мною в беседу. К нам присосеживался какой-нибудь доброволец, являвшийся в затруднительных случаях переводчиком. Маразгали уморительно плохо говорил по-русски, и часто я буквально ничего не понимал из его речей. Но дойдя до истории своего побега, он обыкновенно оживлялся, переставал смущаться и с горящими глазами и бурными жестами рассказывал о том, как он побежал, как в него выстрелили... Он упал... На него налетел солдат со штыком... Он вскочил, схватился за ружье и стал защищаться... Защищаясь, укусил солдату руку, и тот с криком убежал прочь... Тогда примчалась целая орава новых солдат, его повалили и искололи штыками. Плохо понимая слова, я тем не менее живо представлял себе этого молодого тигренка, который, будучи окружен врагами и ниоткуда не видя спасения, визжáл, царапался и кусался, дорого продавая свою жизнь и свободу...

Потом Маразгали переходил к самому больному месту своей истории. С дороги он написал матери о том, что отец и брат убиты, а ему самому срок каторги увеличен с двух до десяти лет. Но мать, по его словам, вернула это письмо, не желая верить, что писал его Усанбай, а не какой-нибудь «обманчик».

— Не вери́т... Ну, пущай не вери́т! — с горечью воскликнул Усан, сердито махая рукой, а на глазах его стояли слезы.

По сбивчивым рассказам его самого и плохой передаче самозванных переводчиков только это немногое и мог узнать я о прошлом Маразгали. Однажды дошел до меня слух, будто он выказывает необыкновенную понятливость в грамоте и уже усвоил самоучкой половину русской азбуки. Я с радостью ухватился за это обстоятельство и тотчас же предложил Маразгали учиться со мной. Услыхав это, он почему-то страшно смутился и начал умолять меня оставить его в покое.

— Гаспадин! Поджалуста, не надо, поджалуста!

Я приставал, убеждал учиться, уверяя, что сам он потом рад будет, когда пойдет на поселение грамотным человеком. Маразгали слушал молча, отвернувшись, а потом опять шептал:

— Не надо, гас-падин, лютче не надо!

Я заметил даже слезы у него на глазах и перестал убеждать.

— Это все штуки ихнего муллы Сафарбаева, — сказал мне один русский, слышавший наш разговор, — он запрещает им учиться по-русски.

Я отправился немедленно к Сафарбаеву, молодому еще сарту, который лучше других шелайских магометан читал по-арабски и знал Коран, почему и считался среди них муллою, и прямо задал вопрос: не по его ли совету Маразгали не хочет учиться русской грамоте? Мулла, рассмеявшись, объяснил мне, что магометанский закон не запрещает никаких наук и языков, и обещал, с своей стороны, поговорить в этом смысле с Маразгали. Но вскоре случилось новое размещение арестантов по камерам, и Маразгали очутился неожиданно моим сожителем и соседом. Сближение наше произошло после этого очень быстро, и мы сделались друзьями.

Сожителем Усан был незаменимым, веселым, всегда вежливым и услужливым. Все арестанты его любили и резко выделяли из остальной массы магометан, не пользовавшихся в большинстве симпатиями; да и сам Маразгали стоял как-то в стороне от них, редко подходя к их кучкам и невнимательно вслушиваясь в гнусливое чтение муллы из священной книги. Он вообще не умел долго сосредоточивать внимание на одном каком-либо предмете. Когда я снова предложил ему обучаться русской грамоте, он с радостью согласился, объяснив прежнее свое нежелание тем, что очень меня боялся и, считая себя почему-то неспособным, думал, что я буду за это сердиться... Умея читать по-арабски, он скоро усвоил русскую азбуку и склады, даже научился довольно правильно писать те слова, которые я ему диктовал. Но, увы! плохое знание русского словаря не позволяло ему понимать прочитанное, и этим сильно охлаждалось рвение к ученью. Для того же, чтоб скоро научиться говорить по-русски, ему бы нужно было совсем не жить в одной камере с татарами, а этого почти никогда не случалось. В конце концов он так и не научился правильно говорить, хотя читал и писал недурно.

Вскоре я обстоятельно узнал его грустную историю.

Он был родом из Ферганской области, из окрестностей города Маргелана, где родители его занимались земледелием и разведением фруктов. В самый город они

изредка ездили по торговым делам. Семья, состоявшая из отца, матери и двух сыновей, жила очень дружно. Родителей огорчал только старший сын Марасил, научившийся пить водку и играть в кости. За это Норбюта Маразгали, отец Усанбая, часто жестоко бил Марасила, но тот не унимался. Скоро он вошел в долги, которых отец не хотел уплачивать, и однажды ночью киргиз, которому Марасил проиграл в кости значительную сумму, подкрался к их жилищу, схватил лучшего коня и поскакал в степь. Норбюта, однако, заметил покражу, разбудил сыновей, и все трое верхами помчались в погоню за похитителем. Они догнали его подле самой его деревни, и Марасил первый свалил противника с ног ударом кистеня по голове. Маразгали-отец отрубил ему голову шашкой. Усанбай клялся и божился, что сам он не бил киргиза, а ограничился тем, что подал отцу шашку; впрочем, он вполне одобрял убийство и, когда я начинал с ним спорить, — полушутя, полусерьезно говорил:

— Зачем жить такой человек, Николяичик (так называл он меня, не умея выговорить «Николаевич»; арестанта Канаревича, жившего в нашей же камере, он называл Канарейчиком)? Вороват, карты играйт... Зачем жить?

— Да ведь и Марасил в карты играл?

— Марасил помир... Бог наказил его.

— А ты сам, Усанбай, никогда не пробовал играть?

— Пробоваль, Николяичик, — говорил он смущенно, виноватым голосом, — раз пять рублей кости прииграль... дорога шел... Алгачи тоджи раз карты руп прииграль...

— Нехорошо, Усан!

— Да я так, Николяичик... Я не умей... Черт знайт! Ничего не умей карты!

Когда убийство совершилось, начиналось уже утро, и убийц видел проезжий киргиз. Норбюта с сыновьями был вскоре арестован и осужден: сам он на пятнадцать лет каторги, Марасил на десять, а Усанбай, как несовершеннолетний, на два года. Без слез не мог он вспомнить сцену прощания с матерью, которую, видимо, страстно любил. Да и сам он был ее любимым сыном. Кто-то из арестантов похвалил однажды волосы Маразгали, несколько вьющиеся и черные, как вороново крыло, с синеватым отливом. Он оживился и стал рассказывать,

как дома у него, по обычаю их религии, вся голова была бритая, только на макушке оставался длинный локон-оселедец.

— Мат оставил, мат, — говорил он об этом локоне, — глинный, глинный, вот такой... Ах, как мат плакаль — прощался, лицо себе царапи́л, в кров царапил, кричал... Ах, как он кричал, мат!..

И каждый раз, подойдя к этому месту рассказа, он замолкал, спешил уткнуться носом в подушку и там глубоко вздыхал... Сильное душевное волнение, радостное или горестное, он выражал также комичным прищелкиванием языка.

В партии Маразгали было тридцать два человека узбеков, сартов и киргизов, конвойных же солдат всего лишь восемнадцать. На третьем или четвертом станке от города Верного, где происходила дневка, замышлен был побег. Конвой, ничего не подозревая, уставил ружья в козлы в той же камере, где были арестанты, и уселся играть в карты; только за дверями стал один часовой. По условию, Норбюта Маразгали с криком «Алла!» должен был кинуться на этого часового и обезоружить его, остальные должны были захватить ружья и перебить конвой. Норбюта так и сделал — с криком «Алла!» обезоружил и умертвил часового; но остальные девятнадцать человек, бывшие в заговоре, в решительную минуту, очевидно, дрогнули и, не захватив ружей, кинулись врассыпную бежать, куда глаза глядят. Побежали в том числе и Усанбай с Марасилом. Конвой, опомнившись, выскочил из этапа и начал стрелять в беглецов. Норбюта был тут же, у порога этапа, поднят на штыки. Беглецов затрудняли тяжелые кандалы, висевшие у всех на ногах; кусты были не близко. Только троим удалось скрыться; остальные шестнадцать все были перестреляны и переколоты. Усанбай был ранен в ногу и упал; но когда выстреливший в него солдат подбежал и хотел заколоть его штыком, он поднялся на ноги и отнял ружье. Между ними завязалась отчаянная рукопашная схватка, в которой Маразгали так больно прохватил зубами руку солдата, что тот с криком убежал прочь. Но тут подоспели другие конвойные и штыками и прикладами прикончили его. Так по крайней мере сами они думали. По словам Маразгали, он больше суток пролежал в беспамятстве, а когда очнулся на вторую

ночь, то сообразил, что над телами убитых стоит часовой и что малейший стон может его погубить. Шестнадцатилетний мальчик, тяжелораненый, умиравший от нестерпимой жажды и боли, имел силу воли не издать ни единого звука, не сделать ни одного движения до тех пор, пока еще через сутки не приехал из Верного доктор и не стал свидетельствовать убитых. Только тут Маразгали простонал и пошевелился. Но даже и тогда озверевшие солдаты кинулись к нему и, наверное, добили бы, если бы не доктор. Избиты были даже и те двенадцать человек, которые не делали попытки к побегу и все время оставались в этапе. Вместе с ними Маразгали отвезен был в Верный и помещен в лазарет; а тем временем, пока он болел и поправлялся, военно-судная комиссия судила его и, приняв во внимание несовершеннолетие и увлекающий пример отца и старшего брата, прибавила восемь лет каторги...

Выздоровев, Маразгали опять был записан в партию и отправился по старой дороге. На третьем станке, где происходил побег и где были убиты отец и брат, он так горько плакал, что возбудил сострадание даже конвоя. Старший (тот самый, что был и в тот раз) подошел к нему и сказал:

— Моли бога, Маразгали, что нет здесь кой-кого из тогдашних солдат! Они и теперь еще прикончили б тебя... Зачем ты бегал?

— Я плакаль и ничего не мог говорийть. Старший жалель меня и говорийт: «Пойдем, Маразгали, могила смотреть, где Норбюта и Марасил лежат». Я пошел. Ах, сколько я плакаль! Я взял тряпочка земля сыпайт... та земля, где отец лежит... и всегда ее тут носийт.

И Маразгали показывал мне мешочек, висевший у него на груди, в котором был зашит драгоценный песок.

Часто, лежа на нарах с заложенными под голову руками, он напевал грустным речитативом на тот манер, каким вообще читают магометане Коран, какую-то жалобу-молитву, сложенную одним сартом-муллою, шедшим вместе с ним в каторгу. К сожалению, я не помню ее дословно, хотя Маразгали и не раз переводил мне эту прекрасную, истинно-поэтическую песню; но каждый раз, как я слышал ее монотонный горький напев, у меня разрывалось сердце от тоски и боли:

«Мы покинули нашу родину, жен, матерей, детей и братьев, — говорилось в песне муллы, — мы покинули наши прекрасные поля, где растут джугара, рис и марена, где спеет и наливается сладкий урюк... Боже! Не оставь нас, не забудь на чужбине!

Страшна чужбина, куда мы идем, где безжалостный враг закует нас в цепи, заключит в мрачные подземелья, заставит работать тяжкую работу... Никто не придет нас утешить... Великий боже! Не оставь же хоть ты нас на чужой стороне, не забудь нас!

В страшную годовщину разлуки, когда наши жены и матери будут оплакивать нас как мертвых, рвать на себе волосы, царапать лицо до крови и призывать тебя в свидетели своего горя, — великий отец! сосчитай их и наши слезы, вспомни о нас на чужбине!»

Выше я упоминал уже о том, что с дороги Маразгали писал матери, и письмо это она будто бы возвратила ему со словами, что его сочинил какой-то «мошенчик», что Норбюта и Марасил живы... По прибытии в каторгу Усанбай послал ей второе письмо, в котором повторял свои грустные новости и просил им верить, и ровно через восемь месяцев, уже при мне, получил его обратно с надписью Маргеланской почтовой конторы: «За неявкой адресата письмо возвращается». Эти два обстоятельства: «неверие» матери и ее «неявка» ужасно смущали и огорчали Маразгали, и он часто спрашивал меня:

— Почему мат не верит? Почему не приходит? «За неявкой» — какой неявка? Зачем?

Я сам был как в темном лесу и тщетно старался составить себе, по неясным и сбивчивым рассказам Маразгали, какое-нибудь представление о почтовых порядках в Ферганской области. Бедняга ровно ничего не знал, а я знал только факт, что никому из его земляков, которым я писал письма, ни разу не приходило с родины ответа.* Наконец Усану первому пришла в голову

* Объясняется это, по всей вероятности, дальностью расстояния почтовых станций от места жительства родни, живущей где-нибудь в глуши, в деревне, а еще больше — незнанием ею русского языка. Иногда, получив даже письмо от сына или брата с каторги, узбек или сарт не найдет никого, кто бы мог не только написать ответ, но и прочесть самое письмо, написанное обыкновенно варвар-

мысль, что мать, может быть, умерла... Тогда я предложил ему сделать еще одну попытку послать письмо на имя одного из дядей, Пирмата, который жил в той же деревне, но по торговым делам часто ездил в Маргелан и имел там большие связи. Чтобы окончательно обеспечить успех, я вызывался в контору к самому Лучезарову и, обрисовав ему всю трагичность положения Маразгали, просил, ввиду исключительности этого положения, разрешить написать письмо по-татарски. К удивлению моему, Лучезаров, почти не колеблясь, дал разрешение: ему, видимо, польстило мое обращение к его гуманным чувствам... Мы с Маразгали торжествовали.

В ближайшее воскресенье мулла Сафарбаев написал под нашу диктовку письмо на татарском языке; я, с своей стороны, самым точным образом надписал на конверте адрес и в самое письмо тоже вложил конверт с точным адресом Маразгали. Одним словом, все, казалось, было рассчитано и застраховано. Письмо было отправлено заказной почтой, и квитанция его сберегалась самым тщательным образом. Оставалось терпеливо дождаться ответа. Почти каждый вечер с тех пор мы мечтали о том, как получит письмо дядя Пирмат, как немедленно известит о нем мать Усанбая, как последняя будет рада и поспешит ответить. Но, увы! дни шли за днями, месяцы за месяцами, а ответа почему-то не приходило... И Маразгали впал в мрачное отчаяние...

— Вси помер, вси! — говорил он, ломая руки. — И мат помер, и дяда помер... Никто не остался!

Даже какое-то озлобление по временам овладевало им.

— Зачем, Николяичик, мат не верйт, почта не ходит? Зачем мат родил меня? Надо убийт мат, убийт!

— Что ты говоришь, Усанбай, бог с тобой!

— Бог тобой, бог тобой... Какой бог! Где бог? Зачем бог каторга делал?

Я не знал, что ответить на этот вопрос, а Маразгали горестно прищелкивал, по своему обыкновению, языком и, упав на постель, предавался «хапа́». Так называл он свой мрачный сплин, в котором находился иногда по

ски безграмотно и неразборчиво. А писать из тюрьмы или получать не по-русски писанные письма арестантам запрещается. *(Прим. автора.)*

нескольку дней, когда ничто не могло его занять и развеселить, когда все свободное от работы время он лежал, как пласт, на нарах, закрывшись халатом, тяжело вздыхая и все думая, думая... Старик Гончаров хорошо переводил это «хапа» русским словом «думка». Однажды вечером он был особенно грустен и, когда я пристал к нему с неотступными вопросами, объяснил мне:

— Ах, Николяичик! Сегодня мат плячет... Сегодня я ехал каторга... Отец, брат... Мат кричал, плакаль... Ах!..

И вдруг, всплеснув руками, сам засыпал меня вопросами:

— Зачем, скажи, Николяичик, человек на свет приходит? Зачем каторга на свет? Зачем урус закон нехороший? Наша сторона закон лютче: убил человек — сам земля кушáй! Башка рубийт! Кол сажайт! А то каторга... Мучиться, плякать... Ах! Наш закон лютче... Умирайт надо, Николяичик!

Он глядел на меня глазами, полными слез, и я пришел в ужас при мысли, что для Маразгали и действительно нет впереди лучшего исхода... Но я утешал его как мог, стараясь разогнать черные мысли о смерти и направить их в другую сторону.

А «хапа» продолжалась, становясь тем мрачнее и упорнее, чем ближе подходило лето, чем ярче зеленели за стенами тюрьмы сопки и сильнее доносился до нас аромат расцветшего шиповника и лилового багульника. Здоровье Маразгали совсем пошатнулось; он все лето кашлял, иногда даже кровью, и хватался за бок, жалуясь на боль.

— Маразгали, — говорили ему даже надзиратели, — чего бы тебе к фершалу хвостом не ударить? Дурак ты этакой, ведь изведешься совсем.

— Не хочу холстом, — отвечал он, печально улыбаясь, — скажут — холстобой, холстобой, Маразгали! Не хочу!

И нередко мне приходилось, против его воли и желания, просить фельдшера освободить его на несколько дней от работы. Тогда он по целым дням лежал где-нибудь на дворе, на солнце, кутаясь в халат и предаваясь своим мрачным думкам. К концу лета, однако же, он поправился, повеселел и опять сделался на время душою камеры и всей тюрьмы. Опять возился, боролся, шутил

с арестаитами, надрывался иа работе. Вернулась и надежда получить письмо с родииы...

— Спой-ка, что-нибудь, Усаика, — говорили ему, шутя, арестаиты, и ои иачииал читать иараспев свое любимое:

Бала мене джннка,
Бала мене любка...
Я поехал в лес по дрова,
Шнзая голубка.

Далее он ие зиал слов этой песни, да не понимал смысла и того куплета, который зиал; ио тем милее звучали в его устах эти перековеркаииые слова и тем больше вызывали смеху.

— Нет, ты «старушку» спой, иастоящим маиером спой, да попляши!

Маразгали, красиея, отказывался. Тогда кто-иибудь из бойких входил в середину собравшейся вокруг иего толпы и иачииал плясать и петь:

А старушке сорок лет,
Молодушке году нет!

Услыхав зиакомый и любимый мотив, Маразгали ие выдерживал и тоже начинал подтягивать и очеиь мило покачиваться, топчась иа месте, иаподобие того, как ходят девушки в хороводах, в довершение сходства помахивая при этом платочком.

Ой, старушка постарела,
Молодая, подбодрнсь!..

Кто-иибудь третий прихлопывал в такт ладошами.

Но вдруг, заметив поблизости меия или кого-иибудь из надзирателей, любующихся его пением и пляской, Маразгали страшно конфузился, обрывал песню иа полуслове и, сопровождаемый общим хохотом, убегал к себе в камеру...

Ои находился в непрерывиом движеиии. Сейчас можио было встретить его в коридоре борющимся с кемлибо из арестаитов или весело иапевающим свое «Бáлá меие джиика, балá меие любка», через миниуту — увидеть сидящим за киижкой или вяжущим себе татарскую феску из моих старых шерстяиых иосков; а еще через миниуту — гуляющим по двору и с любопытством наблюдающим за ласточками, вьющимися около своих

гнезд. Но вот внимание его привлечено молодым голубем, усевшимся на тюремном крыльце и из-за деревянной колонки не замечающим приближения человека. Мгновенно Усан преображается: изогнувшись как кошка, вытянув вперед голову и одну руку, а другую как-то странно закинув назад, он осторожными, неслышными шагами по песку двора подкрадывается к намеченной жертве. Лицо его приняло хищное выражение, глаза горят, как у зверенка, в котором пробудился охотничий инстинкт, и весь он превратился из деликатного и мягкосердечного Маразгали, которого я знаю и так люблю, в первобытного дикаря, кровожадного сына степей... Один миг — и зазевавшийся голубок трепещется в его цепкой руке, громко бьет крыльями и пускает по двору пух. Праздно бродившие по углам арестанты, привлеченные шумом, бегут на место действия и смехом и восклицаниями приветствуют Усанкину ловкость. Я тоже подхожу, недовольный жестокой игрой, придуманной моим учеником, и готовый прочесть ему нравоучение... Но оно оказывается уже лишним — Маразгали опять весь преобразился: он так нежно прижимает к своему лицу перепуганную птичку, с такой лаской и осторожностью проводит рукой по ее перышкам и лицо его сияет такой мягкостью и любовью, что готовый сорваться упрек застывает на моих губах. И прежде, чем я успеваю окончательно приблизиться, Маразгали, подняв голубка кверху, разжимает ладонь. Оторопевший пленник будто раздумывает несколько секунд, но затем стрелой взвивается к небу и начинает там радостно кружиться, провожаемый ликующим хохотом кобылки и внимательными сияющими взорами Маразгали.

Однако я с затаенной тревогой следил за этим видимым воскресеньем, опасаясь, что оно лишь временное и продлится недолго. И действительно, благодаря своей неосторожности на работах, от которой я бессилен был уберечь его, в октябре месяце, когда наступила гнилая северная осень, ветреная, то со снегом, то с дождем, то с внезапным морозом, Маразгали сильно простудился и заболел воспалением легких. Пьяница фельдшер не хотел было класть его в лазарет и все допрашивал меня: чего я так хлопочу об этом «звереныше»? Но я пригрозил, что пожалуюсь начальству тюрьмы, и тогда, веря

преувеличенным слухам о моем влиянии на последнего, он немедленно исполнил все мои желания. Впрочем, если Маразгали и перенес счастливо эту болезнь, то единственно благодаря могучей природной организации, а отнюдь не заботливости или искусству этого темного эскулапа. С своей стороны, я делал все, что мог, для Маразгали, делясь с ним тем, что сам имел, и все свободное время просиживая близ его койки. Говорить ему много нельзя было, но он глядел на меня теплыми, благодарными глазами и ласково улыбался. Однажды он спросил меня шепотом:

— Я не умру, Николяичик, нет?

Я поспешил, разумеется, дать отрицательный ответ и даже рассмеялся деланным смехом, хотя в душе далеко не был уверен, что опасности нет, — и Маразгали горячо пожал мою руку. Он перенес эту тяжелую болезнь, но потом часто мне признавался, что сильно боялся смерти и страстно хотел остаться жить...

Между тем в моей голове созрел план освободить Маразгали из каторги и вернуть на родину. План этот состоял в подаче на высочайшее имя прошения от имени Усанбая с изложением всей его плачевной истории, без малейших прикрас и оправданий. Мне представлялось ясным как божий день, что если только прошение дойдет до Петербурга и будет там прочитано, — свобода Маразгали обеспечена. Придя к этому убеждению, я решился опять прибегнуть к «гуманным» чувствам бравого штабс-капитана. На этот раз Лучезаров удивился моей просьбе и прежде всего выразил сомнение, чтобы попытка могла иметь успех.

— Таких просьб тысячи пишутся, — сказал он, — и из тысячи на одну обращают внимание.

Я отвечал, что эта именно просьба и может быть одной из тысяч, так как я глубоко уверен в ее правоте и законности. Лучезаров пожал плечами.

— Да какая ему польза будет? — продолжал он еще отговаривать. — Ведь он... все равно же умрет? Ведь у него чуть ли не чахотка?

На это я возразил, что все люди смертны, и тем не менее каждый думает о лучшем будущем.

— Ну что же, — решил наконец Лучезаров, — сочиняйте, пожалуй... Я прикажу потом своему писарю переписать по-настоящему.

Вернувшись в тюрьму, я немедленно написал прошение, перелив на бумагу, казалось мне, лучшую часть своей сердечной крови... Лучезаров, прочитав, выразил полное одобрение:

— Сильное у вас перо, сильное!

И еще раз подтвердил обещание отдать прошение писарю для переписки и отправить затем куда следует.

После этого мы предались с Маразгали мечтам еще более радужным, чем в тот раз, когда писали к дяде Пирмату. Мы решили, что ровно через год, следующей осенью, должен получиться ответ из Петербурга... В том, что ответ будет благоприятный, я не сомневался ни на минуту и старался уверить в том же и своего друга. Но однажды мы чуть серьезно не поссорились. Еще раз (кажется, уже в десятый раз) заставив Усана рассказать историю убийства киргиза, я впервые обратил внимание на то обстоятельство, что он подал отцу шашку, и мне показалось, что раньше он скрыл от меня это важное обстоятельство.

— Зачем же ты раньше молчал? — рассердился я. — Вот царь и скажет теперь, прочитав прошение, что ты лжешь, потому что в деле отыщется другой твой же рассказ.

Маразгали ужасно огорчился.

— Я говориль, Николяичик, говориль, — шептал он, оправдываясь и глядя на меня умоляющим взором, — ты забыль...

— Нет, ты скрыл, Усан, скрыл и этим, может быть, повредил себе!

Но тут за Маразгали вступились другие арестанты, много раз, подобно мне, слышавшие его рассказы о своем прошлом и подтвердившие, что он всегда упоминал о шашке и я напрасно обвиняю его во лжи.

Маразгали с упреком взглянул на меня.

— Вот видишь, вот видишь, — вскричал он радостно, — Маразгали говориль... Он ничего не пряталь!

Я был пристыжен... И хотя Усан тотчас же простил и забыл мою несправедливость, но им овладело уже беспокойство о том, ладно ли написано прошение. С большим трудом я его успокоил, сообразив и сам, что допущенная мною неточность, бывшая скорее простым умолчанием, нежели ложью, ни в каком случае не могла повлиять на неблагоприятный исход дела.

Незабвенные вечера, полные веры и счастья! Мы оба так живо рисовали себе, что вот уже пришло Маразгали полное помилование и он едет домой, в свой теплый и светлый Маргелан... Он находит там живой и здоровой мать и всех родных и собственной рукой пишет мне обо всем подробные письма... Наши мечты забегают иногда так далеко, что уже и я выхожу на поселение и еду к нему же, Маразгали, в его Маргелан; он угощает меня урюком, рисом и жирной бараниной, и мне до того приходится по вкусу Ферганская область, что я сам решаюсь там навсегда поселиться... В конце концов Маразгали женил меня на узбечке и плясал на моей свадьбе... Наивные золотые мечты! Что сталось с вами?

Между тем бравый штабс-капитан, со своей стороны, хотел выказать Маразгали благоволение и в самый день Нового года объявил о выпуске в вольную команду, до которой по закону ему оставалось еще около года. Выпуск этот для обоих нас был так неожидан, что Маразгали в первые минуты совсем растерялся, хотя, видимо, все-таки обрадовался... Обрадовался и я...

Однако, вспомнив, что нам приходится расстаться, Маразгали внезапно омрачился и стал меня уверять, что не рад вольной команде, что тюрьма лучше. Я утешал его и, пожимая руку, все повторял:

— Помни, Усан, что я говорил тебе: не играй в карты, не пей водки, не беги! Убежишь — тогда все пропадет, ни дома, ни матери не увидишь, потому что все равно тебя поймают. Жди лучше ответа на прошение.

— Лядно, лядно, Николячик... Будь здоров!

И мы расстались...

К сожалению, жизнь Маразгали в вольной команде сложилась в высшей степени неудачно. Не было там руки, которая бы оберегала его от всего злого и темного. Прежде всего у него установились дурные отношения с русскими вольнокомандцами-товарищами. Многие и в тюрьме уже с завистью поглядывали в последнее время на то, что благодаря дружбе со мною он находился в лучшем материальном положении и жил «словно барин какой». Не нравилось некоторым и то, что я написал ему прошение, тогда как многим русским отказывался писать.

— Чем он лучше нас, татарский змееныш? Ведь каждому на волю-то хочется.

Путем разных темных слухов и сплетен недоброжелательство это перенеслось и за стены тюрьмы: говорили, что Усанке сам начальник покровительствует и что тут дело неспроста — что он «язычком, видно, ударять умеет»... Начались мелкие придирки и преследования. Представляю себе, что должна была выстрадать гордая душа Усанбая, терпя эти неправые обиды и нападки; представляю себе и дикие вспышки его чисто восточного гнева, во время которых он и в тюрьме бывал страшен... Так, помню одну стычку его с Тараканьим Осердием из-за какого-то злополучного мешка, полученного из стирки. Тараканье Осердие признавало его своим, а Маразгали указывал на какой-то значок зубами, сделанный им на мешке в виде метки. Сначала шло простое словесное перекосердие, причем оба соперника держались обеими руками за спорную вещь; но потом Маразгали внезапно вспыхнул как огонь и вслед за тем смертельно побледнел... Руки задрожали и судорожно сжались... Он был живописен в эту минуту со своей поднятой гордо головой и страшно потемневшими глазами... Тараканье Осердие выпустило мешок из рук и, шамкая про себя какие-то ругательства, отступило... Могу поэтому вообразить, как бегал однажды Маразгали с ножом в руке за вольнокомандцем, который обозвал его самым ужасным для каждого арестанта словом, означающим шпиона... Насилу удержали его и успокоили.

Естественно, что при таких условиях он принужден был отделиться от русских и тесно сплотиться с кучкой своих единоверцев магометан. Жизнь шелайских вольнокомандцев в некоторых отношениях была далеко хуже жизни тюремных арестантов: зарабатывать копейку было негде и нечем, и приходилось питаться, как и в тюрьме, одной казенной баландой, не имея ни чаю, ни сахару; а уроки казенной работы были подчас тяжелее и больше. На Маразгали свалили ночной караул у амбаров с арестантскими вещами и продуктами. Ему приходилось бодрствовать по ночам в жестокие январские и февральские морозы, да и днем еще быть на посылушках у надзирателей. Бедняга вскоре совсем изморился и начал опять усиленно кашлять. В довершение злоклю-

чений в начале великого поста с ним случилось несчастье. Злобная и мстительная кобылка решила подвести его, и вот, заметив однажды под утро, что Маразгали задремал на своем посту, кто-то утащил несколько гирек из-под казенных весов. Проснувшись и заметив покражу, он начал умолять арестантов вернуть гирьки, но негодяи не сжалились и даже поспешили донести эконому о пропаже. Последний впредь до решения начальника, который еще спал, приказал Маразгали идти в тюремный карцер.

Я был в руднике в то время, когда его привели, а вернувшись с работ, узнал уже о постановлении держать Маразгали под арестом пять суток. Каждый день посылал я заключенному через парашников табак и сахар и узнавал от них, что здоровье его совсем плохо, что он лежит не поднимая головы и по временам только тихо стонет. На четвертый день ареста я еле уговорил фельдшера навестить Маразгали в карцере, и даже этот сомнительный представитель медицины нашел необходимым просить у Лучезарова разрешения немедленно перевести его в лазарет. Во время этого перевода я и увидал Маразгали и с трудом узнал. Мой бедный ферганский орел, что с тобой сталось?

Он показался мне каким-то ощипанным, полинялым, постарелым и невыразимо жалким! Желтый, бледный и грустный, он с трудом улыбнулся мне и кивнул головою; он едва переставлял ноги; волосы были всклокочены и влажны от лихорадочного пота. Даже одежда имела самый плачевный вид: скомканная шапчонка, разорванный халат и рыжие дырявые бродни...

В лазарете его поместили в отдельную маленькую каморку, и все свободное время я опять проводил с ним. Признаюсь, теперь я временами даже желал ему смерти... Чего мог, в самом деле, ждать он от жизни? Что еще могла она ему дать, кроме нового горя, обид и лишений? Сам Маразгали, по-видимому, был вконец истомлен, и той молодой жизнерадостности, той бесконечной жажды — во что бы то ни стало существовать, какие замечались в нем во время первой болезни, теперь не было и следа. Но я старался отгонять прочь эти мрачные думы и недобрые желания, старался уверить все-таки и себя и больного, что он не умрет и на этот раз. И иногда благодаря моим речам в нем опять вспыхивал

огонек надежды; но чаще он грустно качал головой в ответ на все мои уверения и горько улыбался. Все время он не переставал кашлять кровью. Однажды я застал его в чрезвычайно возбужденном состоянии. Он ждал меня и обратился ко мне со страстными упреками:

— Зачем я не бежаль, Николяичик? Зачем слюшал тебя? Зачем ты говорил?..

И слезы хлынули градом...

Вскоре после этого Усану стало как будто лучше. Когда приехал наконец тюремный врач, очередного посещения которого (раз в полгода) давно уже тщетно ждали в нашем руднике, — в нем возродилась настоящая надежда, и, приподнявшись с постели, он, казалось, с мольбой устремил на него взор. Но доктор — подлинно каторжный доктор! — едва взглянул на больного и, махнув рукой, пошел вон. Я не вытерпел и подошел со словами:

— Ради бога, доктор, осмотрите получше этого мальчика... Быть может, еще возможно что-нибудь сделать.

Доктор нахмурился.

— Брат? Родственник?

— Нет, но судьба этого юноши так трогательна...

— Будь она вдвое трогательнее, медицине тут нечего делать. Если бы можно было в Италию или на остров Мадеру, ну тогда... Но в каторге...

— Но вы же его не осматривали?

— То есть это... что же такое? Учить меня? Служителя, больничные служителя! Господин фельдшер! С какой стати ходит сюда посторонний народ? Здесь не театр, а больница! Здесь не трактир! Больные нуждаются в спокойствии!

Я пожал плечами и вышел.

Наступила новая весна. Прилетели первые ее вестники — маленькие вертлявые плиски. Солнышко начало пригревать сильнее. На крышах ворковали голуби, весело летали и чирикали повсюду забияки воробьи. На сопках показалась зеленая травка, и Маразгали стал выходить на двор греться на солнышке. Возродились мечты о доме и матери.

— Николяичик, я видел сегодня, — сказал он однажды, — ночью видел... сарта́нка... Красивый-красивый!

Он прищелкнул даже языком для лучшего определения красоты виденной во сне сартянки — и вдруг страшно переконфузился, покраснел и укрыл голову желтым больничным халатом.

— Я выпишусь скоро, Николяичик, ей-бог, выпишусь! Смотри: я совсим здоров, совсим. Только вот тут немножко болит... тут... вот как это место... Черт знайт, что там болит? Сердце болит, печенка болит? Черт знайт!

Порывы жизнерадостности проходили, и их сменяла тупая, ничем не интересующаяся апатия, когда даже в самые солнечные и теплые дни я не мог уговорить его покинуть душную больницу и выйти на свежий воздух. Тогда пугал его самый легкий ветерок, и ни птички, ни солнышко, ни первые цветы — ургýи,* которые я приносил ему из рудника, не могли развеять его мрачного сплина. Внешний вид тоже быстро ухудшался. Тело превратилось в настоящий скелет; в лице не было ни кровинки, на губах только играла порой кровь, да глаза горели особенно ярким огнем и необыкновенно расширились. Он догорал, как свеча...

Раз я застал его разбирающим перед осколком зеркала волосы на голове.

Увидав меня, он хрипло засмеялся.

— Смотри, Николяичик, смотри: сидой... И тут сидой, и тут... Весь волос — старик!

— А сколько тебе лет, Маразгали?

— Бог знайт. Судилься Маргелан — шестнадцать лет... Судилься Верный — два год прошло... Дорога один год... Алгачи сидел — еще год... Здесь — еще полтора год.

— Значит, тебе двадцать два года.

— Да, двадцать два. Кто знайт? Мат знайт...

И при последнем слове он горько задумался.

Я давно уже чувствовал некоторый упадок собственных сил и решил, пользуясь этим предлогом, самому записаться в больницу, предвидя близость роковой развязки и желая находиться последние дни при своем любимце. Лампада угасала быстро, масло было на исходе.

---

* Ургуй — забайкальский подснежник, красивый, довольно крупный цветок: пять лиловых лепестков с желтым глазком посредине. *(Прим. автора.)*

В последние дни умирающий говорил со мной о боге, спрашивал, куда попадет он в бегиш — рай, или джагене́м — ад? Увидит ли отца и брата? Увидит ли мать? За последнее он особенно боялся, так как в Коране, по его словам, ничего не упоминалось о будущих судьбах женщин.

Утром последнего дня он еще раз оживился, привстал на койке и начал яркими красками описывать Маргелан, восхищаясь его сладким урюком, рисом и пр., причем несколько раз прищелкнул даже языком.

— Наша сторона, Николяичик, тоджи трава есть: всякая болезнь лечит, всякая болезнь!.. Ах, здесь нет такой трава... А эти лекарства... Черт знайт, ничего не помогайт, ничего!

И он опять прищелкнул языком, чтобы лучше выразить свои горестные чувства по этому поводу. Не зная, что ответить, я нашел почему-то нужным сообщить одну слышанную мною новость, будто на Кавказе устраивается каторжная тюрьма для южных инородцев, которые не в силах выносить холодного сибирского климата. Услыхав это, он как будто обрадовался.

— Это хорошо, — сказал он серьезно. — Кавказ хорошо.

И, улегшись снова, завернулся с головой в одеяло. Я вышел. В два часа дня пришел ко мне больничный служитель Дорожкин, улыбаясь:

— Вот чудак этот Усанка! Сейчас зовет меня: «Давай, говорит, есть! Теперь много есть буду... Больше, больше всего тащи!» Я натащил ему яиц, хлеба... и он целых три яйца съел и большущий ломоть черного хлеба. Теперь спать лег.

Я рассердился на Дорожкина:

— С ума вы сошли! Что вы наделали? Ведь черный хлеб может повредить...

Дорожкин засмеялся.

— Ему-то повредить?! Да вы что? Сами-то в себе ль вы? Все равно ведь не сегодня-завтра помрет. Пущай на дальнюю дорогу провиантом запасается.

Я замолчал. Через час Дорожкин снова вошел.

— Теперь скоро конец!

Я встревожился.

— Почему вы так думаете?..

— Потому одеяло зачал дергать и руками в воздухе что-то ловит. Уж это верный знак, будьте надежны...

С сильно бьющимся сердцем пошел я к Маразгали и, не заходя в комнату, стал следить в открытую дверь. Лежа на койке лицом к стене и, казалось, с раскрытыми глазами, по временам он действительно хватал что-то в воздухе левой рукой...

Я тихо окликнул его — он не отозвался.

На вечерней поверке он был еще жив и, внезапно поднявшись, заговорил что-то на своем языке.

— Чего ты, Маразгали? — спросил надзиратель.

— Ничего, лядно, — отвечал он и опять лег. Это были последние его слова.

Заглядывая робко в дверь, мы долго еще видели, что он дышит. Устав от томительно долгого ожидания, я задремал на своей койке. Около полуночи Дорожкин разбудил меня.

— Кончился!..

— Не может быть? — вырвался у меня совершенно непроизвольный крик, которого Дорожкин не удостоил даже ответом, и я поспешил за ним в комнату Маразгали. Несколько больных арестантов уже толпились около тела, тщетно стараясь закрыть широко раскрытые, точно удивленно глядевшие глаза. Я возмутился этой поспешностью и, отогнав прочь непрошеных опекунов, взял исхудалую, как спичка, бледную, свесившуюся с койки руку, она показалась мне еще теплой. Я посмотрел в глаза, но они не глядели уже осмысленно и казались стеклянными. Усанбай Маразгали окончил земное странствие!

Дорожкин начал суетиться вокруг мертвеца.

Одна черта поразила меня в этом старом бродяге, не признававшем ничего святого и ничего в мире не чтившем: довольно грубый и часто невыносимо придирчивый в обращении с больными, теперь по отношению к мертвому он обнаруживал какую-то странную, почти материнскую нежность и заботливость.

— Ну вот, гол-у-бчик! — приговаривал он, надевая на тело чистую рубаху, — увидишь теперь и Маргелан свой и мать... Никто тебя больше не обидит, в тюрьму не посадит!

Между тем загремел замок и в больницу с шумом вошли фельдшер и несколько надзирателей, которым было уже дано знать о смерти арестанта...

Маразгали похоронен на тюремном кладбище, недалеко от дороги, по которой каторжная кобылка ходит в рудник. Над его могилой нет креста, и зимой она вся бывает занесена снегом, а летом густо покрыта цветами багульника и томительно душистого шиповника. Какие сны грезятся тебе, мой дорогой, бедный мальчик? Нашел ли ты хоть здесь, в этой темной могиле, успокоение от своей неисцелимой тоски по далекой родине? И если да, то не лучше ли, что ты умер в то время, когда жизнь не успела еще ожесточить тебя и загрязнить твой чистый, прекрасный образ?.. [40]

Одиночество

I. В НОВОЙ КАМЕРЕ. — НЕВИННЫЕ И ЖЕСТОКИЕ

Рассказ мой забежал, однако, далеко вперед, и теперь я должен вернуться к тому моменту, когда при новом размещении арестантов по камерам попал в № 1. Репрессии, вызванные инцидентом с Шах-Ламасом, продолжались не дольше месяца; затем снова начались мало-помалу послабления. Возвратили котлы, отсутствие которых так смущало Никифора; небрежнее стали опять замыкать камеры; появились неизвестно откуда карты; староста Юхорев с другими ивана́ми стал умудряться раздобывать по временам даже и водку... Единственным напоминанием о погибшей человеческой жизни остались кандалы на ногах арестантов да отобранные у меня книги, которых я не решался снова просить у Лучезарова. Впрочем, с горных рабочих и кандалы вскоре опять были сняты: ввиду неоднократно случавшихся в рудниках несчастий с арестантами, закованными в цепи, администрация горного ведомства, в общем чрезвычайно гуманно относящаяся к каторжным и часто берущая их сторону в столкновениях с тюремным начальством, ставила непременным условием, чтобы каторжные ходили в гору раскованными.* Между тем отсутствие чтения

* В отношении кандалов тюремное начальство вообще не обнаруживало большой последовательности и руководилось больше

вслух было очень чувствительно в долгие зимние вечера: не занятое ничем воображение арестантов, естественно, направлялось к воспоминаниям о жизни на свободе, и мне волей-неволей приходилось быть слушателем самых ужасных, кровавых и циничных историй. Из-за тяжелого ли внутреннего состояния, покрывавшего для меня траурным флером весь мир и заставлявшего яснее видеть в людях именно их дурные стороны, или из-за чего другого, но только от этого времени сохранились у меня наиболее мрачные воспоминания о своих невольных сожителях; самые страшные рассказы врезались в память именно в этот период. Особенно одно обстоятельство пугало меня в этих рассказах: замечавшееся у большинства довольство своим прошлым и своим преступлением, чрезвычайно легкое отношение к пролитой человеческой крови, к разбитой чужой жизни и сожаление об одном только, что не хватило ума получше скрыть следы преступления, не «пофартило» ускользнуть от рук правосудия... Даже в наименее испорченных я постоянно замечал стремление во что бы то ни стало оправдать себя, выставить невинно пострадавшим. Часто я склонялся даже к заключению, что раскаяние в том высшем смысле, в каком понимается оно образованным миром, чувство, совершенно незнакомое простолюдинам-арестантам. Всякий зародыш его уничтожается в их душе сознанием, что они терпят наказание, что их мучат и терзают за совершенный грех. В начале знакомства почти каждый каторжный, даже из самых закоренелых, старался для чего-то уверить меня, что он осужден без вины, по злобе оскорбленного им следователя или кого-нибудь из свидетелей (чаще всего свидетельниц). Я настолько привык к этим уверениям, что ста́л потом скептически относиться к рассказам и тех, которые, быть может, действительно попали в каторгу за чужой грех. Мне гораздо больше нравилось, когда арестанты прямо, не стесняясь, признавали себя «разбойниками, подлецами и мошенниками». Впрочем, и таких можно было разделить на несколько своеобразных категорий. Одни, самые закоренелые, как бы кичились и хвастались по-

---

своим настроением. Вот почему и в моих записках (как в первом, так и во втором томе) арестанты фигурируют то в кандалах, то без кандалов; одно время вечные носили даже наручни... *(Прим. автора.)*

добными «качествами»; это были — или действительно озлобленные до последией степеии, иезаурядные в своем роде люди, или же, наоборот, самые дешевые иатурищки, крикуиы и хвастуиы, иаглецы и врали, не уважаемые своими же, иа жизнь человека смотревшие, как иа жизнь мухи, готовые за грош или рюмку водки совершить зверское убийство и всякую другую гиусность. В довершеиие всего — страшиые трусы. Стараясь подражать большим злодеям и приобрести славу таких же «громил», они заходили бескоиечно дальше их в радикализме взглядов иа вещи: ие только отрицали все святое иа свете, ио и походя богохульствовали и кощуиствовали; не просто убивали, а выпивали еще при этом стакаи живой человеческой крови; им иравилось иа каждом шагу щегольиуть своей беспардонной и бесповоротиой отпетостью и развращеииостью. Этот разряд арестаитов, живые образцы которых я в свое время представлю читателю, самый аитипатичный и вредиый. Мелкие душоики и убогие умишки, оии иеспособиы ии к каким высшим движениям души, которые так часто бывают зиакомы преступиикам типа Семенова или даже Гончарова. Само собой разумеется, что и этот основной характер, в свою очередь, имеет иесколько подразделеиий, иачиная с самого беззастенчиво-откровеииого нахальства и цииизма и коичая отвратительной двуличиостью и подлипальством. Что же касается тех, которые упорио объявляют себя без вины осуждеиными, то повторяю: всегда следует относиться к подобиым заверениям cum grano salis.* Не подлежит иикакому сомнеиию, что сорок лет иазад, во времеиа Достоевского, когда Россия была «глубоко несчастиой страиой, подавлеииой, рабски-бессудной», когда, кроме крепостного права, существовала еще двадцатипятилетняя солдатчина и, по выражеиию поэта, «ужас иарода при слове *набор* подобеи был ужасу казии», — иесомнеиио, что в те времеиа в каторгу должен был попадать огромный процент совершеино иевииных людей и еще больше — осуждеиных ие в меру строго. Самые ужасиые преступления могли совершаться в то время людьми вполие иормальиыми, иравствеино не испорчеиными, выведеи-

* Буквально: со щепоткой солн *(лат.)*. Здесь в смысле: принять на веру с оговоркой, с осторожностью.

ными лишь из границ терпения несправедливым и анормальным строем самой жизни. Поэтому Достоевский имел, думается мне, некоторое право идеализировать обитателей своего Мертвого Дома, состоявших почти наполовину из военных (чуть не поголовно грамотных), по душевному строю стоявших очень близко *к народу;* но такого права не было бы у современного наблюдателя, который задался бы целью нарисовать картину современной русской каторги. Ведь нельзя же, в самом деле, сомневаться в том, что за сорокалетний период русское законодательство и русский суд, так же как и самая жизнь и нравы, сделали огромные шаги вперед по пути гуманизма и справедливости. A priori можно поэтому думать, что в современную каторгу попадают несравненно более по заслугам, чем в былые времена, и что население нынешней каторги *в главных своих частях* представляет *подонки* народного моря, а отнюдь не самый народ русский... И действительно, несмотря на то, что добрая половина виденных мною арестантов утверждала, что пришла в каторгу за чужой грех, и почти все без исключения жаловались на суровость осудившего их «шемякинского» суда, — при ближайшем ознакомлении с их характером, с их прошлым и тяготевшими над ними обвинениями мне редко приходилось отыскивать совершенно без вины осужденного человека. В большинстве случаев, если и можно было допустить ошибку или пристрастие судей в данном случае, то сам же арестант сознавался, подобно Гончарову, что, невинный на этот раз, раньше того он совершил множество преступлений, достойных каторги, но оставшихся неизобличенными. И, сознаваясь в этом, он тем не менее жаловался на судьбу, клял все суды и законы на свете и утверждал, что его несправедливо послали в каторгу...

Однако значит ли все это, что я проповедую жестокое отношение к нынешним каторжным, что, называя их «подонками народного моря», я тем самым выражаю к ним полное презрение, как к «отбросам», которые и заслуживают того только, чтобы их бросили и предали по возможности уничтожению? Позволю себе надеяться, что все, написанное мной о мире несчастных отверженцев, удержит читателя от столь несправедливого и превратного понимания моих слов. Разве на дне моря нет перлов? Если говорится, что сверху сосуда вода

отличается лучшим качеством, то разве значит это, что на дне она совершенно уже не годна для питья? И разве главная задача моих очерков не заключается именно в том, чтобы показать, как обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно, глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что стоит преградой на пути к человеческому счастью? *

Но вернемся к нашему анализу. Существуют ли всетаки в каторге невинные, жертвы несчастных недоразумений или судебных ошибок? Теоретически говоря, несомненно существуют, хотя мне лично и не удавалось встречать таких, в невинности которых я с уверенностью мог бы поручиться. Что, например, могу я сказать об отцеубийце Дашкине, неуклюжем детине огромного роста, с неприятно-животным выражением красного лица и бессмысленно-сонными глазами, — о человеке, мыслительные способности которого имели самый первобытный характер? Он должен был отбыть в каторге, не снимая кандалов и не выходя в вольную команду, ровно семнадцать лет, а по окончании этого срока, как все отцеубийцы, отправиться в Верхнеудинский централ на вечное одиночное заключение... Всякий арестант на его месте, не имея впереди никакой надежды, только и думал бы о том, как бы «сорваться», бежать или по крайней мере перебраться в другую тюрьму, где существование несколько вольготнее; наконец, оставаясь даже и в Шелайской тюрьме, был бы для начальства бельмом на глазу, вел бы себя дерзко, лодырничал и ничего не боялся. Между тем Дашкин работал как вол, был тих и покорен как ягненок. Свежему, совсем не знавшему его человеку могло бы прийти, пожалуй, в голову, что его грызет червяк раскаяния, что он хочет заглушить муки совести тяжестью взятого на себя креста. Ничуть не бывало! Он категорически утверждал, что не убивал отца или что по крайней мере не помнит этого, так как в момент убийства был бесчувственно пьян.

---

* Резюме моих взглядов на этот предмет читатели могут найти в послесловии к настоящей книге (см. т. II наст. издания) — «От автора (post scriptum) *(Прим. автора.)*

— Ничего не могу сказать, сам не знаю, — говорил он растерянно, — убил али не убил, ничего не помню. Только вернее, что не я убил, а зять, потому не за что мне было убивать отца!

По словам Дашкина, он и на следствии сначала не сознавался; но потом будто бы зять, которого самого он не подозревал в то время в убийстве, убедил его сознаться, говоря, что суд отнесется к нему в таком случае мягче. Дураковатый Дашкин поверил этому и попал в тюрьму на всю жизнь. Возможно, конечно, что осуждение Дашкина и в самом деле было ужасной, истинно трагической ошибкой; но возможно и то, что Дашкин врал, хорошо зная, как враждебно относится арестантская масса к отцеубийцам.

Гораздо чаще встречались случаи, когда человек осужден был только с формальной точки зрения законно и справедливо, но зато бесчеловечно жестоко по существу. Наиболее ярким примером такого рода было дело Маразгали, о котором я выше рассказывал. Наше уложение о наказаниях вообще чересчур сурово относится к побегам, и только в последнее время сама администрация начала обращать внимание на тот ужасный факт, что в каторге *до сих пор* находятся люди, осужденные совершенно безвинно с современной точки зрения, *еще во времена крепостного права,* и на малые сроки, но потом благодаря частым побегам без совершения при этом каких-либо преступлений заслужившие себе вечную и даже более чем вечную каторгу!.. *

Но что было делать закону с таким, например, человеком, как некий Шемелин, осужденный на двадцать лет за убийство родного брата, действительно им совершенное? Закон и даже народные нравы особенно сурово относятся к подобным преступлениям. Худшие из арестантов нередко кричали на него и в шутку и серьезно:

— Ты хуже любого из нас! Ты родного брата убил, Каин! Ты вешалицу заслужил!

И старик, видимо недовольный такими окриками и в душе считавший себя бесконечно выше и лучше развращенной до мозга костей шпанки, терпеливо выслу-

* «Вечная» каторга фактически длится двадцать лет, но сложные сроки арестантов, судившихся за побеги и другие преступления, совершенные уже в каторге, бывают несравненно длиннее (двадцать пять, тридцать и даже пятьдесят лет). *(Прим. автора.)*

шивал их и молчал. Между тем, разбирая дело по существу, нельзя было строго винить Шемелина. Русский мужик из самой глухой и забытой богом местности, выросший, как пень в лесу, среди таких же, как сам, темных и первобытно-простых умов, набожный, трудолюбивый, запуганный, богатый терпением и выносливостью, наконец, по-своему глубоко честный, он был обижен старшим братом, который оттягал у него клочок земли и ни за что не хотел вернуть. Спор из-за межи длился целых семь лет, то затихая, то вновь вспыхивая, как потухающий костер, в который упадет новая щепка, и постоянно поддерживая в братьях вражду. Старший был, по-видимому, смелее и нахальнее. Фактически завладев землей, он еще дозволял себе при всем народе издеваться, «галиться» над младшим. Шемелин сам говорил, что несколько раз приходило ему в голову убить врага, но бог каждый раз отводил от греха его руку. Но наконец и его терпение лопнуло; и когда в один из воскресных дней брат, нарядившись в праздничную одежду, шел мимо его дома в церковь, он выстрелил в него из ружья и убил наповал. Шемелин никогда не защищал своего поступка, никогда не говорил, что так и в другой раз поступил бы, но он не сознавал, с другой стороны, и всей моральной тяжести этого преступления и глядел на него не как на грех, который нужно искупить муками каторги, а лишь как на несчастье, которое нужно как ни есть избыть. Молчаливый и уклонявшийся большей частью от всяких споров и пререканий с товарищами-арестантами, в душе он все-таки считал себя хорошим человеком, имел своего рода гордость честности. Любил он, например, рассказывать, как в дороге на одном из этапов вернул торговке лишний двугривенный, который та дала ему сдачи, и как вся кобылка подняла его за это на смех. Этот первобытный ум ярче всего обрисовался мне в одной беседе, происходившей в камере по поводу прямых и косвенных налогов. Среди каторжных были доки, для которых теория и практика государственных финансов были сущими пустяками. Один из них, ругая на чем свет стоит правительство, сыпал фактами и цифрами. Остальные внимательно слушали его и поддакивали. Наконец молчаливый Шемелин не выдержал и певуче протянул:

— Ну, это ты вре-ошь.

— Что вру?..

— Да что эстолько берут с нас. У меня, к примеру, и в жисть столько денег не было, сколько ты в один год начел.

— Как? А ситец на рубаху себе или на сарафан бабе ты покупал?

— Мы не покупали ситчев... Мы сами ткали, что было нужно. Это теперь только мода пошла и у нас по деревням наряжатча.

— Хорошо. Ну, а спички ты покупал?

— И спички мы сами делали... В мое время крестьяне всё для своего обихода делали.

— О, чертова голова! Да табак-то курил ты? Чай, сахар имел?

— Табаку не курил я, бог миловал, а чай, сахар... Да я до каторги слыхал только про их, а не знал, с чем и едят!

— Вот тратата проклятый! Поди вот поговори с ним образованный человек, полюбуйся на дичь эту сосновую! Да водку-то ты пил? Платил за водку?

— Мы не платили и за водку... Мы сами сидели...

После этого заявления оратор отошел от Шемелина прочь, с сердцем плюнув и безнадежно махнув рукой; а Шемелин тоже замолчал в блаженном сознании своей неодолимой правоты и превосходства, перед которыми бессильны все козни врагов. И в самом деле, можно было умилиться перед этой трогательной простотой физических потребностей и умственных интересов, не очень далеких от тех интересов и потребностей, какими живет трава в поле, птица в небе, дерево в лесу. Не этой ли психической несложности обязан он был и своей «честностью», устоявшею даже в каторге, под влиянием сотен развращающих примеров и фактов, под давлением самой назойливой пропаганды всяческой подлости и мошенничества? Впрочем, и Шемелин уже сделал им кое-какие уступки. Так, узнав, что все лишние казенные вещи в каторге отбираются, и скопив в то же время за дорогу путем старческой бережливости и аккуратности несколько пар варежек, онучек и других тряпок, он зашил их перед прибытием в рудник в подстилку, надеясь, что там их не найдут. Но в Шелайской тюрьме не только нашли их, но и самую подстилку вместе с сбережениями отобрали и предали сожжению. Старик очень был огор-

чен этим и нередко жаловался мне, что дорогой он мог бы продать их за хорошую цену, да «вот дурь какая-то вошла в голову — непременно в каторгу пронести!» Но как невинна и проста была эта неудавшаяся хитрость в сравнении с проделками и аферами настоящих каторжных «артистов»!

Шемелин был честный из честных в Шелайской тюрьме, честный настолько, что все товарищи глумились над ним и сами признавали уродом в своей семье. Он и действительно был редким исключением. Что же могла дать такому человеку каторга? Неужели что-нибудь полезное, душеспасительное? И не лучше ли было бы, не справедливее ли даже — отпустить такого человека на волю, ограничив наказание удалением с родины? Я думаю, лучше; но закон, к сожалению, не руководится соображениями иной справедливости, кроме чисто формальной и внешней, и потому Шемелин, осужденный на двадцать лет каторжных работ, должен был провести из них семь лет в тюрьме (четыре года в ножных кандалах и все семь с бритой головой) и еще одиннадцать в вольной команде, где нужно исполнять те же каторжные работы и подчиняться тому же бессудному режиму. Жизнь человека была разбита окончательно и безнадежно...

Я не раз упоминал уже, что в некоторых отношениях арестанты напоминали мне настоящих детей и дикарей. Хотя я и далек от мысли проводить полную параллель между преступниками и детьми, даже и дурно направленными, сильно испорченными, тем не менее невольно бросаются в глаза некоторые сближающие черты: та же пылкая впечатлительность без глубины и прочности впечатлений; то же неуменье скрывать душевные движения; та же неустойчивость воли, быстрые переходы от одной мысли к другой, часто совсем противоположной первой, и — что еще хуже — необдуманность самих поступков, чересчур скорый переход от слов к делу. Эта-то неустойчивость воли и служит, мне кажется, главной причиной большинства преступлений. Но есть ли она непременно признак прирожденной преступности, или так называемой дегенерантности? Ненормальность социальных отношений, невежественное воспитание, некультурность среды — вот, думается мне, главные очаги заразы. Люди, столь же нормальные и здоровые, как и тысячи других людей, преспокойно живущих на воле с репутацией без-

укоризненной честности, нередко толкаются на преступный путь лишь дурными примерами, привычкой к виду крови и всяческого насилия. Нужно, впрочем, вспомнить, что и дети бывают страшно жестоки и равнодушны к чужому страданию; еще дедушка Крылов выразился о них, что «сей возраст жалости не знает». Я сам помню из времен своего раннего детства, как бывал подчас жесток с птичками, насекомыми и другими беззащитными существами и как с любопытством присутствовал иногда при сценах возмутительного насилия (конечно, в том случае, если они самому мне ничем не грозили); между тем, став взрослым и образованным человеком, я не мог спокойно выносить вида крови, даже слышать о какой-нибудь страшной ране без невольного содрогания и ощущения чисто физической боли. Так велика разница между психикой ребенка и взрослого интеллигента! Многие из арестантов сходны еще в том отношении с детьми, что так же, как они, отличаются неуменьем представить себе помощью воображения и почувствовать, как свои, чужую боль и страдание.

Жестокость нередко объясняется также чувством мести... Нельзя, впрочем, отрицать, что встречаются среди преступников и субъекты, у которых природное легкомыслие соединяется с особого рода сладострастием, цинизмом жестокости, совершенно бессмысленной, по-видимому ничем не объяснимой... Но это уже выродки, исключения — больные люди, которых нужно лечить, а не мучить.

До каторги я, например, никогда бы и никому не поверил, что в России по сию пору существуют еще людоеды; но меня уверяли не только арестанты, но и представители тюремной администрации, будто в Алгачинском руднике сидело несколько русских и татар, осужденных за торговлю (?!) человеческим мясом... На Сахалине будто бы есть множество убийц, евших мясо умерщвленных ими врагов. Даже в Шелайской тюрьме был один бродяга, утверждавший, что он сам отведывал пирожки с начинкой из «человечины» и нашел их очень вкусными... Будь даже этот рассказ лжив, он все-таки довольно характерен. Другой арестант вполне хладнокровно рассказывал уже вполне правдоподобную, хотя и не менее возмутительную историю. Он бродяжил с то-

варищем-киргизом. По дороге встретили они молодую женщину и, прежде чем убить и ограбить, киргиз отрезал несчастной правую грудь и выпил из нее чашку живой крови.

— Как же вы позволили ему сделать такую гнусность? — спросил я рассказчика.

— А какое я имел полное право запретить? — был невозмутимый ответ. — Он мне товарищ был.

— Да ведь это бог знает что! Нужно было силой помешать.

— Ха! силой... А почему ему меня не осилить?

— За что же вы убили эту женщину?

— Так пришлось. Необходимость вынудила. Мы три дня голодом шли, а у нее были деньги. Самим было погибать, что ли? Тут я, братцы, в первый раз увидал, как человечецкую кровь пьют. Раньше думал, что это звери только лесные делают, ну, а тут увидал, что и наш брат тоже...

— Еще как делают-то! — подтвердил один из слушателей.

Никогда я не видал и не слыхал, чтобы рассказ о каком-либо убийстве или истязании со всеми их гнуснейшими подробностями заставил кого-либо из слушателей содрогнуться, вскрикнуть, высказать злодею прямое неодобрение. Напротив, публика была, видимо, всегда на стороне палача, а не жертвы, и для первого из них всегда отыскивалось в ее глазах какое-либо оправдание. Зато приходилось слыхать веселый, дружный, раскатистый смех всей камеры при таких рассказах, от которых у меня волосы на голове становились дыбом и мороз пробегал по коже... Однажды маленький и тихий обыкновенно арестантик, Андрюшка Повар по прозванию, повествовал в моем присутствии о том, как он убил свою любовницу. История эта некоторыми внешними чертами своими сильно напоминала мне историю Парамона, но по существу между ними не было никакого сходства.

Жил Андрюшка со своей Ульяной три года, причем, по собственным его словам, беспробудно пьянствовал. Наконец Ульяна из-за чего-то поссорилась с ним и, забрав свою «лопоть» (одежу), ушла от Андрюшки к другому мужику. Самой любовницы Андрюшка не жалел, но «лопоть» считал своею и потому несколько дней

спустя явился к бывшей сожительнице требовать назад принадлежавшие ему вещи. Последовал грубый отказ.

— Раньше я ничего такого на уме не держал, — рассказывал Андрюшка, — но тут меня забрало! «Как? — думаю. — За мои же деньги смеет стерьва так надо мной галиться?» Оглядываюсь. В углу на лавке мужик сидит, ее новый любовник, а на столе большой нож лежит. Схватываю я нож: «А! ты так? — говорю. — Так вот же тебе, тварине!» — и всаживаю ей ножик в самое пузо... Она и шары выпучила... Гляжу: руки растопырила и валится, валится на меня... Вот этак... Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо-хо!.. — грянула в ответ камера при виде Андрюшки, изображающего, как валилась на него убитая, распялив руки и вытаращив глаза.

— «Куды налазишь, падло?» — говорю ей. Толк ее от себя рукой... Она — брык ногами и грянулась навзничь... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо-хо!

Дрожа всем телом, с ужасом смотрел я на этих людей, недоумевая, как могут они хохотать над подобными вещами. Ясно помню, как мне показалось в ту минуту, что я нахожусь в доме сумасшедших, и я невольно подумал об одной криминальной теории, когда-то сильно возмущавшей меня тем, что она признает всех «преступников» людьми с ненормальными умственными способностями.

— Тут любовник ее как вскочит с лавки! Схватил откуда-то топор да как швырнет в меня! Так мимо уха и просвистел топор, в дверь на полчетверти вонзился. Опомнился я и к нему тоже с ножиком кинулся. «А! и ты жить не хочешь? Иди за ней!» Полысь и его в брюхо... Он тоже шары выпучил и хлоп на землю... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Чего же вы смеетесь, Андрей? — не вытерпел я, все еще весь дрожа и ужасаясь. — Разве так легко и приятно людей убивать?

Камера притихла на минуту.

— А чего же тут трудного? — спросил, в свою очередь, Андрюшка, удивленно на меня взглянув. — Я и сам сначала думал: «Не приведи, мол, бог убить человека». А на деле увидал, что все едино — что барана, что человека зарезать! Тот же пар. Ткнешь ножиком в

брюхо и не слышишь даже: так во что-то мягкое, ровно в мякину, ножик ползет.

В камере некоторые опять засмеялись, неизвестно на этот раз над чем: дивясь ли глупости Андрюшкиных речей или же сочувствуя им. Мне почудилось в смехе немножко того, немножко и другого.

— Теперь я, как из каторги выду, — продолжал расходившийся Андрюшка, — кажиный день стану по одному их резать.

— Кого это их?

— Да кого придется. Кто заслужит. Черна овца, бела овца — дух один... Поп ли, попиха ли, пономарь ли — одно сословие. А пуще всего, братцы, баб стану резать, потому в их я наиболее скусу нашел... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ну, а что же потом было, Андрей, после совершения убийства?

— Что было? То, что я дураком сам себя набитым оказал. Мог бы убечь очень легко, а я пошел и заявил сельскому старосте: так и так, мол, убил двух чертей, принимайте. Ну, и скрутили мне руки. Дело рано утром было. А к ночи столько всякого начальства наехало, что целый бы день вешать — не перевешать. А в ледник идти, где мертвяки лежат, боятся! Никто лезть не хочет... «Иди, говорят, ты, Андрей, вытащи их сюда». Мне чего! Я полез. Гляжу: лежат, не шевелятся. Беру одну за волосья, другого за ногу и выволакиваю обоих на свет божий: любуйся, честная компания! Все так и шарахнулись прочь... «Это твои, эти самые?» — спрашивает меня заседатель. «Мои, говорю, ваше благородие. Не сумлевайтесь, отделка самая чистая...» Ха-ха-ха-ха-ха! Потом в тифу я шесть недель пролежал, всё лезли ко мне, проклятые...

— Кто?

— Мертвяки эти... Так и налазят, так и налазят! Я все ножом их в брюхо пырял: прочь, окаянные, отвяжитесь!

Андрюшка Повар пошел за свое убийство в работу на одиннадцать лет. Сколько раз ни рассказывал он товарищам свою историю (я слышал ее от него по крайней мере три раза), каждый раз им овладевала почему-то неудержимая, почти истерическая веселость, и часто он готов был надорвать, что называется, животики от смеха. А между тем в обычной жизни это был

арестант далеко не из худших, тихий и работящий, не потерявший окончательно совести и не наплевавший на честность. Впрочем, он производил впечатление придурковатого парня. Обыкновенно смирный и незаметный в толпе, он был чрезвычайно вспыльчив и чувствителен к насмешкам. Любил, кроме того, прилгнуть и прихвастнуть в рассказах о своей прошлой жизни: так, если он пьянствовал, так непременно уж круглый год, без просыпу; если убивал на охоте сохатого, так прямо с дом величиною; если видел страшную змею, так с крыльями. Кобылка относилась поэтому к Андрюшке свысока и рассказам его не слишком доверяла.

Помню немало и других рассказов, на меня наводивших трепет, а на сожителей моих самую, по-видимому, беззаветную веселость. Однажды зашел разговор о мертвецах и связанных с ними поверьях. Некто Сокольцев, один из самых бывалых в Шелайской тюрьме арестантов, начал с сравнительно невинной истории.

— Дело было на Лене. Я еще по первому разу в Сибири был. Приспичило мне с товарищами — до зарезу деньжонками или припасами разжиться. Вот приходим мы ночью в большое село; видим, на краю — нежилая избушка, а заперта на замок. «Ну, — думаем, — видно, клеть, тут пожива предстоит». Снимаем замок, заходим. В сенцах ничего нет. «Постой, — говорю я товарищу, — на стрёме, а я пойду, в той половине пошарю». Захожу туда, чиркаю спичку. Глядь: туши бараньи лежат... Вот радость-то! Только хотел было одну за морду сцапать — ах, черт возьми: мертвец!.. Штук их десять лежит. Скоропостижные, значит, убитые и прочие, доктора дожидаются. Дело зимой. «Ага! — думаю. — Сострою ж я над тобой штуку, испытанье сделаю...» Выхожу к товарищу у сенцы: «Ну, брат, говорю, в шляпе дело. Десять бараньих туш нашел. Иди, тащи одну али две. Да ступай без огня, а то как бы не увидали». — «Нет, говорит, без огня еще лоб расшибешь, давай хоть пару спичек!» — «На», — говорю. Вот он и пошел, а я заместо его на стрёме стал. Как он вдруг выскочит оттедова, ровно сумасшедший... «Куды? Куды?» — кричу ему. Он ни слова в ответ, мимо меня стрелой, да в двери! На другой только день к полудню его встретил... Остался я один, обшарил все углы, поснимал с покойников рубахи и ушел.

— Что ж, так и не узнали?

— Нет, узнали. Глуп еще был — уличили. А впрочем, ничего особенного не было. Подержали с месяц в каталажке и отпустили на все четыре стороны. Ну, всыпали, конечно, штук тридцать.

— А я так вот не таков: я боюсь мертвяков! — сказал Водянин, он же Железный Кот, известный тюремный рифмач и остряк.

— Право же, боюсь, хоть и сам лапчатый гусь. Сам себе дивлюсь: как я своего татарина убивал и хоронил!

— А ты разве за татарина? — спросил кто-то.

— О! я, брат, за большого барина, — отвечал кузнец. — У меня тоже не было в грязь лицом ударено. Чисто было дельце обделано. Кабы не баба проклятая, никто бы никогда и не дознался.

— Какая баба?

— Да своя же жаба.

— Жена? Вот сволочь! Чего ж это она?

— Так, братец, подвела, что по гроб жизни попомню. Она-то и заслала меня в здешнюю каменоломню.

— Расскажи-ка путем, Железный Кот!

— Идет. Ходил по нашему месту мелочник-татарин. По две сотельных носил с собой да товару на столько же. Вот я раз и говорю бабе: «Смотри заведи с ним торг покрупняе, мне это будет половчае». Зову татарина к себе на двор: иди-ка, миляга, сделаю у тебя кой-какой забор. Выходит моя баба, обступает его середь двора — и ну целую кучу товара из короба выволакивать. Я начинаю покрякивать: «Куда ты эстолько накупить хочешь? У меня мелких нет, он разменять не сможет». Будто это меня тревожит. «Э! — смеется мой татарин. — Моя хоть сто целковых тебе разменяет». «Ага! — думаю. — Коли так, хорошо. Заплачу тебе ужо». Приношу из кузницы балодку фунтиков в десять, становлюсь позади. Баба еще пуще торговаться и спорить. Теперь, вижу, в самый раз дельце спроворить. Хвать его балодкой по голове! Он и сковырнулся на бок секунды в две. Тут я ему веревку на шею и утащил в конюшню. Потом вместе с бабой мы песком все следы закрыли и затоптали; товары в короб поклали и спрятали. Решили: как наступит ночь, татарина в болото уволочь и в пруд спустить. Вот наступил вечер. Гляжу, а месяц во все лопатки светит. Нельзя нести мертвяка — заметят. Ложусь

опять спать. Просыпаюсь — еще того светлее на дворе. Вот наказал бог! Плюнул со злости, еще раз лег. Наконец просыпаюсь — темно. Ну, так бы давно. «Возьмем, говорю, хозяйка, носилки, понесем». А она, стерьва, упираться вздумала: «Как я ребенка оставлю? Он еще тут завеньгает, шуму наделает, народ услышит, придет. Неси один». Рассердился я, плюнул ей в косу: ладно, один понесу! Пошел в конюшню. А раньше того я шибко мертвяков боялся. Но тут креплюсь. Иду, за его берусь. Подтянул ему веревкой ноги к спине и посадил в тачку... вот так...

Железный Кот стал на колени, показывая, как мертвец сидел у него в тачке.

— Вывез за ворота, повез в болото. Трудно было болотом ехать. Чуть где кочка, тачка моя кувырк набок вместе с мертвяком. Вот этак.

Железный Кот сам повалился набок.

— А где поболе толчок, там мой мертвяк и вовсе из тачки скок. Что тут делать? Поднимаю тачку, опять его туды кладу.

Рассказчик при этом опять подымается на колени; вся камера заливается смехом, глядя на это живое представление.

— Ну и Железный же Кот! Прямо — два сбоку... Это не Кот, а объеденье.

— Еду, братцы мои, дале. Сделаешь шага три ли, два ли — кувырк опять мой татарин!

Железный Кот опять ложится набок, приводя зрителей в неистовое веселье.

— И долго так я бился, покамест через болото к пруду не спустился. Ну, думаю, теперь слава богу! Спущу туды и назад в путь-дорогу. Бросаю в пруд. А завод-то ночью не работал,* воды в пруде оказалось мало, две четверти всего до дна; не тонет мой татарин, да и на! Я его на один бок, на другой — торчит, ничего не поделать. Пришлось снова вытащить, в тачку мокрого посадить, опять тащить. Привез наконец к золотомойной яме. Яма будет с нашу камеру, на дне вода. Мне бы его вверзить туда, да бока-то у ямы неровные. Мертвяк мой покатился да где-то сбоку и зацепился. Не захотелось мне туда лезть. Осерчал я, плюнул, махнул рукой и

* Действие происходит в Пермской губернии. *(Прим. автора.)*

пошел домой. Наутро пошел к Агапову, фартовцу одному, и сговорился с ним об товаре, куда принесть и что. На грех подслушай нас его баба. Как попался татарин мой в яме на глаза, у Агапова в числе прочих сделали обыск и нашли ситцу полштуки. Его сейчас же, голубчика, и в руки. Цоп в тюрьму, во кромешную во тьму! Баба его испужайся и покажи на меня, что вот, мол, слышала разговор мужа с кузнецом об товаре. И меня, молодчика, тоже забрали. Приходит моя баба ко мне на свидание, рассказывает, когда да кого еще забирают. Клюкина, мол, тоже зарестовали, нашли аршин ситцу, и свидетели показывают, что татарин к нему в тот день заходил, а он, дурак, отпирается. Я думаю себе: нам в пользу этот аршин. Ты ему, баба, еще подкинь. А тут еще и другое славное дельце наклевывалось у нас с Агаповым. Солдат один высидочный соглашался в сухарники идти, снять на себя убивство. Уж сговорились, как и что: семьдесят пять рублей денег, сапоги, шаровары плисовые, две рубахи шелковых, красную и синюю. Не будь моя баба разинею — оказался бы я на воле. Жду ее на другое свидание. День проходит, и два, и три, и неделя целая. Нейдет баба. Вызывает меня следователь: «Твоя, говорит, жена созналась». Читает мне ее показание: все, как было, в самую точку обсказано. У баб, известное дело, щель во рту не замазана.

— Вот стерва! Что ж это ей в башку взбрело? Надоумил, знать, кто?

— Вестимо, надоумили. После-то сама ревма ревела, в ногах у меня валялась. Думала, вишь ты, мне лучше будет, коли сознаюсь во всем! Что тут делать? Поругал ее, поругал, в зубы малость посовал, душу облегчил, да и простил. «Пусть, говорю, дети не пропадают, на меня жалобы после не имеют, я тебя от греха отстороню, все возьму на себя». И точно: такое показание дал, что суд ее вполне оправдал, мне одному двадцать лет накачал. Только баба-то шельмой оказалась. Я рассчитывал, она по гроб жизни мне обязана после этого будет, в каторгу за мной пойдет. Пока тянулись суд да дело, она, и точно, на шее у меня висела, посулами да обещаньями тешила меня, а как вынул ее из огня, она не пришла и проститься. Посиживай теперь мил дружок, засадила я тебя в хороший мешок!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— А что, Миколаич, — обратился внезапно ко мне Железный Кот, — могу ль я ее, гадину, силой к себе привести?

— Как это силой? — удивился я.

— А так. Нет ли закону такого, чтобы муж и в каторге мог жену к себе по этапу вытребовать?

— Нет такого закона. Да если она нехорошо с вами поступила, зачем она вам? И жалеть ее нечего!

— Да мне чего ведь жалко? Приди она сюды — прошлась бы по ей моя палка! Так бы славно прошлась, что попомнила бы наперед, каков я есть Железный Кот. Нельзя ли как, Миколаич, письмецо такое ей сварганить, притвориться, будто скучаю я по ей шибко, чтобы обманом то есть вызвать?

— Такого письма я, Водянин, не напишу.

— Ха! Да почему ж? Что тут такого?

— То, что я был бы участником обмана.

— Да обман-то не ко злу ведь был бы? Не насмерть же я ее забил бы? Так, поучил бы только легонько, для памяти. А потом опять стали бы жить да поживать. Мне детей пуще всего жалко. Теперь бы старшего к ремеслу пора приучать. И сам бы я в вольную команду ране вышел, человеком опять стал бы. Цель бы у меня была... А теперь я что? Пропащая душа — одно слово. Выду на волю — либо бродяжить пойду, либо в новую втюрюсь беду. А без бабы как сюда детишек достанешь?

Впоследствии я убедился, что Водянин был отчасти прав. Будь у него какая-нибудь цель в жизни, он еще мог бы стать на честную дорогу. В характере его были некоторые очень хорошие черты. На слово, данное им товарищу, можно было смело положиться; лицемерия в нем совсем не было. Детей своих он очень любил, иногда со слезами вспоминал о них и, не желая писать жене, осведомлялся о них через тестя и посылал им гостинцы. Отсутствие жадности также приятно бросалось в глаза в этом человеке. Зарабатывая в качестве кузнеца порядочные для арестанта деньги, он делил их пополам с молотобойцем Ефимовым, что вовсе не полагалось по правилам мастеровых.

II. ЕФИМОВ — ТЮРЕМНЫЙ СОФИСТ И МЕФИСТОФЕЛЬ

Заговорив о Железном Коте, обрисую уж вкратце и его молотобойца Ефимова. Это был совсем другого рода тип. Водянин сошелся с ним, как с земляком; сблизило их также и мастерство. Как-то случайно надзиратели назначили их вместе в кузницу и потом, по привычке, не разрознивали в течение нескольких лет. Странным даже показалось бы всем, если бы Водянина и Ефимова назначили в разные места. Даже во время новых размещений по камерам их всегда помещали вместе. Вместе обедали они из одного бака, вместе пили чай, поровну делили все заработанные деньги. Одним словом, можно было подумать, что это друзья закадычные. А между тем на деле было совсем другое. Ефимов действительно вел себя с Водяниным осторожно, ни в чем ему не переча и во всем уступая; но простой расчет заставлял его поступать так... Железный Кот уделял ему половину всего заработка, тогда как обыкновенно кузнецы дают молотобойцам лишь ничтожную часть, и он мог сыскать себе десяток других таких же молотобойцев, отнюдь не хуже.

За это Водянин, человек вообще очень покладистый и мягкий, не стеснялся высказывать Ефимову в глаза такую горькую правду, которой тот, с его самолюбием, ни от кого другого не стал бы спокойно выслушивать. Я уж сказал, что это была натура совсем особого склада. Родом он также был пермяк, и хотя из местности более глухой, земледельческой, но тоже достаточно уже развращенной. В работу пришел за убийство двух проезжих торговцев. По словам Ефимова, идея убийства явилась у него совершенно внезапно, благодаря глухому лесу, в котором он встретил свои жертвы. При гигантском росте и силе он живо с ними управился и все следы скрыл самым тщательным образом. Подозрение никогда бы не пало на него, и погиб он только из-за чисто сумасшедшей случайности — *ложному* оговору и *ложной* улике. Одна женщина, встретившая купцов в день убийства, показала, что встретила также и Ефимова, осторожно выходившего из того же лесу; а между тем в действительности она видела совсем другого человека, только похожего на него ростом. Кроме того,

при обыске нашли у Ефимова рубашку со свежим пятном крови, которая на самом деле была не человеческая, а телячья... Еще несколько других таких же мнимых улик сложились вместе столь роковым образом, что Ефимов, до конца не сознавшийся в убийстве, осужден был на пятнадцать лет каторги. Это обстоятельство сильно его поразило. Он много раз говорил мне, что хорошо испытал, как невыгодно быть мошенником, и что впредь станет жить только честным трудом.

— Ведь вот все, кажется, следы укрыл, чисто все обделал, ни одной справедливой улики не оставил, а в каторгу попал! И сколько я ни наблюдал, редко-редко какое убивство неоткрытым оставалось.

— А раньше вы, Ефимов, занимались какими-нибудь мошенничествами?

— Ни боже мой! И вся семья у нас честная!

— Чего ж ты, Еграха, врешь? — оборвал его Чирок. — А зачем же брат у тебя по Якутскому трахту сослан?

— Ага! Поймал тебя Чирок на крючок! — загоготала радостно вся камера, почему-то крайне недоброжелательно относившаяся к Ефимову.

— Брат мой совсем по другому делу сослан, — смущенно отвечал Ефимов, — не по мошенницкому.

— По святому небось? — ядовито продолжал приставать Чирок.

Ефимов молчал; все ехидно улыбались и переглядывались между собою. Мне становилось ясным, что только мы с Чирком не понимаем, в чем дело.

— Да они скопцы! — не выдержал наконец Железный Кот, давно уже сердито ерзавший на своих нарах. — У них вся деревня скопческая... И брат его за это ж по Якутскому пошел... Один Еграшка каким-то чудом не оскопился...

— Тьфу! Тьфу! — отплевывался Чирок. — Вот ненавижу этих людей... Самые супротивные люди! Чтоб свое тело я стал резать, себя увечить? Да лучше ж совсем помереть. Из чего ж тогда и жить, коли это... отрезать? Я почти старичонко уж, а и то в надеже еще живу, что на волю выду — опять человеком стану.

— Ты судишь, Чирок, как все мирские люди судят, — робко вступался за скопцов красный как рак Ефимов, —

а они люди особого сорту... Они об небе думают, потому в писании сказано...

— Паскудники вы окаянные! — перебивал его Чирок, поддерживаемый общим одобрением. — Об небе вы думаете? Гадов таких, как ваши скопцы, и свет не создавал. Самый двуликий народ. И жадности в их сколько, жадности этой сколько сидит! Об небе они думают... Тьфу!.. Ты-то почему ж уцелел?

— Так как-то, не пришлось. Рано женился. Ведь не неволят тоже, по доброму изволению печать принимают. Было и у меня, конечно, желание, только бес пересилил, мир пленил.

— Вот дурак!.. Бес, говорит, пересилил. Да где ж и бесов-то искать, как не в вашей сехте? Знаю я ее хорошо. Что у вас там делается, как на богомолье тайное сходитесь!

— Ничего дурного не делается, это все поклепы одни. Слыхал я!

— Ты, вестимо, своих застаивать будешь. Да меня, брат, не проведешь! Я тоже из тех ведь местов. Самое поганое племя — скопцы.

— Что верно, то верно, — опять не выдержал Железный Кот, — и что скопленые у них, что нескопленые — одна порода тавреная! Жадные, лицемерные! Посмотрите хоть на Еграфа. Ведь другого такого жида с огнем сыскать трудно. Над кажной копейкой трясется, ровно осиновый лист, на деньгах, ровно пес цепной при амбаре, сидит!

При последних словах Ефимов, видимо страшно оскорбившись, но не желая заводить ссоры с Железным Котом, с сердцем махнул рукой и, весь пылая как огонь, выбежал из камеры. А за глаза его еще сильнее начали ругать и костить на все корки.

Действительно, Ефимов был страшно скуп. В дороге он держал майдан; теперь, будучи немного грамотным, он вел счет издержанных вместе с Железным Котом денег и цепко хватался за каждый грош. Если случалось ему потихоньку от начальства купить молока или мяса, он никогда не приглашал к своей трапезе товарищей, и этой скупостью своей, видимо, стеснял кузнеца, имевшего более открытый нрав и щедрое сердце. Мне кажется, только слабость характера мешала последнему порвать с Ефимовым всякие отношения; он страшно не

любил его и часто, не вытерпев, высказывал в глаза резкие обличения.

Жена Ефимова решила приехать к нему в каторгу и, уже отправившись в дорогу по этапам, выслала мужу на хранение несколько десятков рублей, вырученных от продажи имущества. Я посоветовал Евграфу отправить ей заказные письма в Красноярск, Нижнеудинск и Иркутск — города, находившиеся на ее пути. Ефимов задумался.

— Конечно, не мешало бы послать, — согласился он наконец, — только можно, я думаю, и простенькие...

— Вестимо, лучше простенькие, — поддакнул Железный Кот так, что я и не приметил сначала тонкого яда в его словах, — три заказных письма — ведь это лишних двадцать одна копейка... На двадцать одну копейку можно семью в течение двух дней прокормить!..

По наивности я стал даже спорить с Железным Котом, доказывая ему, что нечего быть столь расчетливым, когда дело идет о спокойствии одинокой женщины с тремя маленькими детьми на руках, едущей в неведомый край и на неведомую жизнь трудным этапным путем.

— А все же лучше простенькие-то, Николаич, — возразил серьезно Железный Кот, — простенькие, по-моему, куды лучше.

И вдруг разразился громким насмешливым хохотом, который поддержала и вся камера, опять страшно переконфузив Ефимова.

Ефимов держался всегда солидно и деловито; он считал себя неиспорченным, честным человеком, гораздо выше и лучше всех других арестантов. Он страшно всегда обижался, когда ему напоминали, что и сам он две души на тот свет отправил. Свое убийство он считал почему-то неважным проступком, чем-то вроде несчастного эксперимента, который со всяким может случиться, и убежденно заверял, что в другой раз не наживет себе каторги. Я тоже склонен думать, что в другой раз Ефимов семь раз отмерит, прежде чем решится отрезать кому-нибудь голову: «выгоды» не нашел он в этом ремесле... Однако я никогда не поручился бы, что мой Евграф устоит против соблазна преступления, если будет иметь полную гарантию того, что оно пройдет вполне безнаказанно и принесет очень большой барыш.

Из новых моих сожителей был один арестант, давно уже привлекавший мое внимание. Фамилия его была Сокольцев. Прежде всего он бросался в глаза самой внешностью: плотный, небольшого роста брюнет лет сорока, он отличался такого рода красотой, какая совершенно чужда типу русского крестьянина. В тонких чертах лица, правильном, почти изящном очерке чувственных губ, в тонкости бледно-матовой кожи, бархатистом выражении больших черных глаз, в мраморной шее и во всех движениях было что-то истинно аристократическое, что создается только десятками холеных, не занимающихся физическим трудом поколений. А между тем Сокольцев был простой неграмотный крестьянин одной из внутренних русских губерний, рано свихнувшийся с пути и попавший в Сибирь. Впрочем, по его словам, он был из дворовых одного богатого графа, и это обстоятельство невольно наводило на мысль об истинном его происхождении... Среди обитателей тюрьмы Сокольцев пользовался репутацией одного из самых умных арестантов, отнюдь не «дешевых» и видавших на своем веку виды. Каторжный срок его был сорок четыре года, и дело, которым он заработал этот срок, было одно из самых кровавых, о каких когда-либо мне приходилось слыхивать. Глядя на это красивое умное лицо, слыша этот мягкий голос, говорящий всегда так осторожно и вкрадчиво, я с трудом иногда верил, что передо мной стоит тот самый Сокольцев, который мог с спокойным духом проделывать подобные вещи; а между тем страшные разбойничьи подвиги его были истинной, невымышленной историей.

Сокольцев жил на поселении в Иркутской губернии, в качестве работника у одного зажиточного «челдона». Последний занимался скупкой золота у «хищников» и приисковых рабочих. Дознавшись однажды, что в доме хозяина скопилось около двух пудов золота, Сокольцев подговорил одного товарища-поселенца и, впустив ночью в дом, придушил общими силами хозяина, его жену и пятерых малюток. Потом, забрав золото и наличные деньги, которых также было немало, спрятал их в лесу в заранее приготовленном месте. Товарищ после этого ушел к себе, а Сокольцев, вернувшись в дом, запер его изнутри, запалил хорошенько и, вылезши в окно, улегся в сенях, притворясь спящим. Когда

сбежался народ, пожар разлился уже такой волною, что не только не было никакой возможности потушить его, но даже и войти в комнаты. Кое-как удалось проникнуть лишь в сени, тоже объятые пламенем и наполненные дымом, и вытащить оттуда, казалось, крепко спавшего и несколько уже опаленного Сокольцева. Зверски совершенное преступление так было ловко обставлено, что ни тени подозрения не могло упасть на работника, который сам казался пострадавшей жертвой. Трупы убитых сгорели к тому же дотла. Предполагали чью-то злодейскую руку, но искали ее совсем в другом месте. На беду Сокольцева, товарищ его был гораздо неосторожнее, он стал кутить, менять крупные бумажки, навлек на себя подозрение и был арестован. У него нашлись некоторые вещи убитых. Звено по звену, показание за показанием, и судебный следователь докопался до самого Сокольцева. И он и товарищ были осуждены на каторжные работы без срока, только золота не могли сыскать. Оно так и осталось закопанным где-то в лесу, поддерживая в осужденных бодрость и мечту о побеге. Товарищ Сокольцева попал, впрочем, на Сахалин, откуда не так-то скоро «срываются», а Сокольцеву действительно удалось в дороге нанять сухарника, шедшего на поселение, прийти вместо него в назначенную волость и немедленно отправиться оттуда на розыски зарытого сокровища. «Но кобылка нетерпелива, — рассказывал про себя сам Сокольцев, — ей всегда хочется сразу двух или даже трех зайцев поймать». Желая разжиться деньгами для «первого обзаведения», он запутался в новый грабеж с убийством и был снова арестован. В Иркутской тюрьме его, конечно, уличили, и под прежним своим именем он опять пошел в каторгу, на этот раз уже на сорок четыре года. Вот главное дело, которое привело Сокольцева в Шелайский рудник и сомневаться в истинности которого было невозможно. Но если верить рассказам арестантов о Сокольцеве и ему самому, то это была лишь ничтожная частица его похождений в России и Сибири. Ему было уже за сорок лет, и в волосах кое-где серебрилась седина. К сожалению, трудно было решить, где правда, где выдумка в рассказах о себе самого Сокольцева, где серьезная речь, а где тонкая насмешка над слушателями. Странный это был человек. Он не принадлежал к тем арестантам, которые в своей же среде

слывут «боталами» и «заливалами», и тем не менее все отлично понимали, что ни одному его рассказу нельзя с полным спокойствием верить. Чрезвычайно умный, Сокольцев, казалось, наслаждался своим умом и превосходством над окружающей шпанкой; ему, по-видимому, ужасно нравилось сегодня защищать перед ней одно, завтра с неменьшим успехом доказывать совсем другое, противоположное тому положение. Это был своего рода тюремный софист и Мефистофель. Казалось, он играл своими собеседниками, как кошка с мышью, и часто, начав, по-видимому, вполне серьезный разговор, шедший в унисон с общими мнениями, незаметно ни для кого доводил его до таких явных абсурдов и шутовских несообразностей, что собеседники только рты разевали и, глядя на него как бараны, не знали, смеяться ли им или сердиться... Так, он пресерьезно рассказывал однажды, как во время жатвы за какое-то оскорбление на него напали тридцать две бабы и сначала здорово-таки побили его, но как потом он извернулся и, схватив лежавший поблизости кол, десять из них убил до смерти, десяти другим выколол глаза, еще нескольких изувечил другим способом, и только очень немногим удалось спастись живыми и невредимыми. Рассказывал он эту историю с такими реальными подробностями, с таким живым и вместе страшным юмором, что положительно трудно было сказать (особенно при первом впечатлении), все ли было в ней выдумка или же таилось и зерно правды. Когда над Сокольцевым начинали смеяться и говорить, что он опять «заливает», он ничуть не обижался и сам лукаво посмеивался — неизвестно, впрочем, над кем: над собой или над слушателями. Внутренняя ли сила, чуявшаяся в этом человеке, громкая ли слава или что другое, но, несмотря на свое несомненное «заливанье» и «ботанье», Сокольцев, повторяю, считался одним из серьезнейших арестантов, из таких, которые при случае ни перед чем не остановятся и ни над чём не задумаются.

Раз я сам слышал рассказ Сокольцева о том, как, скитаясь по бродяжеству, голодный как собака и без гроша денег, он придушил попавшуюся навстречу старушку богомолку и нашел у нее... сорок копеек денег.

— Ну, ты, должно быть, и теперь как собака жрать хочешь, коли такие пули отливаешь, — заметил на это

один из его приятелей, тоже серьезный арестаит,— иадо, видно, чаем тебя иапоить, меньше врать будешь.

Сокольцев засмеялся в ответ своим обычным бархатиым смехом, и я так и остался в недоумеиии, точно ли ои убил богомолку или сейчас только придумал это ради красного словца.

Зато не раз слыхал я от иего и другое. Он искренно, по-видимому, негодовал на тех бродяг, которые за копейку готовы совершить самое ужасное преступлеиие, целую семью вырезать.

— Я варвар,— говорил он, бывало, в таких случаях,— такой варвар, каких, может быть, и свет мало видывал; а только я соглашусь лучше с голоду помереть, чем убить человека за одежу или за пять рублей денег. Другое дело из мести или за большой капитал, который сразу даст случай кадило раздуть иа дорогу стать.

Такой именно репутацией и пользовался ои среди товарищей, несмотря на все свои «заливанья» и выдумки о прошлой своей жизни. Послушать Сокольцева всегда бывало любопытно; ио отталкивала меия одна его черта: это был страшиый, утонченный циник, и распущенный язык его ие имел соперииков себе во всей тюрьме... Ему в этом отношении нравилось доходить до геркулесовых столбов, и часто, иачав рассуждать вполне разумно и благородно, он переходил иеожиданно к таким пошлостям и мерзостям, что отпугивал половину даже своих неразборчивых и охочих до всякого цинизма слушателей.

Для каждого было ясно, что такой человек ие имеет в виду спокойно отсиживать в Шелайской тюрьме свой бесконечный срок и что в уме его бродит постоянная забота о побеге или по крайней мере о переводе в другую, более вольготную тюрьму. Однажды я спросил Сокольцева, полагается ли ему вольиая команда и когда имеиио указана она в его «квитке» (так зовется билет, выдаваемый каждому арестанту, с расчислением его срока). Сокольцев, смеясь, отвечал, что иемедленно же уничтожил квиток, как только получил его, ие полюбопытствовав даже узиать, что в ием написано.

— Почему так?

— А на что мие вольная комаида?

— Как на что? Оттуда уйти можио, а из тюрьмы не так-то легко ведь.

— Нет, ни к чему мне команда, — отвечал, немного подумав, Сокольцев. — По моему разуменью, из тюрьмы уйти духовому человеку даже много легче. Тут уж на себя одного надеешься, ухо востро держишь. А тому, который легкого обороту себе ищет, вольной команды ждет, цена грош. Ничего такой человек не стоит.

Ответ был красив и замысловат, но, должно быть, не так-то легко было подтвердить его фактами. Из вольной команды то и дело убегали арестанты, человек по десяти каждое лето (даже при шелайской малочисленности команды), а из тюрьмы не было пока ни одной серьезной попытки к побегу. Охрана тюрьмы действительно была обставлена прекрасно, и большинство серьезных арестантов с безнадежно огромными сроками на плечах мечтало больше о предварительном переводе в другие тюрьмы, чем о побеге из Шелайского рудника. Ниже я посвящу этому предмету особую главу, теперь же скажу только о Сокольцеве, что при всем его уме и скрытности выплыло одно дельце, показавшее всем, что и он мечтал о том же. Превосходный столяр и мебельщик, Сокольцев постоянно работал в мастерской, находившейся за тюремной оградой; кроме него, работали там еще два человека: слесарь Заботкин из вольной команды и сидевший в тюрьме бондарь Калиничук. Явившись однажды в мастерскую, Сокольцев обнаружил все признаки большого волнения.

— Ты не знаешь, куда подевались мои пилки? — обратился он шепотом к молодому бондарю.

— Какие пилки? — спросил тот удивленно.

— Мои... секретные пилки... Значит, все открыто. Какая-нибудь сука донесла!

— Я и не знал даже. Откуда мне было знать?

— Об тебе я и не говорю ничего. Тут один только человек мог. Один он и знал, кроме меня. Как ведь хорошо запрятаны были. Непременно донос!

— Кто же это? Неужто Заботкин?

Сокольцев пожал плечами и ничего не ответил.

— Что ты? Такой человек? Да ведь он твой товарищ, друг закадычный?

— Вот тебе и товарищ. Нынче ни на кого, брат, нельзя положиться. Если хочешь знать, так я давно уже подозрение имел, что он — сука.

— Вот подлец! Вот мерзавец! — негодовал Калиничук, и скоро вся тюрьма знала, что у Сокольцева найдены в мастерской пилки и что донос сделан Заботкиным. Пилки действительно оказались в руках начальства. В тюрьме произведен был вскоре обыск, и в подстилке Сокольцева также оказались зашитыми две маленькие пилки. Надзиратели как только вошли в камеру, так и бросились тотчас же к его подстилке. Донос не подлежал сомнению. Заботкина костили и так и этак, клялись и божились, что если только случится ему когда-нибудь вернуться в тюрьму, поломают ему ребра.

Сокольцев ничего не говорил, но и он был, казалось, озлоблен.

Ждали, что Шестиглазый подвергнет его суровой каре; но он ограничился почему-то тем, что во время обыска проверил прочность тюремных решеток и усилил ночные дозоры под окнами. Прошло после этого случая полгода, и Заботкина действительно посадили в тюрьму за какие-то художества. Все с любопытством наблюдали, как встретит его Сокольцев, имевший больше всех право мстить ему. Но каково же было общее изумление, когда увидали, что он не только простил Заботкину, но и снова с ним подружился, стал вместе пить и есть. Для всех, даже самых непроницательных, стало тогда ясно, что если донос и был сделан, то... *по просьбе самого же Сокольцева,* который хотел запугать Шестиглазого и побудить его выпроводить себя в другую тюрьму; но хитрость не удалась, и его оставили в Шелайском руднике, окружив только более зорким присмотром. Молодой и горячий Калиничук страшно и открыто негодовал на Сокольцева за столь нахальный обман; что касается остальной шпанки, то, выкинь подобную штуку другой, менее знаменитый и уважаемый арестант, на него бы все ужасно озлились. Но Сокольцев был Сокольцев, и никто даже словом не смел попрекнуть его. Все постарались поскорее выбросить из головы эту историю, а в глазах многих Сокольцев благодаря ей даже еще больше возвысился. Мне лично она показала только лишний раз, что человек этот для своего спасения или выгоды не побрезгует никакими средствами, не пощадит ни друга, ни недруга.

В знакомстве с прошлым арестантов, с их, по-видимому, простой и в то же время загадочной психологией проходила моя жизнь в новой камере, тянулись длинные вечера без книг и чтения вслух, вносившего в жизнь такое осмысленное и приятное оживление. По временам рассказы надоедали, и сожители мои придумывали какую-нибудь игру, в которой можно было поразмять кости и вдоволь пошуметь. Одной из любимых игр в этом роде были «жмурки», игра, впрочем, совсем непохожая на ту невинную забаву, которою все мы так наслаждаемся в детстве. Завязав туго-натуго глаза несчастному, на которого падал жребий, арестанты вооружались полотенцами и, подкрадываясь со всех сторон, немилосердно хлестали его по спине и по чему попало (за исключением, впрочем, лица) до тех пор, пока ему не удавалось поймать одного из палачей и поставить на свое место. В конце игры у всех почти оказывались багровые рубцы и кровоподтеки по всему телу, не говоря уже о ломоте костей и разодранных рубахах, но все это нисколько не уменьшало общего пристрастия к жмуркам. «Они кровь разбивают, — говорили арестанты, — что твоя баня!» Гораздо большим препятствием являлись окрики надзирателей, почти немедленно прибегавших на страшный шум, поднимаемый игрою, и начинавших стращать шалунов карцером и докладами начальнику. Тогда шум понемногу угомонялся, и жмурки заменялись другой, менее обращающей на себя внимание забавой. Являлись ловкие акробаты, выделывавшие такие фокусы, что все только рты разевали и тщетно старались проделать то же самое. Маразгали ложился, например, на пол лицом вверх, а на полу за своей головой клал ложку или двугривенный, если таковой отыскивался в камере. Затем, выгибая постепенно спину, но не касаясь пола руками, он ухитрялся взять в рот лежавший на полу предмет и, быстро поднявшись, с торжеством вскрикивал:

— Вот как!.. Пущай теперь другой.

Но из других, к общему удивлению, один только Чирок, несмотря на свою кажущуюся нескладность и неуклюжесть, мог проделать приблизительно то же самое, что делал ловкий и грациозный Маразгали. Тот же Мараз-

гали легко перепрыгивал без разбега с одних нар на другие, на расстоянии трех с половиной аршин. Никто не мог сделать этого без разбега. Чирок похвастался раз, но, не долетев до других нар, едва не разбил себе носа... Легко было и затылок сломать, и насилу удалось мне уговорить публику бросить опасные эксперименты. Но скоро затевали другое.

— Давайте, братцы, Чирку банки ставить, — предлагал вдруг Железный Кот.

— Бесстыжие твои шары, за что? — вскидывался Чирок, на которого, как на бедного Макара, обыкновенно все шишки сыпались.

— Да так, ни с того ни с сего.

— Дело! — поддерживала Железного Кота камера.

— Нет, — вмешивался Сокольцев, — зачем же ни с того ни с сего. Мы вину подыщем, по всей правде поступим, по закону. Можно судить его.

— Судить! Судить! — галдели все.

— Да ошалели вы, што ль, братцы? Я и так осужден богом и людьми наказан. За что меня, старичонку этакого, мучить?

— Молчать! Председатель лишает тебя слова. Подсудимый! Ты обвиняешься в том, что утаил от Николаича еще одну душу.

Я спешил отказаться, с своей стороны, от всякой претензии на бедного Чирка, хорошо зная, что за мерзость арестантские «банки».

— Что из того, камера не прощает! — кричал Железный Кот и уже суетился вместе с Никифором подле Чирка.

— Стойте, черти! Какую такую я душу скрыл?

— А тетку-то... Тетку, про которую мне ночесь сказывал?

— Котик родной! Да разве можно этак товарищеские секлеты выдавать?

— Ага, «секлеты»... Новая вина! Николаич, слышите, как опять выговаривает: секлеты?

— Банки! Банки! Пять банок поставить!

— Я не ученик... Караул!

— Заткните ему глотку скорей! Микишка, руки держи... Маразгали, рубашку вытягивай. Голову держите, кусается, дьявол!

— Давай, давай! — с радостью кидался было Маразгали помогать дикой забаве, но я останавливал его.

— Не ходи, Маразгали. Это мерзость...

— Ничаво, Николянчик, — просительно говорил он, жалобно на меня оглядываясь, — пят банка можно... нет худа банка.

— Худо, Маразгали, очень худо, не надо!

И Маразгали, слушаясь меня, печально отходил прочь. Но, улегшись рядом со мной на нары, он не мог утерпеть, чтобы от всей души не смеяться громким ребяческим смехом и хоть мысленно не участвовать в страшной возне, происходившей на противоположных нарах, откуда слышались звуки лопавшихся банок и заглушенные крики злополучного Чирка.

Банки состояли в том, что «палач» оттягивал одной рукой кожу на обнаженном животе наказываемого и быстрым ударом по ней другой руки приводил в прежнее положение, «отрубал банки». При самых легких ударах кожа багровела от нескольких банок, а в случае серьезного наказания после двух банок могла уже брызнуть кровь.

— Раз! Два! Три! — отсчитывал Железный Кот свои удары по брюху Чирка. — Четыре! Пять! Шесть!

— Стойте, окаянные, лишку дали! Пять присудили, а он шесть отсек.

— За это и Коту надо банки. Это несправедливо, — подтверждал Сокольцев, не принимавший в «игре» активного участия, но все время руководивший ею со своих нар.

— Нет, не банки, а ложки! — вскрикивал озлившийся Чирок.

— Ложки так ложки. Одну следует отпустить.

— Не одну, а тоже шесть! Как и мне!

— Вишь ты, хитрый какой, — протестовал Железный Кот, — тебе пять по закону дадено было, по суду. Лишнюю одну я тебе отрубил, вот и получай свою, коли камера присужает. Я против обчества нейду.

И Железный Кот покорно улегся на нары и сам заворотил себе рубаху. Чирок засуетился, забегал по камере, отыскивая ложку... Лицо его сияло, как хорошо намасленный блин: так живо предвкушал он упоение местью... Наконец он выбрал самую увесистую деревянную ложку. Подойдя затем к голому животу кузнеца, он плюнул на него, растер плевок рукою и с криком:

«Поддаржись, о-жгу!» изо всей силы ударил по телу донцем ложки. Железиый Кот охнул от жестокой боли и вскочил иа ноги: живот с одиого удара посиел и вздулся... Все захохотали. Подошедший к форточке иадзиратель опять прикрикнул:

— В карец, что ль, захотели? Ей-богу, доложу начальнику... Завтра же всех расселит по другим иумерам. Ни одного иумера такого шалопутиого иет.

После этого все притихли и иачали поемиогу укладываться спать. Заводятся тихие разговоры. Толстяк Ногайцев заявляет:

— Ну и иалопался ж я сегодия. Солониины, пожалуй, фуита три сожрал, огурцов солеиых полбочоика опростал.

— Где? — удивлеино спрашивают его.

— В штольне на откатке был. А Моиахов там целую кладовую устроил. Оио хорошо там — холодок, погреб иастоящий... Вот я и залез туды. Теперь ажио все иутро воротит.

— Ну, это вот нехорошо, — назидательио замечает ему Сокольцев. — Потому я так понимаю: ежели ты человек услужливый и потрудишься для него, тогда другое дело. А то ои тебе иичем ие обязаи. Из-за вас вот, чертей, и доверия иикакого нет к нашему брату!

— Вестимо, из-за их, сволочей!—слышатся и другие голоса.

— Да не заметят ведь, — оправдывается Ногайцев. — Так съедеио, что иичего нельзя заметить... Не зря же!

— Ну, коли ие заметят, тогда хорошо, — подтверждает Ефимов.

Кто-иибудь начииает рассказывать о своей прошлой жизни, о своих преступлениях, о других тюрьмах, в которых приходилось ему сидеть. Заводится спор. Мысли так и перескакивают у спорщиков с одиого предмета иа другой, так что нередко оии сами тотчас же забывают, с чего начали разговор. Только что живописав, как голова скатилась у человека с плеч, промолвя будто: «Гриша! Что ты сделал?» — рассказчик вспоминает уже о том, какая в Тарской тюрьме каша великолепиая...

Мало-мальски отвлечеииых разговоров с этими людьми положительио иевозможио вести. Какой-нибудь мелкий, ничтожный факт, приведеииый вами или одиим из ваших собеседников в виде примера, увлечет их далеко в сторону; предмет беседы забывается, и на пер-

вый план выступает реальная действительность с ее конкретными деталями и интересами. Так, однажды зашла речь о том, кого чаще убивают в тюрьмах: надзирателей или своего же брата арестанта? Спор на минуту сильно обострился; но вдруг один из главных участников его, услышав рассказ об одном убийстве в Томской тюрьме, сделал поправку в том смысле, что расположение камер там не совсем, мол, такое, как говорит его противник. Последний стал возражать, и основной вопрос был настолько всеми забыт и покинут, что беседа стала для меня неинтересной, и я поспешил заснуть. В другой раз зашел спор о том, друг ли человеку собака или нет. Большинство стояло за то, что друг. Тогда один из арестантов начал почему-то повествовать о своем деле, о том, как он забрался с товарищем в один дом, как пытал старика хозяина со старухой, требуя денег и разодрав старику рот, а старуху посадив на кол, дальше о том, как в первый раз сидел он в тюрьме и знакомился с арестантскими обычаями, как жил потом в Сибири... Ужасный рассказ этот длился около часу, так что все забыли уже о собаке и многие давно спали. Я один недоумевал и наконец спросил:

— При чем же тут собака-то?

— Какая собака?

— Да ведь мы начали с того, друг она или враг человеку?

— Так вот об этом же самом и говорил я.

— То есть как об этом?

— Да так. Я забыл только сказать, что собака залаяла и выдала нас... Какой же она друг человеку? Кабы она была друг, она бы меня не погубила. А то убили мы с товарищем старика и старуху, она возьми и залай! Наша же собака! Нас и поймали. Какой же она друг? Она первый, значит, враг.

Такова ассоциация идей в темных умах, и такова логика развращенных сердец.[41]

Заводились иногда общие разговоры и на широкие общественные темы. И здесь также приходилось мне поражаться дикостью взглядов и душевной очерствелостью моих невольных товарищей... Между прочим, почти все без исключения отличались страшной ненавистью к «железным носам», дворянам, купцам и чиновникам (попы зовутся на этом странном жаргоне «молотягами»).

Предлагались самые дикие, невозможно-кровавые проекты социального переустройства, проповедовались такие разрушительные теории, какие не снились ни одному анархисту в мире!

— Я бы вот что сделал,—кричал нетерпеливый Никифор, — я бы крестьян на место господ поставил, посадил бы столовать да пировать, а дворян да попов землю бы пахать заставил, нас кормить, как мы их теперь кормим...

— Ничего, брат, с этого б не вышло, — отвечал дальновидный Сокольцев, — дворян сравнительно с нашим братом незначащее число, сотая разве какая часть. Много ль бы они наработали, особливо с непривычки? Теперешние крестьяне на должности господ с голоду б подохнуть должны! Нет, тут одно, брат, средствие остается: крышку всем им сделать — и конец! Вот как Пугачев у Пушкина хотел...

— Вестимо, крышку им всем, гадам! — увлекался таким предложением Чирок, энергично почесывая брюхо. — И наш же народ, право, дурной! Без счету нас, а их — тыща-другая, не боле, — и мы покоряемся!

(Ни у кого из этих мечтателей, замечу в скобках, не являлось даже и тени сомнения в том, что «народ» и они, обитатели каторги, — совершенно одно и то же.)

— Это что же будет за наказанье, — вступался Ногайцев, — крышку сделать? Сколько они теперь крови из нас выпили, на шее сколько нашей поездили, а им всего только крышку? А я б вот что сделал. Я весь бы народ перебил, весь до последнего человека, одних бы железных носов на свете оставил. Вот пущай бы попробовали тогда сами пропитаться! Вот бы запели тогда!..

Это неожиданное и оригинальное предложение на минуту всех ошеломило. Никто не нашелся ничего возразить. Сокольцев первый тихонько захихикал, и ему стали вторить другие.

— Вот так ловко придумано, нечего сказать! Умная башка!

— А я бы... — забасил, внезапно вскакивая с нар, Медвежье Ушко, — я бы всех первых богачей в одну бы ночь везде перебил... В одну бы ночь всех! Вот тогда бы запели!

— Ну, а что ж бы из этого вышло? — не выдержал я своего нейтралитета, заинтересованный кровожадным

проектом нашего, кроткого обыкновенно, поэта. — Положим, вы убили бы... Назавтра сыновья убитых стали бы первыми богачами...

— А я бы тогда и их перебил! — ревел Медвежье Ушко.

— Ну, а после что?

— А после грабеж бы по всей Расее учредить! — отвечал за Владимирова Чирок. — Тюрьмы бы все отворить, богатых всех перерезать...

— Так. Дальше что?

— Дальше?.. Как дальше что? Э, Мниколаич! Да что с тобой толковать... Хороший ты человек, спору нет — хороший, а только и тебе крышку пришлось бы сделать... Потому ты их сторону держишь, железных носов. Кровь-то в тебе свое говорит!

Все захохотали при этом неожиданном нападении Чирка на меня.

— Из чего же вы заключаете это, Чирок?

— Да уж я заключаю, меня не проведешь!

С мнением обо мне Чирка соглашались, по-видимому, и остальные. Напрасно развивал я собственные взгляды на прогресс, говорил о силе и власти просвещения, о бесполезности и вреде кровавых расправ; напрасно указывал на существование образованных людей, выходящих из среды тех же «железных носов» и, однако, готовых жертвовать для блага народа и своим личным счастьем, и свободой, и даже жизнью... Слова мои были, очевидно, гласом вопиющего. Смысл всякой иной борьбы с тяжестью и злом современной жизни, борьбы иными средствами, кроме пролития рек крови, всеобщего пожара и разрушения, был совершенно непонятен и чужд этим сердцам, покрытым темной чешуей озлобления, невежества и испорченности. Невеселые думы овладевали мной после каждого из таких разговоров; жутко и страшно становилось за будущее родины...

IV. НОВЫЕ УЧЕНИКИ. — ЛУНЬКОВ

В новой камере завелись у меня, кроме Буренковых, еще и другие ученики: Маразгали, Петин, Ногайцев и Луньков. Образовалась настоящая школа, которой по временам я и не рад был. Последние трое специально

для ученья перепросились из других номеров в наш, кипя, по-видимому, одинаковым рвением к науке. Петин умел, впрочем, и на воле еще читать и писать довольно порядочно; он сочинял даже стишки и теперь мечтал лишь о «высшем образовании».

К сожалению, большому самолюбию не соответствовали ни размеры ума, ни способности. Петин, подобно Сокольцеву, имел на плечах больше тридцати лет каторги (которую он к тому же только что начинал) и среди не знающих его людей пользовался славой большого «громилы». Прозвище Сохатый, данное ему за частые побеги из тюрем, было известно по всей Сибири. Однако слава эта была, в сущности, дутая... Прежде всего у Петина не было никакой самостоятельности характера. Постоянно находясь под влиянием какого-нибудь «поддувалы», в товариществе он действительно отваживался на самые дерзкие поступки, вроде неоднократных побегов среди белого дня из-под самого строгого караула; но, предоставленный самому себе, один он вел себя на воле самым нелепым образом, шел тотчас же домой, где его искали («к матери за нитками» — шутили про него арестанты), и, конечно, попадался в руки полиции. Обладая широким горлом, здоровым кулаком и страстно желая играть в тюрьме роль заправского ивана и коновода, он имел, в сущности, нрав теленка, был довольно недалек, вял и сонлив и потому всегда и во всем шел в хвосте других. «Настоящие» арестанты, к которым он льнул, ценили его невысоко и часто в глаза звали «дешевкой». В ученье Петин оказался точь-в-точь таким же, как и в жизни. Ему хотелось сразу все обнять; к упорному труду и медленному движению вперед, шаг за шагом, он чувствовал положительное отвращение. Прочесть мало-мальски толстую книгу для него был непосильный подвиг. Тем не менее сам он был чрезвычайно высокого о себе мнения и на других учеников, начавших с азов, но благодаря способностям и усидчивости угрожавших вскоре догнать и опередить его, глядел с величайшим презрением.

Между прочим, с Луньковым, другим моим учеником, у него шла постоянная война и соперничество, начавшееся еще в дороге. Луньков был совсем молодой паренек, лет двадцати трех, маленького роста, безусый,

несколько сутуловатый, ио хорошеиький, как девушка, шустрый в движеииях и бойкий иа язык. Это был своеобразиый субъект, жестоко иеиавидимый такими иванáми, как Петии. Дело в том, что Луиьков, подобио Михайле Буреикову, презирал арестаитов и отвергал все обычаи тюремной жизии, раз оии шли вразрез с его личной пользой и взглядами. Но Михайла был скрытеи и только в исключительиых случаях обиаруживал свои иидивидуалистические взгляды и склоииости; иапротив, Луиьков отличался вредиой для себя говорливостью и откровеииостью. Несмотря иа свою крошечиую фигурку и небольшую физическую силу, безбоязиеиио резал ои каждому в глаза то, что думал, ие остаиавливаясь ии перед угрозами, ии перед затрещииами и ие отступая перед рукопашными схватками с самыми первыми силачами и хватами. Эта иевыгодиая для самого себя смелость как-то страиио соедииялась в ием с трезвой практичиостью, которая, иесомиеиио, была осиовиой чертой его ума и характера; во миогих отиошеииях Луиьков был то, что иазывается — из молодых, да раииий. В другой тюрьме его, коиечио, забили бы и ои прииуждеи был бы смириться, ио в Шелайской были все острижеиы под одиу гребеику — и великаиы, и карлики, и глупые, и умиые; самый последиий парашиик имел здесь такой же голос, как и самый первый глот и храп, что было, коиечио, большим достоииством шелайского режима. Со злобой глядел Петии иа своего пигмея-сопериика, делавшего быстрые успехи в учеиье и хвастливо утверждавшего, что скоро ои оставит его позади. Петии, с гордостью иазывавший себя и Михайлу Буреикова «старшими учеииками», а всех остальиых «младшими», ии за что не хотел этого допустить. Забавиы бывали их стычки за вечерними заиятиями.

— Пошел, болваи, прочь, теперь старший учеиик стаиет заииматься! — рычал Сохатый, сверкая своими телячьими глазами.

— Я тебя, брат, ие боюсь, чего ты рычишь? — пищал малеиький Луиьков, иемного отодвигаясь. — Места всем хватит, садись. Только без пользы тебе иаука.

— Как это без пользы? Зиаешь ли ты, болваи, что такое имя существительиое?

— Я в свое время узиаю, ие беспокойся. А вот как ты-то, старший учеиик, вчера «свѣтлый» через е иаписал?

— Осел! Опнска была. Сволочь тюремная, трепач, мараказина!

— Петнн, зачем вы ругаетесь? — вмешнвался я в спор. — Это уж нехорошо.

— Ничего, Иван Николаевич, — спокойно отвечал Луньков, — пущай ругается. Его брань у меня на вороту не повиснет. Тем более, я хорошо знаю, что сам он — вечный тюремный жнтель, а я таких не обожаю. Это ведь у дураков только громким считается его имя: Соха-тый! А я знаю, чем он н дышнт даже, этот Сохатый.

— Чем я дышу? Говори.

— Дешевизной ты дышишь, вот чем.

— Какой дешевнзной, болван?

— Такой. Я ведь хорошо знаю, что́ ты на воле делал, из-за чего в каторгу пришел.

— А ты из-за чего? Ты что делал? Ты хвосторезом был. Ты в Красноярске с дохлых лошадей шкуры снимал.

— Случалось, н снимал, не таюсь. Только девушек я не насильннчал, не хватал в охапку н не волок в кусты. В дороге я партионных денег не проигрывал, как другне прочие.

Чем дальше, тем жарче разгорался спор и кончался иногда потасовкой. Побнтый Луньков плакал со злости, но смнриться не хотел перед нахалом Петнным. Впрочем, у последнего даже для нахальства и озорства не хватало на долгое время энергин и терпення. Скоро он впадал в обычную апатию, спал по целым суткам н надолго забрасывал всякое ученье и самолюбивые мечты. Такое настроение овладевало им после каждой крупной ссоры. Тогда в камере водворялись мир н спокойствне. Никифор давно прнмирился с мыслью, что брат обогнал его, и прежних сцен ревности уже не устраивал. Все ученье его ограничивалось теперь одним чтением.

Об успехах Маразгали и о том, что успехи эти остановились благодаря незнанию русскнх слов и он охладел к грамоте, я уже рассказывал. Что касается Ногайцева, тот оказался изрядным тупицей и не обещал пойтн дальше чтення по складам. Своеобразной любознательностью отлнчался, между прочим, этот сонный и ожирелый мозг.

— А что, Иван Мнколаевнч, бывают прокуроры из хохлов? — обращался он вдруг ко мне с вопросом,

встретив на клочке найденной где-нибудь печатной бумаги слово «хохол».

Или еще:

— Иван Николаевич! Вот тут сказано, что в России царствовал Алексей, а в Китае была династия... Православное это имя Династия или нет?

Подобно гоголевскому Петрушке, он с равным наслаждением читал все книги и бумажки, какие только попадались под руку.

При подобном характере моих учеников не мудрено, что главное внимание я сосредоточил, кроме Михайлы Буренкова, на усердном и способном Луньковe. Между прочим, интересовало меня и его прошлое. Благодаря говорливости Лунькова, вечера наши превратились вскоре в настоящие судбища. Я был следователем, Чирок моим помощником, Сокольцев, земляк Лунькова (воронежский уроженец), свидетелем, Петин прокурором, а вся прочая камера — публикой, живо интересовавшейся малейшими подробностями прений. Оказывалось, что несмотря на свою молодость, Луньков был уже рецидивист.

— Только я дурно попал, Иван Николаевич, этот второй раз в каторгу, — с грустью рассказывал Луньков.

— Как то есть дурно?

— Да так, что за пустяки, безо всякого интересу.

— Как за пустяки! Ведь вы, говорят, человека убили?

— Что же из того, что убил. Я из-за его, из-за сволочи, по крайней мере тринадцать лет должен в каторге мучиться, одних испытуемых семь лет; * а он-то теперь спит, ему ничего.

— Расскажите подробно, как было дело.

— Я, Иван Николаевич, не скажу, что в первый раз из Расеи задаром в Сибирь пришел. Тогда действительно по глупости по своей от отца отбился, с людьми такими связался... Ну, а что теперь — так совсем ни за что пропал, уверяю вас! Из-за карахтера своего, конечно. Сердце у меня, сами можете видеть, нетерпеливое; я не стерплю, чтоб какой-нибудь храп (многозначительный взгляд в сторону Петина) жизнь свою надо мной куражил. Пущай лучше он меня убьет или я его!..

* Рецидивистам испытуемые сроки (всегда сравнительно длинные) назначаются самим судом. *(Прим. автора.)*

Я в Енисейской губернии, поселенцем будучи, мелочью торговал. Накупишь, знаете, разного дешевого товару, ситцу, бус, иголок, серег, колец, и ходишь с коробом по деревням, от бабочек хлеб зарабатываешь. Вот однажды обращается ко мне этот... убивший... то есть убитый: «Позволь мне, Коля, походить вместе с тобой, торговать поучиться. Я хоть и старый человек, а в делах этих ничего не смыслю». А я, надо вам сказать, мало и знал-то его до тех пор, и, признаться, не по душе он мне был: взор такой нехороший, угрюмый... Однако, думаю себе: мне-то что? Дорога не моя — божья. «Иди, говорю, коли хочешь. Я в понедельник отправляюсь». А это было в субботу. В понедельник рано утром он приходит ко мне, тоже с коробом за плечами. Пошли мы и так с неделю ходили вместе. Он идет за мной, молчит все больше. А то начнет ворчать про себя, что неладно идем, не той дорогой, как следует. Я внимания не беру, скажу только разве: «Мы, дяденька, не связаны; не нравится тебе — своей дорогой иди». Он и замолчит. При мне к тому же всегда в дороге левольверт. Без него я не ходил. Накануне убивства ночевали мы у одной знакомой вдовы. Утром пробудились, я завтракать себе заказываю; сажусь есть и его приглашаю, убитого. Он отказывается: «Не хочу», — говорит. «Чего ты, дедушка, пасмурный такой?» — спрашивает его хозяйка. «Ничего, говорит, так. Сон я чудной видел: будто снег большой выпал, и на дороге бревна лежат». «Да, — отвечает хозяйка, — сон не то чтобы из приятных». Вот как сейчас, Иван Николаевич, я эти слова ее слышу: «сон не то чтобы, говорит, из приятных». И к чему ему такой сон в ту ночь приснился? Неужели душа его чуяла что-нибудь такое?

— Ну, рассказывайте дальше.

— А в эту ночь, точно, снег глубокий выпал, чуть не по колено. Вот отправились мы в путь-дорогу. Я впереди, как всегда, он сзади. Не успели за поскотину выйти, он заспорил. «Куда ты, говорит, идешь?» Я говорю, на Лесное. «Дурак, Лесное не на этой совсем дороге лежит, а вон на той», — и показывает мне чуть видную тропочку, по которой мужики по дрова в лес ездят. «Иди, говорю, туда, а я своей дорогой пойду». Он хвать меня за короб: «Ты что, говорит, все грубишь? Я наскучил этим». Я обернулся: «Отстань, говорю, от

меня, не вводи в грех. Я тоже тобой наскучил. Мы, значит, не товарищи больше. Ступай от меня». И хочу идти. Он из себя выпрягся, дорогу мне загораживает: «Иди, говорит, куда старшие велят». Тогда я вынимаю левольверт: «Вот кто у меня старший! Прочь с дороги, тварь этакая!» Он замахнулся было палкой, но тут я стрелил... Гляжу — он и шлепнулся на земь: пуля прямо в левый сосок угодила... Пощупал я его — мертвый. Отволок в сторону от дороги, засыпал малость снегом и пошел дальше. Только с горки спущаюсь, знакомый мужик навстречу едет: «Что тут, Луньков, за выстрел ровно был?» — «Ничего, — я говорю, — не слыхал; видно, послышалось тебе». Пошел дальше — еще несколько мужиков встречаю. Сердце у меня так и кипело, кровью обливалось. Ну, думаю, теперь пропал! Надо скрыться... Продал поскорей короб, взял чужой паспорт и укатил верст за сто от того места. Только паспорт-то этот и погубил меня: человек ненадежный дал... Арестовали меня, привезли в волость. Повели в помещение, где мертвец лежал.

— «Тот ли это, — спрашивают, — которого ты убил?» Я посмотрел, посмотрел на него... Лежит как живой: борода с сединкой, и на груди ранočка махонькая... Взял я его за бороду и к свету этак повернул. Еще посмотрел, посмотрел... Да как размахнусь вдруг ногой да как хвачу его в подбородок носком: «Заодно уж пропадать мне за тебя, сволочь!» Ну, тут схватили меня, увели, протокол составили.

— Зачем же вы, Луньков, такую гадость сделали? Убили ни за что, да и над мертвым еще надругались?

— С сердцем, Иван Николаевич, ничего не поделаешь. Я и до сих пор, как вспомню об ём, задрожу весь. Раз во сне привиделся... один только раз за все два года. Приходит, стоит и глядит на меня... «Ты зачем, — спрашиваю, — пришел?» Молчит, только бородой на меня трясет — этак упрекает ровно: «А, говорю, подлец, ты еще смеяться надо мной?» Схватываю топор и за ним. Он прочь. Как убежал, с тех пор и не приходил больше. Меня ведь за поругание-то, Иван Николаевич, и осудили так строго; а то разве б дали тринадцать лет при полном сознании?

— Ну, а теперь я скажу свое мнение, — начал Чирок по окончании рассказа, — все ты врешь. Не так убил ты старичонку, а за короб убил!

— Да, за короб, как же! Прн нем, как подняли его, всё так и нашлн в том самом внде, как было: и короб с товаром н денег четыре рубля девяносто копеек.

— Сказывай! Я тебя знаю...

— Много ты знаешь! Я тебе свндетелей представлю, нз красноярских же, и в Алгачах н в Александровском централе. Да чего далеко ходить? Здесь же вон у Степки Челдончика спроси...

— Я тоже красноярский, — закричал вдруг Петин, — тоже свидетелем могу быть. Конечно, за короб убил старика!

— Тебя я отвожу, — спокойно возразил Луньков, — ты — мне враг. Ты можешь еще н новое убивство на меня открыть.

Все разразились хохотом. У Петина не хватило пороху продолжать лжесвидетельство.

— А раньше за что вы попалн в Сибирь? — спросил я Лунькова.

— Раньше, Иван Николаевнч, за дело, — отвечал он, глубоко вздыхая, — там все-такн я себя, а не судьбу должен винить.

— Ну, рассказывай, землячок, толком, — заметил Сокольцев, — тут я уж не дам тебе соврать. Как раз об эту пору я с Кары сорвался и на уличку в воронежский замок прнведен был.

— Чего мне врать, — грустно ответнл Луньков, — колн врать, так и не говорить лучше.

— Вы н в первый раз, Луньков, за убийство суднлись?

— Зачем, Иван Ннколаевнч! Так, за шалости за разные...

— Как! Ты смеешь отпираться, болван? — грозно кинулся к нему Петин, вытаращив глаза и стиснув кулаки, — а не сам ли ты сказывал при мне в шестом нумере, что девчонку убил?

— Этого я не счнтаю, — хладнокровно отвечал наш обвнняемый, — это была малолетняя шалость, об ней нечего поминать. За нее я не судился.

— Все-таки... как вы убнли ее?

— Железиной. По́ддоской нечаянно по внску ударил... Да на что вам знать такие пустякн, Иван Николаевнч?

— Как же ты говоришь, болван, нечаянно, а сам сказывал, что дело было под мостом? Откудова ж подоска у тебя взялась?

— Не с тобой разговаривают, глот красноярский! Много будешь знать — скоро состаришься.

— Я теперь знаю, за что он убил девчонку, — вмешался опять Чирок, — он изнасильничать хотел, а она не давалась.

— Да, как же! Мне тринадцать лет всего было, а ей десять. Много ты узнал!

Однако Луньков упорно отказывался почему-то рассказать подробности этого убийства, и так я ничего и не узнал, кроме того, что самый труп девочки найден был лишь зиму спустя.

— Ну ладно. Расскажите, за что вы судились в первый раз?

— Видите ли, Иван Николаевич, я по духовной части займовался...

— Как по духовной! Ведь вы говорили, что отец ваш извозчик был?

Дружный смех всей камеры был мне ответом. Сам Луньков захихикал.

— То есть я... по церквам ходил...

— Богу молиться, — договорил Сокольцев. — Наш Воронеж, сами знаете, с древности богат храмами и благочестием славится.

Все опять засмеялись. Я понял наконец, в чем дело.

— Только надо, Иван Николаевич, с краю обсказать вам мою жизнь, — продолжал Луньков, принимая опять серьезный и даже грустный вид. — Отец мой ссыпкой зерна займовался, а также биржу держал. Сначала один старший брат с седоками ездил. Он зачал баловаться. Насчет вина, значит, и бабенок. Ему по злобе раз хвосты у коней отрезали. Отец шибко побил его за это. Вдругорядь пришли к нему знакомые барышни, попросили покатать их. А коням только что кровь открывали. Брат взял и поехал. Кони распарились, пошла кровь, и так две самых лучших у отца лошади пали. Ух, как бил тогда отец брата, ажно вспомнить страшно... Приковал цепью за руки к бревну, привесил бревно к потолку, где зыбка вешается, и целых три часа супонью стегал. Отдохнет и опять бить принимается. Он до смерти убил бы его, кабы матря соседей не позвала на помощь. Ну,

однако, брат не нсправился. С другим нзвозчиком ограбил одиого господниа, сто целковых деиег отобрали, часы золотые, шубу и сапоги хорошие, а самого живого отпустнли. На другой день стрёма по городу иачалась, ио улнчнть их ие могли. Только отец вскоре узиал по часам, что брат это сделал. Сиачала ои в полицию хотел их иести, да матря отговорила. Жестоко ои избил опять брата, еще жесточе прежиего. После того, выздоровев, брат ушел от отца и стал с любовиицей кабачок держать. Тут он и совсем запутался, иа Сахалин вскоре ушел... Тогда я стал на биржу ездить. Матря в это время померла, и отец на другой жеиился. Дома хуже жить стало, и я тоже зачал баловаться. Биржа, сами зиаете, Иван Николаевнч, хуже всякого другого ремесла может развратить человека... Беспрестаиио господ возишь по вокзалам, гостниицам, трактирам, вндншь, как люди веселятся, хорошо пьют, едят, миого деиег имеют. Ну, коиечио, и сам начиииаешь утаивать от хозяиiа деньги, вннцо попивать, с девочкамн гулять... Кроме того, всякого сорта иарод видишь. Раз у меия иа пролетке убивство случнлось.

— Как так убийство?

— Так. Знакомый мещаинн Улитии с одиой барышней иа мие ехал; оба, коиечио, подгулямши. Зачали ссориться, спорить о чем-то. Дело ночью было. Он хвать мой же ключ из ящика, да н бац ее по виску. Из иее и дух вои!

— Что ж вы сделали? В полицию представнли?

— Зиакомого-то? Что вы, Иван Нниколаевич! Я благородио поступил. Отвезли мы ее за кнрпнчиые сараи и спустили там в помойиую яму...

— Хорошо благородство! Это уж третья душа, зиачнт, на вашей совести?

— Что вы, Иван Николаевич! Да я-то прн чем же тут? Мое дело совсем тут постороииее было.

— А миого крови натекло к тебе в пролетку-то? — полюбопытствовал зачем-то Чирок.

— Ни одиой каплн. Только ключ в крове был.

— Ну вот н врешь, путаешь. Коли ключ в крове был, обвязательно вся пролетка была залита кровью.

Начался по этому поводу спор в камере. Эксперты по этой части были все опытиые... Большииство поддержнвало Чнрка; но Луньков упорно стоял на своем,

утверждая, что девушка была закутана шалью и кровь из-под шали не вышла наружу. С трудом убедил я спорщиков прекратить этот нелюбопытный для меня спор и вернуться к рассказу.

«Баловство» Луньковa все шло дальше и дальше; отец начал и его учить, как брата, и в один прекрасный день семнадцатилетним мальчишкой он бежал из родительского дома и попал в шайку некоего «Степана Ивановича», знаменитого воронежского жулика, от которого Луньков и до сих пор был в восторге. Степан Иванович занимался главным образом «по духовной части». В первую же ночь, в которую Луньковa посвятили в эту часть, ему пришлось быть свидетелем убийства. Когда отпирали у церкви замок, одному из товарищей прищемили в дверях руку, и он заорал не своим голосом; тогда Степан Иванович угомонил его навеки ломом по голове, а труп стащили в речку. Несколько дней спустя та же шайка совершила грабеж с убийством, догнав за городом двух проезжих купцов. Луньков был при этом кучером, а Степан Иванович с некиим Федором и еще третьим товарищем стреляли из револьверов, и на этом основании Луньков отрицал свою виновность в этом убийстве:

— Что вы, Иван Николаевич, помилуйте! Какое же тут было мое преступление? Я не стрелял, кушаками я не давил... Я только лошадьми правил... Не донес я, конечно, это правда; так ведь это, по-нашему, не вина, а заслуга.

Когда Луньков говорил подобные вещи своим тоненьким певучим голоском серьезно и даже печально, то нельзя было решить, своего ли это рода наивность и недомыслие или же верх развращенности и лицемерия.

Отобранный у одного из убитых паспорт Степан Иванович дал Луńкову, и по этому-то виду он и судился впоследствии. А настоящая его фамилия была будто бы не Луньков, а другая.

Утомительно было бы пересказывать все жульнические похождения, в которых Луньков участвовал в течение пяти месяцев своей свободной жизни. Своеобразный мир, своеобразные идеалы и понятия о чести и товариществе. В одном селе под Ельцом какая-то женщина «подвела» их шайку, состоявшую из Степана Ивановича,

Федора и самого Лунькова, под богатого мужика, на которого имела зуб, сообщив им, что в одном из трех амбарчиков около его дома стоит сундучок с деньгами. Они действительно нашли в указанном месте три тысячи рублей и в одну ночь «отжарили» оттуда босиком сорок пять верст. Остановились у развалин какого-то погреба, за городом. Луньков с Федором остались отдыхать, а Степан Иванович отправился в город за покупками. Через некоторое время он вернулся пьяный с четырьмя новыми товарищами, из которых один был заведомый шпион. Все семеро отправились в притон разврата и там в несколько дней прокутили две тысячи. Затем начали думать, как бы отвязаться от шпиона. Хотели даже «пришить» его, но предпочли дать денег и отослать с какими-то поручениями. Шпион на время скрылся. Тогда хозяйка притона указала на церковь, в которой можно было поживиться. Ночью посетили церковь, но в расчетах ошиблись, добыв всего сорок рублей денег и вещей на сотню. В то же утро нагрянула полиция. У Федора нашли при обыске церковный «возду́х»[42] в кармане... Началась проверка документов. У всех оказались подлинные; только в документе Лунькова откопали четыре прежних подсудности, о которых он и не знал даже. Благодаря этим-то чужим грехам он и пошел будто бы на поселение, тогда как товарищи его отделались простой высидкой.

— А за что же ты, землячок, годом раньше сидел в тюрьме? — спросил вдруг Сокольцев, все время о чем-то думавший.

— Когда раньше? — вспыхнул Луньков.

— Да тогда. Ведь в это-то время, про которое ты сказываешь, меня уж не было в Воронеже. Я опять в каторгу шел.

— Как так? Ну, значит... ты и не видал меня в Воронежской тюрьме, обознался. Я раньше не сидел.

— Как не сидел! Еще отпираться станешь! Не обознался я. Да и ты же первый узнал меня?

— Го-го-го! Попался, голубчик! — закричала камера, радуясь тому, что Лунькова наконец уличили.

— Положим, я точно... сидел одно время... месяца с полтора... так это за пустяки, — завертелся Луньков.

— Ну, однако.

— Говори, болван! — зарычал Сохатый.

— Сказывай, землячок, сказывай. Сам же хвалился, что коли врать, так лучше и совсем ничего не говорить.

— Это я по делу брата сидел... То есть нет — по делу Карла Ивановича.

— Да ведь Карл Иванович за почту обвинялся, а брат твой за попа. Я хорошо ведь знаю.

— Да... тут... Только Карл Иванович оправдан был в этом деле.

Наконец общими усилиями Сокольцева, Чирка, Петина и моими Лунькова так приперли к стене, что он рассказал нам следующее. Он у отца еще жил, когда совершено было дерзкое покушение на грабеж почты с сорока пятью тысячами денег: два почтальона были убиты на месте, а ямщик успел скрыться с почтой. Подозрение пало на арестованных вскоре по другим делам «Карла Ивановича» и брата Лунькова с шайкой. Два месяца просидел под арестом и младший Луньков, наш знакомец. Ямщик показывал, что «маленький» сидел во время нападения и кричал: «Не вяжите их, бейте насмерть!» Прокуратура подозревала, что этот маленький и был младший Луньков. Но во время следствия он держал себя как невинный ребенок; кроме того, товарищ прокурора сделал, по словам рассказчика, крупнейшую ошибку, назвав ямщику по фамилиям тех, кого подозревал в убийстве. Благодаря будто бы этому все обвинение рушилось, и дело было прекращено. Рассказывая это, Луньков не думал, однако, сознаваться, что «маленький» был он сам, хотя Чирок и говорил прямо:

— Да, вестимо, он! Он, гад!

— Вы дурно жили, — сказал я однажды Лунькову.

— Чем же дурно, Иван Николаевич? — возразил он. — Вот, если бы я голодным ходил, оборванным, под окнами просил, тогда можно бы сказать: дурно! А то я жил слава богу!

Меня возмутило такое циничное оправдание.

— Еще и бога поминаете!

— Он простит, Иван Николаевич. В писании сказано ведь — вот я недавно читал: «Ежели бог захочет, ни один волос не упадет с головы человецкой». Мне жестоко врезались эти слова в память. Какой же, следовательно, грех, что я убил? Значит, так господь хотел. Вы не серчайте на меня, Иван Николаевич. Я вижу, что вы серчаете. Что же! Я правду вам говорю... А другие

лицемерят перед вамн, скрывают, что они такое есть, и вы любите таких двуликнх... А вот я об одиом тужу, Иван Николаевич. Как жил я в Сибнрн перед убивством, мие одна бабочка предлог делала: «Увези меия, Коля! Возьмем у мужа пятьсот рублей н уедем». Увез бы я ее до Перми, сдал бы кому-иибудь с рук на руки н поехал бы себе дальше... Вот об этом я действительио тужу иемного.

— А что бы вы стали делать, Луньков, если бы на волю вышли? Вериулись бы домой?

— Коиечио, вернулся бы. У меня ведь чистое место. Прямо на свое родиое имя мог бы заявнться.

— К отцу?

— Нет, раньше бы я... В Ельце к одиому... в гостн бы зашел.

— В хорошне, должно быть, гости!

— Да как же, Иван Николаевнч! Совестио было бы к отцу без деиег прнйти, с пустыми руками. Где, скажет, шлялся столько лет? Ннщнм вериулся? Я теперь корми тебя!

Малеиький резоиер, иисколько ие таясь, даже кичась еще своей откровеииостью, говорил мие прямо, что за сто, за двестн целковых не поколебался бы убить человека.

— А еслн б Миколанч пошел с тобой бродяжить, — спросил его однажды Чирок, — прншил бы ты его?

— Нет, зачем же! Подошел бы я к Ивану Николаевнчу по вольной жнзни, попроснл бы у них деньжоиок, они н так бы не отказалн.

— Ну, а колн отказал бы?

— Коиечно, ие зарекаюсь... А только ежели оии обучат меия грамоте, тогда за что же убивать?

Я смеялся вместе со всеми, слушая этн речи, но в душе ужасался и ие зиал, что думать об этом страииом субъекте, почтн еще мальчнке и уж так бесконечио, так безиадежио нспорчеииом и погибшем. Едииственное, что в нем привлекало меня, это — иеустрашимость, с которою он, малеиький н слабый, воевал с тюремыми геркулесами-нванáми, режа нм в глаза матку-правду. Если верить словам Луиькова, то в бытиость иа воле он страшио идеализировал арестаитов.

— Я думал, Иваи Ннколаевич, что коли религия у них одиа, так и душа должиа быть одиа, что они твердо стоят друг за дружку в несчастни.

— То есть какая такая религия?

— Такая, что все ведь мошенники, по одному делу суждены... А на деле я увидал, что все они твари дешевые. Сегодня ты напоил его чаем — и ты первый у него друг; а завтра не напоил — и он тебя на чем свет клянет уж! Самый, Иван Николаевич, дешевый и продажный народ. Все их законы и уставы гроша медного не стоят. И решил я с этих пор не уважать им, во всем наперекор идти. Никакой жалости не имею к этим тварям бездушным. К тому только хорош я, кто ко мне хорош; того только пожалею, кто меня пожалеет. И не того боюсь я, Иван Николаевич, что с сердцем своим от начальства погибну, а того, что своему же брату когда-нибудь кишки выпущу или сам от его руки пропаду. Знаю, что и меня тоже ненавидят глоты и храпы эти разные; да я не боюсь их. Пущай убьют — не погонюсь за жизнью. Я, может, даже рад буду, коли меня кто насмерть полыснет. Пущай! Во зле пропадать не страшно... Вот отсуда петлю заслужить — этого я не желал бы... Неохота еще с белым светом расставаться! Кабы петли-то я не боялся, разве стал бы терпеть? Давно б уж одного, а не то и двоих пришил.

— Значит, очень вам жить хочется, Луньков?

— Конечно, охота, Иван Николаевич. Много ль я и света-то еще божьего видел? Ну, а все же, если б знать наверное, что года через два мне помереть богом назначено, не стал бы тогда ждать... Не подорожил бы этими двумя годами... Такое б дельце одно сделал, что лет пятьдесят, а то и сто, пожалуй, помнили б меня! Имя бы громкое приобрел!

— Что ж бы вы такое сделали?

— Не стоит зря говорить, Иван Николаевич. Одно только скажу вам: не на *той* половине мое дело было бы (Луньков кивнул головой на дверную форточку), а на *этой,* здесь вот (он загадочно постучал пальцем по столу). Потому *ту* половину я не так виню. Там я даже совсем никакого зла не имею, а вот *здесь*... Здесь я больше вины нахожу!

Никогда не хотел Луньков объяснить мне всех причин своей ненависти к арестантской массе; я мог только догадываться по некоторым намекам, что в числе многих других обид он не мог забыть и простить несправедливого обвинения его кем-то из тюремных главарей

в одном низком пороке, кладущем в глазах арестантов неизгладимое клеймо позора на каждого, уличенного в нем. На свое несчастье, Луньков, как я говорил уже, имел моложавое, женственно-смазливое личико, и обвинение это имело правдоподобность в глазах развращенной шпанки. К жертвам этого омерзительного порока каторга не знает вообще ни пощады, ни сострадания, и, напротив, к тем из своей братии, которые пользуются их слабостью, относится не только с снисходительностью, но даже с уважением.

— В тюрьме я должен терпеть, Иван Николаевич, — говорил Луньков, — постараюсь все стерпеть; но когда вырвусь на волю — двоих, а не то и троих беспременно уговорю! Вот честное мое слово, уговорю! И даже нацежу сначала из него чашку крови и выпью, а потом уже прикончу стервину!

К отдельным лицам из тех же арестантов Луньков относился не только без злобы, но даже с какой-то сентиментальной нежностью. Несколько человек, стоявших, подобно ему, в стороне от общей тюремной жизни, особенно один больной старичок земляк, были даже закадычными его приятелями. Долгое время чрезвычайно странным и непонятным казалось мне: как мог Луньков при подобной вражде к тюремным законам и обычаям брать на себя роль самоотверженной сестры милосердия по отношению ко всем, сидящим в карцере? Никто с большей смелостью и неутомимостью не следил за тем, чтобы они решительно ни в чем не нуждались, и никто с большей ловкостью не передавал им все, что нужно, при самых зорких и хитрых надзирателях. Яшка Тарбаган лез, бывало, наудалую, а Луньков делал свое дело артистически, точно сам любуясь и играя своим искусством... Вскоре я заметил, впрочем, что и к этой деятельности его поощряло отчасти чувство той же ненависти и того же презрения к арестантским мнениям и решениям. Он заботился решительно обо всех, кого только садили в карцер, не делая никакого различия между теми, кого артель любила и кого ненавидела. Так, однажды посажен был в карцер вольнокомандец, которого все называли шпионом и которому решено было ничего не подавать. Луньков демонстративно ухаживал за ним даже больше и усерднее чем когда-либо и за кем-либо.

— Потому, Иваи Нниколаевич, я это делаю, — объяснил ои мне свое поведеине, — что ничего не знаю: правильио илн ложно говорнт об нем кобылка. Для меня оии все равны. Много я насмотрелся в тюрьмах, как совершенио безвинных людей бог знает в чем обвиялн н убнвали даже! Его начальство наказывает; зачем же еще и я, такой же, как ои, несчастный, стану его мучить?

Прн всех протнворечнях и путаннце мыслей, которые поражали в рассужденнях н взглядах Луинькова, в нем таилось зерно как будто чего-то хорошего, честного, самостоятельного, зерно, быть может, едва заметное под темиой скорлупою нспорченности н иевежества, но придававшее ему все-такн снмпатнчный облнк, делавшее его отрадным нсключеннем средн действнтельио дешевой н безнадежно развращенной шпаикн. Большннство арестантов страшно иенавндело и браннло Шелайскнй руднник; Луиьков, напротив, был однн нз немногнх, которые хвалили его. Он выражал довольство имеиио тем, чем Петины, Сокольцевы н Семеновы возмущались: тем, что в этом руднике было строго, что каждый член артели имел равиый со всеми голос и потому воровства общего имущества не пронсходнло и пнща была лучше, чем в других тюрьмах. Карт он также ие любил и предпочнтал нм кннжку.

Таков был второй нз моих любнмых ученнков. Пошло лн ему впрок ученье? И чем он кончнт? Ставлю знакн вопроса, на которые сам я не в снлах дать определениый ответ.

V. САХАЛИНСКИЕ ТРЕВОЛНЕНИЯ

С прнблнжением весны пошлн по каторжным тюрьмам темные слухи о предстоящей выборке иа остров Сахалин. Арестаиты глухо волиовалнсь. Одни страшилнсь, как смертной казин, одиого нмеии этого ужасного острова; для других, напротнв, оно являлось снмволом тайной иадежды на воскресение... Говорили, будто высылке на этот раз подлежалн все бродягн, не помнящне родства, все суднвшнеся во второй раз, все бегавшне с каторгн, наконец, все провннвшнеся в чем-нибудь в тюрьме. Категорнн этн обннмалн огромную часть тюремного населення, н поиятно, что все с трепетом ожндалн решеиня своей участи. О том, что такое, собствеино,

Сахалин, этот знаменитый Соколиный остров, — никто с положительностью ничего не знал. Одни утверждали, что это — живой гроб, из которого нет возврата назад; о каторжных работах в каменноугольных копях, где приходится ползать на коленях по горло в воде, передавались ужасы... Другие, наоборот, смеялись над подобными страхами, рисуя Сахалин чем-то вроде земного Эльдорадо:[43] там, по их словам, самых долгосрочных немедленно отпускали на волю, на все четыре стороны; казенных работ почти не было; арестантам давались орудия труда, скот и даже деньги на обзаведение хозяйством; этого мало: каждому предоставлялось выбрать в качестве жены любую из выстроенного шеренгой десятка каторжанок... Для тех же, кому и всех этих благ казалось мало, всегда будто бы была возможность побега. Назывались в подтверждение десятки фамилий зерентуйских, алгачинских и карийских арестантов, бегавших якобы с Сахалина и очень его одобрявших. Никто не знал в конце концов, кому и чему верить. Малосрочные каторжане, а также забайкальские уроженцы, мечтавшие вернуться по окончании срока на родину, само собой разумеется, больше всех трусили Сахалина, впадая в уныние при каждом возобновлении слухов о скорой выборке. Безнадежно долгосрочные, напротив, мечтали попасть в список высылаемых: они готовы были отправиться хотя бы даже *за* Сахалин, на самый край света, лишь бы только вырваться из стен Шелайской тюрьмы, которая большинству из них казалась хуже самой смерти. «Переменить участь», переменить ценою чего бы то ни было и каким бы ни было образом — было их первой и самой заветной мечтою, не дававшей им сна, ни покоя. Об отдаленном будущем никто из этих мечтателей не любил и не умел задумываться. Сахалин, если бы даже он оказался и ужасной вещью, представлялся чуть ли не столь же далеким, как и существование за гробом, а между тем на пути туда рисовалась воображению раздольная этапная жизнь с майданами и картежной игрою, с массой новых тюрем, через которые надо проходить, со множеством нового народа, встречами со старыми знакомцами и товарищами и — кто знает? — быть может, счастливыми случайностями, которые опять вынесут мертвого человека на свет божий... Особенно разгорались мечты долгосрочных, имевших при себе жен. Среди

арестантов вообще господствовало мнение, не знаю — верное или неверное, будто не только на Сахалине, но и в большинстве других каторжных пунктов семейных не держат в тюрьме даже и в течение испытуемого срока, а почти немедленно выпускают в вольную команду в виду того, что семейные очень редко бегают. В Шелайском руднике такого обычая, во всяком случае, не было. Шестиглазый относился к женатым так же строго, как и к холостым. Свидание с женами давалось им один раз в неделю, под строгим наблюдением надзирателей; ничего съестного передавать с воли не позволялось (кроме того, что можно было съесть во время свидания), и никто не имел надежды выйти на свободу раньше окончания испытуемого и исправляющего срока.

— И не мечтайте об этом, — грозно заявил однажды штабс-капитан Лучезаров во время вечерней поверки, — для меня вы все равны, и никого раньше законного срока я не выпущу. А если я не выпущу, то и сам бог не поможет вам выйти за эти стены!

Между тем испытуемые сроки у большинства шелайских семейных были безнадежно большие, и понятно, как все они должны были рваться вон из когтей Шестиглазого, если питали уверенность, что другие тюремные начальства относятся к женатым арестантам мягче. Положение некоторых действительно внушало невольное сострадание. Молодой поляк Мусял пришел на двадцать лет за убийство вотчима своей жены, который вывел его из терпения рядом многолетних несправедливостей, обманов и придирок. Мусял был простой польский мужик, умственной своей первобытностью и нравственной неиспорченностью сильно напоминавший русского Шемелина. Если верить рассказу Мусяла (а не верить не было причин — так рассказ этот был прост и похож на действительность), то большинство русских арестантов без колебаний немедленно сделало бы то, что он сделал лишь после нескольких лет самого ослиного терпения: до того были возмутительны поступки тестя. Сама Юзефа, жена Мусяла, побуждала мужа отомстить обидчику. Когда Яна осудили за убийство, она отправилась за ним и в каторгу, оставив маленьких детей у родных. В дороге уже родилась у них еще одна дочь, хорошенькая Кася, которую я видал иногда во время свиданий. Такому человеку, как Мусял, нравственно вполне еще

уцелевшему, действительно глубоко привязанному к семье и жене и отчасти из любви к ним и совершившему свое преступление, можно было от души пожелать скорейшего выхода на волю. Он много страдал, и на глазах моих в его отношениях с женою совершалась ужасная драма. Ян был недалек и ревнив, а красивая и здоровая Юзефа представляла такой лакомый кусок не только для арестантов-вольнокомандцев, но и для казаков и для самих надзирателей, что против счастья молодой четы неизбежно должен был начаться целый ряд самых темных интриг и подвохов. Десятки соблазнительных предложений преследовали Юзефу, и только крестьянская неиспорченность и католическая набожность спасли ее; редкая бы русская женщина выдержала такой искус, какой выпал ей на долю... Один грязный слух за другим зарождался за стенами тюрьмы и через уста злобной кобылки, всегда жадной до чужих страданий, доходил до ушей мужа. Долгое время он только смеялся, веря в свою жену, как в святую. Клеветники и сплетники всячески изощряли свое воображение и остроумие: то говорили, что Юзефа живет с урядником, то с одним из надзирателей, то указывали на какого-то богатого вольнокомандца. Передавались самые реальные подробности, выдумывались самые правдоподобные сцены и подслушанные якобы разговоры... Подозрение начало наконец свивать гнездо в сердце Яна... В довершение беды на одном из свиданий надзиратель, давно уже точивший зубы на отвергшую его ухаживания Юзефу, перехватил у нее какую-то незначащую записку, будто бы переданную мужем, и Шестиглазый в наказание лишил их на пять месяцев свидания. Того только и нужно было врагам. Клевета сделалась еще беззастенчивее и дерзче, а несчастный Ян лишен был даже возможности проверять ее, и с этих пор ревность охватила его пожаром. Напрасно многие доброжелатели пытались его успокаивать и убеждать не верить арестантским слухам и выдумкам; он сам превратился теперь в обвинителя и открыто и громко поносил жену такими словами, за которые прежде разбил бы голову всякому, от кого бы их услышал. Встречаясь иногда с нею за тюрьмой, он метал на нее свирепые взгляды и из-под конвоя осыпал грубой бранью. Ни в чем не повинная, Юзефа долгое время недоумевала и лишь горько плакала в ответ

на незаслуженные оскорбления; но вскоре тоже озлилась и на брань стала отвечать бранью. Кобылка, присутствуя при таких супружеских сценах, радостно хохотала, торжествуя свою победу. Кончилось тем, что по истечении пяти месяцев, когда прошел наложенный срок наказания, Юзефа сама не стала ходить к мужу на свидания. Семейный мир и счастье, казалось, навсегда были разрушены, Юзефа собиралась уже ехать с маленькой Касей в Россию...

Простая случайность предупредила это несчастье. Шелайский рудник посетил заведующий Нерчинской каторгой, и совершенно для всех неожиданно Мусял обратился к нему с описанием своего горестного положения. Несмотря на комизм этой полурусской речи, она прозвучала так сильно и трогательно, что заведующий, справившись тут же у Лучезарова о поведении арестанта и узнав, что через какой-нибудь месяц кончается его испытуемый срок, приказал немедленно выпустить его из тюрьмы. Кобылка проводила Мусяла на волю насмешками и зловещими пророчествами о прибыли, которая там его ожидает...

Но все пророчества эти, к счастью, оказались вздором; недоразумения разъяснялись при личном свидании к обоюдному удовольствию, и молодая чета стала жить в прежнем мире и согласии.

Портной Буланов, имевший многочисленную семью на руках, меньше всех женатых внушал к себе сожаление. Это была поистине гнусная личность, лицемерная, себялюбивая, с ушками всегда на макушке, с хитрыми бегающими глазками и сладенькой улыбочкой на губах. Жил он у себя дома вполне безбедно, ни в чем не нуждаясь, и все-таки пришел в каторгу за убийство трех душ с целью грабежа. С ужасающим цинизмом рассказывал он подробности этого злодейства, не говоря, впрочем, прямо, что в нем участвовал; но это видно было по его хитрой усмешке, по холодному блеску острых глазок.

— Я без вины попал в работу, — пел в таких случаях лукавый мордвин, — я ведь в несознании осужден навечно.

Искусный портной, он обшивал все местное начальство, включая и самого Лучезарова, и заработок имел изрядный; жена его была, по-видимому, практичная особа и тоже умела добывать деньжонки. Тем не менее

Булаиов всеми силами души рвался вои из Шелайского рудиика и постояиио мечтал о «переводке»: он пробыл в каторге всего лишь два года, и впереди ему оставалось еще девять лет одиого тюремного срока.

Но никто из семейиых ие вел своей линии так упорио н последовательио, как иекто Дюдни, имевшнй на шее пятиадцать лет одного нспытуемого срока (в качестве рецндивнста-вечннка). Это был страииый человек, которого прнрода иаделнла способностью работать языком до собствениого умопомрачення. Несчастный был тот, кто обнаружнвал хоть малейшую охоту поговорить с инм: тогда уж рассказов его иевозможно было переслушать! Говорнл он прн этом всегда со страннымн вывертами и оборотамн речи, в которых видна была претеизия блесиуть образованностью и европейским лоском. Так, по его словам, ои «покуша́л одиажды свою жнзнь иа австрийского подданного барона Розенвальда»; все господа, у которых он жнл в Россни и за граннцей, всегда былн с иим «в снмпатичных отношениях»; еслн кто нз арестаитов в споре иачннал говорить явно иесообразные вещи, Дюднн заявлял ему: «Ну, братец, ты уж до *апогеевых столбов* иелепицы дошел!» Именами бароиов, князей н графов, с которымн он был знаком, он так и сыпал, как бисером, в глаза свонм собеседиикам. Поиятно, что арестанты страшио его ие любнли, и редкнй день ие выходнло у Дюднна с кем-ннбудь браин, ссоры и даже драки.

— Дюднн опять нашел прнключеине! — говорнла кобылка, заслышав где-иибудь заведеииый нм шум.

Тогда как другне семейиые всячески лебезилн перед иачальством н «ударялн к нему язычком», Дюднн, который тоже, разумеется, не прочь был от этого, вскоре умудрнлся вооружнть протнв себя н всех надзнрателей своей иеугомонной вздорностью, неумолкаемой болтовией и страстью к «волынкам». Вечно он попадался в каком-ннбудь «прнключенин»: то иезакоино проноснл в тюрьму со свнданий колоба́ и шаньги во время дежурства «хорошего» подворотиого надзирателя и вслед за тем попадался с инмн иа глаза внутреннему «нехорошему» дежурному, подводя тем под беду первого; то заводил спор н даже мордобой с кухоиннкамн или прачкамн; то, иаконец, распускал сплетню про надзирательских жен, доходнвшую до сведеиия последиих и произво-

дившую суматоху за стенами тюрьмы... Никакие взыскания, ни даже лишения свиданий с женой не могли исправить этого вздорного человека. Решительно на каждой вечерней поверке он заводил с самим Шестиглазым бесконечные прения, обращаясь то с просьбой, то с жалобой, а то и просто с какой-нибудь чепухой. Даже великолепие бравого штабс-капитана не было для него достаточным пугалом, и тот стал наконец отмахиваться руками и ногами, еще издали только завидев Дюдина, не успевшего даже разинуть рот, чтобы начать свои словоизвержения... Кончилось тем, что Лучезаров сам стал хлопотать о переводе Дюдина в другую тюрьму.

В совершенно ином положении находились малосрочные: для этих был полный расчет отбыть свое наказание хотя и в строгой Шелайской тюрьме, лишь бы после того быть поселенными в Забайкальской области, а не на страшном Сахалине. Из бродяг, не помнящих родства, был у нас один забайкальский крестьянин, беглый солдатик, осужденный без «качества» за одно лишь скрытие «родословия»; срок его четырехлетней каторги кончался этим же летом, и его могли тем не менее отправить на Сахалин. Понятно, как трепетал он в ожидании, чем разрешатся слухи о выборке. Говорили, что с Кары, с Зерентуйского, Алгачинского и других больших рудников «замели» решительно все здоровое население, оставив на месте только калек да богодулов; что отправляли на Сахалин даже тех, кому кончился уже срок каторги, и не успело только прийти назначение волости.

Но был в Шелайском руднике один человек, который больше всех трусил; он побледнел, осунулся, весь съежился и скорчился, словно надеясь, что в таком виде его не заметят и оставят в покое. Это был не кто иной, как наш старый знакомец и приятель Кузьма Чирок. Он крепко помнил свою историю с бараном-собакой, и хотя утверждал, что побег его не был внесен в статейный список, как простая отлучка, но в глубине души не был в этом уверен... Бедный Чирок лишился даже сна и аппетита. А злые шутники, подметив вскоре его тревогу, воспользовались ею и начали без конца и на все лады донимать его.

— Угодишь теперь к своей Лукейке, беспременно угодишь! — жужжали ему день и ночь.

— Чего печалишься, дружок? Там сестрица тебя и зятек богоданный ждут.

— Пошел ко всем дьяволам, творенье паршивое, гад!

— Да чего же ты лаешься, Кузьма Александрыч? Аль в счастье свое не веришь? Так это дело наверняка можно оборудовать. У нас грамотные есть. Никишка, сочини прошение, что вот, мол, Кузьма Чирок, находясь восемь лет в тяжкой разлуке с единокровной сестрицей своей Лукерьей Александровной, просит нижающе ваше превосходительство, или как там... соединить вновь. А потому желает отправиться на остров Сахалин, где она пребыванье имеет с супругом своим Семеном Пелевиным и детками. Садись, брат, я дихтовку живой рукой сорудую.

— Да! Никишке и написать... Нашел грамотея! — пренебрежительно ворчал Чирок, с беспокойством следя, однако, за тем, как полуграмотный Буренков важно усаживался за стол, раскладывал перед собой бумагу и завастривал крошечный обломок карандаша.

— Да вот и напишу! — подзадоривал его Никифор, бойко начиная выводить какие-то удивительные иероглифы. — Прошение. А тому следует пунхты. Сестра Лукерья. Остров Соколиный. Подписался Кузьма Чирок. Готово!

И он начинал торжественно складывать мнимое прошение. Тут Чирок не выдерживал.

— О, гады! — вскрикивал он. — Они еще и в сам-деле подведут под плети!

Он соскакивал с места и кидался к Никифору отнимать бумагу. Но тот успевал вырваться и, пробежав по нарам через головы и ноги лежавших на них арестантов, бросался за дверь и выбегал на двор, преследуемый по пятам Чирком. Несколько раз обегали они вокруг тюрьмы. Легконогий Никишка, бывший к тому же босиком и в одном белье, невзирая на лежавший еще на дворе снег, летел как ветер; но и неуклюжий на вид Чирок, одетый в тяжелые сапоги с кандалами и бушлат, оказывался тоже замечательным бегуном. Раза два или три он почти настигал Никифора, но тот ухитрялся каждый раз увернуться в сторону и наконец совсем убегал и прятался от запыхавшегося и сопевшего, как паровик, Чирка. Минуты через две Буренков сам к нему подходил.

— Куда дел прошение, гад? Давай! — приставал к нему все еще тяжело дышавший Чирок, кашляя, бранясь и отплевываясь.

— Под ворота бросил, — отвечал Никишка, — пущай надзиратели подымут.

— Врешь?! — вскрикивал Чирок не то шутливо, не то и в самом деле испуганно и начинал на чем свет стоит бранить и даже тузить помирающего со смеху Никифора.

Шутки эти и забавный страх Чирка перед Сахалином стали известны вскоре и надзирателям, и один из них вошел раз в нашу камеру и с серьезным видом прочел только что полученный будто бы список арестантов, назначенных к отправке на Сахалин; в том числе был и Кузьма Чирок. Последний побледнел весь и задрожал как лист... Шутка заходила уж слишком далеко, и кто-то, сжалившись, поспешил объяснить Чирку, что против него составлен заговор. Негодованию его не было пределов, а вместе с тем и новым восторгам кобылки.

В один прекрасный мартовский день точно электрическая искра пробежала по тюрьме: прошел слух, что получился наконец список тринадцати человек, подлежавших отправке на Сахалин из Шелайского рудника. Все сразу затихло, все как бы ушли в глубь себя, изредка только и потихоньку сообщая друг другу догадки, кто бы могли быть эти тринадцать человек — по мнению одних, несчастливцев, по мнению других — фартовцев. В этот день насилу дождались вечерней поверки. Можно бы было услышать полет мухи — так было тихо, когда Лучезаров, явившийся сам на поверку, громогласно объявил после молитвы, что ровно через неделю отсылаются на Сахалин все уроженцы Забайкальской области в числе тринадцати человек, между прочим и братья Буренковы. Один только Дюдин каким-то образом затесался в эту же категорию, хотя вовсе и не принадлежал к ней.

Объявление это было для большинства ударом грома с безоблачно ясного неба. У одних вырвался из груди глубокий вздох облегчения, у других — почти крик ужаса, у третьих — проклятие досады и разочарования.

— Господин начальник! Ведь мы семейные, — заговорил жалобно Никифор, — жены, детишки маленькие...

К тому же их нет прн нас... Да и срок совсем к концу подходит.

— А нас как же нет? Мы ведь просились! — загалдели долгосрочные.

— Молчать! Что за манера говорить всем разом? Ждите, когда начальник объяснит. В нынешнем году нет требований на Сахалин из других категорнй. Поверьте, что я сам был бы рад отделаться от многих из вас. Я посылал список всех артистов, которые не ко двору в моей тюрьме, но, к сожалению, пока берут одного только Дюдина. Что касается малосрочных н семейных, вроде Буренковых, то положение их действительно печально. Но ничего не поделаешь: закон! Надо покориться. Я тут нн при чем. Одно могу вам посоветовать: телеграфнруйте немедленно женам, чтобы собирались в путь. В Усть-Каре вам придется, вероятно, долго сндеть, и они могут вас догнать.

— А если хлопотать, господин начальник, — робко заговорили малосрочные, — ежели телеграмму отбить господину губернатору?.. Детишки, мол, малые, жены больные... Может быть, снизойдет, оставит.

— Напрасно деньги потратите. Закон не может быть отменен: уроженцы Забайкальской области должны быть поселяемы на Сахалине.

— Все-таки попробовать бы, господин начальннк.

Лучезаров пожал плечами:

— Пробуйте, пожалуй. Надзиратели, разводите арестантов по камерам.

В нашем номере не спали в тот вечер до глубокой полночи. Чирок предавался безумной радости, со всеми заигрывал, возился и ядовито подсмеивался над теми, которые другим яму копалн, подметные письма и прошения сочиняли и вдруг сами в беду втюрились. Никифор и Михайла были вконец убиты... Петин, Ногайцев н Сокольцев, мечтавшие о Сахалине, раньше всех утешилнсь и начали строить другие планы отбиться от Шестнглазого н его тюрьмы.

На другой день Буренковы отправили в Тронцкосавск телеграмму женам. Двое других нз назначенных к отправке послали по телеграфу же прошение губернатору. Не знаю, отослал ли Лучезаров это прошенне, только четыре дня спустя он коротко объявил им, что получился отказ... Буренковы сильно волновалнсь, долго не

получая из дому ответа. Ннкифор прямо заявил, что еслн жеиа почему-лнбо откажется за ннм ехать, тогда он пропащий человек.

— С дороги беспремеиио бегу и заявлюся к ней... «А, — скажу, — сволочь, ты думала — отправнла меня на Сахални, так и отвязалась? На вольной волюшке хотела пожнть? Нет, шалншь. Я — вот он. Меня н цепь удержать ие смогла». Я, ведь, братцы, н в сам-деле... Коли уж решусь на что, так я духовой парень! Ннчего тогда ие боюсь — ии людей, ни самого бога. Колн приду да замечу в ей иеверность али там баловство какое, так много разговаривать ие стану: жнво н голову подлой прочь! Зиай нашнх, соколннцев! Ну, а ее побью — н ребятншек тоже побью. Не дал бог отцу талану, не коптнте н вы свет белый, не будьте такнмн ж несчастными...

— Полно, Ннкнфор, — возражал я, — вы самн не вернте тому, что говорнте. Жена, конечио, пойдет за вами в огоиь и в воду.

— Это верно, положим... Оио нужно бы так думать, Миколаич, что пойдет... Только все же сумленне ниой раз берет... Завтра пятый уж день, как телеграмма отбита, а ответа иет.

— Ннчего, прндет еще. Расскажнте лучше, как вы поженнлнсь: отцы вас сосваталн или как?

— Мы убёгом, Мнколаич... У иас это часто бывает, у семейскнх. Помиишь, ты ромаиы иам разные чнтал и рассказывал? Так ты, поди, думал, это в вашем только быту любовь там разиая воднтся, а мы, простые мужнкн, как скотнна, жнвем? Нет, н у нас, брат, то же бывает... Я про себя вот, коли хочешь, расскажу.

VI. РОМАН НИКИФОРА. — ОТПРАВКА

— Нашн две семьи — моя, отцовская, н Настькнна, женнна, — страшеннейшую вражбу промеж себя нмелн, — так начал Ннкнфор свой роман. — Отцы-то н матерн видеть друг дружку спокойно не моглн, зубамн скрыжетали... Не могу обсказать хорошенько, нз-за чего вначале у инх пошло, я еще махоиькнй об ту пору был. Только н мы, конечно, ребятншкн, большнм подражали. Я Настьку-то ие раз, прнзиаться, колачнвал... Словлю где-иибудь одну — и сейчас в волосья ей, а то песком

всю обсыплю. Только она, бывало, никогда не заплачет, разве со злости уж, что защититься нет силы... Дерется тоже, кусается, стервенок, разалеется вся... Ну только в окончание всего я, разумеется, накладу ей. Жалиться она тоже не любила, никогда, бывало, отцу-матери не скажет, что я побил, потому мне тогда все ж бы и мои старики спуску не дали, даром что со взрослыми во вражбе жили. И боялась же меня Настька: завидит, бывало, издали и наубёг... Бежит, бежит, падает, подымается, опять во все лопатки жарит. Я маленький-то варвар ведь был, вот у Михайлы спроси. Он помнит. Он сам меня не одиво́ за уши драл. Ну, вестимо, как подросли мы оба с Настькой, драться перестали — совестно уж было... И Настька бегать от меня не стала: только пройдет мимо — глазом, бывало, не моргнет, не поглядит... Ровно незнакомые. Как царевна какая мимо идет. С другими подростками, товарищами моими, и шутки всякие шутит и любезничает (подростки тоже ведь как взрослые себя держат, особливо девки), а меня ровно и нет для нее. Я нио́ва́ скажу что, мелким бесом подъеду... Ни-ни! Разве глазом только обожжет, ненавистливо таково погля́дит! Стал и я тогда в амбицию вламываться, озлился. Раз весной (мне уж шестнадцать лет было) я на коне верхом ехал, а Настька с матерью навстречу в гости куда-то шли. День был праздничный; обе нарядные такие, расфуфыренные... А на улке грязи было, грязи — не приведи бог, потонуть можно. Как закипит во мне злость! Как приударю я коня плетью, да мимо их: всех с ног до головы грязью залепил! Девушки кругом, ребятишки, парни смех подняли... Настькина мать кричит: «Ловите, держите разбойника!» Где тут? Меня и след давно простыл. После того долго мы не встречались. Самому мне как-то совестно стало: завижу где — и в сторону ворочу. А коли нечаянно где встренемся, среди хоровода, в молодяжнике, так я стараюсь уж и не глядеть, с другими девушками любезничаю. А только пала она с той поры мне на сердце... Бравая была девка, нечего говорить. Вот Михайла знает, не даст соврать... Даже говорить смешно: сплю, бывало, а сам во сне вижу, обнимаю, словами приятными называю... Вот, ей-богу, не вру! А поутру встану — сердитый, на свет бы белый не глядел. Ну, словом, буква в букву со мной так выходило, как в тех ро́манах, что ты читал,

Миколаич... Вот она, любовь-то, что значит! Стал я, прямо надо сказать, сохнуть по Настьке. Думаю: видно, приходится покориться, прощенья, что ли, просить; может и согласится замуж пойтить. А потом опять сумленне найдет: шибко уж, думается, злобится на меня, забыть не может, как девчонкой еще забижал я ее и как при всем народе потом осрамил — грязью обрызгал. Она на память крепкая, недаром гордости в ей столько, никогда не жалилась на меня, как маленькая была, даже плакала редко. Раз возвращаюсь домой с охоты. За утками весной ходил. Бреду по берегу речки, по-за кустами, гляжу — Настька белье на плоту колотит. Забилось во мне, признаться, сердце... Закрутил ус (а ус-то только что пробиваться зачал), поправил ружье на плече и подхожу прямо к ней.

«Здравствуй, говорю, Настасья!»

В первый раз за всю жизнь так к ей обращаюсь. Она как испужается (не заметила, вишь, как я подходил) и валек даже из рук выронила...

«Ой, говорит, как ты испужал меня, Никифор!»

И губы прикусила, что невзначай имя мое сорвалось. Замолчала, стала белье выкручивать. Я остановился подле.

«Ты, — спрашиваю, — шибко серчаешь на меня, Настя?»

Не отвечает.

«Видит бог, говорю, каюсь перед тобой, за все каюсь (говорю, а у самого глотку будто перехватил кто) — прости, Настасьюшка!»

Не глядит, белье продолжает выкручивать.

«Чего, говорит, мне серчать? Дороги у нас разные, делить нам нечего».

«Неужто таки нечего? — спрашиваю. — Ты вот говоришь, не серчаешь, а сама даже и не взглянешь на меня».

Взглянула — и засмеялась... Так засмеялась, что и во мне ровно все засмеялось, ровно солнышко взошло на душе — так светло стало.

«Узоров на тебе, говорит, не написано, чего мне глядеть?»

Насмелел я, еще ближе подошел.

«Вот что, говорю, Настя, я без тебя жить не могу. Пойдешь за меня?»

Она того пуще рассмеялась,

«Вот что выдумал! Маленькую бил, забижал, недавно еще при всем народе срамил, а теперь сватает! Что ж, шибко ты любить меня стал бы?»

И руки в боки подперла, глядит на меня — огнем жжет, а сама хохочет. Света я тут божьего не взвидел, схватил ее за руку, обнять хотел... Прочь от себя оттолкнула, осерчала, аж потемнела вся...

«Ты что это, говорит, обо мне в голову свою дурную забрал? Гулящей меня, што ли, считаешь? Так знай же, говорит, Микишка: не видать тебе меня как ушей своих! Никогда не владать тебе мной! Ни за что на свете не обмануть меня!»

«А не боишься, — спрашиваю, — что убью тебя? Сейчас вот убью и себя и тебя?»

И ружье с плеча сымаю...

«Стреляй, говорит, не боюсь, хоть сейчас стреляй!»

Сама руки накрест сложила и стоит. Ажио заплакал тут я, не вытерпел и убежал домой.

Ушел я после того на прииск. Все лето так чертомелил, что не знаю, как у меня спина не треснула. Мне с ребятами пофартило: много мы золота намыли. В полтора каких месяца на мою только долю с тысячу рублей пришлось — и зачал я гулять. Пил без просыпу, буянил, распутничал, деньги как щепки швырял во все стороны... От лавок до кабака дорогу ситцами дорогими выстилал: не хочу, мол, по грязи идти! Дошли слухи до нашего места: Микишка, мол, совсем пропал, замотался. А я нарочно еще всем робятам, которые домой шли, наказываю: «Кланяйтесь, мол, родным и знакомым, прощенья у всех друзьев и товарищев просите, коли зло какое на мне помнят! Больше меня не увидят. Не жилец я на белом свете. Вот только деньги последние догуляю».

Да и в сам-деле, братцы, дурные мысли в башке ходили. Просыпаюсь раз утром посередь улицы, оборванный, грязный, в крове весь, черт чертом... В кармане хоть шаром покати, и кошелька даже нет. Босиком; головушка трещит. Ну, теперь, думаю, пора: камень теперь на шею, да и в Чикой-батюшку!..[44] Сижу это посередь дороги, думаю. Раным-рано. На улице ни души. Солнышко из-за сопки встает. Радошно таково, светло в мире божьем... И вспомнилась мне Настька опять... Будто слова ее слышу: «Как ты испужал меня, Никифор!» Вижу будто, как глянула на меня, рассмеялась...

«Эхма! — думаю. — Прежде чем помереть, пойду еще хоть глазком одним погляжу на нее, прощусь». Как был, в том самом виде встал на ноги и в один день без малого пятьдесят верст пешком откатал. Прихожу в село — уж вечер на дворе, все спать полегли. Я прямо в их огород залез и к окну Настькиной горенки подхожу. Смотрю — окно раскрыто, сама в одной сорочке у окна сидит. Я, как провидение, черт чертом, в пыли весь, в грязе, с ногами в крове, и появляюсь перед ей... Она было айкнуть хотела, прочь от меня; да я за руку изловчился.

«Не кричи, говорю, родная, не пужайся, я проститься только пришел. Ты видеть меня, злодея, не можешь, а я иссох по тебе и жить без тебя не хочу... Взглянуть только в остатний раз пришел... Камень на шею — и в воду... Прощай!»

И хочу уходить. А она уж, гляжу, сама меня не пущает...

«Стой, — шепчет мне, — я тебе всю правду истинную скажу. Я сама без тебя пропадаю... Думала, тебя уж и на свете нет из-за меня, постылой, и тоже жизни решиться хотела!»

«Ой ли? Значит, пойдешь за меня?»

«Хоть сейчас на край света! Я с той поры еще, Микишка, об тебе одном думаю, как ты меня девчонкой колачивал и забижал».

Того же разу и порешили мы уходом обвенчаться, потому родители наши ни за что не дали бы согласия. Так и сделали, вот Михайла помнит. А потом, как дело сделано было, и старики, глядишь, смягчились. Тем и вражба прежняя кончилась, из-за нас с Настькой все помирились. Вот времечко-то счастливое было, Миколаич! Я, знаешь, для того ведь больше и писать-то хотел обучиться, чтоб жизнь свою тебе описать!

Никифор говорит все это в сильном волнении, расхаживая большими шагами по камере с заложенными за спину руками и с огнем в голубых глазах. Какая-то благородная вспышка освещала все лицо его, оттененное длинными белокурыми усами, и выпрямляла высокую, костлявую фигуру.

— Вишь ты, гад, в бабу как врезался! — насмешливо заметил Чирок, внимательно слушавший рассказ Буренкова. — Еще описать ему нужно... Чего тут описывать?

Дурак ты был — вот и все: из-за девки топиться вздумал! Не знал ты еще, чем они дышат, твари!

Сокольцев, Железный Кот и другие подхватили слова Чирка и стали пространно развивать их, рассеивая мало-помалу очарование простого и трогательного романа, рассказанного Никифором. Но последний, казалось, не обращал внимания на циничные замечания и шутки товарищей и в глубоком раздумье продолжал ходить по камере. И я с невольной грустью размышлял о том, как несчастно сложилась судьба этого человека, от природы столь прямого и симпатичного.

— Вот видите, Никифор, — сказал я ему в утешение, — разве можно сомневаться, что такая жена никогда не изменит?

— Никишка, вестимо, зря об своей бабе ботает, — подтвердил и Михайла. — Настасья женщина вовсе отдельная. А вот моя баба — это в сам-деле змея подколодная. Она, я знаю, откажется ехать. И дурак я был, что деньги согласился на телеграмму бросить! Она небось рада теперь радехонька, что меня на Сахалин упрут: оттуда, мол, уж не сорвется мил дружок! Ну, да и я тоже печалиться об ей шибко не стану, кланяться не буду!

— А вы разве, Михайла, не так жену свою брали, как Никифор?

Михайла тихо засмеялся. Никифор отвечал за него:

— Его силком мать женила... Он с другой раньше жил... За ним тоже ведь все девки увивались, потому — и молодец был из себя и жил справно.

— Но она-то не силой за него шла? Может быть, и поедет?

— Коли прежде не поехала, — отвечал сам Михайла, — теперь тем более не поедет. Сахалин! Неведомая земля! Там ведь люди с собачьими головами живут — наскажут старухи разные, — на что тебе ехать за им, варваром? Там солнышко божье не светит, круглые сутки ночь стоит... Не силой, говорите, замуж шла? Ха! Так тогда ведь у меня деньги были, руки не связанные, да и в лице-то кровь играла... А теперь я на старика без малого нахожу уж, а ей-то на воле, на хлебах-то моих даровых, плясать еще, пожалуй, охота...

— Это правду Михайла говорит, — подтвердил и Никифор, — бабы ведь какой народ? С глаз ты у их до-

лой — и уж из ума вон. А тут еще старухи проклятые отговаривать зачнут. Ты еще не знаешь, Миколаич, наших старух? Ведьмы ведьмами — только что хвоста разве нет... Вот и за свою Настьку я потому же боюсь... Хоть бы Михайлину жену взять: если сама не надумает ехать, то уж обязательно и мою отговаривать зачнет, чтоб одной людей не совестно было!

Я переводил разговор на то, как Буренковы пойдут дорогой, как на Сахалине жить станут. Что касается, впрочем, Никифора, то это был человек момента, обстоятельств и посторонних влияний, и если бы даже он клясться и божиться начал, что мошенничать больше не будет, то слова его не имели бы ровно никакого значения. Я мог одного только желать для него от всей души, чтобы условия новой его жизни сложились по возможности благоприятно для честного существования, и первым из таких благоприятных условий была бы, по моему мнению, забота о семье и общая жизнь с нею. Никифор сам хорошо сознавал, что он человек минуты, и в те же дни перед расставаньем рассказал о себе один смешной, но характерный для него анекдот.

— Шли мы раз с Михайлой с приисков и подошли к широкой речке, у которой, однако, брод был. Я первый разулся, разделся и говорю Михайле: «Я тебя так на спине перенесу, не раздевайся». Сурьезно это говорю, думаю: перенесу и впрямь. Он сдуру-то поверил, да и залез мне на плечи. Вот отошел я от берега шагов тридцать, на самое глубокое место забрел, да и раздумал. «Знаешь, говорю, что? Я пристал». — «Ну ничего, говорит, как-нибудь доволокешь». — «Нет, говорю, пристал, не понесу дале. Сяду». Да и зачал садиться в воду... Как он закричит: «Сдурел ты, Микишка, што ли?» А я знай себе сажусь. Выскочил из-под его, да и наубёг. Он дьявол дьяволом вылезает со дна: вода с одежи рекой течет. Хохот на берегу! С тех пор и говорит про меня Михайла, что мысли у меня доле тридцати шагов не держатся...

Слова Михайлы имели несравненно больший вес и значение, и мне не казалось, например, в его устах пустым «ботаньем», когда он рассказывал, что больше из злобы, чем из корысти, начал мошенничать. По его словам, он был уже женатым человеком, когда родная мать, поощряемая враждебно относившимся к нему дядей,

настояла, чтобы мнр публнчно наказал его розгамн. Большнх провинностей за ним в то время не чнслнлось, но дядя убедил глупую старуху, что сын может вконец разбаловаться, еслн распустнть вожжн. С негодованнем, сохраннвшнмся еще и теперь, по прошествин пятнадцатн лет, рассказывал Мнхайла, как позорно наказалн его при всем народе и как хотел он за это убнть н дядю н мать, как последняя сама потом раскаялась в своем поступке, но было уже поздно; сын ожесточнлся и пустнлся во все тяжкне... Злоба протнв односельчан, нанесшнх ему н после того немало обнд, была так снльна в Мнхайле, что в случае неудачно сложнвшейся на поселеннн жизни он обещался бежать н по-свойскн расправиться с ннмн.

— У меня надвое теперь мысли в голове расходятся, — отвечал он обыкновенно на мон вопросы, — в мошенннчестве я скусу большого не нашел. Это я прямо говорю, что не нашел, н отстать от этнх пустяков мне нетрудно. Мнкншка вот хорошо меня знает: колн что я решу, так то н сделаю. Люди, товарнщн — это ннчто меня совратнть не может. Но н то опять в мысли прнходнт: дело мое к старостн клоннтся, и колн буду я однноднешенек, для кого же н для чего я жнть стану? Особлнво ежелн еще н жить плохо будет? Так что обещать верного ничего не могу. Посмотрю — увнжу, чтоннбудь решу н тогда напншу вам.

Относительно перепнски у нас придумана была целая конспнрацня. Пнсем Буренковых, адресованных прямо на мое имя, Лучезаров ни в коем случае не передал бы: по инструкцнн арестанты имеют право перепнсываться только с блнжайшнмн родственннкамн. В внду этого мы условнлнсь сообщаться между собою кругосветным путем: Мнхайла должен был пнсать в Россню к моей матерн, адрес которой я запнсал ему в Евангелнн.

Только на пятый день томнтельного ожндання получнлся наконец ответ от жен. Мнхайла оставался по нездоровью в тюрьме, н мы с Ннкнфором, вернувшнсь нз руднnка, застали его разбнрающнм уже в десятый раз полученную телеграмму. Ядовнто усмехнувшись, он подал мне бумагу, н я прочел в ней буквально следующее: «Родные, не прогневайтесь, детей жалко ехать».

У меня болезненно сжалось сердце н в первую мннуту не нашлось нн одного слова в утешенне... Ннкифор

сразу упал духом и пришел в самое отчаянное настроение. На другой день уныние сменилось в нем порывом бесшабашной веселости и чисто арестантского молодечества. Он закручивал свой длинный ус, шагал как-то особенно, «по-гулевански», и с губ его то и дело срывались слова: «Мы, соколницы»... О жене он старался не заговаривать, а о бабах вообще отзывался с бесконечным презрением... Но я отлично знал, что и это его настроение не более как минутный порыв, и, дав пройти ему и остыть, уже накануне отправки попытался убедить, что из телеграммы ничего дурного, говорящего о прямой измене жены, не видно; что положение ее как матери действительно ужасно затруднительно: нужно было бы настоящее геройство, равное почти отчаянности, — только что получив как с неба свалившуюся телеграмму об отправке на Сахалин, немедленно же забрать маленьких детей и покатить с ними в неведомый путь. Я указал Никифору, что подробное письмо, которое жена его на днях получит, даст ей возможность лучше обсудить и обдумать эту поездку, и уверял, что в Усть-Каре его непременно догонит благоприятный ответ. Слова мои были, очевидно, настоящим бальзамом для наболевшего сердца Никифора, и он опять повеселел, но Михайла отнесся к ним явно скептически, хотя и не спорил. Тот и другой давали, однако, честное слово не пытаться бежать по крайней мере в течение года и дожидаться того времени, когда окончательно выяснятся семейные дела.

Что касается отношений братьев друг к другу, то ветреный Никифор, размягченный несчастием, одинаково обрушившимся на него и на Михайлу, казалось, и забыл даже о своей прежней вражде с ним. Имя Михайлы почти не сходило теперь с его языка: в каждом слове и взгляде он выражал к нему чисто братскую нежность, и посторонний зритель мог бы подумать, что между ними и не пробегало никогда черной кошки, что их дружбы и водой не разольешь; по-видимому, ему и в голову даже не приходило усомниться в том, что они будут идти дорогой как братья и товарищи. Для этой цели он заготовлял всякого рода мешочки, котомки и так много суетился, как будто на попечении его находилась целая семья с самым сложным и запутанным хозяйством. Но не то держал, видимо, на уме Михайла и на все экспансивные и сентиментальные выходки Никифора

упорно отмалчивался. Заметив это, я отозвал его раз в сторону и спросил, почему он как будто сердится на Никифора.

— Не сержусь я, Иван Миколаич, — отвечал Михайла, — а только я твердо решил: не пойду с Никишкой в товарищах.

— Как так? С чего это?

— С того. Я хорошо знаю и свой и его характер. На два дня его хорошества хватит — не боле. Станет он, как прежде, с гулеванами разными знаться, в картишки играть, пойдут у нас свары, злоба, а я этого смерть не люблю. Так лучше же с самого начала не обманывать друг дружки, идти розно.

Долго, очень долго пришлось мне уламывать Михайлу предать забвению все прошлые размолвки, счеты и обиды и в виду общего несчастья сделать еще один, последний уже, опыт общей жизни с Никифором. Очевидно, только из желания доставить удовольствие мне, перед которым он считал себя в неоплатном долгу, согласился он наконец еще раз испытать Никифора...

Наконец 25 марта, в праздник благовещения, в ясный солнечный день, соколинцы отправились в поход, провожаемые до ворот решительно всей тюрьмой и напутствуемые добрыми пожеланиями. Я от души расцеловался с Бурениковыми...

К сожалению, о дальнейшей их судьбе я так ничего и не знаю. Мать моя никогда не получала никаких писем от Михайлы. Арестанты объясняли это тем, что он, вероятно, убежал с дороги. Некоторые утверждали даже, что слыхали об этом, передавались даже подробности, будто в сахалинской партии была попытка огромного побега «на ура», и Никифор Буреников в числе многих других был убит, а Михайла успел скрыться... Правду или ложь рассказывала кобылка — как узнать и проверить?

VII. ПОБЕГИ И ПЕРВАЯ КРОВЬ

В первых числах мая каким-то путем достиг из Покровского рудника до Шелайской вольной команды сенсационный слух о побеге одного арестанта через горные выработки. Слух этот перешел скоро и в стены тюрьмы и чрезвычайно взволновал все ее население. Только и

разговоров было, что о фартовце Красоткине (так назывался бежавший арестант). Многие удивлялись, как это раньше никому в голову не приходило бежать через гору.

— Было и прежде известно, — рассказывал теперь почти всякий, с кем я беседовал об этом предмете, — что где-то с другой стороны горы, где конвоя не ставится, выход есть. Там на пятьдесят верст ведь выработки идут; заблудиться можно... Что твой лес: то прямо идешь, то вправо, то влево поворотишь, то вниз спустишься, то опять вверх полезешь... И вдоль и поперек десятки коридоров тянутся... Одно только — страшно заходить далеко. Иные выработки много уже лет заброшены, и ходить туда строго-настрого запрещается; крепи все сгнили — того и гляди повалятся, задавят... А в других местах вода, лед.

Словом, большинство утверждало, что выход с другой стороны все-таки есть и духовому человеку бежать можно. А поэт Владимиров, прослушав несколько таких рассуждений, вдруг поднялся однажды с нар и забасил категорически:

— Да и раньше бегали!

— Когда бегали? Кто бегал?

— Да вот бегали! Не хотели только совсем уходить, потому семейные были, а проход находили. Поляк Нияс с хохлом Егозой нашли раз. Забрели в ледяной коридор и заблудились. Страху сколько натерпелись, рассказывали после... По обмерзлым лестницам, чуть живым, лезли. Продрогли, промокли все... И вдруг к выходу пришли... Вышли вон — смотрят — лес кругом, а цепь далеко-далеко в стороне осталась! Так и могли бы уйти, кабы захотели. Только они не хотели, потому женатые были, и пошли казакам навстречу. Те сначала пропустить их в цепь не соглашались, а потом как объяснилось, в чем дело, так конвой просто диву дался, испугался!

— Да не во сне ль это приснилось тебе, Медвежье Ушко? — спросил насмешливо Сокольцев.

— Зачем во сне! Спроси хохла Егозу или Нияса спроси.

— Где ж я теперь спрошу, коли они в волости давно? А тебе-то они сами сказывали?

— Да хоть и не сами... Другие все равно слышали... Уйти бы могли, кабы захотели! Только они не хотели, потому...

— То-то кабы захотели! Нет, уж мы подождем лучше, узнаем, каким путем Красоткин бежал, а потом поверим тебе. Нет, дружище, кабы выходы из горы были, начальство лучше б нашего с тобой знало, что они есть, и без караула не оставляло бы во время работы. Я так полагаю.

Скептический взгляд Сокольцева разделяли Гончаров, Юхорев и другие бывалые, опытные люди. Взгляд этот и оправдался спустя некоторое время, когда пришло другое, более верное известие, что Красоткин и не бежал вовсе, а только пробовал отсидеться в горе, но благодаря собственной глупости через двадцать суток принужден был сдаться начальству. Сокольцев сам принес из мастерской это известие и так рассказывал собравшейся вокруг него шпанке:

— Он, точно, мог бы бежать, Красоткин, кабы другой на его месте человек был. Я его хорошо знаю и тогда же, как в первый раз услышал, подумал про себя, что не Красоткину б такие дела обделывать. И задумал-то его не сам он, а ребята предложили, силой почти уговорили, потому жалко парня: молодой совсем, а за спиной сорок пять лет работы. Задумано было так. Спрятали его во время работы в старых выработках, в очень распрекрасном месте, про которое два-три только человека изо всей тюрьмы знали. Туда заранее ему всякого провианту натаскали, чтоб можно было дня три или даже четыре просидеть. Заложили каменьями и ушли. Кончилось рабочее время, пора в тюрьму идти. Сосчитали казачишки арестантов, раз и два сосчитали — что за черт? Нет одного. Нет да и нет. Пошла тревога. Всю гору обегали казачишки — ничего не могли сыскать. Решили все-таки цепи не снимать, выждать: может быть, он спрятался где-нибудь, притаился — так рано, мол, или поздно должен объявиться. Часовые клялись и божились, что из цепи никого не выпускали. Кабы кобылка вела себя хорошо, а главное, кабы сам Красоткин не дремал, это все не беда б, что цепи не сняли, потому ребята и раньше так располагали, что три-четыре дня стрёма будет. Эти дни надо было ухо востро держать, сидеть спокойно. В первую же ночь целая сотня казаков

с фонарями в гору пошла, все обыскала, перерыла. Опять ничего, конечно, не нашли. Еще суток двое постояли-постояли, глядь — и сняли посты. Решили, что часовой, должно быть, прокараулил, того ж разу из цепи выпустил. Тут бы и махнуть Красоткину драла — наши успели ему шепнуть, что розыски, мол, утихли, проход свободный. Одежа вольная, деньги, пачпорт, все у него было. А он возьми, дьяволов сын, и струсь! Еще почему-то три дня пропустил, даром пролежал. А тут, смотри, и провиант истощился, что в запасе был. Пришлось таскать каждый день из тюрьмы. Придут утром на работу. Ну, думают, теперь, должно быть, ушел. Глядь — а он все еще лежит. «Что же ты, так тебя и этак, делаешь? Погубить себя хочешь?» — «Ей-богу, братцы, сегодняшнюю ночь убегу. Пошел было ночесь, да оказалось, караул опять стоит». Вот трусливая ворона! А еще молодой парень, сорок пять лет каторги сумел заработать. И вот промеж кобылки шорох пошел... Сперводначалу-то человека четыре только знали, верные люди; большая часть, как и начальство, тоже думали, что Красоткин на воле давно — лови в поле ветра. А тут — заметила ль какая сука, что пищу ему носят в гору, промеж себя шопчутся, аль по чему другому, — только скоро вся тюрьма узнала, что Красоткин в выработках старых лежит. А вся тюрьма узнала — и надзиратели узнали и конвой. Всполошились опять — цепь поставили, караулы: строго стали обыскивать всех, чтобы хлеба ему не проносили... Мало того! Какие хитрые шельмы: пепла по всем коридорам насыпали, нитки протянули... Думают: коли станет ночью ходить — воды пойдет к ручью напиться или бежать захочет — непременно следы останутся. И днем и ночью в горе зачали шарить. Раз какую даже штуку удрали. Не выгнали арестантов на работу, а заместо того казачишкам молотки и буры в руки дали. Такой стук в руднике подняли, будто и заправская работа идет. Ну да Красоткин догадался, что — подвох, не вышел. Натерпелся, однако, бедняга страху за эти дни. Однажды (сказывал после ребятам) два казачишка во время обыска вплоть подошли к тому самому месту, где он заложен камнями был. Стали, слышит, разбирать. Один говорит другому: «Сейчас же заколем мерзавца, коли тут окажется». Ажно дух в нем замер: вот-вот увидят! Вдруг, на его фарт, где-то вдали другие закричали:

«Здесь, здесь он!» Как бросятся туда духи... Так гроза и прошла мимо. Однако плохо его дело стало! Проносить удавалось только по крохотному кусочку хлеба, да и то не кажный день. Отощал вовсе. Темнота к тому ж, воздух душно́й... Ноги стали пухнуть, цинга появилась. И тут иной бы фартовец сумел еще выкрутиться! Напролом бы пошел! Прямо на часового б ночью кинулся; подкараулил бы, как он зазевается, стоит себе, в носу ковыряет, и пришиб бы духа проклятущего! А Красоткин мог только вокруг да около ходить, а ни на что не решался. Раз таки насмелел было, пошел... Да так неосторожно высунулся, что часовой увидал, выстрел дал, закричал! Казаки набежали... Насилу ноги уволок. После того он уж вовсе оробел, вылезать из своей норы перестал, разнемогся. Смерть, видно, думает пришла... Раз лежит этаким манером, вдруг слышит — идет кто-то, промеж камней пробирается. Мелкие камешки падают... Вовсе подошел, и в темноте ровно светлее стало. Стоит перед ним как есть человек — ни высокий, ни низкий, с седой бородкой. «Ты здесь?» — спрашивает. «Здесь», — отвечает Красоткин. «Есть хочешь?» — «Шибко, говорит, хочу». — «А холодно тебе?» — «Закоченел весь». — «Ну погоди, говорит, маленько, легче станет». Сказал — и словно в землю провалился, невидим стал. А ему и точно легче сейчас же сделалось: голод пропал и будто теплом откуда-то потянуло...

На другой после того день (это на девятнадцатый уж!) Красоткин прямо объявил ребятам, что дольше терпеть не в силах, и если не придумают средства вывести его живого, так он сам выйдет — пускай убивают. Что тут делать? Объяснила кобылка старшему надзирателю (душа, говорят, человек для нашего брата): так и так, мол, человеку смерть предстоит, потому казаки беспременно убьют, как только он покажется, — обозлены сильно; явите божецкую милость, примите под свою защиту. Наутро он пошел с ребятами в гору, одел Красоткина в вольную одежу и вывел незаметно для казачишек. Кто был на Покровском, тот знает ведь, что рудник там совсем подле тюрьмы и цепь расставляется далеко-далеко кругом... Как подошли к воротам — тут только два молодых подчаска смекнули, в чем дело. Как сумасшедшие метаться зачали туда-сюда, зубами щелкают, не знают, что делать. «Смейте только пальцем

тронуть! — прикрикнул на них старший надзиратель. — Строго отвечать будете». Кинулись подчаски в караульный дом — выбежал оттуда весь караул с ружьями. Беспременно убили б Красоткина, ни на что б не поглядели, да в эту минуту дежурный ворота успел растворить и втолкнуть его во двор. Так и остались казачишки с носом, ружьями только погрозились сквозь решетку да поругались всласть. Вот ведь зверье какое!

— Кажного из них давить надо, духов окаянных, — подтвердили слушатели, глубоко взволнованные рассказом Сокольцева.

Красоткина тоже ругали на все корки. Разочарование было полное. Хотя идея побега через горные выработки и не имела никакого смысла в крошечном Шелайском руднике, где обширные выработки старых времен находились далеко от нынешних, но в арестантской душе были разбужены этой историей самые заветные чувства, задеты самые больные струны... К тому же весна была в полном разгаре; за высокой тюремной оградой зеленели красивые сопки, благоухали цветы и деревья... Все напоминало о воле, о жизни, и сердце у каждого мучительно ныло... Но бежать из Шелайской тюрьмы, так зорко оберегаемой Шестиглазым, было нелегко, и самые дерзкие смельчаки предпочитали выжидать благоприятных обстоятельств, мечтать о предварительном переводе в другие рудники. Зато с началом лета начались массовые побеги из вольной команды, за которой не было почти никакого надзора.

Прежде всего скрылись повар и кухарка самого Лучезарова. Последний снарядил за ними погоню из нескольких надзирателей и казаков; но трехдневные поиски не привели ни к чему, и преследователи вернулись с пустыми руками. Едва успело улечься волнение, произведенное в тюрьме этим первым побегом, как исчез арестант, бывший любимцем Лучезарова и занимавший в его конторе должность писца. Беглец, между прочим, увел с собой свояченицу Ракитина, девочку четырнадцати лет, приехавшую в каторгу за сестрой. На этот раз бравый штабс-капитан самолично отправился в погоню, получив от кого-то из арестантов сведения, по какому направлению ударились беглецы. Рассказывали, будто, уезжая, он хвалился, что приведет писаря назад, живого или мертвого.

— Ишь ведь аспид какой! — толковали меж собой арестанты. — Пошто в других рудниках не взирают, что из вольной команды бегут? Начальство за нее ведь не отвечает. Идите себе, голубчики, на все четыре стороны, хоть все разбегитесь!

— Потому он змей шестиголовый, — ораторствовал полоумный Жебреек, — он, ровно кащей золотом, дорожит нашим братом. Ровно мы братья ему родные — так дорожит! Спать без нас, есть спокойно не может. Век бы не расстался ни с одним арестантом. Он чахнуть начинает, ежели кому срок на волю подходит, и пузо у него растет с радости, ежели кому надбавка выйдет. Почто нас на Сахалин не пустили? Он не хотел этого. Уж я знаю, что он не хотел. Сам за беглым арестантом погнался — где это видно? Какой благородный начальник во внимание такие пустяки возьмет? Ну да пущай потешится, кровушки нашей напьется, пущай! Придет когданибудь и его точка... Уж я знаю, что придет! Придет!

И, вытянув руку, Жебреек торжественно поднимал указательный перст к небу.

Похвальба Лучезарова оказалась, однако, напрасной. Ему с казаками приходилось ехать по проезжей дороге, а беглецы могли идти стороной, через тайгу, имея перед собой десятки дорог и только посмеиваясь над ним издали. Другое дело — дальнейший путь, где в тридцати — пятидесяти верстах от шелайских сопок начинались шедшие вплоть до Читы и дальше голые степи, покрытые казачьими станицами. Там пройти несравненно труднее, и из десятков и сотен беглецов, направляющихся каждое лето из всех нерчинских рудников, только немногим удается пробраться за черту каторжного района. Большинство опять попадается в руки властей. Для шелайских бегунов было счастьем, впрочем, и то, если им удавалось попасть после поимки в одну из других тюрем.

Шестиглазый вернулся из своей неудачной поездки злой и темный, как ночь. Зато кобылка в тайне души ликовала. Из вольной команды побеги продолжались чуть не ежедневно; оставались на месте только семейные да те, у кого срок совсем уже скоро кончался. Рассказывали, будто к этому же времени Лучезаров получил от высшего начальства выговор за излишние траты по управлению Шелайским рудником, будто не были также утверждены представленные им сметы на

новые расходы, отчасти уже сделанные им из собственного кармана. Не знаю, правда это была или вымысел, но такими именно слухами старались объяснить перемену, замеченную этой весной в Лучезарове. Несмотря на все громы и молнии своих речей, обращенных к арестантам, он представлялся им до сих пор человеком хотя и грозным, но способным держаться в рамках строгой законности.. Даже после оскорбления, полученного от Шах-Ламаса, он не поддался, казалось, чувству личного озлобления и ограничился карцерами, запором камер на замки, словесными угрозами; теперь же в характере бравого штабс-капитана появилась вдруг совершенно новая, скрытая раньше черта — чисто русская способность «зарываться». В тюрьму он являлся в последнее время очень редко, но то и дело доносились слухи о подвигах его на воле. Там он, что называется, рвал и метал. Прежде всего пришлось изведать его раздражение арестантам, рывшим канаву возле тюрьмы: им стали задавать неимоверно большие уроки, почти по кубической сажени в день на человека, забывая, что каторжные не наемные рабочие, у которых и лучшая пища и больше физической силы и нравственной бодрости. После нескольких дней подобной работы изнемогали самые сильные. Маленького Луинькова товарищи принуждены были босого вытаскивать из глинистой канавы: сапоги в ней так вязли, что их приходилось вырубать железными лопатами... Не вырабатывавшим полного урока уменьшали на следующий день порцию мяса и хлеба и все-таки приказывали идти на работу. В этом случае всего ярче обнаружилась «дешевизна» тех арестантов, которые, обладая широким горлом и иванской репутацией, были храбры и смелы лишь на словах. Теперь, когда дошло до дела, они были тише воды, ниже травы и, как волы, тянулись из жил, лишь бы не прогневить страшного Шестиглазого. Зато Луиньков лишний раз доказал, что он не трус. Выбившись однажды из сил, он обругал пристававшего к нему надзирателя и был отправлен в карцер. Шестиглазый распорядился арестовать его на месяц с заковыванием в наручни и отдачей под суд. Той же участи подвергся вскоре другой мой приятель — толстяк Ногайцев. Карцера в эти дни не пустовали. По слухам, Лучезаров бушевал и у себя на дому, собственноручно расправляясь с прислугой. Несколько надзирателей, вообще трусивших

его больше самих арестантов, также подверглись выговорам, штрафам и даже удалению. В тюрьме с трепетом ожидали появления грозного начальника на вечерних поверках, будучи уверены, что произойдет что-нибудь страшное. Все притаились, точно в ожидании бури...

И действительно, вернувшись однажды из рудника, мы услыхали новость, невольно заставившую всех вздрогнуть: в вольной команде только что был подвергнут жестокому наказанию розгами кучер Лучезарова — киргиз Салманов, причем его раздирающие душу крики были явственно слышны во дворе тюрьмы и даже в больнице. Салманов недавно только вышел на свободу; неуклюжий детина огромного роста, с безобразным лицом, изрытым оспой, и голосом, похожим на рев таежного зверя, он был в высшей степени добродушный и честный малый. Даже не любившие киргизов арестанты удивились, услыхав, что такой человек обвиняется в краже пары казенных хомутов. Впоследствии выяснилось, что вором был другой арестант, уже окончивший срок, но еще живший в вольной команде в ожидании назначения волости. Все это можно бы было выяснить в тот же день при мало-мальски спокойном расследовании дела; но Лучезаров поспешил отдаться первой бешеной вспышке гнева и немедленно велел наказать Салманова розгами под окнами своей канцелярии. Палачи-казаки били беспощадно-свирепо. После тридцати ударов Лучезаров вышел на крыльцо и спросил у кучера, куда он дел хомуты. Несчастный киргиз повалился в ноги, но ответа дать не мог, так как сам ничего не знал. Бравый штабс-капитан, приказав продолжать наказание, вернулся в контору. После тридцати новых ударов он опять вышел и задал тот же вопрос и, по-прежнему не получив ответа, опять махнул казакам рукой. Эта жестокая сцена продолжалась четыре раза подряд, и Салманов сам говорил мне впоследствии, что получил всего сто тридцать четыре розги, тогда как по «инструкции» местная тюремная администрация имеет право наказывать собственной властью лишь ста ударами. Обливавшийся кровью Салманов отведен был после того в тюремный карцер, отдан под суд и по истечении месяца посажен в общую камеру. По счастью, невинность его обнаружилась вскоре сама собою, и его снова выпустили в вольную команду. Добродушный и трусливый дикарь не по-

смел жаловаться на самовольную расправу с ннм, и дело это так и было предано забвению. Для самого Салманова, как и для всей остальной кобылки, важна была лишь физическая боль, которою сопровождалось варварское истязание: прошла боль — и стонло ли о ней помнить? Но не то чувствовал я... Мне казалось, что лучшая часть моей душн была осквернена н ошельмована, что на этот раз нанесли н мне жестокую, незабываемую несправедливость. Во всем прежнем поведении Лучезарова, во всей системе его управления тюрьмой я мог находить неверную постановку многих вопросов, излишне формальное понимание закона н пр., но тут впервые во всей красоте и блеске обнаружилась передо мною его истинная подоплека, та русская крепостническая подоплека, которой долго еще не уничтожат никакой европейский лоск, никакие самоновейшей выдумкн снстемы н режимы...

И долгое время после этой историн я не мог вндеть дебелой фигуры Лучезарова без невольной дрожи во всем теле. Но, увы, это было еще не самое худшее, что мне суждено было пережить в Шелайском руднике!

VIII. ОСИНОВОЕ БОТАЛО МЕНЯ РАЗВЛЕКАЕТ

Как солнца не бывает без тени и ночн без утренней зари, так и в жизни мрачное и печальное почти всегда стоит рядом с комичным и забавным. Несколько дней спустя после истории с Салмановым разнесся по тюрьме слух, будто Ракитин в пьяном виде до полусмертн искусал зубамн свою жену; если бы не соседка, побежавшая немедленно к старшему надзирателю, бабе конец бы пришел... Вечером того же дня, после поверкн, загремел замок в нашей камере, дверь отворилась, и на пороге появился Ракитин с вещами.

— Наше почтение, старики! — с веселой развязностью обратился он к арестантам.

Кобылка радостно загоготала.

— Попался, голубчик! Скоренько! Ну рассказывай, брат, как и за что?

Тут Ракитин понес такую чепуху, что ровно ничего нельзя было понять. В одну кучу свалнвал он н тайную

торговлю вином, в которой Шестиглазый будто бы подозревал его, и побег свояченицы с писарем, и связь Марфы, жены своей, с этим же самым писарем, и черт знает еще что.

— А правда ли, что жену-то вы искусали, Ракитин?

— Пощипал немножко, Иван Николаевич, что верно — то верно. Да как же и не искусать было подлую? Ведь они головушку мою закрутили! Ведь они давно уж собирались меня в тюрьму упрятать!

— Кто они?

— Да все они же: Марфа-жена и Домна, сестра женина, которая с писарем-то сбежала. Ведь если бы знали вы, что выделывали они, как сердечушко мое раздражали... Кровь во мне просто кипятком по жилам волновали!

— Что ж они такое делали?

— Эх! всю ночь говорить — не перескажешь. Домне — четырнадцать лет всего девчонке. Отца, матери нет — сирота круглая. Я ее приютил, я ее одел, кормил, поил. И какой же благодарности, Иван Николаевич, дождался? Змею лютую отогрел на груде́ своей! Сколько хитрости, лицемерия в ей, подлой, таилось, так вы и не поверите даже. Когда я в тюрьме еще сидел, спрашиваю раз Марфу, что делает Домна. «Домна больше чтением, говорит, займуется. Все за Еванделией сидит». А она, точно, грамотная у нас, Домна. Ну, это хорошо, думаю. Вот вышел я на волю, Иван Николаевич, вижу: действительно, за чтением Домна сидит. «Что ты читаешь, — спрашиваю, — Домнушка?» — «Божественное, — отвечает, — братец». Мне бы самому тогда же поглядеть в книжку-то, потому мало-мало вы научили уж маракoвать меня, Иван Николаевич. Ну, только недосуг все было. Вышел это, знаете, на волю, круженье головы пошло — до науки ль тут? Ну, а как бежала она с писарем-то этим проклятым — чтобы ему кишки челдоны из нутра выдавили! — я и домекнись в книжки ее заглянуть. И что ж бы вы думали, Иван Николаевич, какие книжки? Все про любовь да про любовь... Описано такое все, что и негоже вовсе девкам читать! Это писарь, значит, таскал ей от надзирателей да от Монахова романы разные. А она какие пули отливала мне: божественное, говорит, Еванделье да Библия! Вот что темнота-то наша значит дурацкая! Что значит, коли в туёс-то наш колыванский

ничего, кроме простокиши, не налито! Беспременно теперь стану учиться у вас, Иван Николаевич, в науку хочу беспременно углыбиться!

— Почему же убежала от вас Домна?

— Я не столько ее виню, Иван Николаевич, потому робячий еще ум у девчонки, сколько его, иродово семя, Дормидошку-аспида. Ведь он земляк мне, и приятели мы с ним были закадышные, до последнего часу друзья неотрывные... Вы не поверите, Иван Николаевич (тут Ракитин понизил голос до шепота): ведь я же... Егор же Алексеев, не кто другой, и к побегу его приготовил! Я и сухарей ему насушил на дорогу и других припасов надавал... А он — вот ведь какую махину подвел под меня: девчонку сманил бродяжить!

Арестанты захохотали.

— Да ты чего жалеешь ее? — спросил Чирок. — Аль, может, сам на нее метил? Что она, родная тебе, что ли? Ушла — и дьявол с ней, лишний рот с шеи долой! Особливо ежели гадина такая лицемерная!

— Чудак ты, Кузьма, право, чудак! А что бы ты запел, кабы у тебя сапожки плюнелевые утащила стерьва, шубку на колонковом меху да двадцать рублей денег... Ведь жалко! Кровные мои денежки!

— Ну, это ты не ври. Откуда они взялись у тебя? Марфа небось водкой наторговала, не ты.

— Это, брат, все равно. Муж да жена, сказано в писании, одна сатана. Как же не желать мне ей, стервенку, голову оторвать?

— Но все-таки я не понимаю, Ракитин, за что вы Марфу-то искусали?

— За то, Иван Николаевич, что она, наверное, знала, подлая, об сборах сестры бежать. Без этого никак не обошлось. Я человек казенный, с утра до вечера нахожусь на работе, а она весь день дома.

— Выходит, по-вашему, что Марфа участвовала в покраже у самой себя вещей и денег? Чудно́! Да вряд ли она согласилась бы и на побег родной сестры с каторжным бродягой: ведь он может ее обидеть, ограбить, убить? Жена у вас, говорят, умная баба.

— Эх, Иван Николаевич! Ничего-то вы в нашем быту не понимаете, ничего не знаете... Известное дело, вы всегда эту змеиную породу защищать готовы!

— Молодец, Егорка! Здорово укусил Миколаича!.. Хоть раз, да правду истинную молвил... Душить их, тварюг, надо, всех без разбору душить!

— Известно, надо, — ободрившись еще более, сказал Ракитин, ударяя по столу кулаком. Его очень обрадовало, что сочувствие арестантов, недавно смеявшихся над ним, начало, видимо, переходить на его сторону.

— Я и раньше, Иван Николаевич, замечал за ей такие проделки, что давно бы ей голову свернуть надо. И все прощал. Разве не видал я, к примеру, как она с тем же писарем сама любовь крутила? И такой-то, и сякой-то у нас Дормидонт Иваныч, и сухой, и немазаный; это Дормидонту Ивановичу подарить надо, этим угостить... За мной, за мужем родным, такого уходу не было! А уж Егор ли Ракитин в грязь лицом перед Дормидошкой ударит? Нет, ей не хочется, шкуре, по закону жить! Запретный плод, значит, больше просвещает!

— Но как же вы только что говорили, Ракитин, будто сами и к побегу приготовляли писаря, друзьями с ним неотрывными до последнего часа были? Если замечали за ним и за женой...

— Да вы как же полагаете, позвольте вас спросить, об Егоре Ракитине? Дурак он, что ли, набитый? Нет, Иван Николаевич! В башке этой тоже заложено кое-что... Сколько времени вы меня знаете, а все еще не вызнали! Думаете, я не умею химиком прикинуться? Еще как умею-то! Самому дьяволу без масла в душу залезу, коли захочу. Как же мне было с одного разу высказать, что все их проделки наскрозь вижу? Я радоваться должон был, что он уйдет, сомуститель семьи, мучитель жизни моей!

— Ну, а почему вы зубами искусали жену, а не как иначе поколотили?

— Скусу больше, Иван Николаевич. Вцепишься этак зубами в живое мясо — ажно замрешь весь! Распрекрасное дело. Поглядите, какие зубки-то у меня ровненькие, будто у белочки молоденькой, махонькие, востренькие...

И под оглушительный хохот камеры Ракитин пресерьезно оскалил рот и показал мне два ряда ослепительно белых и действительно мелких острых зубов.

— Кабы не отняли от меня, напился б я из стервины крови, показал бы, как мужа обманывать и имущество его разорять!

— Что же теперь думаете вы делать, Ракитин?

— Теперь, уж конечно, пропащая моя головушка, Иван Николаевич! Теперь сгноит меня в тюрьме Шестиглазый. Одно остается: выпустить ей брюшину на первом же свидании.

— А не лучше ли, Ракитин, попросить прощения у Шестиглазого и у жены и снова на волю выйти? Вы ведь, наверное, пьяны были?

— В одном только глазу-с, в другом ни порошиночки... Но чтоб я покорился? Бабе чтоб покорился? Помилуйте! Чтоб Егор Ракитин в вольную команду проситься опять зачал? Ни за что-с на свете. Пущай лучше с живого шкуру с меня сымут. Вы сами могли увериться, Иван Николаевич, что я не хвостобой и не язычник, а в подлинном виде арестант. Вот увидите: как пень, будет стоять Егорушка перед Шестиглазым, словечушка в свое оправдание не промолвит. Этак вот только головушку повешу на буйную грудь, и пущай господин начальник обрушит на меня свою немилость! Ихняя власть!

И при этих словах он с такой комичной искренностью изобразил из себя рыцаря плачевного образа, что все опять покатились со смеху.

— Ах ты, осиновое ботало! — твердили арестанты.

Но осиновое ботало до глубокой полночи не давало еще уснуть мне, то впадая в самое воинственное и задорное настроение, обещаясь убить жену и стоять твердо, как пень, под ударами окружающих врагов, то принимая минорно-слезливый тон и нагоняя на всех тоску и уныние...

На вечерней поверке следующего дня в тюрьму заявился сам Шестиглазый. Зловещее молчание, которое хранил он во время поверки, наводило на всех еще больший трепет. Однако все обошлось, казалось, благополучно. Во время обхода камер никто из арестантов не обращался к нему ни с какими просьбами. Только Ракитина, к величайшему моему удивлению, точно кто за пружину дернул сзади, и когда Лучезаров собирался уже величественно выплыть из нашей камеры, он выступил вдруг вперед и заговорил сладеньким, печальным голоском:

— Господин начальник!

— Стоять на месте! Не выходить из шеренги! — закричали надзиратели.

— Что нужно? — тихо, безучастно спросил Лучезаров.

— Господин начальник, явите божецкую милость! Как я есть отец семейства... И к тому же здоровьем очень слаб...

— Что нужно? — повысил голос начальник.

— Я посажен в тюрьму.

— Знаю. Это ты хотел сообщить мне?

— Ей-богу, напрасно, господин начальник... Ей-богу, не знаю за что!

— Но я знаю: за то, что истязал жену. Я не могу допускать зверств со стороны арестантов, вверенных моей власти.

— Семейное дело, господин начальник... Сами знаете: как иногда мужу жену али дите родное не поучить? В случае баловства особливо...

— Так не учат, как ты учил. Я сам видел черные знаки от твоих зубов на ее теле. Ты у меня поплатишься, братец, за такое ученье!

— Простите великодушно, господин начальник!

Но, гневно блеснув очами, начальник поспешно удалился. Дверь шумно захлопнулась за ним и за его свитой. Ракитин стоял обескураженный, переконфуженный... Арестанты принялись подтрунивать над ним.

— Как же ты божился вчера Ивану Николаичу, что пущай лучше шкуру с тебя живого сымут — не станешь проситься у Шестиглазого? Баики б тебе хорошие отрубить, ботало осиновое!

— Эх вы, братцы мои родные! — отвечало находчивое ботало. — Что я такое перед Шестиглазым? Червяк — одно слово. Нам ли фордыбачить, нос кверху подымать, убитым людям? Семейный я человек к тому же... Жена-то, конечно, — черт с ей! Об ей я б не заплакал... А сыночек-то, Кешенька-то родной? Как подумаю теперь об ём, что он один там, голубчик мой, так поверите ли, Иван Николаевич, зубы так сами и заскрыжечут! Истинное слово. Какой ведь забавник! С матерью ляжет — ни за что на свете не заснет, беспременно тятьки дождается. Есть у меня на груде бородавочка. Так он, знаете, все эту бородавочку руками теребит. Теребит, теребит — с тем и заснет.

В мрачное настроение впал с этого вечера Ракитин. Куда девались его песни, шутки и прибаутки. Все сво-

бодное от работы время он бродил по тюрьме как неприкаянный, не зная, очевидно, куда деваться. Лишился сна и аппетита; ни о чем другом не мог говорить, кроме предстоящего ему наказания и той формы, в какой оно выразится. Многие нарочно пугали его увеличением срока каторги, розгами и пр. Вскоре я подметил, что Ракитин начал передавать через Сокольцева и других арестантов, работавших за оградой, поблизости к вольной команде, какие-то таинственные поручения жене. Прошло одно-два воскресенья, и поправившаяся от побоев Марфа явилась к нему на свидание... Ракитин опять повеселел. Вечером этого дня он пел уже дифирамбы жене и пускался в свои обычные откровенности, утверждая, что она влюблена, как кошка, в его молодость и честную красоту, что она — верная жена и славная баба, обладающая двумя только пороками — старостью и глупостью; все негодование свое обрушивал на Домнушку и злодея писаря. С своей стороны, и Марфа, очевидно не в первый уже раз отведавшая зубов любезного муженька и находившая этот способ расправы столь же естественным, как и всякий другой, начала хлопотать о выпуске его на волю.

Семейная драма закончилась неожиданно комическим выходом самого бравого штабс-капитана. На одной из поверок, когда Ракитин снова пристал к нему с просьбой о помиловании, он вдруг выпалил:

— А жаль, Ракитин, что ты до смерти не загрыз своей жены, очень жаль. Я убедился, что она дурная женщина: она ведь водкой торгует! Тебе известно это?

Ракитин так ошеломлен был этими словами грозного начальника, посадившего его в тюрьму за варварское обращение с женой, что не нашелся, что ответить.

— Хорошо, — отвечал между тем Лучезаров на свой же вопрос, — я выпущу тебя, но под условием, что ты дашь мне слово немедленно прекратить эту торговлю.

Обрадованное ботало начало клясться и божиться, что свято выполнит это условие, что не только торговать, даже и пить никогда не станет проклятого зелья.

— Ну смотри же! — погрозил ему пальцем Шестиглазый. — Собирай сейчас же вещи и выходи вон.

Ракитин вылетел из камеры как бомба, позабыв даже попрощаться с товарищами.

IX. ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ И ЖЕН

Шестиглазый продолжал свирепствовать. Выпуск Ракитина в вольную команду был какой-то счастливой случайностью, шедшей вразрез со всей его политикой этого злополучного лета. Арестанты, надзиратели, даже казаки, которые не были ему прямо подначальными, все находились каждый день в невообразимом страхе. Любивший вещать и пророчествовать Жебреек, к удивлению моему, не торжествовал и не резонировал, а ходил все время печальный и молчаливый. Раз мне вздумалось заговорить с этим сумасшедшим о недобрых временах, наступивших в тюрьме. В ответ Жебреек только грустно поглядел на меня, мотнул красной, как огонь, козлиной бородкой и, пробурчав: «Того ли еще дождемся!» — величественно пошел прочь неровными, мелкими шажками...

Однажды по нездоровью я не ходил на работу. Вдруг вбегает в камеру запыхавшийся Чирок и объявляет, что один из самых нелюбимых арестантами надзирателей, Змеиная Голова по прозванию, разоряет гнезда щурков под крышею тюрьмы. Щурками, или стрижами, зовется в Сибири порода ласточек с большими неуклюжими головами и звуком голоса, похожим на трещание стрекоз. Эти безвредные и милые создания, лепящие свои гнезда под окнами домов и каждую весну возвращающиеся на грустный, холодный север, доставляют большое утешение тюремным обитателям своей хлопотливой заботливостью, неумолкаемой веселой болтовней и чириканьем. Все арестанты очень любили этих птичек и покровительствовали им. Если случалось раздобыть клочок ваты, его разрывали на мелкие кусочки и, разбросав по двору, с живейшим любопытством следили за тем, как щурки подхватывали их и уносили в свои жилища. Завернув иногда в вату камешек, забавлялись тем, как щурку не хватало сил утащить желанную добычу, как, поднявшись на воздух, он ронял ее на землю и снова пытался поднять... Если глупые птенцы с неокрепшими еще крыльями выпархивали преждевременно из гнезд, их бережно подбирали и старались пристроить к подходящей чужой семье, так как родную узнать было трудно. Ласточки, случалось, отказывались от подкиды-

шей и выталкивали их вон. Тогда из среды арестантов всегда отыскивалась сердобольная душа, бравшая на себя материнские заботы и выкармливавшая покинутых сирот тараканами и мухами.

Понятно после этого, как взволновалась тюрьма, услыхав о несчастии, постигшем любимых птичек. Вместе с другими и я вышел на тюремный двор. С длинным шестом в руках Змеиная Голова действительно расхаживал около зданий и разбивал им гнезда злополучных щурков. Из одних валились на землю невысиженные еще яички, из других — голые птенчики; падая, они немедленно разбивались, и множество их корчилось уже в предсмертных судорогах. В редких только гнездах были оперившиеся малютки, да и те не умели еще летать. Сострадательные из арестантов ловили их на лету в шапки и уносили прочь, надеясь как-нибудь выкормить и воспитать. Другие, посмелее, обращались к надзирателю с вопросом, зачем он производит свое избиение.

— Начальник приказал, — отвечал Змеиная Голова, замахиваясь палкой на новое гнездо, — заметил сор на фундаментах и сказал, чтоб этого больше не было.

— Против сора можно бы принять другие меры, — вмешался и я, — велеть, например, парашникам обметать ежедневно фундаменты.

— Не мое это дело, — отвечал Змеиная Голова, — я то исполняю, что мне приказывают.

— А если б вам приказали об стенку головой биться, — заметил староста Юхорев, — или нас убивать — вы и это стали б исполнять? Во всем нужно, Василий Андреич, рассуждение иметь.

— За такие неподобные слова я б тебя наказать, Юхорев, мог, если бы захотел. Начальник не может дать мне такого приказания. Он — человек.

— А это приказание человечно? — спросил я. — Птички разве не живые существа? Вон сколько вы побили их! А около всей тюрьмы таких гнезд наберется, пожалуй, несколько сот, с целой тысячей птенчиков...

Кобылка поддержала мои слова громким ропотом. Надзиратель смутился.

— Что же мне делать? — жалобно заговорил он. — Разве мне приятность какую составляет это занятие? С меня самого взыскивают.

— Доложите начальнику, что через две недели птенцы оперятся, и тогда, если нужно, можно будет разорить гнезда.

— Нет, уж благодарим покорно — долаживать. Насто он еще больше арестантов прохватывает.

— Так вот я с обеденной пробой пойду сейчас и доложу, — вызвался Юхорев.

— Ну и распрекрасное дело, — смягчился Змеиная Голова. — До одиннадцати часов я могу повременить. Мне что! Я даже еще рад.

Юхорев, отправившись к Шестиглазому с пробой, действительно имел с ним любопытную беседу по поводу щурков. Этот умный и представительный разбойник умел говорить весьма патетически... Лучезаров спокойно выслушал его и сказал с насмешкой:

— Ага! Поздненько надумались. В каторге жалости начали набираться? На воле семьи вырезывали, маленьких детей живьем жгли: среди вас есть один такой артист... Да ты и сам, помнится, не одного человека покрошил?.. А тут птичек пожалели!.. Вздор, вздор, лицемерие. Изволь сказать надзирателю, что я приказываю все гнезда разорить к вечеру. На поверку я сам приду посмотреть.

Юхорев принужден был замолчать, и с обеда возобновилось иродово избиение младенцев. Кобылка ограничивалась тем, что в присутствии Змеиной Головы злобно обсуждала ответ Шестиглазого:

— Это точно, что я был варвар, — говорил Сокольцев, принявший на свой счет сделанный Лучезаровым намек, — такой варвар, каких и на свете мало. Но все же и я до такого варварства не доходил, как вы и ваш начальник. Без крайней нужды я мухи не убивал, не только что пташки. Потому что, по моему понятию, меньше греха вредного человека убить, чем невинное божье творенье — ласточку. Из ребенка может образоваться со временем первейший варвар, а ласточка никому никакого вреда причинить не может.

Эта философия Сокольцева с большим сочувствием выслушивалась собравшимися на дворе арестантами, на все лады развивалась и иллюстрировалась примерами; но ласточкам оттого не было легче: гнезда так и валились под неистовыми ударами Змеиной Головы. Взрослые щурки с жалобным писком вились целыми десят-

ками вокруг своих дорогих пепелищ, но поделать ничего не могли. Только часа два спустя в тюрьму полюбопытствовал заглянуть сам Лучезаров и, увидав собственными глазами работу Змеиной Головы, приказал остановить кровавое побоище. Уцелело, таким образом, около сотни гнезд; но главное дело было уже сделано. Множество маленьких трупиков долгое еще время валялось по всему двору, вызывая тяжелые воспоминания...

Приблизительно в эту же пору произошло другое неприятное событие. Вернувшись раз из рудника, я чрезвычайно был удивлен, узнавши, что наша камера № 1 подвергнута на целый месяц тяжкому наказанию: заперта на замок, закована в наручни, лишена табаку, собственного чаю, свиданий и переписки с родственниками; камерный староста посажен, кроме того, на неделю в темный карцер. В числе прочих и я должен был подвергнуться назначенному для всего номера режиму. Оказалось, что утром этого дня приходил в тюрьму с обыском сам Шестиглазый и заметил, что дверной пробой в нашей камере несколько шатается. Немедленно же велел он одному из арестантов притащить лом и вытаскивать им пробой. Несколько арестантов, один за другим, пытались сделать это и не могли.

— Не так вы делаете, — вызвался тогда один из надзирателей и, взяв лом в руки, начал крутить им пробой наподобие винта. Этим способом действительно удалось его вынуть. Приказавши отнести пробой в кузницу и перековать по-новому, а камеру арестовать, Лучезаров в гневе удалился. Все недоумевали. Дело объяснилось только на вечерней поверке: старший надзиратель перед строем арестантов прочел приказ по Шелайской тюрьме, в котором значилось, что при обыске, произведенном самим начальником, дверной пробой в камере № 1 оказался «вынутым», что несомненно будто бы свидетельствовало о подготовлявшемся побеге. Все разинули рты, выслушав этот приказ, — так он был неожидан и удивителен! Посудив и погалдев втихомолку, кобылка, как водится, покорилась своей участи, и не подумав даже протестовать против причиненной ей явной несправедливости; но я, признаться, волновался... Мне было тем обиднее и больнее, что одна из наложенных кар (лишение переписки) относилась прямо ко мне, и только ко мне, так как большинство остальных аре-

стантов писало письма не чаще одного раза в год... Осмотрев тщательно то место двери изнутри камеры, где выходил наружу конец старого пробоя, я заметил, что оно так же гладко покрыто краской, как и вся остальная дверь: ясное доказательство того, что загнутого конца пробоя никогда не существовало и что никакой умышленной порчи его не могло быть. Кроме того, и арестантам и надзирателям отлично было известно (и это всегда легко было проверить), что дверные пробои и во многих других камерах точно так же шатались, как у нас, и, очевидно, при самой постройке тюрьмы были непрочно вколочены. Не говорю уже о том, что приготовление к побегу через дверь камеры, выходившую в запертый со всех сторон коридор, где постоянно присутствовал надзиратель, было бы явным безумием, и предположить такое безумие могло только намеренно-злостное желание создать первый попавшийся предлог для новых придирок и притеснений. Но и предлог-то был крайне неудачно и нехитро выбран... Подобные размышления страшно волновали меня и злили. В первый же воскресный день я потребовал себе жалобную книгу и вписал в нее заявление об оказанной мне и всей камере несправедливости. Ближайшим результатом этого заявления было то, что дня через три наш староста, наиболее ответственное по закону лицо прямо из темного карцера был выпущен в вольную команду... Этим как бы еще рельефнее подчеркивалось бессмыслие нашего ареста. Шестиглазый как будто говорил нам: «Я сам знаю, что обвинение мое вздорно и несправедливо; но помните денно и нощно, что я — что хочу, то и делаю».

Ровно через полгода после этой истории, уже почти забытой всеми, на вечерней поверке торжественно было объявлено, что моя жалоба на незаконное якобы наказание за вынутый арестантами дверной пробой оставлена заведующим Нерчинской каторгой без последствий.

Камера наша сидела еще под арестом, когда из управления пришли приговоры Лунькову и Ногайцеву за отказ от работы и обругание надзирателя: первый, как более виновный, лишался скидок «за поведение» (что равнялось надбавке одного года каторги) и подвергался ста ударам розог, а второй присуждался к месяцу заключения в темном карцере и пятидесяти розгам

(из управления приходят обыкновенно те самые решения, какие предлагают в своих докладах смотрителя тюрем). Лунькова действительно тотчас же высекли в одном из карцерных двориков, а Ногайцев отделался карцером; когда он вышел оттуда, гроза уже пронеслась — Лучезаров был снова в гуманном настроении, и розги были забыты.

В эти же дни бравый штабс-капитан вел упорную войну с каторжными женщинами, находившимися в вольной команде. Женской тюрьмы при Шелайском руднике не существовало, но для исполнения некоторых чисто женских работ и в нем постоянно имелось несколько каторжанок, нередко бессрочных, которые, за отсутствием тюрьмы, жили на воле. В дорожных воспоминаниях я рассказывал о том, что уголовная каторжанка в большинстве случаев и продажная вместе с тем женщина. Скопление огромного количества мужчин, арестантов и казаков, при полном почти отсутствии женского элемента, делало то, что в Шелайской вольной команде эти пять-шесть каторжанок были в буквальном смысле коммунальными женами... Разврат достигал ужасающих размеров. Бесстыдство некоторых из этих мегер, всегда почти пьяных и не боявшихся никаких наказаний, доходило до какого-то кретинизма. Уничтожить внешние безобразные проявления разврата можно было только двояким путем: или увеличением числа женщин, или же высылкой из шелайских пределов и тех, какие были налицо. Лучезарову хотелось найти третий путь: он верил в целебную силу репрессий и строгих взысканий. В это роковое лето он особенно неусыпно стоял на страже арестантской нравственности и каждый день целыми толпами присылал в тюремный карцер вольнокомандцев и самих женщин. В последнем случае, несмотря на крики и угрозы надзирателей, под окнами секреток с утра до вечера бродила и шныряла кобылка; шли приятные разговоры с обменом комплиментов, почерпнутых, уж конечно, не из «Хорошего тона» Гоппе; [45] тайно передавались в карцера мясо, чай, сахар и табак. Но чисто платоническая любовь, понятно, не могла удовлетворить тюремных ловеласов, или «любителей», как называются они на арестантском жаргоне, и вскоре были пущены в ход вся арестантская хитрость, ловкость и дерзость: ведь в случае поимки на месте преступления

грозила не пустая какая-нибудь кара, и требовалась действительно дерзкая отвага и решимость...

Среди каторжных Лаис была одна, до тех пор менее других развращенная и бесстыдная, но теперь преимущественно обрушившая на себя громы и молнии лучезаровского гнева. Лучезаров недоумевал, почему кроткая и тихая прежде Еленка превратилась внезапно в нахальную грубиянку, которую не могло сделать покорнее и нравственнее даже ежедневное почти сиденье в темном карцере. Ему и в голову не приходило, что в то самое время, когда вокруг полновластно царил, казалось, ужас, наведенный на арестантов его строгостями, карцерами, наручнями, розгами, лишением скидок и пр. — в эти самые дни тюрьма, *его образцовая тюрьма,* сделалась притоном разврата, и что собственные его мероприятия способствовали этому! Что почувствовал бы бравый штабс-капитан, что он сказал бы, если бы хоть во сне увидал однажды, как ненавистные ему «артисты», расставив на дворе стрёму, перелезают через забор карцерного дворика, проникают в «секретный» коридор и идут на тайное свидание к Еленке Зоновой через искусно разбирающуюся деревянную стенку карцера? * Вероятно, он сошел бы с ума или умер от апоплексического удара...

За время пребывания своего в карцерах эта каторжная сильфида успела приобрести и вынести на волю несколько десятков рублей! Дерзость «любителей» достигла наконец того, что даже из одних карцеров в другие были проделаны тайные ходы, так что сговорчивая Еленка и днем и ночью находила себе работу, а для арестантов попасть в карцер стало не только не страшным, но даже прямо желательным делом. Когда впоследствии надзиратели открыли эти потаенные ходы, то пришли в ужас и, не решившись донести о них Шестиглазому, при ближайшем ремонте карцерных помещений собственной властью заставили арестантов заделать их. Я сам узнал только много позже об этих романических

---

* За исключением каменной ограды, здание Шелаевской тюрьмы было сплошь деревянное и построеиное, иадо сказать правду, на живую руку, несмотря на огромные затраченные деньги. Одно посетившее иас сановное лицо, иаступив ногой на шатавшуюся половицу, сказало, укоризненно качая головой: «А ведь каждая доска обошлась здесь в сотию рублей!..» *(Прим. автора.)*

похождениях своих сожителей и долгое время недоумевал, что означали все эти перешептывания, таинственная беготня, загадочные остроты над Чирком, и пр., и пр., — так невероятно было то, что я рассказываю. Лучезаров, еще меньше моего подозревавший истину и полагавший, что гроза его гнева единственно могучее средство исправления арестантских нравов и обуздания страстей, продолжал между тем свой негодующий поход против женщин.

В один прекрасный день разнесся по тюрьме слух, что Шестиглазый отдал Зонову и вольнокомандца Калинкина под суд за непристойное поведение на глазах у маленьких детей одного из надзирателей. Один ребенок был двух лет, другой трех. Кроме них свидетелей не было, и, должно быть, маленькие доносчики получили хорошее воспитание, если могли понимать подобные вещи... Из управления получился приказ: Калинкина посадить до срока в тюрьму, а Зонову подвергнуть ста ударам розог. Лучезаров долго не объявлял этого приказа и, посадив Калинкина в тюрьму, относительно Зоновой, сидевшей по-прежнему в карцере, не принимал никаких мер. Срок ее каторги между тем кончился; уже пришел конвой, который должен был отвести ее на поселение, и можно было надеяться, что жестокий приказ не будет приведен в исполнение. Однако надежда и на этот раз обманула... Рано утром Зонову вывели из карцера и за воротами тюрьмы, недалеко от нее, свирепо наказали. Палачами были татары-арестанты, как говорят, имевшие злобу против своей жертвы; а присутствовавший при экзекуции старший надзиратель, приказывая им сечь сильнее, отпускал по адресу истязуемой шуточки, которые невозможно передать в печати.

Я хорошо знал, что женщина эта стояла на низшей ступени нравственного падения и что в обыкновенное время в ней было, быть может, не больше стыдливости, чем в последнем из арестантов; знал это — и, однако, не мог отделаться от мысли, что высекли *женщину,* надругались в лице ее над тем, что делает человека человеком, а не скотом. Да и кто поручится, что в страшную минуту истязания даже и в этой падшей душе не шевельнулось чувство, до тех пор подавленное невежеством и развратом, — чувство опозоренной женщины?..

Об этом именно подумал я, когда узнал, что тотчас же после наказания каторжные подруги Еленки, такие же, как она, погибшие и несчастные создания, собрались вокруг нее и долго молча плакали... *

X. ЛЮБОПЫТНАЯ БЕСЕДА

Недели две спустя после этого события совершенно неожиданно я вызван был в тюремную контору. За широким письменным столом сидел, сияя во все лицо, Лучезаров, плотный, румяный, видимо довольный в это утро собой и всем на свете. Я безмолвно поклонился.

— Тут опять получилась на ваше имя посылочка, — любезно проговорил бравый штабс-капитан, — потрудитесь сами раскупорить и принять во всей целости и невредимости. Да, кстати, я хотел спросить вас... лично спросить: как ваше здоровье?

Я сухо спросил, какая может быть причина подобного внимания?

— Видите ли, — отвечал Лучезаров несколько смущенно, — одно лицо в Петербурге осведомляется у меня об этом...

— В Петербурге? — удивился я еще больше. — В Петербурге одна только мать может интересоваться моей судьбой, но я веду с ней сам переписку.

— Нет, есть, значит, и другие лица... По крайней мере одна особа — и заметьте: сановная особа! — просит меня телеграфировать ему о вашем здоровье.

— Ничего не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста.

Лучезаров после мгновенного колебания подал мне телеграмму. Я прочитал: «Телеграфируйте здоровье N. Родные тревожатся». Следовала небезызвестная подпись. В сильном беспокойстве я бросил на Лучезарова пытливый взгляд.

— Почему же мои родные тревожатся? Почему они лично мне не телеграфировали, а обратились к постороннему человеку?

Мучительное подозрение мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил, что три недели назад был день моего рож-

* Весною 1893 года решением государственного совета окончательно отменено в России телесное наказание женщин. *(Прим. автора.)*

дения, день, который на воле торжественно праздновался, бывало, в нашей семье; вспомнил, что я поджидал в этот день даже поздравительной телеграммы. Потом, в чаду быстро сменявшихся тяжелых впечатлений, я позабыл об этом; но теперь подозрение мое превратилось тотчас же в уверенность.

— Вы, должно быть, задержали телеграмму моей матери? — спросил я Лучезарова взволнованным голосом.

— Да, я должен в этом сознаться... Действительно... — торопливо заговорил он. — Но... видите ли. Вы не вините меня. Я по долгу службы (конечно, как я ее понимаю) не мог передать вам той телеграммы.

— Почему?

— Потому что... она показалась мне подозрительной.

— Подозрительной? Телеграмма матери?

— Да. Теперь-то я вижу, разумеется, что ошибался, но тогда...

— Бога ради, в чем заключалась телеграмма?

— Спрашивалось о здоровье и посылалось поздравление.

— И только? Но поздравление было с днем рождения... Что могли вы тут заподозрить?

— Да! Но почему же не было упомянуто, с чем именно вас поздравляли? Лишних каких-нибудь два слова... двадцать копеек... и ничего бы этого не случилось!

— Телеграмма была с уплоченным ответом?

— Да.

— И вы ничего не ответили хоть сами?

— Нет!

— Но вы могли по крайней мере сообщить мне, что получилась телеграмма, которая не может быть выдана! Я, право, не знаю, как назвать ваш поступок. Что подумала моя мать, не получив ответа? Представляю себе, сколько начальств она обошла, прежде чем наткнулась наконец на сострадательную душу.

— Да, это верно, верно. Горькая правда. Я не подумал в то время; я действительно был виноват. Мы поспешим исправить ошибку. Я телеграфирую сановному лицу, которое спрашивает... Скажите: что именно я должен написать?

Я с сердцем отвечал, что мне нет ни малейшего дела до сановного лица, что оно не ко мне обращается, и он может отвечать ему что хочет.

— Но все-таки... Написать: здоров, бодр?

— Повторяю: пишите, что вам угодно. Я пошлю телеграмму самой матери!

— Прекрасно, прекрасно. Вот бумага, садитесь и пишите сейчас же. Вот и бланки для телеграмм. У меня они всегда есть. Пишите, пожалуйста, я немедленно отошлю на станцию. Вижу, что доставил вам сильное огорчение. В нынешние времена подобная привязанность к родителям редкость, и она сильно меня трогает.

Эти развязные слова, от которых веяло бессердечным самодовольством, опять взорвали меня. Я снова разразился горькими упреками.

— Преследуйте меня, оскорбляйте, мучьте, — сказал я с нервной дрожью и слезами в голосе, — я человек со связанными руками... Но по какому же праву и за что мучите вы не повинных ни в чем людей — мою мать, моих родных?

Лучезаров на минуту, казалось, растерялся и, покраснев как пион, не знал, что делать, что говорить.

— Я, кажется, не мучил вас, не оскорблял, — лепетал он, — совсем даже напротив...

— И вы говорите это не против совести? — продолжал я свое нападение. — Вы не унижали меня в истории с пробоем? Во всех несправедливых прижимках и придирках, которые делали арестантам, в том числе и мне? Вы полагали, что я равнодушно смотрю на то, что в тюрьме проливается кровь и совершается надругание над женщиной?

— Я вижу, что вы сильно взволнованы и не знаете, что говорите, — отвечал Лучезаров, понижая голос почти до конфиденциального шепота. — Выйди, братец, за дверь! — обратился он громко к стоявшему тут же с ружьем часовому. Тот немедленно повиновался.

— Совершенно напрасно вините вы меня за отношение к арестантам, — начал он свое оправдание. — Что касается вас лично, то как могу я выделять вас из общей массы? У меня нет даже права на это. В истории с пробоем, например, я упустил даже из виду первоначально, что вы находились в этой самой камере.

— Но неужели вы до сих пор искренно убеждены, что были правы в этой истории?

— Видите ли что, вы судите как частное лицо и отчасти несколько заинтересованное... Можно сказать, пострадавшее... Вы не в состоянии вникнуть в положение лица, начальствующего над таким... таким сложным учреждением, как каторжная тюрьма. Я сомневаюсь даже, чтобы вы успели хорошо узнать, что за артисты господа арестанты. Вы слишком для этого неопытны в жизни и... слишком неиспорченны! Для того чтобы держать их в узде, нужно уметь быть страшным, нужно употреблять время от времени грозные меры!

— Но все-таки справедливые меры...

— Конечно, конечно. По возможности... Знаете ли вы, например, что весной нынешнего года я получил сведения о подготовлявшемся побеге и о том, что один из этих артистов находится именно в вашей камере?

Я вспомнил о пилках Сокольцева и, внутренно улыбнувшись, промолчал. Лучезаров продолжал, устремляя на меня торжествующий взгляд:

— Не так-то легко решаются вопросы, как вам кажется. Острастка была необходима. Я хорошо знаю каторжный мир, я десять уже лет имею несчастье вести знакомство с этими артистами. Но признаюсь вам: начальство над Шелаевским рудником я принял с самыми радужными мечтаниями, с верой в человека, даже и заклейменного позором, с надеждой, что для исправления и обуздания его достаточно одних угроз и обычных мер наказания... Поверьте: я серьезно и с полным убеждением говорил... перед строем говорил... что не хочу прибегать к телесному наказанию. И не прибег бы!

— Но, однако, прибегли? Вы сделали то, о чем вспомнить нельзя без краски стыда, — наказали женщину!..

— К чему так сильно чувствовать?.. Знаете ли вы, что это была за женщина?

— Все равно. Важно не то, какая она, а то, что она женщина.

— Но что ж было делать? Я видел, как все другие средства, предоставленные мне законом, бессильны, как распущенность и наглость этой твари доходит до невозможного, и значение власти так или иначе следует поддержать.

— И розгами, вы думаете, поддержали его? В чьих это глазах? Известно ли вам, что любой арестант предпочтет небольшую порцию розог месяцу тяжкого заключения в карцере?.. Или, быть может, в глазах образованного мира? Однако скажите, желали ль бы вы, чтобы печать русская и заграничная называла ваше имя в связи с таким фактом, как поругание женщины? Наверное, нет? Вы достигли одного, что замарали свое имя!

— Довольно, довольно. Прекратим этот разговор. Хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится замарать мое имя!

— Я имел в виду не окорбить вас, а только открыть вам глаза на настоящее положение вещей. Телесными наказаниями можно, по моему мнению, и неиспорченных людей испортить, окончательно принизив в них чувство человеческого достоинства, заставив утратить последнюю искру стыда.[46]

— Возможно, конечно, что вы правы. Я действовал в порыве отчаяния. Все мои добрые намерения терпели одно за другим крушение, я видел кругом одну черную неблагодарность и низость. Сам господь бог вышел бы на моем месте из терпения! Во всяком случае, я поступал на основании закона. Из пределов законности я не выходил. Что делать, если и законы наши еще не совершенны! Больше всего, впрочем, огорчает меня, что я причинил такие неприятности вашей матушке. Не могу ли я чем-нибудь загладить свою вину перед нею?

Я молча пожал плечами.

— Однако? Подумайте... Не послать ли мне ей от себя телеграмму?

— Это лишнее. Будьте добры — отошлите сегодня же вот эту мою телеграмму. Этого будет достаточно. Что сделано, того не вернуть. Пожелаем только, чтобы впредь не случалось подобных... недоразумений.

— Да, именно недоразумений! Вот настоящее слово... Весьма печальное недоразумение!

Забрав свою посылку, я раскланялся и поспешил в тюрьму, полный горестных чувств и мыслей о матери, о том, что́ должна была выстрадать за эти ужасные три недели моя бедная старушка. Впоследствии я получил от нее письмо, в котором были описаны все ее муки, письмо, растерзавшее мне сердце... Не знаю, чувствовал

ли какие-нибудь угрызения совести бравый штабс-капитан, но после описанной беседы дышать в тюрьме стало опять легче: прекратились на время свист розог, сажания в карцер, лишения скидок.

XI. ОТБОЙ

Лето с его короткими ночами и увеличенным рабочим днем было всегда наиболее трудным периодом в жизни обитателей Шелайского рудника. Особенно тяжелы были работы на канаве, о которых я говорил выше. Мне лично пришлось испытать удовольствие огородничества. Со словом «огород» принято обыкновенно связывать представление о сравнительно легком и, главное, приятном труде на открытом воздухе, полезном для укрепления физических сил и возбуждения аппетита. Но пусть вообразит себе читатель, что его, не выспавшегося и усталого, подняли на ноги в три часа утра, «выгнали» на довольно холодный еще утренний воздух, окружили цепью вооруженных штыками солдат и заставили копать тупой железной лопатой твердую, подчас состоящую сплошь из камней, землю. Если вы недовольны необозримой величиной назначенного урока, то извольте копать «от звонка до звонка», то есть до семи часов вечера. Уставшие арестанты хотят покурить, присаживаются отдохнуть. Проходит минуты две — и «стоящий над душой» надзиратель уже кричит, что пора приниматься за работу. Одно-два слова возражения — и угроза карцером.

Солнце поднимается между тем выше и выше. Арестанты все нетерпеливее поглядывают на небо в надежде, что вскоре должен ударить благодетельный звонок на обед. Спрашивают наконец надзирателя, который час, и получают ответ: «Половина десятого».

— Господи! Еще целых полтора часа остается!

Солнце припекает все сильнее и сильнее, пот начинает струиться целыми потоками с лица и шеи; ноги устали налегать на плохо идущую в землю лопату... Вдруг раздается команда:

— Смирно! Шапки долой!

Все в испуге останавливаются, бросают на землю лопаты, как полагается по инструкции, и поспешно

обнажают головы. Тогда только робко озираются вокруг и видят приближающегося с тростью в руке Шестиглазого.

— Шапки надеть, работу продолжать! — слышится его крик, и арестанты, быстро накрыв головы, снова берутся за лопаты. Работа в присутствии начальника закипает усерднее прежнего. Лучезаров подходит. Он все знает, он во всякой работе мастер. Если верить его словам, он был и огородником, и хлебопашцем, и садоводом; умеет и слесарничать, и кузнечить, и плотничать, класть печи, проводить дороги... В Чите он оставил собственного изделия книжный шкаф и телегу с какими-то необыкновенно хитро устроенными колесами. Он громко расспрашивает надзирателя о свойстве данной почвы, причем тут же рассказывает случаи из своей жизни, где-то на золотых приисках. Надзиратель на все подобострастно поддакивает и всему удивляется. Но среди этого разговора всевидящие очи Лучезарова не дремлют, и он не упускает заметить Петину, что нужно глубже забирать лопатой, а Ногайцеву, что он ленится.

— Дай-ка сюда лопату, я покажу тебе, как следует рыть.

Он берет лопату из рук Ногайцева и пробует надавить ее своим изящным лакированным сапогом. Но напрасно вся дебелая фигура бравого штабс-капитана напрягается, тужится, краснеет; напрасно, пыхтя и кряхтя, с сердцем ударяет он ногой по лопате: упрямая лопата туго погружается в землю и не хочет «показать, как следует рыть».

— Совсем каменистая земля, господин начальник, — осмеливается заметить Ногайцев, — урок шибко велик задан.

— Вздор изволишь говорить, братец! — сердито отзывается невозмутимый Лучезаров. — Причина простая — кузнец плохо лопату отвострил. Так и есть: острие лепешка лепешкой! Он тоже лодырничает, должно быть, каналья. Кто у нас кузнечит сегодня? — обращается он с вопросом к надзирателю.

— Водянин! — подскакивает Змеиная Голова, делая рукой под козырек. — Молотобоец Ефимов.

— Ага! Знаю я этих артистов... Вот я сам схожу к ним, посмотрю.

И Лучезаров, недовольный и пасмурный, удаляется по направлению к кузнице. Из груди всех вырывается вздох облегчения.

— Надо отдохнуть, Василий Андреевич, — говорят рабочие и, уже не дожидаясь разрешения, садятся на землю и закуривают. Но в ту же минуту раздается звонок на обед, и арестанты с радостным галдением и жужжаньем подымаются с мест, выстраиваются и отправляются в тюрьму. Обеденный звонок отделяется летом от нового звонка на работу тремя часами отдыха. Это — время наибольшего зноя, когда земля раскаляется подобно железной сковороде, когда пылающая голова трещит от нестерпимой боли и усталые ноги едва способны передвигаться. Благо тому, кто обладает счастливым уменьем спать днем, у кого не ходят ходнем нервы, не кипит ключом желчь и не болит до крика душа! Тот повалится как мертвый на нары и пролежит эти три часа не шевелясь, без памяти, без сознания, во сне без сновидений. Но этот полдневный сон мало освежает. Просыпаешься с страшной болью в висках и с дико глядящими на свет, воспаленными глазами. Два часа дня; в ушах еще раздается звон разбудившего вас колокольчика. Солнце стоит еще высоко и нещадно палит своими гневными лучами. Опять надо работать, работать вплоть до семи часов вечера, под теми же штыками, под той же грозой надзирательских и лучезаровских окриков, работать для того, чтобы, проспав сном убитого короткую летнюю ночь, проснуться утром для того же мучительного каторжного дня... Нет, без невольного содрогания во всем теле я не могу вспомнить об огородах Шелайской тюрьмы!

Когда в половине июня кончалась посадка капусты и других овощей и группу горных рабочих опять начинали посылать в рудник, я всегда чувствовал радость и облегчение, несмотря на то, что и в руднике летние работы имели свои волчцы и терния. В шахтах было холодно, как в ледяном погребе; с обмерзлых лестниц и стен струилась повсюду вода, попадая бурильщикам за шею и обливая сапоги. Для бурения приходилось подкладывать под себя доски, но и те скоро заливались накоплявшейся постепенно водой. Тогда нужно было вылезать наверх, чтобы, выкачав несколько кибелей собравшейся воды, получить возможность бурить впредь до

новой отливки. Мрак, холод, вода, онемевшие от усталости руки, дрожь во всем теле... Вылезешь, бывало, со дна угрюмого колодца на вольный свет, где столько вокруг лазури, тепла и солнечного блеска, где шумит и зеленеет поблизости душистый лиственничный лес, а дальше красивым полукругом возвышаются сопки, почти сплошь одетые лиловым, будто кровавым цветом багульника, — и при виде этого великолепия торжествующей природы заходит в душе желчь, закипит негодование! Негодование против этой безответной, бездушной красавицы, способной только цвести и радоваться перед лицом великой человеческой скорби и муки, при живых воспоминаниях о пролитых тут же потоках слез, а быть может — и крови!

За горами гори,
Хмарою повіти,
Засіяни горем,
Кровію полити...

— Эх, кабы денечек хоть на вольной пище теперь посидеть! — мечтает вслух кто-нибудь из арестантов при виде жирных монаховских свиней и поросят, бегающих у подошвы горы. — Тогда бы можно, пожалуй, и в этой породе десять верхов выбухать! А то где ж тут? Не двужильные мы!

— Вот чудак! С отощалого брюха нешто можно работу спрашивать? Пущай в карец сажает, толстое его пузо, а я больше шести верхов не стану ему бурить. Душа из его вон! Лучше ж я так на солнышке проваляюсь, погреюсь.

— Да, не мешало б теперь вольного питания в душу пропустить, — продолжает первый, — на шестиглазовском-то бульоне замрешь. Прижим, говорит, каторжный для вас полагается... На то каторжная тюрьма... Да лопни твои шары окаянные! Почто ж в других рудниках не говорят этого? Почто там всякую пищу пропущают? Были б деньги, а то покупай на здоровье, чего хочешь! И молока, и свинины, и баранины, и ягод, чего только вздумаешь. Какое может быть вредительство от пищи? Пища только на пользу может идти человеку.

— Пища?! Она, брат, очищение крови делает, разбитие и волнование. Если б теперь, к примеру, фунтиков пять хорошего мяса за один присест одолеть, много б от его здоровья по костям разошлось!

— А слышал, что говорят? Будто новый губернатор рудникн объезжает... Вот бы пожаловаться!

— Слыхать-то я слышал; только не арестантское ль это бумо? * Залнл кто-нибудь, а ему и поверили. А то, конечно, жаловаться б надо.

— Не жаловаться, а просто-напросто переводки просить! Пущай хоть на край света засылают, лишь бы отседова прочь!

Таковы были обычные мечты арестантов. Добрая половина населения Шелайской тюрьмы прн малейшей возможности с удовольствием перевелась бы на неведомый Сахалин, в Хабаровку, на Кару, в Зерентуй, в Кадаю, куда угодно, лншь бы подальше от Шестиглазого с его «пищевым режимом» и тошнотворно-скучными порядкамн, царившими в тюрьме, где не было ни игр, ни песен, ни майданов, ни всего, что веселит душу безнадежно долгосрочного арестанта. Большннство, конечно, роптало лншь втнхомолку, про себя тая мечты о переводе в другие тюрьмы: проситься о переводе бесполезно, а больше что же поделаешь? Но было человек десять таких, которые во что бы то нн стало, решили «отбиться»... Их поощрял пример Дюднна, который так успел надоесть Шестиглазому, что тот сам хлопотал об отсылке его на Сахалин. Думалн, что стоит только надоесть — и с ними сделают то же самое. Первыми из пошедших по этому пути были некто Комлев н знакомый уже нам Петнн-Сохатый. Долгое время онн надеялнсь мнром покончить с Лучезаровым, почти на каждой вечерней поверке обращаясь к нему с просьбой о переводе на Сахалин. Лучезаров, ответив несколько раз, что он в этом деле нн при чем, потому что нникакой власти над Сахалином не нмеет, перестал вскоре н выслушнвать все подобные просьбы. Тогда Петнн и Комлев, заключив союз между собой, прнступилн к систематическому отбою путем непрерывных ссор с надзирателями, преднамеренной лености, отказов от работы н пр. Здесь рельефнее всего обнаружилась и внутренняя стоимость того и другого нз союзников с арестантской точки зрення. Лучезаров ответил на первые выходки отбивающихся

* В арестантском жаргоне встречаются слова, несомненно, французского происхождения. Так, «бумо́» (сплетни, вымышленный слух, острота) есть, конечно, нсковерканное «bon mot»; «мотя» (доля, часть) — «moitié» и т. п. *(Прим. автора.)*

обычным ответом — карцером. Союзники не унялись и продолжали вести свою линию. Тогда Комлеву первому объявлено было лишение скидок.

— Эка важность! — сказал Комлев. — Плевать я хочу на их скидки!.. Мне от роду сорок два года, а на шее у меня тридцать пять лет каторги. Нешто могу я эстолько прожить и молодым остаться? Не все ль мне одно, если к этакой прорве и еще пять аль десять лет прибавят? Хошь сто пущай набавляют — все едино! Не на вольные команды и манафесты нашему брату рассчитывать, а на свою голову да на свою волю. Сам я себе манафест дам!

— Значит, вы по-прежнему будете отбиваться? — полюбопытствовал я спросить Комлева.

— А то как же? — отвечал он как бы удивленно.

— Ну, а если... Шестиглазый к другим мерам прибегнет?

— Это к плетям, то есть? Хорошо я знаю, что теперь ему плети и розги остается в ход пустить. Так что ж, пусть кушает на здоровье! Какой бы я арестант был, ежели б плетей боялся? Я ни во что такого арестанта ставлю. Коли каторги не боялся — ничего на свете не бойся!

Слова эти сказаны были с такой, свойственной всем речам и поступкам Комлева, простотой и отсутствием всякой бравады, но в то же время с такой внутренней силой и энергией, что, признаюсь, я залюбовался этим человеком. Он и во всей истории своего «отбоя» держался в высшей степени просто, без той вызывающей шумливости, которою отличалось поведение его союзника и приятеля Петина. Последний, отказываясь от работы, каждый раз считал нужным рычать, жестикулировать, угрожать и словами и жестами. Комлев, напротив, преспокойно лежал на нарах, дожидаясь, когда дежурный, подобно бешеному зверю, прибежит звать его на работу.

— Комлев! Тебя долго еще ждать? Все выстроились, стоят под воротами, а тебя все нет. Живой рукой собирайся!

— Куда? — медленно, равнодушно, не возвышая голоса, спрашивал Комлев.

— Как куда? Говорят тебе, на работу.

— Я не пойду сегодня!

— Как не пойдешь? Ты разве нездоров?
— Нет, здоров.
— Так ты что ж это? Шутки со мной шутить вздумал, аль в карец захотел?
— В карец — так в карец. Пойдемте, — отвечал он тем же ровным голосом, подымаясь с места, и шел в карцер.

Сохатый был не таков. Несмотря на его шумливость и внешний задор, было очевидно, что он куда «дешевле» Комлева; сознавали это и арестанты и надзиратели. Не замедлил подтвердить это фактами и сам Петин. В то время как Комлев непреклонно и неустанно продолжал гнуть одну и ту же линию, требуя перевода в другую тюрьму, отказываясь от работ и не пугаясь даже перспективы плетей и розог и тем внушая начальству серьезное к себе уважение и страх, Петин в самые критические минуты, когда дело принимало серьезный оборот, каждый раз трусил и отступал: плетей и розог он ужасно боялся... Поэтому в поведении его не было никакой последовательности: то он был лодырем и грубияном, стоял на дурном счету у надзирателей, то превращался в ретивого работника и тихого, покорного арестанта. Начальство видело, что он не опасен и что страхом можно с ним все сделать.

Наш старый знакомец Семенов был также из числа тех, которые мечтали отбиться поскорее от Шелайского рудника, и, подобно Комлеву, не дрогнул бы ни перед какими мерами и угрозами Шестиглазого. Но ему оставалось меньше года до выхода в вольную команду, и вел он себя чрезвычайно сдержанно и благоразумно. Тем не менее совершенно для всех неожиданно, а больше всего для самого Семенова, разыгралась история, выставившая его в глазах начальства одним из наиболее опасных и нежеланных для Шелайской тюрьмы обитателей.

Летние ночи были страшно коротки. В восемь часов вечера производилась поверка; в случае присутствия на ней самого Лучезарова она тянулась не меньше часу, и заснуть удавалось не раньше десяти. В половине четвертого утра уже раздавался свисток надзирателя с призывом приготовляться к новой поверке. Истомленные работой и плохим питанием арестанты встают, бывало, как дикие, с отяжелевшими глазами, отказывающимися гля-

деть на свет, с болью в висках, с ломотой во всем теле. Но надзиратель Безымённых, от всей души ненавидевший арестантов и на каждом шагу любивший им «пакостить», в дни своего дежурства сокращал даже и это недостаточное для сна время. Еще в совершенной темноте, в два или три часа ночи, он ходил уже под окнами камер, стучал в них изо всей силы кулаками или даже ключами и, будя всех, кричал нечеловеческим голосом.

— Староста! Лампы тушить!

Семенов был в это время старостой в одном из номеров и однажды так крепко спал, что не услыхал даже и этого адского стука. Через двадцать минут Безымённых подошел к дверной форточке и, видя, что лампа все еще не потушена, принялся барабанить пальцами по стеклу и громко называть Семенова по имени. Но тот продолжал спать как убитый, молодым богатырским сном. Другие арестанты, отпуская насмешливые остроты из-под своих халатов, притворялись тоже спящими и не двигались с места.

— Ну ладно, я ж покажу тебе, мерзавец! — сказал Безымённых, потеряв терпение и отходя прочь.

Когда наступила утренняя поверка, арестанты почему-то забыли предупредить Семенова о случившемся, и Безымённых без всяких объяснений повел его в карцер. Ничего не подозревавший, ошеломленный Семенов молча повиновался, но когда пришел в карцер и узнал, в чем дело, то, пользуясь отсутствием свидетелей, со страшной бранью и стиснутыми кулаками бросился на врага. Безымённых едва ноги уволок и еле успел затворить за собой на задвижку дверь карцерного коридора. Он побежал к старшему дежурному докладывать о покушении Семенова на его жизнь. Немедленно явился в карцер конвой. Семенова заковали в наручни и посадили в строгое одиночное заключение. Ожидали, что ему дорого обойдется эта история... Закадычный друг Семенова старик Гончаров ходил мрачный и задумчивый.

— Теперь пропала Петькина вольная команда, — говорил он мне грустно. — А пропала команда — и головушка его пропала! Если набавят ему несколько лет сроку, тогда Безымённых не жилец больше на белом свете... Петька уж не попустится забыть такую обиду!

Больше месяца просидел Семенов в карцере, готовясь к самому печальному решению своей участи.

Но каково же было общее удивление, когда в один прекрасный день из управления получился приказ — засчитав Семенову в наказание месяц тяжкого заключения в карцере, перевести его вместе с Комлевым в Зерентуйскую каторжную тюрьму. Семенов, вероятно, от души перекрестился, покинув в тот же день ненавистный ему Шелайский рудник, а товарищи, оставшиеся во власти Шестиглазого, от души же позавидовали его «фарту». Про Комлева молчали, потому что он являлся в глазах всех не просто фартовцем: он вел долгую и упорную борьбу за то, чего наконец добился, готовый собственной кровью запечатлеть свою мрачную и твердую решимость, и далеко не все мечтавшие и болтавшие об отбое сознавали в себе силу и способность к тому же самому. Больше всех чувствовал себя пристыженным Сохатый. Он ходил злой и угрюмый и срывал сердце и изливал досаду в словесных и кулачных схватках с Луньковым и другими арестантами, которые были под силу и рост его дешевому чванству и молодечеству.

Но существовали еще и другие типы отбивающихся. Я уже рассказывал, например, какой искусный план составлен был Сокольцевым и какая неудача постигла его первый опыт. Каждый действовал согласно с своим темпераментом и способностями. Так, целая масса арестантов прикидывалась страдающею разными безнадежными болезнями, которые делали их не годными ни к какой физической работе и помогали, по их мнению, раньше срока «вылететь» в вольную команду или хоть попасть в богадельню. Во всякой каторжной тюрьме находится постоянно некоторый процент мнимо хромых, сухоруких, слабосильных и одержимых всевозможными недугами. Не так, однако, легко быть симулянтом, как это представляется с первого взгляда. Не надзиратели и не доктора являются главным препятствием для подобных больных, а своя же кобылка; к каждому хроническому больному, освобожденному от работ, рождается вскоре зависть в среде своих же; начинаются подозрения, сплетни, пересуды, систематическое шпионство за нелюбимым товарищем (а нелюбим почти каждый каждым), подозреваемым в притворной болезни.

Одни заметили, что сегодня он хромает совсем не на ту ногу, что вчера, другие видели ночью, как мнимый больной, полагая, что никто за ним не наблюдает или же позабыв со сна о своей хромоте, встал и прошелся как здоровый, не ковыляя ни на ту, ни на другую ногу... Скоро подобные подозрения, часто совсем ложные, превращаются в полную уверенность, и темный слух доходит неизвестно каким путем до начальства. К действительному или мнимому «богодулу» начинают придираться, начинают, несмотря на болезнь, гнать на работу... Тяжела бывает подчас жизнь и настоящих больных, у которых нет, по несчастью, явных для невежественного глаза признаков болезни: целы руки, целы ноги, нет широко зияющих ран, отвратительных болячек. Только такие признаки и уважает кобылка, а заодно с нею и большинство фельдшеров. Все остальное — кашель, лихорадка, мигрень, слабость, ревматические и сердечные боли — все это может быть простой симуляцией! В Шелайском руднике были, между прочим, две специальные причины, усиливавшие обычную неприязнь арестантов к хроническим больным и слабым, не ходившим на работу. Вследствие небольших размеров тюрьмы и сравнительно ничтожного количества арестантов порции мяса не делились в ней, как принято в других рудниках, на рабочие и богодульские, а всем выдавались ровные. С другой стороны, лазарет был тесен и мал и мог вмещать только весьма ограниченное количество больных. По совокупности всех этих причин арестант, решившийся отбиваться от работ на основании притворной болезни, должен был обладать изрядным запасом храбрости и искусства. Таким смельчаком и искусником явился раньше других старик Гончаров.

Пролежав несколько недель в лазарете благодаря действительно серьезной болезни, он стал вскоре жаловаться на постоянную боль в ногах, потом охромел, а наконец и совсем «сел» на нары... Последнее обстоятельство совпало как раз с увозом из Шелайского рудника Семенова. Никаких видимых признаков этой странной болезни не было; однако приезжавший время от времени врач не мог также констатировать с чистой совестью и симуляцию; немалое впечатление производила, конечно, и старость больного, его мощная львиная голова с сильно поседевшими в последнее время волоса-

ми... В конце концов на Гончарова махнули рукой, отстранив его от всяких работ. Верили ему вначале и арестанты. Но время шло, и, не высказываясь открыто в присутствии Гончарова (так боялись все его физической силы и острого, как топор, злого языка), многие стали и его подозревать. Случалось, что во время ссор подозрения эти бросались в лицо; тогда Гончаров впадал в жалобный, столь несвойственный ему прежде слезливый тон. Он с горечью вспоминал доброе старое время, когда у него были ноги и сила, когда на каждую обиду он мог ответить стократной обидой, когда враги трепетали его и он имел деньги, друзей и приятелей... Слыша подобные жалобы и упреки судьбе, я чувствовал иногда, как сердце поворачивается у меня в груди от сострадания, и собственные мои подозрения таяли, как воск. Я видел в Гончарове действительно беспомощного, несчастного старика, которого всякий может обидеть и никто не защитит. Нередко мне приходилось даже распинаться за него, парируя яростные (заочные, конечно) нападки арестантов. Каково же было мое удивление, когда Гончаров сам завел однажды со мной дружеский откровенный разговор по поводу своей болезни.

— Где-то теперь Петька мой? — начал он, вздыхая. — Эх, Иван Миколаевич! Кабы в вольную команду меня выпустили... Уж я беспременно сходил бы в Зерентуй,[47] добился бы свидания с ним.

— Где же с вашими ногами идти такую даль? — спросил я удивленно.

— Ну, да неужто они вечно болеть у меня будут? — отвечал старик. — Даст же бог, поправятся когда. Особливо ежели на воле. Там все же заробить можно, я ремесел много знаю: я и сапожничать, и портняжить, я и корзины плести могу, и уголь жечь... Пища вольная да свобода... Да вот что, Миколаич, я скажу тебе, — вдруг заговорил он таинственным полушепотом, — от тебя-то таиться мне нечего. Ты ведь не наш брат кобылка, не повредишь. Меня корят, что я притворяюсь, порции, вишь, их рабочие заедаю... Бедно мне было вначале, шибко бедно слышать эти попреки, потому ноги у меня взаболь болели... Ну, а теперь я уж озлился! Теперь ногам, точно, лучше. Теперь я даже так скажу: и ходить бы я мог и работать не хуже кажного из них... Только я

так думаю в себе: к чему мне это? Больше ихнего, что ли, мне надо? Милость я какую от начальства заслужу, медаль мне на шею повесят, что ль, коли я стану работать как бык, жилы из себя тянуть? Мне бы в вольную команду только, Миколаич, выйти, а больного-то скорее ведь выпустят, потому Шестиглазому в тюрьме я вовсе ненужный человек, а там, на воле, и я могу на что ни есть пригодиться: амбары караулить, уголь для кузницы жечь. Вот об чем я мечтаю, Иван Миколаич. Ну, а втапоры, вестимо, я уж не жилец у них! Недолго повидит меня Шелайская тюрьма! Петька в вольную команду скоро выйдет: спаримся мы — и прощай, каторга-матушка, прости, Байкал-батюшка!..

Я свято сберег, конечно, тайну Гончарова и от души посочувствовал, когда заветная мечта его сбылась и в сентябре месяце Лучезаров выпустил его раньше срока в вольную команду и посадил сторожем при амбарах. Я так и решил, что только зиму перезимует старик и с первой же весной поступит на службу к генералу Кукушкину. Но, к удивлению моему, случилось это значительно раньше: он бежал в первых числах октября, как только выдали арестантам теплую «лопоть»: шубу, штаны, рукавицы... Шелайское начальство страшно негодовало на хитрого старика, который так ловко сумел провести его: вчера еще ползал на коленках, а сегодня уже пустился бродяжить! Надзиратели громко ликовали, по поводу дурно выбранного беглецом времени года, которое, несомненно, должно было вскоре предать его в руки правосудия.

— Уж тогда мы покажем ему! И впрядь будет болен — не поверим!

— И дернула ж седого черта нелегкая в такую пору идти, — говорила промеж себя кобылка, — лес обнажен, укрыться негде, пропитание найти трудно, подходят холода... Того и гляди снегу на днях навалит!

Но старые, бывалые арестанты только посмеивались себе в ус, слыша такие речи.

— Теперь-то и идти! — отвечали они на мои расспросы. — Гончаров тоже не дурак ведь... К тому ж сам челдон, сибиряк... Он не пойдет зря! На полях теперь народу нет, потому все убрано, дорога скатертью лежит, никто не привяжется. Потом с приисков теперь ребята возвращаются домой — опять меньше подозрения, что

идет незнаемый человек. Будто тоже с приисков идет старичок почтенный...

Но, что бы ни толковали опытные люди, мне все-таки казалось странным, что такой умный человек, как Гончаров, выбрал для побега такую позднюю пору: август и отчасти, пожалуй, сентябрь были еще подходящим временем для бродяжества, но уж отнюдь не октябрь. Чем-то невольным и вынужденным веяло от подобного побега...

И точно, в скором времени прошел по тюрьме неясный сначала шепот: в одном из больших рудников случилось в вольной команде убийство, после которого несколько человек бежало. Называли в числе беглецов Семенова... Говорили, что смотритель Зерентуйского рудника, находясь в распре с Лучезаровым, в пику ему немедленно же по переводе к нему Семенова выпустил его в вольную команду; там, в ссоре из-за карт, Семенов пырнул ножом одного татарина и, преследуемый пустившейся по пятам погоней, бежал. Некоторое время я все-таки недоумевал, какое отношение имеет слух об этом побеге к побегу Гончарова, но вскоре дошла до моих ушей и другая новость (доверенная, впрочем, под большим секретом): Семенов прибегал после своего преступления в Шелайский рудник и несколько дней был укрываем земляками и друзьями своими, Гончаровым и Ракитиным... После этого мне все стало понятно. При виде закадычного друга, почти сына, которому волей-неволей приходилось бежать, в старом таежном волке заговорила кровь, проснулась неудержимая жажда простора и воли, которой не могли одолеть никакие советы благоразумия... Ослепительно ярко блеснула мечта о родине, о семье и, быть может, о мести — и вот, несмотря на годы, на приближающиеся холода и зиму, он, пропустив в горло стаканчик-другой оживляющей влаги, собрался в путь-дорогу и смело пошел навстречу всем опасностям и случайностям бродяжеской жизни...

Попались ли беглецы в лапы забайкальских казаков, сложили ль свои буйные головы под пулями диких тунгусов или благополучно ушли за «Святое море» — Байкал, у меня нет об этом никаких сведений. Думаю, впрочем, что оба они не дешево продадут свою жизнь и свободу тем, кто на них покусится!..

XII. ШЕЛАЙСКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Слух о приезде нового губернатора оказался между тем не пустым арестантским «бумо». В тюрьме начинались деятельные приготовления к приему сановного посетителя. Даже бравый штабс-капитан, гордившийся тем, что вверенный ему рудник постоянно готов «к посещению его самим государем», обнаруживал заметные признаки беспокойства и волнения; известно, что новая метла всегда чище метет, а главное — один бог знает, каков нрав и каково направление нового властелина края... Он не унизился, правда, до того, чтобы лично вмешаться и вникнуть во все мелочи, тайники внутренней тюремной жизни, но надзирателям, очевидно, даны были строгие инструкции. Целые дни, с утра до позднего вечера, шныряли они по всем закоулкам здания, поднимая каждую соринку и распекая арестантов за малейшее упущение в чистоте и опрятности. Полы, мывшиеся прежде два раза в неделю, теперь скреблись и мылись через день, а после мытья красились охрой, которая придавала им действительно красивый вид, но зато, просохнув, превращалась вскоре в мелкую пыль, заставлявшую всех при подметании чихать и кашлять. А подметали камерные старосты чуть не каждые полчаса...

Явившись на одну из вечерних поверок, Лучезаров обратился к арестантам со следующею речью:

— Вот что! Вы уже слышали, вероятно, что на днях должен быть здесь новый военный губернатор. Прислушивайтесь к свистку, который будет подан дежурным надзирателем, соблюдайте порядок и чистоту. Затем, не беспокойте губернатора нелепыми просьбами и жалобами. Я знаю, вы любите разговаривать со всяким новым начальством: дескать, купить не удастся, а поторговать можно... Я буду взыскивать за нелепые разговоры. Каждый, кто хочет говорить, должен сегодня же, когда я буду обходить камеры, предварительно сообщить мне об этом. Я решу — дельная или вздорная претензия. Кроме того, не завтра-послезавтра посетит нашу тюрьму один иностранец, путешествующий с религиозной целью, — проповедник. И по отношению к нему также ведите себя прилично, не вздумайте обращаться к нему с какими-нибудь просьбами. У вас хватит ума. Он со-

вершенно частное лицо, не облеченное никакой властью. Да вот что еще скажу вам. В камерах отвратительный запах. Оно и не мудрено. Я сейчас стоять не мог во время молитвы позади Ногайцева... Вы совсем не умеете вести себя. Вздор это, будто живот пучит с хлеба и капусты, вздор! Я сам ем черный хлеб и люблю щи... Поддержаться всегда можно, но вы просто-напросто не хотите!

Огорошив арестантов такой проповедью, Лучезаров стал обходить камеры. Почти везде обращались к нему с заявлениями, что собираются говорить с губернатором. В нашем номере прежде всех выступили Петин и Сокольцев.

— О чем хотите говорить? — сумрачно спросил их Лучезаров.

— Проситься о переводке на Сахалин, господин начальник.

— Зачем?

— Да никак невозможно, господин начальник, отбыть наш срок в этой тюрьме, оченно строго. А на плечах по тридцати, по сорока лет каторги.

— А на Сахалине разве срок уменьшится? Вздор говорите. Нечего лезть с такими глупыми просьбами. Да если бы губернатор и вздумал удовлетворить их, то вы сами бы раскаялись: Сахалин в десять раз хуже Шелайской тюрьмы; туда ссылаются, кроме забайкальских уроженцев, только особо важные преступники, в виде наказания.

— Все-таки дозвольте, господин начальник, изложить нашу просьбу

— Пожалуй, излагайте. Только знайте, что она не будет уважена. Ты что, Луньков, вертишься?

— Я, господин начальник... так как я не в меру понес наказание, то... позвольте просить.

— Жаловаться?

— Гм... Да.

— Не советую. Ты полагаешь, что тебя наказали несправедливо, а я думаю, что вполне справедливо.

И с этими словами Лучезаров удалился в другие камеры. Больше часу продолжался этот обход. Везде просились на Сахалин и в другие рудники, и все получали отказ. Тем не менее у многих назрело твердое решение говорить с губернатором, как бы ни озлился на них за

это Шестиглазый. На следующий день к вечеру неожиданно для всех явился в тюрьму иностранец-проповедник со своим переводчиком, в сопровождении одного лишь старшего надзирателя. Лучезарова не было дома — он куда-то отлучился. Высокий сгорбленный старик с седой бородой, в черном сюртуке и с грудой Евангелий под мышками, начал обходить камеры и читать арестантам немецкую проповедь, которую переводчик дословно переводил на русский язык:

— Эта книга — великая книга, одинаково необходимая как для крестьянина, так и для императора. Учение, заключающееся в этой книге, истинно. Оно не только истинно, но также и в высшей степени практично, полезно. Стоит искренно уверовать и попросить бога — и он исполнит все наши просьбы и желания.

Только что успел проповедник произнести в нашем номере эти слова, как раздалась оглушительная команда «Смирно!!» и в камеру влетел с надзирателями запыхавшийся, но весь сияющий, Лучезаров. Иностранец смутился и замолк.

— Начальник Шелайской тюрьмы, штабс-капитан Лучезаров! — отрекомендовался ему бравый штабс-капитан.

Старик назвал свою фамилию, поклонился, подал руку и тотчас же вытащил из кармана бумагу, свидетельствовавшую о целях его путешествия и о разрешении посещать каторжные тюрьмы. С наивностью, доходившей до остроумия, арестанты рассказывали после, что Шестиглазый, как только явился, сейчас же потребовал у иностранца «пачпорт».

— Вот молодчина-то! — говорили про него не то с насмешкой, не то с действительным восхищением.

— Он никому не уважит. Он и самому губернатору, пожалуй, двадцать очков вперед даст!

— Ну что ж, — сказал Лучезаров после нескольких секунд неловкого молчания, возвратив старику его «пачпорт», — вы уж поговорили с ними?

Старик, узнав от переводчика смысл вопроса, кивнул головой в знак согласия и начал раздавать арестантам книги, спрашивая наперед, грамотны они или нет. Но все назывались грамотными, даже и те, которые знали лишь азбуку. После этого посетители отправились в другие номера, при чем при входе в каждый из них раз-

давалось громогласное: «Смирно!» Иностранцу, вероятно, не сильно понравилось проповедовать при таких условиях. Он поспешил удалиться, а арестанты принялись со всех сторон судить и рядить его. К сожалению, я не слышал среди этих суждений ни одного слова о том, ради чего посетил он тюрьму и что говорил. Толковали об его внешности, об одежде.

— Вот такого бы гуся на дороге встретить, — бравировал Андрюшка Повар, — небось с одного б слова все отдал, что при ём есть, и часы, и сюртук, и деньги!

— Деньжонки-то у него, надо быть, водятся, — подтверждали другие.

— А чего б ему стоило нам десятку-другую подарить? Нате, мол, ребята, за мое здоровье обед хороший сварите. Скупой, видно.

Тяжело было слышать подобные речи, больно думать, что для таких именно результатов приезжал за тысячи верст этот старик, быть может искренно веривший в святость и значение своей миссии, от чистого сердца мечтавший заронить в душевную тьму этих людей искру того божественного света, которым горело собственное его сердце... Но кого было и винить, с другой стороны? Их ли одних?

Розданные арестантам Евангелия в большинстве получили, как водится, совсем не то назначение, какое им давал проповедник, и пошли на курево и на другие, еще более низменные потребности...

Наконец наступил день, в который ожидали приезда губернатора. С раннего утра надзиратели, нарядившиеся в папахи, праздничные мундиры и белые перчатки, в необыкновенном волнении бегали по тюрьме и раздавали арестантам свои распоряжения. Прежде всего опять приказали мыть и красить охрой полы, накануне только что вымытые. Но когда их вымыли, явилась новая забота: успеют ли они просохнуть? Раскрыли настежь все окна в камерах и коридорах, все двери... И все-таки волновались и ежеминутно бегали смотреть, как подвигается просушка. День был ветреный и пасмурный. Пообедали, отдохнули; все не было ни слуху ни духу о губернаторе. Все чувствовали себя утомленными от необычного душевного напряжения. Наконец, когда уже вернулись из рудника горные рабочие, пролетел слух, что со станции прискакал вестник:

— Сял!.. Едет!..

Все опять заволновалось и закопошилось. Но и после этого только через полтора часа приехал губернатор, и тогда арестантам велели наконец собраться в камеры, одеться в халаты и построиться... У ворот действительно раздался пронзительный свисток: мы построились. Только самые бойкие стояли еще в коридоре и заглядывали на двор, где должна была появиться начальствующая свита. Соглядатаями от нашей камеры были Луньков и Петин. Оттуда приходили одна за другой «телеграммы». По первому известию, губернатор был высокого роста мужчина с рыжей бородой и сердитым взглядом; по позднейшему — толстенький и маленький, чернявый... Так же противоречивы были «телеграммы» и о внешнем виде Шестиглазого. Луньков сообщал, что он бледен и «ровно не в себе», тянется перед генералом и держит руку под козырек — по всем признакам нагоняй большой получает! Сохатый, влюбленный в военную выправку Лучезарова, утверждал, напротив, другое.

— Трепач! Мараказ паршивый! Чего врешь? Шестиглазый герой героем глядит. Разве видали где в другом месте такого артиста? Ему разве штабс-капитаном бы быть? Он за самого фельдмаршала сойти б мог!

— Губы еще не обсохли у твоего Шестиглазого. У нас в Воронеже один частный есть: так за пояс может всех их таких заткнуть! Усы как смоль черные, походка точно что иройская... А этот жиром заплыл!

— Болван, что ты понимаешь? В уме дело, а не в роже.

— А чем он умен, твой Шестиглазый?

— Тем, что в страхе умеет вашего брата держать, скидок лишает, порет... Самого бога не боится!

— Брось смеяться! Это вас, дешевых, запугать он может, а мы не испугаемся. Я вот жаловаться стану губернатору, а посмотрим, как ты ни жив ни мертв стоять будешь.

— Болван!

— Да бросьте вы, черти!.. Патоку когда вздумали тереть. Ведь придут сейчас!

— Идут, идут! — кинулись со всех ног вестники, стоявшие в коридоре.

Все построились, откашлялись, встали — точно аршин проглотили.

— Смир-рно!! — скомандовал надзиратель, и в камеру вошли: губернатор, его адъютант, заведующий каторгой, Лучезаров, исправник, прокурор и много других лиц высшего и низшего разбора. Губернатор оказался человеком среднего роста, пожилой, с проседью в бороде. Он обошел выстроившиеся ряды арестантов, пристально вглядываясь каждому в лицо, и затем, повернувшись, спросил, нет ли у кого просьб или претензий. Лучезаров указал на Петина.

— Что нужно? — спросил губернатор, подходя к Сохатому.

— Ваше превосходительство, явите божескую милость.

— Какую именно?

— Отправьте на Сахалин.

— Это для чего же?

Петин замолчал.

— Срок очень большой, ваше превосходительство, — вмешался Лучезаров, — так он надеется, основываясь на арестантских слухах, что там сразу выпустят его на волю.

— Ты очень ошибаешься, дружок, — сказал губернатор, — закон везде одинаков. Да к тому же я не знаю еще здешних порядков. Имею ли я власть сделать это? — обратился он к заведующему каторгой. — Как у вас это делается?

— Получаются время от времени затребования, и тогда производится к весне выборка здорового и годного народа. Обыкновенно же посылаются только забайкальские уроженцы.

— Вот видишь ли, голубчик, — обратился губернатор к Петину, — и сделать-то это трудно. Впрочем, если будет требование...

— Ваше превосходительство, — заговорил внезапно Ногайцев, который не заявил Лучезарову о своем желании говорить с губернатором. Бравый штабс-капитан даже вздрогнул от неожиданности и, насупив брови, поднял изумленное лицо.

— Ваше превосходительство, — храбро продолжал Ногайцев, — и меня тоже отправьте на Сахалин... Будьте так любезны... Окажите такую любезность...

— Оказать тебе любезность? Видите, чего захотел! — улыбнулся губернатор, обращаясь к свите. — Ну почему же ты хочешь на Сахалин? Почему он так люб вам?

— Да так, ваше превосходительство! Чтоб уж к одному, значит, берегу пристать.

— То есть как это к одному берегу?

— Так. Кругом, значит, вода, и некуда деться... Путаться бы уж перестал тогда по белому свету.

— Путаться? Можно, и здесь оставаясь, бросить путанье. Кто еще что-нибудь имеет?

Лучезаров указал на Сокольцева.

— Вот тоже на Сахалин просится... Их полтюрьмы таких наберется... путешественников.

— Ага! А каково их поведение?

— Особенно дурного пока ничего нет, — покривил душой Лучезаров, метнув искоса взгляд в сторону арестантов.

— Больше никто ничего не имеет заявить?

— Ваше превосходительство, — заговорил детски писклявый голосок Лунькова.

— Что такое?

— Изнуряют нас здесь непосильной работой... взыскания несправедливые налагают...

— В чем дело, расскажи подробнее.

— Мы роем канаву... Уроки очень большие задаются... Я не мог выработать... Меня лишили скидок и дали сто розог...

— Правда это? — обратился губернатор к заведующему каторгой, положив в то же время руку на плечо Лунькову. Что-то мягкое, сочувственное к этому хорошенькому арестантику, почти еще мальчику, мелькнуло, казалось, в лице старого генерала.

— Он лжет, ваше превосходительство, — подскочил бравый штабс-капитан, — господину заведующему хорошо известно, что он наказан не за плохую работу, а за оскорбление, нанесенное надзирателю.

Заведующий каторгой подтвердил эти слова.

Губернатор снял руку с плеча Лунькова и спросил его:

— Зачем же ты врешь, голубчик? Это нехорошо.

Опешивший Луньков молчал. Губернатор, видимо недовольный, вышел вон — с тем чтобы направиться в другие камеры.

Сожители мои сдвинулись в одну кучу и принялись шепотом обсуждать случившееся. Луньков с Петиным тотчас же поругались, начав критиковать один другого. Петин обзывал Лунькова болваном за то, что он не сумел оправдаться.

— Как дошло до дела, и воды в рот набрал! Точно обухом его по лбу стукнули! У, трепач, хвастунишка... Вот ужо поплатишься теперь, мараказ проклятый!

— Я-то мараказ, а вот ты-то, иркулез-великан, Сохатый по прозванью, как ты-то не умел своего дела обсказать? Не мог объяснить, зачем на Сахалин просишься...

— Осел! Идиот! Да зачем мне было объяснять, коли за меня сам начальник мазу держал? Ну что! Согласен теперь, что штабс-капитан Лучезаров герой перед ними всеми? Какой это губернатор? Ни дородства, ни осанки, ничего... А у того, по крайности, тела сколько! Румянец на лице... И развязность есть!

Спор разгорался все жарче и жарче, начав переходить от шепота к галденью, когда пронесся наконец слух, что губернатор уже вышел из тюрьмы. Тогда все кинулись из камеры в коридор, где столпилась вся тюрьма и сообщались новости. Оказывалось, что в каждом почти номере просились два-три человека на Сахалин и что губернатор в одном из них сказал заведующему: «Что ж, отправьте их к весне!» Ликование было полное.

— А я слышал другое, — объявил вдруг сапожник Звонаренко, по прозванью Кожаный Гвоздь, глава тюремных вестников, — я слышал, как заведующий сказал губернатору в коридоре: «Вряд ли следующей весной будет выборка». А он отвечал: «Пущай надеются! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Вот и надейтесь теперь, отправят вас на Сахалин!

Известие это подействовало в первую минуту на мечтателей как ушат холодной воды; но так как верить хотелось тому, что сулило какую-нибудь надежду в жизни, а никак не тому, что было вернее, то в следующую затем минуту общее негодование обрушилось уже на самого вестника. На несчастного Кожаного Гвоздя неизвестно за что посыпалась такая отборная ругань, что он едва успевал отгрызаться. Дело чуть не кончилось

дракой. Она прекращена была новым известием, что Лунькова и Ногайцева повели в карцер.

— Как? За что? Кто велел посадить?

— Шестиглазый. За неправильные и самовольные разговоры.

Все на мгновение онемели.

«Ну, теперь пропишет им Шестиглазый, — думалось каждому, — будут помнить кузькину мать!»

XIII. НОЧЬ [48]

Ночь. Уже прошло больше часа после барабанного боя в казацких казармах; все разговоры давно смолкли, и сожители мои лежат вповалку — кто на нарах, кто на полу, забывшись крепким сном. Тишина мертвая и в камере и в коридорах тюрьмы; изредка только надзиратель подкрадется кошачьими шагами к дверному окошку и, звякнув ключами, отойдет прочь. Раздастся чей-нибудь храп, кто-нибудь повернется на другой бок, проворчит или простонет во сне, брякнет кандалами — и опять все тихо, как в могиле... Лампа, висящая на стене, запоет порой тонким, комарным голосом — и тоже опять затихнет, точно сама испугавшись своего неверного пения. Но я все еще бодрствую, один среди множества живых, распростертых вокруг меня тел, и мучительная тоска постепенно овладевает душою, поднимаясь, как морской прибой, волна за волной, с тихим, но все усиливающимся ворчаньем и ропотом...

— Здравствуй, знакомая гостья, дитя тюремной бессонницы! Я знаю, сегодня ты опять промучишь меня вплоть до утреннего рассвета, опять истерзаешь мне нервы, тело и душу... Мифический Протей, [49] сколько у тебя изменчивых форм и образов, сколько орудий пытки! Мертвящая скука, чудовище с ледяными объятиями и бездонными темными ямами вместо глаз; чувство томящего одиночества, от которого так хочется плакать, плакать и кричать, без надежды кем-либо быть услышанным; страх, поднимающий волосы на голове, пробегающий морозом по всему телу...

Мрачные думы встают одна за другою неизвестно из каких глубин мозга, и длинной похоронной процессией проходят перед глазами картины прошлого, милого, дорогого прошлого, которое, увы! воскресить невоз-

можно. А страшное, тяжелое, проклятое прошлое, вечно живое, стоит бессменно тут, у изголовья, со всеми своими ошибками, падениями, обидами...

Однако... что за странная галлюцинация? Где я? Какие трупы лежат возле меня — и справа, и слева, и там, внизу, под ногами? Неужели я один живой среди мертвых? Нет! Кто-то пошевельнулся... Да, да, припоминаю... Стоит мне крикнуть, не совладав с ужасным кошмаром, — и трупы эти вскочат на ноги, зазвенят оковами, заговорят, задвигаются, и улетят прочь призраки ночи... Но зачем? Они ведь и живые мертвы для меня. К чему закрывать глаза на горькую правду? Я — один. Один, как челнок в океане, как былинка в пустыне, один, один! Мне нет здесь товарищей, как бы ни жалел я этих бедных людей, как бы ни хотел перелить в них часть своего духа; нет сердца, которое билось бы в такт моему сердцу, нет руки, на которую я доверчиво мог бы опереться «в минуту душевной невзгоды»...[50] Горе, горе! Как попал я в эту смрадную яму, над которой носится дыхание разврата и преступления?.. Что общего между мною, который порывался к светлым небесным высям, и миром низких невежд, корыстных убийц? Кровь, кровь кругом, разбитые вдребезги черепа, перерезанные горла, удавленные шеи, простреленные груди... И над всем этим ужасом витают тени погибших, отыскивая своих убийц, отравляя их сны черными видениями...

Как изболела душа... Как устал я хранить вид равнодушного философа... Как страстно хотелось бы отдохнуть на близкой, родимой груди! Иметь возле себя товарища, думающего те же думы, переживающего те же чувства... Ах, сколько говорили бы мы —

О Шиллере, о славе, о любви![51]

Всего два года,* а как давно уже, кажется мне, оторван я от всего, чем живет образованный мир. Что случилось там за эти два года? Быть может, изменилась физиономия всего политического мира; всплыли наверх и стали на очередь великие жгучие вопросы, которые

* В действительности я арестован был еще в 1884 году, то есть за девять лет до описываемого момента (из них три года провел под следствием, три — на Каре и столько же в Акатуе). *(Прим. автора.)*

тогда, при мне, казались еще столь преждевременными, столь отдаленными... Забила ключом могучая жизнь, брызнули яркие волны неслыханного света... Туда, туда бы скорее, разделить все восторги, все труды и заботы моих братьев, стать в ряды простых, скромных работников и, если нужно, погибнуть с ними за дело прогресса и благо народа!

А быть может и то: над Европой нависла мрачная туча безвременья... Лучшие бойцы сошли со сцены, и суетятся лишь мелкие, корыстные мошки и букашки. Туда бы, все-таки туда бы! Страдать и гибнуть там, на воле, со всеми!

А что делается теперь в науке, в литературе, нашей родной литературе, поэзии, искусстве? Я кинул их в трудную годину, когда сходили с арены последние могикане великой эпохи и «в храме истины, священном храме слова» начинала возвышать голос мелкая, бездарная литературная «шпаика». О, неужели и там царит теперь мерзость запустения?! Нет, нет, не может быть! Вспыхнули новые яркие звезды, хлынули свежие потоки сил, явились бодрые вожди света и правды, не давшие погибнуть бесследно трудам стольких поколений. Явился могучий поэт, ударивший по сердцам с неведомою силой, народился славный художник, отразивший в большом романе все, что. . . . .

. . . .

Боже, боже! Прозябать в этой жалкой норе и ничего не знать, не идти на посильную помощь... Быть может, и умереть здесь, в мрачном мире отверженных, умереть всеми забытому, с клеймом общего презрения на челе, со стоном бессильного отчаяния в сердце и проклятия, кому — неизвестно!..

Ах, усни, беспокойное сердце! Замолчите, безумные думы!

1893 г. Июль — август
Лазарет Акатуевской тюрьмы[52]

ПРИМЕЧАНИЯ

«В мире отверженных. Записки бывшего каторжника» П. Ф. Якубовича впервые печатались под псевдонимом «Л. Мельшин» отдельными главами в журнале «Русское богатство» за 1895—1898 годы. Большой успех публикуемых в журнале глав «Мира отверженных» способствовал выпуску в свет первого тома книги отдельным изданием уже в 1896 году.

С 1896 по 1912 год вышло пять изданий «Мира отверженных». Некоторые главы, пользовавшиеся особенным успехом, издавались отдельными книжками в виде самостоятельных рассказов («Школа в каторге», «Кобылка в пути», «Ферганский орленок»).

В 1932 и 1933 годах вышли шестое и седьмое издания.

Книга «В мире отверженных» была переведена на французский язык (Париж, 1901) и дважды на немецкий язык (Дрезден и Лейпциг, 1901, и Лейпциг, 1903).

Текст «В мире отверженных», печатавшийся в журнале «Русское богатство» (далее именуемый «журнальный текст»), имеет значительные цензурные сокращения. В отдельных изданиях автор смог восстановить некоторые запрещенные цензурой места. На экземпляре «В мире отверженных» 1899 года, подаренном Якубовичем известному историку литературы и библиографу С. А. Венгерову, имеется автограф П. Ф. Якубовича, в котором отмечается, что в новом издании книги *«есть некоторые приятные для автора перемены»* (курсив наш — *Н. Я.*),

Рукопись «В мнре отверженных» до нас не дошла. В архиве семьи Якубовича хранится экземпляр журнала «Русское богатство» с текстом, имеющим исправлеиия автора.

Настоящий том печатается по последиему прижизиеиному изданию (СПб., 1907).

1. Глава первоначально иазывалась: «Дорога». П. Ф. Якубович, пршговоренный к каторжным работам, был отправлеи этапом в Карийскую каторжную тюрьму (Читинской областн). Начало «арестаитской жизнн», этапный путь н все, что ему предшествовало, описаны в первой главе.

Этой главе в журнальном тексте предпослано рассчитанное на цензуру вступление «Вместо преднсловия», в котором чнтателю представляется «доктор Мельшнн», якобы нздающий запнскн убийцы Д. Отвечая украинскому поэту П. А. Грабовскому на его недоумения по поводу «необходимости переодевания», Якубович писал: «Вы сами можете понять, что не от воли автора зависело обойтись без него... Что сделано оно, быть может, неудачно — это другой вопрос, но автор н не заботнлся сделать переодеванне удачнее: напротив, он *хотел* употребить явный н избнтый шаблон» («Из переписки П. Ф. Якубовнча». — Журнал «Русское богатство», 1912, № 5, стр. 50, 56). В отдельных изданнях это вступление сначала подверглось авторскому сокращению, а затем и совершенно нм отброшено. Прнводнм текст «Вместо преднсловия» полностью:

«Прежде всего спешу предупреднть чнтателя, что предлагаемые его вниманню запнски отиюдь не принадлежат нижеподписавшемуся, который является не больше как нздателем их. Они попали мне в рукн совершенио случайно. Находясь в постоянных разъездах по делам службы, сам я редко бываю дома — в том небольшом городке Забайкалья, который служит местом жнтельства моей семьи; по этой причине я очень туго сближаюсь и с своими соседями. Да мало, признаться, н нтересуюсь ими. В редкие выпадающие мне досуги я предпочитаю заглянуть в газету нлн в новую кннжку журнала, чем сидеть за винтом н неизбежно сопровождающим его в Сибири графином очнщенной. Такое поведенне не совсем, правда, благоприятно отзывается на моей репутации среди обывателей, прозвавшнх меня медведем и гордецом; но я ие претендую иа это и ничуть не был удивлен или огорчен, когда пнехавшнй в одну из моих отлучек новый обыватель, поселившийся совсем рядом с моей квартнрой, странностью своего поведення заткнул даже н меня за пояс. Это был господин средних лет, довольно краснвый, с сильной проседью в голове н бороде, поселенец нз дворян с небезызвестной фамнлией. Стоустая молва в

весьма трогательных чертах передавала историю совершенного им из ревности убийства и находила его невинно пострадавшим. Хорошее, по-видимому, состояние, благовоспитанные манеры, тихий нрав, представительная наружность — все невольно располагало к Д.; но сам он с первого же шага на новом месте показал, что не только сближаться, но и знакомиться ни с кем не намерен. Незадолго до прибытия в наш город он получил право разъезда по Сибири, но желания куда-нибудь уехать не обнаруживал. Посетовали, посудачили, почесали обыватели язычки насчет образа жизни новоприбывшего — и махнули рукой. Я тоже заинтересовался было тем фактом, что Д. выписал на новый год массу газет и журналов, не только русских, но и иностранных (до тех пор не было у меня в этом отношении соперников); но любопытство мое было чисто пассивного характера: ни малейшего шага к сближению я не сделал, и, живя в нескольких всего саженях друг от друга, мы так и остались один для другого прекрасными незнакомцами. Одно еще знал я о жизни Д.: что он очень много пишет, что целые груды рукописей хранятся у него в корзинке и в ящиках стола. Сведения эти исходили от его квартирной хозяйки, и потому, само собой понятно, содержание рукописей оставалось для меня terra incognita. *

19 мая нынешнего года, вернувшись домой после двухнедельного отсутствия, я, к удивлению своему, узнал, что Д. уже нет в живых: на другой день после моего отъезда его нашли мертвым, с пером в руке, склонившимся над письменным столом. Смерть произошла моментально, от разрыва сердца. Имущество покойного было описано, запечатано, и дальнейшая судьба его мне неизвестна; корзина с писанными бумагами была предварительно вынесена хозяйкой в ее собственную комнату. Эта добрая женщина отличалась непомерным любопытством, свойственным почти всем сибирячкам, и желание допытаться, о чем таком вечно пишет ее жилец, уже давно ее подмывало. Через несколько дней после похорон Д. она притащила эти бумаги к моей жене, с которой вела большую дружбу, и обе с нетерпением дождались моего приезда. Я сам с большим интересом приступил к разбору этих рукописей и с первых же страниц должен был признаться, что они могут занять и не одно праздное любопытство. Это было подробное описание всей каторжной жизни покойного... После «Записок из Мертвого Дома» Достоевского других подобных попыток в нашей литературе я не встречал. Существует, правда, множество рассказов о бродягах, о каторжных и поселенцах, этапные и тюремные описания, но связного, крупного

* Неизвестным *(лат.)*.

произведения, посвященного этому «миру отверженных» и написанного человеком, который сам бы в течение нескольких лет жил в нем, был его сочленом, — существования в новой русской литературе другого такого сочинения я по крайней мере не знаю. Сам автор во многих местах записок проводит сравнение (чисто внешнее, конечно: он весьма скромен) между собой как писателем и Достоевским. Вполне справедливо, мне кажется, указывает он на несколько десятков лет, отделяющих его мемуары от «Записок из Мертвого Дома», на то, что за этот период времени, внешний также крупные изменения во весь строй русской действительности, не могли остаться совершенно теми же, что были при Достоевском, ни внешний, ни внутренний облик Мертвого Дома.

Эти замечания дают мне повод думать, что автор придавал некоторую ценность своему труду и, очевидно, готовил его к печати. В бумагах его есть даже черновое письмо в редакцию одного из толстых журналов, по-видимому, впрочем, не отосланное за преждевременной смертью.

Вот соображения, побудившие меня предать эти записки опубликованию. Печатаю пока только первую часть, которую мне удалось разобрать и проредактировать. В редактировании моем она нуждалась в том смысле, что писана была, очевидно, начерно: слог отличался местами шероховатостью; встречались также скучные повторения; пришлось кое-где сократить и поставить в известные рамки лирические излияния. Но еще раз подчеркиваю: никаких существенных изменений не внесено мною в эти записки, и читатель должен глядеть на меня только как на редактора-издателя их. На мой личный взгляд, они отличаются искренностью и правдивостью; но брать на себя ответственность за излагаемые факты я, однако, не желаю. Не знаю даже, буквально ли это скопированная действительность или же факты, прошедшие сквозь призму художественного анализа и обобщения...

Пускай судят обо всем этом критики и лица, более меня компетентные в знании арестантского мира и его нравов.

Д-р Л. Мельшин

Июнь 1894 г.»

2. Эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова «Благодарение господу богу...». В стихотворении изображена знаменитая Владимирская дорога, по которой гнали арестантов в Сибирь.

3. Условия этапного пути, и, в частности, его наиболее тяжелого участка — от Красноярска до Иркутска, описанные автором, отно-

сятся к 1887 году. Сибирская железная дорога начала строиться в 1892 году, а участок ее от Красноярска до Иркутска был открыт только в 1899 году.

4. Якубович пробыл в одиночном заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости два года (1884—1886), и в Доме предварительного заключения еще полгода.

5. Аналогичная мысль была высказана Ф. М. Достоевским в «Записках из мертвого дома»: «Кандалы — одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная... Бежать же они никогда никому помешать не могут» (часть вторая, глава 1. Гошпиталь).

6. Автобиографический эпизод — Якубович не видел пришедшей прощаться с ним матери.

7. Переживания Якубовича, ошибочно принятого за уголовного, рассказаны им в очерке «Вместо Шлиссельбурга» (СПб., 1906, стр. 2—3):

«В феврале 1888 года я приближался к цели своего долгого этапного путешествия, к Карийской государственной тюрьме... придя с партией в Усть-Кару, я встречен был инспектором каторги Коморским как обыкновенный уголовный арестант, грубо, вызывающе дерзко... На мой протест против грубого обращения и заявление о том, что я — политический, Коморский закричал:

— Молчать! Много у меня таких молодцов на Сахалине! Я их телесному наказанию подвергаю!

Однако через несколько минут, как будто смягчившись, он подошел ко мне с моим «статейным списком» в руках:

— Вот, я вижу отсюда, что вы образованный человек, но здесь ни слова не сказано о том, что вы — политический. Нам об этом ничего не известно...

Я взял из его рук свой статейный список и бегло просмотрел его: «Кандидат С.-Петербургского университета...» «За принадлежность к центральному кружку партии «Народной воли»...» Все прописано было полностью, но магического слова «политический» глаза мои действительно нигде не могли отыскать, хотя в подобных же «статейных списках» товарищей мне оно отлично помнилось...

...Трое или четверо суток, проведенных мною в этом ужасном узилище (уголовная каторжная тюрьма. — *И. Я.*), я вспоминаю до сих пор как тяжелый кошмар. Заключенных было так много, что они лежали на нарах, тесно прижавшись один к другому; как черви, копошились они и внизу, под нарами, в сырой и затхлой темноте. Атмосфера в камере была убийственная, особенно ночью, когда из коридора приносилась зловонная параша, содержимое которой к утру переливалось через край... Умалчиваю уже о том, что злая

кабацкая ругань непрерывно висела целый день в воздухе. Казенная пища напоминала отвратительные помои, какие даются только свиньям, и арестанты, имевшие деньги, не притрагивались к ней...

...Однако физические лишения были ничто по сравнению с тяжелым нравственным состоянием, в котором я находился эти три-четыре дня. То было состояние какого-то оглушения... Я не в силах был переварить того, что со мной произошло. Мысль, что отныне я — «уголовный», отверженец, лишенный всех человеческих прав, что администрация тюрьмы может в любую минуту ради малейшего каприза оскорбить и унизить меня, а при случае подвергнуть и телесному наказанию, которое всегда казалось мне неизмеримо страшнее смерти, — мысль эта наполняла душу холодом ужаса...»

8. *Бродни* — название сибирской обуви. *Бродни-левиафаны* — здесь: огромная по величине обувь.

9. Л. В. Фрейфельд (1863 — ум. после 1934) — народоволец, отбывавший каторгу в Акатуе с Якубовичем, — писал: «Все товарищи, которым приходилось встречаться с Якубовичем, знали, что это был человек кристально чистый, целомудренный, приходивший в отчаяние от тех грубых выражений, которые не сходили с уст окружавших его соседей, от обнаженного цинизма и жестокости, которой бравировали многие арестанты» (Л. В. Фрейфельд. Из прошлого. — Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 5, стр. 92).

10. *Максимов* Сергей Васильевич (1831—1901) — этнограф-беллетрист. Его книга «Сибирь и каторга» вышла в Петербурге в 1871 году.

11. *Бирюса* — река в Иркутской области. Через деревню Бирюсинскую проходил большой Сибирский тракт.

12. По пути следования, на одном из этапов в Иркутске, в начале декабря 1887 года (после трехлетней разлуки) Якубович случайно встретился со своей невестой Р. Ф. Франк (1861—1922), тоже политической ссыльной, следовавшей в Якутскую область. Товарищ П. Ф. Якубовича народоволец А. В. Прибылев вспоминает: «...хлопоты о разрешении венчаться... уже приходили к концу, когда оба они должны были двинуться в дальнейший путь по разным дорогам и тем отложить на долгое время закрепление своего союза...» («От Петербурга до Кары в 80-х годах». М., «Колос», 1923, стр. 75—76).

13. В письме к Н. К. Михайловскому Якубович выражает свои опасения за судьбу этой сцены: «Если уж в «Дороге» цензор счел нужным выбросить невинную сравнительно сцену с казаками-конвоирами, то тем более оснований бояться, что он захочет удалить все, касающееся более высокопоставленных лиц... Таков предел русской литературы, его же не перейдешь...» (Письмо Н. К. Михайлов-

скому от 12 октября 1895 г. — Институт русской литературы Академии иаук СССР — в дальнейшем: ИРЛИ).

14. *Вечный жид* — образ библейской мифологнн: человек, осуждеиный на вечное скитанне.

15. Под именем Шелаевского рудника Якубович изобразнл Акатуйский рудник, в котором работали еще декабристы. На Акатуйском деревенском кладбище, по свидетельству Якубовича, иаходился памятник иад могилой декабрнста М. С. Лунина. В брошюре Л. Мельшина-П. Якубовича «Вместо Шлнссельбурга» описывается история создання этой «образцовой» каторжиой тюрьмы: «...в конце 80-х годов прошлого столетия, когда правительство Александра III решило вериуться в отиошении политическнх каторжан к режиму жесткой николаевской эпохи и поставнть их в одиинаковые с уголовнымн условия жнзни, — оио вспоминло опять об Акатуе и... иачало строить там «образцовую» тюрьму, размером на 150 человек, где политнческие должны были жить и работать вместе с уголовными» (Л. Мельшин. Вместо Шлиссельбурга. СПб., 1906, стр. 14, 15).

16. Этот эпнграф запрещался цеизурой во всех издаииях «Мнра отверженых» до 1907 года. Как отдельное стихотворение «Шелаевский рудник» опубликоваи в сборнике стнхотворений П. Я. (П. Ф. Якубовича) в издании 1898 года. Вызванному в цеизурный комитет В. Г. Короленко удалось отстоять это стихотвореине при условии пропуска стнха «Вы ли, святые страдальцы свободы...», посвященного декабристам, отбывавшнм каторгу в Акатуе.

17. Прототипом штабс-капитаиа Лучезарова был капитан Иваи Мнхайлович Архаигельскнй. Изображением Архаигельского — Лучезарова Якубович очень дорожил и опасался, что образ его подвергнется цеизурным искажениям. «Особенио боюсь, что пострадает фигура Лучезарова — этой, можно сказать, души «Отверженных», — писал Якубович Н. К. Мнхайловскому, издававшему «В мире отверженных» (пнсьмо от 12 октября 1895 г., ИРЛИ).

18. В письме к Н. К. Михайловскому от 12 октября 1895 г. Якубович пнсал: «Когда пнсались «Отверженные», у меня не было под рукой «Записок из мертвого дома», и читал я их за десять лет перед тем. Каково же было мое изумлеиие и досада, когда я узнал впоследствии... что, точно на грех, плац-майор Достоевского тоже иосил очки и тоже был прозван «восьмиглазым»... Не всякий даже поверит, что это простая случайиость, данная самой жизнью. Очки я давио уже проснл везде выкинуть...»

19. Имеется в виду русский критик н нсторнк литературы А. М. Скабичевский (1838—1910), напнсавшнй кннгу «Каторга пять-

десят лет тому иазад и иыие» (А. Скабичевский. Сочииеиия в двух томах, т. 2. СПб., 1903, стр. 746).

Это прнмечаине автора внесено впервые во второе издание «В мире отверженных» (1899).

20. Строфа из стихотвореиия Т. Г. Шевчеико «Кавказ».

21. П. Ф. Якубовнч пнсал: «Разгнльдеев — знамеинтый в нстории каторги горный иинженер, управлявший в 50-х годах Карийскими золотымн промыслами н варварски обращавшийся с арестантамн и заводскнмн крестьянами» (Л. Мельшии. Любнмцы каторги. Харьков, 1901, стр. 4).

22. Автор песни — поэт 1840-х годов Г. Малышев.

23. Весь диалог о иецелесообразности затрат иа Шелаевскнй рудиик, ввиду его малой рентабельиостн, в журнальном тексте был выпущеи цензурой. Истиииая цель возобновлення работ на рудиике достаточно раскрывается частымн заявленнямн Архаигельского (являющегося прототнпом Лучезарова): «Мие ие нужен ваш труд — иужио ваше нзнуреине...» (В. Александров. Каторга и ссылка (Из воспомнинаний). — Журнал «Современннк», 1912, № 2, стр. 201).

24. Песеиный народиый вариант стнхотворения Ф. Глннки «Узник».

25. Песеиный иародный варнант стихотвореиня М. Ю. Лермонтова «Свидаиье».

26. Весь рассказ о зверствах Разгильдеева до слов: «Полио, однако...» был запрещеи в журиальном тексте цензурой.

27. Стихотворение А. В. Кольцова «Два прощанья», зиачительио измененное.

28. Якубович писал П. А. Грабовскому: «Я перепробовал уже всевозможиые профессии, но с нынешней осенн исключнтельио запрягся в буреиье. М. В. Стояиовский (с которым было передано это письмо. — *И. Я.)* подробио расскажет Вам, что это за штука такая. Мне она чрезвычайно иравнтся. Какое-то мучительское страшное наслаждение доставляет долбнть железиым буром граннтиую стену без устали в течение несколькнх часов в сыром полумраке шахты...» («Из перепнски П. Ф. Якубовича». — Журнал «Русское богатство», 1912, № 5, стр. 44).

29. К этому эпизоду, отсутствовавшему в журиальном тексте, на экземпляре П. Ф. Якубовича имеется следующее замечаине: «Случай с Брагниским и со мной». Как сообщил в 1932 году М. А. Брагинский (политическнй товарищ Якубовнча по Акатую), он точно так же был спасеи в шахте Якубовичем от упавшего каиата (Записки Д. П. Якубовича. Архив семьи Якубовича).

30. *Книга Иова* — название одной из книг Библии.

31. *Филиппика* — гневная, обличительная речь (от названия речей древнегреческого оратора Демосфена против царя Филиппа Македонского).

32. *Целовальниками* в дореформенной России назывались лица, занимавшиеся продажей водки в кабаках.

33. Просветительная деятельность П. Ф. Якубовича на каторге была очень популярна в среде его учеников — уголовных. Политические товарищи Якубовича, по его примеру, также устраивали «школы». А. М. Скабичевский в своей книге: «Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне», отмечая грандиозную просветительную и хозяйственную деятельность декабристов, упрекал Якубовича и его товарищей по каторге в «очень скромных размерах» их деятельности. П. Ф. Якубович отводил этот упрек, указывая в одном из своих писем, что просветительная и хозяйственная деятельность декабристов развернулась в то время, когда они, отбыв каторгу, находились в Сибири на поселении, пользовались относительной свободой и в большинстве имели достаточные материальные средства; между тем политические «мира отверженных» жили в тюрьме и располагали, следовательно, крайне ограниченными возможностями организовать просветительную работу (копия письма П. Ф. Якубовича Л. В. Фрейфельду от 9 декабря 1898 г., ИРЛИ).

34. *...жители Содома* — по библейской легенде, жители древнепалестинских городов Содома и Гоморры отличались крайней развращенностью.

35. В действительности книги на каторгу присылались не матерью, а сестрой П. Ф. Якубовича Марией Филипповной (1862—1922). Л. В. Фрейфельд так характеризует ее отношение к брату: «Письма ее были полны бесконечной любви и преданности: мне кажется, не было той жертвы, которую бы она не принесла во имя любви к брату. Она жила им» (Л. В. Фрейфельд. Из прошлого. — Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 5, стр. 91).

В семейном архиве П. Ф. Якубовича сохранились книги, бывшие у него на каторге, с любопытной печатью: «К чтению в тюрьме допущена» и с подписью: «Начальник Акатуйской тюрьмы И. Архангельский».

36. *Костомаров Н. И.* (1817—1885) — русский историк, этнограф, писатель. *Мордовцев Д. Л.* (1830—1905) — автор романов и повестей на исторические темы.

37. *Фламмарион* Камиль (1842—1925) — французский астроном, автор научных и популярных трудов по астрономии, а также научно-фантастических романов.

38. Прототипами упоминаемых надзирателей были: Петушкова — Петухов, Безымёных — Беспрозванный и Воронкова — Воронов (Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 5, стр. 111).

39. Эта глава, имевшая особый успех, была дважды издана отдельным изданием: «Ферганский орленок» (Харьков, 1902); «В плену» (Ростов-на-Дону, 1904).

40. П. Ф. Якубович очень был привязан к Усанбаю. В журнальном тексте и в издании 1896 года читаем о Маразгали (в последующих изданиях выпущено): «Описывая Маразгали, мне именно хотелось для самого себя сохранить и запечатлеть каждую мелочь, еще жившую в моих воспоминаниях, о любимом человеке...» Об его действительной дальнейшей судьбе мы узнаем из письма Якубовича к С. Ф. Франку (брату жены): «О Маразгали могу сообщить тебе (но только тебе — по секрету), что на самом деле он остался жив и ушел куда-то на поселение, и только «в художественных целях» мне показалось лучше, чтобы он умер...» (ИРЛИ).

41. Далее в журнальном тексте до конца главы все «анархические беседы» были запрещены цензурой. Сожалея об этом, Якубович писал Н. К. Михайловскому: «Если уж уродуют самого Короленко, то Мельшину странно было бы сетовать».

42. *Воздух* — церковное покрывало, употребляемое при обрядах.

43. *Эльдорадо* — несуществующая страна сказочных богатств.

44. *Чикой* — река в Забайкальской области.

45. *Гоппе* Г. Д. (1836—1885) — издатель. Выпущенная им книга «Хороший тон, сборник правил и советов на все случаи жизни общественной и семейной» выдержала с 1881 по 1910 год пять изданий.

46. П. Ф. Якубович непримиримо относился к вопросу о телесных наказаниях. Он писал, что телесное наказание всегда казалось ему «неизмеримо страшнее смерти» (Л. Мельшин. Вместо Шлиссельбурга. СПб., 1906, стр. 5). Когда в Карийскую тюрьму приехал генерал-губернатор барон Корф и объявил о распоряжении из Петербурга перевести политических в Акатуйскую «образцовую» тюрьму, в которой политические «во всем решительно будут приравнены к уголовным преступникам» и будут подвергаться одинаковым с ними наказаниям, Якубович, волнуясь и жестикулируя, заявил Корфу, что политические «всегда предпочтут смерть позору» (Л. Г. Дейч. 16 лет в Сибири. М., 1924, стр. 226, 227).

47. Горный *Зерентуй* — селение Забайкальской области.

48. Тема этой главы, проникнутой элегическим настроением, полностью отражена и в стихотворении П. Ф. Якубовича «Ночные гости» (П. Ф. Якубович. Стихотворения. Л., 1960, стр. 201—202). «Эпилог характерен для автора, отражая внезапно разбуженные две основных сферы его интересов — политическую и литературную», —

писал сын писателя, Д. П. Якубович («В мире отверженных». М., 1933, стр. 391).

49. *Протей* — по греческой мифологии морской старец, подвластный Посейдону, могущий предсказывать будущее. Чтобы скрыться от людей, жаждущих узнать свою судьбу, принимает различные облики.

50. Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно».

51. Строка из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»).

52. Чтобы дать возможность Якубовичу закончить «В мире отверженных», товарищи всячески старались создать ему более подходящие условия. Был даже устроен его перевод в лазарет. «Писал он сидя на кровати и положив куски махорочной бумаги на книгу, так, чтобы надзиратель, заглянувши из коридора, счел бы его за читающего. Писал он без всяких помарок, прямо набело... Посетители все время разговаривали, и П. Ф. — великий спорщик — то и дело вмешивался в разговор со своими возражениями. Казалось, что при таких условиях он никогда не кончит своей работы, но очень скоро первый том «В мире отверженных» был уже окончен, и П. Ф. прочитал его нам». (М. П. Орлов. Об Акатуе времен Мельшина. — Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 11, стр. 115).

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Филиппович
Якубович

В МИРЕ ОТВЕРЖЕННЫХ
Записки бывшего каторжника, т. I

Редактор В. Морозова
Технический редактор
В. Алексеева
Художественный редактор
Г. Курочкина
Корректоры
В. Урес, Е. Хваленская

Сдано в набор 16/VII 1963 г. Подписано к печати 23/I 1964 г. Бумага 84×108[1]/32— 13,125 печ. л. = 21,53 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 22,462+1 вкл.=22,499 л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 489.
Цена 77 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.